ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[5] 2008

РОМАН МАРГАРЕТ МАХИ "ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ" / ФРАНКФУРТСКИЕ ЛЕКЦИИ И РАССКАЗЫ ПЕТЕРА БИКСЕЛЯ / УОЛЛЕС СТИВЕНС В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА" / ДРАМА "СОВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ: ЧЕЛОВЕК У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ" КАРЛА-ХЕННИНГА ВИЙКМАРКА / ПИСЬМА И ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ ИВЛИНА ВО В РУБРИКЕ "ЭПИСТОЛЯРИЙ"

Основан в 1891 году

До конца 2008 года в *ИЛ* будут напечатаны:

Отмеченный Пулицеровской премией [2007] роман американца КОРМАКА МАККАРТИ **"Дорога"**: отец с маленьким сыном странствует по пережившей чудовищную катастрофу стране, отчаянно пытаясь уцелеть и сохранить человеческий облик в постапокалиптическом мире.

Роман хорошо известной нашему читателю английской писательницы МЮРИЕЛЬ СПАРК **"Не беспокоить"** с характерными для ее книг сатирой, пародией и бурлеском.

"Чизил-Бич" – роман классика современной английской литературы ИЭНА МАКЬЮЭНА о влиянии сексуальной революции на человеческие отношения и трагической неспособности людей понять друг друга.

"Теракт" – роман одного из самых читаемых на Западе франкоязычных алжирских писателей ЯСМИНА ХАДРА о судьбе живущего в Израиле палестинца.

"Бумажный театр" – новая книга всемирно известного сербского писателя МИЛОРАДА ПАВИЧА. Это роман и одновременно антология выдуманных рассказов выдуманных авторов с выдуманными биографиями и библиографиями.

"Двое бедных румын, говорящих по-польски" – пьеса юной польки ДОРОТЫ МАСЛОВСКОЙ, в одночасье ставшей кумиром молодых читателей и в Польше, и в России. Ее герои, юноша и девушка, выдающие себя за румын-попрошаек, убегая от самих себя, от скуки и безнадежности собственной жизни, в алкогольно-наркотическом трансе колесят по дорогам Польши.

Американская новелла. XXI век – яркие, разностильные, иногда иронические зарисовки сегодняшней Америки, представленные разными авторами.

Три рассказа хорошо знакомого нашему читателю поляка ЕЖИ ПИЛЬХА из сборника **"Мое первое самоубийство"** – как всегда у этого автора блестяще написанные, подчас саркастические, если не гротескные, и вместе с тем полные лиризма и затрагивающие такие вечные вопросы, как одиночество, любовь и смерть.

"Факел в ухе" – автобиографическая книга лауреата Нобелевской премии ЭЛИАСА КАНЕТТИ, где рассказывается о жизни Вены 1924–1928 гг.

Лекция крупнейшего английского поэта XX в. У. Х. ОДЕНА об **"Антонии и Клеопатре"** У. Шекспира.

Воспоминания ИВОН КЛОЭТТА о тридцати годах совместной жизни с Грэмом Грином.

[5]
2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Маргарет Махи *Пространство памяти.* Роман. Перевод с английского и вступление Н. Демуровой

127 Петер Биксель *Рассказы.* Перевод с немецкого Е. Суриц. Послесловие Петера фон Матта. *Читатель. Повествование.* Пятая Франкфуртская лекция. Перевод с немецкого А. Егоршева

174 Карл-Хеннинг Вийкмарк *Современная смерть. Человек у последней черты.* Драма. Послесловие автора. Перевод со шведского А. Афиногеновой. Борис Юдин *Кто там у последней черты?*

Из классики XX века

235 Уоллес Стивенс *Стихи.* Перевод с английского и вступительная статья Григория Кружкова

Эпистолярий

253 Ивлин Во *Письма Джорджу Оруэллу и Грэму Грину. Из записных книжек, 1960–1964 годы.* Перевод с английского А. Ливерганта

Среди книг

267 Сергей Зенкин *Парадоксы лжеца.* Татьяна Венедиктова *"Тому, о ком я сейчас и не думаю..."*

Наши интервью

275 *Наука моды.* Беседу с шеф-редактором журнала *Теория моды* Людмилой Алябьевой ведет Светлана Силакова

БиблиофИЛ

280 *По материалам зарубежной прессы.* Подготовили А. Лешневская, И. Мокин

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Н. В. Елисеева
А. Ю. Лешневская
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Маргарет Махи

Пространство памяти

Роман

Перевод с английского и вступление Н. Демуровой

Как-то в начале 70-х просматривала я в московской Библиотеке иностранной литературы новые поступления и обратила внимание на сказку неизвестной новозеландской писательницы с необычной фамилией — Маргарет Махи (позже я узнала, что раньше семья жила на острове Гернси; Махи — новозеландцы в третьем поколении). Сказка — она называлась "Дракон обыкновенной семьи" — мне понравилась: она была из тех, что трогают и детей, и взрослых. И я перевела ее и предложила одному из наших журналов, а когда она вышла, послала экземпляр в Новую Зеландию, приложив к нему свое письмо и рисунок моей племянницы Кати, где разноцветными карандашами был изображен огнедышащий дракон и было написано несколько слов по-английски. Адреса Махи я не знала, а потому отправила письмо в издательство — "для Маргарет Махи", "на деревню дедушке". Повторюсь, дело было в начале 70-х. Писать иностранцам "от себя" не полагалось, извиняться за тогдашнее положение с авторским правом тем более...

Ответ пришел неожиданно быстро. Маргарет Махи писала, как она удивилась, получив письмо из России, как обрадовалась, увидав своего "Дракона" по-русски, и рассказывала о своей жизни. Она жила в городе Крайстчерч (остров Южный) с дочерьми Бриджит и Пенни. Жили скромно. В те годы у них был собственный сад с огородом; зимой, в период дождей, они собирали воду в большой водоем, вырытый в саду, чтобы летом, когда от жары все кругом высыхает, поливать свой участок.

Маргарет писала, что русская литература занимает особое место в ее жизни. В детстве в руки ей попала сказка Ершова про Конька-горбунка, который стал ее

© Margaret Mahy, 1987
© Н. Демурова. Перевод, вступление, 2008

любимым героем. Как-то, когда она была еще девочкой, отец бетонировал дорожки в саду и предложил ей: "Хочешь, нарисуй на них что-нибудь, пока цемент не остыл?" "И я нарисовала Конька-горбунка, — писала Маргарет, — он и по сей день там".

Спустя годы, когда мне довелось побывать в Новой Зеландии и познакомиться с нею лично, я увидела на ее книжных полках немало русских авторов. Вообще книг было множество — помимо литературы и поэзии, история, философия, психология, математика... Махи — заядлая читательница.

Позже я поняла, как мне повезло: с творчеством Маргарет Махи я познакомилась в самом его начале, сразу же после появления ее первых книжек, принесших ей всемирную известность. Окончив университет в Окленде и поселившись в Крайстчерче, где она живет по сей день, она работала в городской библиотеке, рассказывала дочерям сказки, печатала их в "Школьном журнале", который вместе с книгами и учебниками рассылался по Новой Зеландии (помню, меня поразило, что в удаленные от почты фермы и коттеджи их забрасывали с вертолетов — Новая Зеландия заселена редко, там всего около 3 миллионов населения). Одну из этих сказок Маргарет послала на международный конкурс в Соединенные Штаты. В ответ пришло известие о присуждении ей первой премии и предложение издать сказку в одном из лучших издательств.

С тех пор я внимательно следила за творчеством Махи. Дочери росли — с ними "взрослели" и книги Махи. С ней происходило то, что произошло и с некоторыми другими писателями, прославившимися своими детскими книжками: простота и образность стиля оказались как нельзя более к месту и в книгах "для взрослых". Но, как известно, нет литературы детской и взрослой, а есть литература хорошая и плохая.

Маргарет Махи является, разумеется, писателем хорошим. Об этом свидетельствует и присуждение ей международных литературных премий, и переводы ее книг на десятки языков. Университет в Крайстчерче присудил ей почетную степень доктора литературы. "У меня такое чувство, будто меня чуть ли не обманули: экзамена-то не было", — сказала она на пресс-конференции. В 2007 году ей была присуждена высшая награда за детскую литературу, премия Ханса Кристиана Андерсена.

"Пространство памяти" — один из лучших романов Махи, точность психологического письма соединяется в нем с гротеском, а подчас, кажется, и с налетом сказочного или магического. Гротеск Маргарет любила всегда: недаром в ее доме есть все книги Льюиса Кэрролла, которые она знает чуть ли не наизусть, и фильмы прославленных мастеров гротеска немого кино, высоко ценивших искусство "гэга". Что до магического, то хотя у Махи есть книги, где магия определяет не только сюжет, но и всю образную систему (таково, например, "*Превращение*"[1], отмеченное медалью Карнеги), "Пространство памяти" — скорее пародия, а возможно и автопародия; во всяком случае, ее герои решительно отказываются от магии. А вот что в книге несомненно есть, так это второй, поэтический, а возможно и философский план: ведь это книга о тех, кому порой удается уловить "ритм сердца вселенной".

1. Русский перевод, выполненный И. Бернштейн, до сего дня не вышел в свет.

Глава первая

ОН-ТО надеялся, что добраться будет гораздо проще. Обсаженная деревьями подъездная аллея, широкая и ухоженная, плавно поворачивала к дому. Одинокий уличный фонарь освещал табличку у ворот, на которой было написано: "Община Ривенделл. Киа Ора. Добро пожаловать".

Ниже стояло пять фамилий, и среди них четко: "Карл и Рут Бенедикта с семьей". Глядя на табличку, трудно было представить, что отойди он на несколько шагов, и огромные деревья сомкнутся у него над головой и все потонет в непроницаемой ночной мгле.

— Не так уж я и пьян, — произнес Джонни вслух, но никто не откликнулся на его слова.

Ну ничего, теперь впереди мелькал свет, а раз есть свет, значит, появится и дверь, в которую можно постучаться, и кто-нибудь ее откроет. Он отступит немного в тень и очень вежливо спросит, нельзя ли ему на минутку Бонни. Джонни взглянул на часы, хотя и знал, что ничего не разберет. Время у него было, вот оно, на руке, только ни зги не видать.

Много раньше, в ту же бесконечную ночь, в ином времени и ином пространстве, Джонни вкусно поужинал с родителями и младшими сестренками-близнецами, а потом даже помог вымыть посуду. Все было так хорошо, по-домашнему.

— Да, сегодня как раз пять лет... — сказал отец.

В этих простых словах Джонни послышался упрек, словно он, Джонни, не имел права быть с ними, шутить и строить планы, когда Дженин больше нет. Близнецы продолжали пихаться и пищать, но ведь они Дженин не помнили, только и видели что ее фотографию, улыбающуюся с телевизора.

Джонни обнял мать, неуверенно кивнул отцу и отправился к приятелям, которые играли в оркестре в городском пабе.

Потом брел, спотыкаясь во тьме, а в желудке булькали красное вино и коньяк, с помощью которых он пытался уйти от воспоминаний и погрузиться в лихорадочное веселье. Что происходило между тогдашним безоглядным весельем и теперешними блужданиями во тьме, он не очень помнил: сначала он с кем-то дрался, потом ругался с полицейскими, а еще позже — с собственным отцом где-то возле полицейского участка. Ничего себе выдался вечерок!

Джонни надеялся, что сумеет скрыть свое возбужденное состояние и не вызовет подозрений ни у кого из членов Ривенделлской общины. Бонни нужна ему позарез — стоило обыденной жизни немного отступить, как перед ним снова всплывали мучительные вопросы. На секунду-другую они завладевали им, когда он засыпал или пробуждался, но он никогда не додумывал их до конца. Он хотел дать этим призракам имя — освободиться от них, и Бонни Бенедикта могла ему помочь: из всех его знакомых только в ней чувствовалась спокойная уверенность и какая-то магия. Ведь именно она там присутствовала — она его вытащила и прижала к себе на вершине, а позже не моргнув глазом соврала, что несомненно очень ему помогло. А потом она исчезла с его горизонта. В последний раз он видел ее в церкви на отпевании Дженин. После службы супруги Бенедикта подошли к родителям Джонни, но он и Бонни, стоя поодаль, лишь молча смотрели друг на друга. Они были единственными свидетелями несчастья. Полицейские взяли у них показания, и появ-

ляться вместе в суде им не пришлось. С того дня он ни разу больше не видел Бонни Бенедикту, хотя и жил с ней в одном городе.

Джонни решительно шагнул к освещенному окну — он был готов к неожиданностям и ловушкам, подстерегающим человека, блуждающего в ночи. И точно — ночь вокруг вдруг словно взорвалась. С диким криком мелькнули какие-то бледные тени. Где-то неподалеку от окна залаяли огромные псы. Миг — и все изменилось: из-за туч выскочил, словно торопясь навести порядок, тонкий серп луны, а над дверью вспыхнул большой фонарь, залив светом весь двор.

Джонни увидел, что во дворе перед большим сараем стоят машины, сельскохозяйственный грузовичок и небольшой культиватор. Бледные тени спешили к нему через двор — оказалось, что это гуси, они возмущенно шипели и угрожающе тянули шеи. Он даже заметил двойной ряд высоких деревьев там, где кончалась потерянная им сейчас подъездная аллея. Облако, закрывавшее месяц все это время, превратилось в огромный серебряный глаз, задумчиво взиравший на происходящее внизу.

Джонни пересек двор, на ходу ощупывая лицо: он пытался установить, насколько оно пострадало в драке. Один глаз ему здорово подбили, но пока еще он не заплыл. Губы распухли. Все болело, впрочем, ощущение было такое, будто боль принадлежала не ему, а кому-то другому. От этой отстраненности им всегда овладевала тоска: что ж он — не человек, что ли? А между тем стоило ему что-нибудь себе как следует представить, как оно становилось до того реальным, словно и в самом деле существовало. Любые фантазии ужасно на него действовали, не только чужие, но и свои; это его тревожило.

"Входить не буду, — решил Джонни. — Отступлю немного назад и очень вежливо попрошу. Я, конечно, давно их не видел, но мы же все-таки знакомы".

К багажнику обшарпанного "фольксвагена" кто-то прислонил большой плакат: "Маори имеют право на землю!" Джонни боком протиснулся мимо него к дому. Вечером в городе были волнения. По улицам разъезжали машины с громкоговорителями, по пути в паб Джонни заметил, что на центральной площади собирались группами люди, а позже в полицейском участке слышал взволнованные голоса молодых активистов. Джонни, которого однажды уже задерживали за нарушение общественного порядка, а потом вызывали в районный суд, чувствовал себя ветераном. Уличные выступления и политические стычки не очень-то его интересовали, но даже здесь, в десяти милях от города, спрятаться от них не удавалось. На длинном транспаранте, повисшем между двух палок, воткнутых в землю у заборчика, отделявшего дом от служб, было написано: "Договор 1840 года — сплошная липа!"[1]

Во дворе возле конуры сидели на цепи две овчарки. Дом — старая ферма с недавней пристройкой — уходил вглубь, в темноту, однако веранда была залита светом, а дверь гостеприимно распахнута. Конечно, Джонни предпочел, чтобы света было поменьше. Ему не хотелось, чтобы кто-то увидел его лицо. Особенно Боннина мать. А если уж разглядит, то пусть бы не сразу. Ну ничего, на голове у него была старая черная шляпа с обвисшими полями — они затенят подбитый глаз, а там, глядишь, тихий голос и вежливое обращение сделают свое дело. Джон-

1. Договор, подписанный в 1840 г. в Вайтанги между европейцами и маори, гарантировал аборигенам права на землю. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ни подозревал, что люди порой пугались его вида, даже когда лицо его не украшали синяки; иногда он пользовался этим, чтобы заарканить девчонок определенного типа. Но сейчас ему хотелось выглядеть совсем обыкновенным и уж, во всяком случае, никого не пугать.

— Что с лицом?.. Ах да... Грохнулся с мотоцикла... — с небрежным видом пробормотал он.

Джонни довольно часто говорил сам с собой, репетируя то, что собирался сказать позже.

Родители Бонни оба назывались докторами, только отец был доктором философии, а мать — патологоанатомом; кстати, не исключено, что она тут же поймет, где синяк от падения с мотоцикла, где — от кулака с печаткой на пальце.

— Что ж, кто не рискует, тот ничего не выигрывает! — сообщил Джонни псам.

Он давно уже бросил чечетку, но тут его ноги сами собой бесшумно отбили несколько тактов, просто так, по привычке. А губы сами собой растянулись в улыбке, словно рядом стояла мать и внимательно следила за каждым его движением. В темноте псы не разглядели, что он там делает, но синкопированный ритм уловили и, решив, что он специально их дразнит, взъярились и стали рваться с цепи — уж очень им хотелось вонзить в него зубы.

Джонни поднялся на крыльцо, на ходу репетируя свою речь:

— Бонни, мне нужно спросить тебя только об одном...

Вот она, дверь. Он представил, что Бонни стоит на пороге, высокая и загадочная, с лицом и волосами цвета меда.

— Ты, небось, думаешь, я рехнулся, но сегодня — ровно пять лет... и только мы с тобой видели, как она сорвалась вниз... кроме тебя, мне не у кого спросить...

— А вот и еще один! Ты опоздал. Я слышу, собаки залаяли, значит, думаю, кто-то еще пришел — вот я и включила свет на дворе. Входи.

Конечно, это была не Бонни. Эту девчонку он не знал — приземистая, волосы густые, каштановые и вьются. Джонни надвинул свою разбойничью шляпу пониже.

— Простите, мне бы хотелось поговорить с Бонни. Я ее не задержу.

— С кем? — переспросила девчонка. — Я почти никого не знаю... Честно говоря, я здесь впервые.

— С Бонни Бенедиктой, — произнес Джонни потише. ("Говори в нижнем регистре, Джонни", — советовал ему в свое время преподаватель дикции и драмы.)

— Я ее не знаю, — отвечала девчонка. — Но семья Бенедикта здесь живет. Входи и поищи сам.

— Прекрасно, — сказал Джонни. — Я здесь не задержусь. Мне просто нужно Бонни на минутку.

В дом входить он не собирался, но, когда она повернулась и уверенно двинулась, поглядывая на него через плечо, он шагнул вслед за ней в переднюю, где по стенам висели плащи, а на полу стояли резиновые сапоги, ведра и садовый инвентарь. В кухне, куда его ввела девчонка, горел яркий свет; она была просторная, прямо танцульки устраивай, хотя с одной стороны ее пересекала длинная стойка с теснившимися на ней чашками, блюдцами, телефоном, миской с яйцами, к которым присохла грязь. Тут же валялись какие-то бумаги. Около стойки расположились высокие, как в барах, красные табуреты. Другую часть кухни зани-

мала похожая на алтарь большая плита, в которой ярко горели дрова; перед ней покачивались, словно жрицы, еще две девушки. Левее размещалась обычная электрическая плита, но она бездействовала.

— Та, что в цветастом, — Джилл, а бритая — Эми, — сказала приведшая Джонни девчонка, махнув рукой сначала направо, а потом налево. — А меня зовут Полли.

— Джонни. Джонни Дарт, — представился он.

Девушки с нескрываемым любопытством смотрели на него — от их глаз не укрылись ни висевшие у него на шее наушники плеера, ни широкополая черная шляпа, ни старый блейзер в яркую полоску.

— Какая кухня шикарная, правда? — продолжала Полли. — Настоящая фермерская кухня!

— Извини, — возразила Эми. — На фермерских кухнях пользуются электроплитами. Вода давно бы уже закипела.

— Да ладно! — сказала другая, Джилл. — Они здесь уже пять лет живут. За пять лет всякое может случиться!

— Хочешь чего-нибудь выпить? — спросила Полли, кивнув на бутылки, стоявшие на краю стола. Джонни поглядел на них с опаской.

— Да я уже принял, — признался он.

— А кто не принял? — ответила Полли и щедрой рукой плеснула в стакан джина и лимонада, отправив туда не просто ломтики, а целые куски лимона. Джонни послушно взял из ее рук стакан — напиток оказался таким крепким, что он поперхнулся.

"Ты за это заплатишь", — неслышно предупредил Джонни внутренний голос. "Плевать — жизнь коротка, надо повеселиться, — так же неслышно ответил он. — Пусть знает, кто здесь хозяин!"

— Я бы хотел поговорить с Бонни, — повторил он в третий раз.

Джилл поглядела на него с удивлением. Хорошо, что хоть эта знает, о ком речь.

— А разве она здесь? — неуверенно спросила она. — Я ее не видела. Ты же знаешь, она не такая, как Хинеранги.

Джонни понятия не имел, кто такая Хинеранги.

— Тогда, может, с доктором Бенедиктой? — нерешительно спросил он и, вспомнив про младшую сестру Бонни, быстро прибавил: — Или с Самантой.

— Доктор Бенедикта и его жена там, — громко объявила Полли, указав пальцем на дверь. — Они хотят посмотреть новости в полночь. Будет репортаж о маршах протеста по всей стране.

— Неужели уже полночь? — ужаснулся Джонни и неосторожно глотнул еще джина с лимонадом. Конечно, будь голова у него ясной, он бы давно сообразил, что время для визитов слишком позднее. Правда, девчонки вели себя так, словно давно уже его поджидали.

Полли украдкой заглянула под его шляпу.

— Господи спаси и помилуй! — театрально вскричала она.

Не успел он и глазом моргнуть, как она смахнула шляпу с его головы — и девушки застыли, не сводя с Джонни глаз. Лампа под простым белым колпаком ярко освещала его лицо.

— Что с тобой приключилось? — спросила Полли. — Или это тебя так легавые разукрасили?

— В пятницу явиться в суд, — произнес Джонни, удивляясь их сообразительности. Вот уж не ожидал, что они так разволнуются.

— Свиньи! — воскликнула Джилл. — И как это только им все с рук сходит?!

— Любая система судебного принуждения есть просто орудие политической власти, — заметила Эми. — А юрист у тебя имеется?

Тут до Джонни дошло, что они не так его поняли.

— Да нет, это не легавые, — возразил он с улыбкой, хотя улыбаться ему было больно. — Просто я в пабе подрался, погорячился немного. Знаете, как это бывает!

Впрочем, он тут же увидел, что они его не понимают.

— Но ведь легавые тебя забрали? — настаивала Эми, явно не желая отказаться от своего предположения.

— Ну да... они нас разняли, — подтвердил Джонни, — только я не хотел себя называть. Думал, обойдется.

Девчонки выжидающе молчали. Он словно на чужом языке говорил.

— Вот и всё! — усмехнулся он. — Мне не впервой...

Они продолжали глядеть на него, но прежнего дружелюбия на лицах не было.

— Ты разве не принимал участия в марше? — спросила наконец Джилл.

— Нет, — ответил Джонни. — Я не марширую, я чечетку бью.

Он отпил еще, хотя теперь ему уже казалось, что девчонки переместились в конец переполненного людьми туннеля, стены которого того и гляди завалятся. Освещенные углы кухни понемногу заливала тьма. Наконец Полли заговорила — теперь в ее голосе звучала неприязнь.

— В таком случае что ты здесь делаешь? — поинтересовалась она. — Мы тут собрались после марша в защиту прав маори на землю. Это вечеринка для участников марша.

— Я же тебе говорю, — терпеливо разъяснял Джонни, — я хотел бы поговорить с Бонни Бенедиктой.

Ему казалось, что его ноги в башмаках отъехали далеко-далеко, телепались где-то там внизу и совсем его не слушались. Девчонки переглянулись.

— Сейчас спрошу, — сказала Полли и исчезла за дверью.

Из соседней комнаты вырвались на минуту звуки бурного спора, в котором принимало участие несколько голосов. Джонни надоело держать стакан в руке — он разом осушил его до дна.

— Мне всегда хотелось научиться чечетке, — призналась Джилл, — только особых способностей к танцам у меня нет.

— Всякий может попробовать, — произнес Джонни устало.

Дверь в соседнюю комнату отворилась — но это была не Бонни, а ее мать, доктор Рут Бенедикта. Джонни не видел ее со дня похорон. Если б он не боролся с тьмой, угрожающей заполнить всю комнату, он бы посмеялся над ее удивлением.

— Вы помните меня, доктор Бенедикта? — спросил Джонни с подчеркнутой вежливостью.

Он широко улыбнулся, словно где-то рядом, за кулисой, стояла мать и внимательно следила за его выступлением, чтобы после все обсудить.

— Джонни Дарт, — напомнил он Рут Бенедикте и покачнулся.

— Джонатан Дарт! — в ту же секунду воскликнула она. — Что ты тут делаешь в такой час?

— Извините, — пробормотал Джонни. — Я не знал, что уже поздно. Мне просто Бонни нужна — минут на десять.

Эми и Джилл за спиной у Рут Бенедикты выстроились рядком у печки. Вода в чайнике, судя по звуку, закипела, однако ни та ни другая не торопились заняться кофе.

— Бонни здесь нет, — сказала доктор Бенедикта. — Она теперь живет в городе, на квартире.

— А-а, — промычал Джонни. — Я и не знал.

Доктор Бенедикта заметила стакан на краю стола.

— Кто дал ему выпить? — недовольно спросила она. Джонни слышал каждое слово, хотя она говорила тихо, повернувшись к девушкам.

— Полли! — с негодованием выпалили Эми и Джилл.

Полли в кухне не было.

— Вы не могли бы дать мне адрес Бонни? — попросил Джонни, следя, чтобы голос звучал нормально. — Или телефон?

— Зачем она тебе? — возразила Рут Бенедикта все с тем же недовольством в голосе. — Вы ведь не очень-то дружили, а?

— Она была моей пифией, — отвечал Джонни с улыбкой.

Однако, заметив суровый взгляд Рут Бенедикты, торопливо прибавил:

— Это была такая игра. Она была пифией — предсказывала, давала советы, и все в рифму. Но это не важно. У меня есть для нее подарок.

И он похлопал по карману блейзера.

— Уверяю тебя, Бонни больше не занимается прорицаниями, — сказала доктор Бенедикта, пропустив слова о подарке мимо ушей.

— Я знаю. Она больше не может... не получается, — согласился Джонни. — Я просто хотел с ней повидаться. Сегодня вроде как годовщина. Пять лет как Дженин умерла.

Доктор Бенедикта посмотрела на него с сочувствием, однако шло оно не столько от души, сколько от чувства долга.

— Да, верно, — не сразу отозвалась она. — Скоро пять лет, как мы сюда переехали. Что тебе сказать, Джонатан, не знаю. Бонни, как я говорила, здесь нет. Уверена, утром ты на все посмотришь другими глазами...

— Тогда уже будет поздно, — прервал ее Джонни. — Утром все будет как прежде.

Но она продолжала, не обращая внимания на его слова:

— Я не хочу расстраивать Бонни. Она очень занята — готовится к выпускным экзаменам. Ты же знаешь, Джонатан, после смерти Дженин она очень долго не могла прийти в себя. Она ужасно переживала.

— Никто из нас тогда не веселился, — заметил Джонни, пристально глядя на доктора Бенедикту широко открытыми глазами. ("Осторожно", — сказал он себе, услышав, что его голос звучит враждебно.) Тьма заливала кухню, хотя свет по-прежнему горел. Суровое лицо доктора Бенедикты качалось, поблескивая, перед его глазами, вдали проступали силуэты Джилл и Эми.

— Да, конечно, — тут же ответила она, — только я, пожалуй, не дам тебе адрес Бонни, пока ты не вернешься домой, не отоспишься и не придешь в себя. Позвони мне сюда — не в лабораторию.

— Я в порядке, — возразил Джонни.

Он понимал, что доктор Бенедикта хитрит: номера Ривенделлской общины в телефонных справочниках не было, да и фамилия Бенедикта отсутствовала — он много раз смотрел.

— Боюсь, что тебе придется подождать, — произнесла Рут Бенедикта твердо. — Милый юноша, ты в ужасном состоянии. Я сейчас позвоню твоему отцу и попрошу его за тобой приехать.

Она взяла телефонную книгу, лежавшую на столе.

— Я бы просил этого не делать, — сказал Джонни. — Не очень он обрадуется. — Если она ему позвонит, отец опять разъярится: Бенедикты ему никогда не нравились. — Он уже сегодня устраивал концерт.

— Но вряд ли он будет доволен, если мы предоставим тебе самому добираться домой, — возразила доктор Бенедикта.

Видно было, что она и вправду обеспокоена, хотя и сердится на него.

— Мы уже с ним обсудили мои недостатки, когда вышли из полицейского участка, — сказал Джонни. — Горячее было обсуждение, и продолжалось оно довольно долго. По-моему, он ни одного недостатка не пропустил. Он предпочтет ничего больше не знать.

— Как ты сюда добирался? — спросила доктор Рут. — Последний автобус прошел час назад.

— В основном на такси, — ответил Джонни. — Дошагаю до города и возьму опять машину.

— Тебе до города не дойти, — заявила она решительно. — Удивляюсь, как ты вообще на ногах держишься. Да и потом... такси... влетит в копеечку...

— У меня кое-что осталось от прежних дней, — поддразнил ее Джонни. — Когда я был богат и знаменит... Ведь я был звезда!

— Помню, — сухо бросила доктор Бенедикта.

— Тут люди будут возвращаться в город, — вмешалась Джилл откуда-то из темноты кухни, которая, как казалось Джонни, была переполнена людьми.

— Макс поедет! — воскликнула Эми.

В ту же минуту дверь распахнулась и из соседней комнаты закричали:

— Рут! Рут! Иди скорее, а то пропустишь!

— Идите, а то пропустите! — повторил Джонни с улыбкой.

Доктор Бенедикта внимательно посмотрела на него. Она была сосредоточенна и спокойна — такая же, как всегда, насколько Джонни помнил; к тому же она ведь находилась в собственном доме, в окружении друзей. И все же Джонни смутно сознавал, что встревожил ее — вместе с ним в ее светлую кухню проник из ночи хаос, которому здесь не было места. Она схватила пластмассовое ведро и поставила его на пол возле Джонни.

— Мне нужно посмотреть новости, — сказала она отрывисто. — Если тебя будет тошнить, возьми, ради бога, это ведро. Не хочу подтирать за тобой пол.

Джонни остался на кухне один. В окне, не задернутом занавеской, он видел свое отражение — неясный темный двойник, черты лица не разобрать. Он поднял руку, чтобы снова надеть шляпу, — двойник сделал то же. В стекле Джонни видел полосы на своем старом блейзере, а на прохудившихся локтях аккуратно пришитые им самим желтые заплаты. На шее блеснуло что-то металлическое, словно голову ему отрезали, а

бритву оставили в ране; но это была всего лишь дуга, соединяющая наушники плеера. Впрочем, головы все равно как бы и не было. Джонни решил закрыть на минутку глаза, чтобы не бороться с подступающей тьмой. Но тут взгляд его упал на телефонную книгу. Придвинув книгу к себе, он раскрыл ее в конце — как он и думал, на оставленных там чистых листах были от руки внесены имена с телефонами. Имена прыгали по странице, словно головастики в мутном пруду, но, прищурив глаза и водя дрожащим пальцем по строкам, он наконец сумел прочитать их одно за другим. Добравшись до середины первой колонки, он увидел: "Бонни", а рядом телефон и адрес: улица Маррибел, дом 115. Джонни вынул ручку из зеленого стакана с карандашами и, поднеся левую ладонь к самым глазам, словно близорукий книгу, медленно, тщательно переписал на нее адрес и телефон.

Улица Маррибел. Что-то знакомое. Где-то ему часто встречалось это название... Что ж, по крайней мере не зря сюда притащился.

Джонни немного расслабился. Его вдруг охватила усталость. По спине пробежали мурашки. "Притулиться бы где-нибудь", — подумал он... но дверь распахнулась, и в кухню шагнула доктор Бенедикта. За ней вошли Полли и Джилл, стройный юноша-маори, кинувший на Джонни презрительный взгляд, а также полный мужчина в дорогой лыжной куртке с набитой книгами холщовой сумкой в руках. Лицо у него было добродушное, волосы выгоревшие, но густые и длинные.

— ...стоит попробовать, — говорил он, оборотясь. — Вообще-то мне не нравится, когда начинают скандировать лозунги, но...

— А что еще остается делать толпе? — отвечал отец Бонни, грубоватый мужчина с седыми волосами и умным лицом, поджарый и загорелый, словно он ежедневно бегал трусцой. — Мы стояли сзади и не слышали ни слова из того, что говорили выступающие. Не сомневаюсь, их доводы были разумны, только я их не расслышал.

— В следующий раз надо достать микрофоны помощнее, — сказала его жена.

— Хинеранги их, верно, перепутала, — предположил полный мужчина с сумкой. — Воображаю, как журналисты все это раздуют! Завопят про взрывные устройства, а всего-то была одна шутиха!

— Но они все же могут быть опасны, — нахмурилась Рут Бенедикта. — Придумали бы что-нибудь другое... Ее наверняка задержат — опять ей придется являться в суд.

— А где этот молодец, которого надо подвезти домой? — спросил, озираясь, мужчина с сумкой. — О господи! — воскликнул он, увидев Джонни, и расхохотался.

— Возьми с собой ведро, не стесняйся, — сдержанно предложила Рут Бенедикта.

Девчонки и темноволосый юноша-маори занялись кофе, изредка с подозрением поглядывая на Джонни.

— Боюсь, Джонатан, завтра тебе будет весьма не по себе, — сказал отец Бонни. — Но это пройдет, не правда ли, Макс?

— Надеюсь, не в моей машине, — отвечал тот.

— Тебе совсем плохо! — воскликнула Рут Бенедикта.

Джонни осторожно кивнул.

— А зачем тебе Бонни? — спросил доктор Бенедикта, положив Джонни руку на плечо и легонько подталкивая его к двери.

— Это секрет... — начал Джонни, но тут же смолк. ("Затем, — продолжал он с жаром про себя, — что однажды она соврала ради меня, а мне надо точно знать, почему она это сделала, ведь я иногда вспоминаю об этом по-разному и совсем не уверен, какое из воспоминаний верное, а она при этом присутствовала".)

— Это очень трудно объяснить, — сказал он вслух. И прибавил: — Она... все знает.

Сквозь мутное стекло памяти он видел Бонни и Дженин, склонившихся над кругом, выложенным из оборванных лепестков ромашки: они напряженно следили за тем, как Бонни подбрасывает в воздух карты с картинками. Карты падали снова в круг, и Бонни, не обращая внимания на открытые картинки, перевернула одну из тех, что легли рубашками вверх. "Башня!" – сказала она. "Опять!" – жалобно воскликнула Дженин. Джонни заглянул через плечо и увидел карту... Молния поражает башню, верхушка башни падает, и человеческая фигура с волосами, словно бледное пламя, летит вниз на скалы.

Отец Бонни похлопал его по плечу.

— Расскажи мне, — предложил он. — Я тоже все знаю. У нее это от меня.

Джонни не стал напоминать доктору Бенедикте, что обе его дочери — приемыши. Их никак нельзя было принять за родных сестер — супруги Бенедикта потому их и удочерили.

— Есть одна вещь, которую никто, кроме Бонни и меня, не знает. Я просто хотел... проверить, — сказал Джонни, на всякий случай незаметно скрестив пальцы, чтобы не сглазить.

— Не знаю, где сейчас живут Дарты, — говорила Рут Максу. — Мы не были друзьями. Просто Бонни очень любила Дженин, сестру этого юноши.

Видно, Макс не смог скрыть удивления, потому что она быстро прибавила:

— Должна сказать, что Дженин была очень умной девочкой.

— Надеюсь, они живут не на том конце города, — заколебался Макс. — Слишком уж поздно, чтобы разыгрывать доброго самаритянина.

— Довези его до стоянки такси на перекрестке, где ты сворачиваешь с шоссе, — посоветовала доктор Рут. — Он говорит, денег у него предостаточно. Спасибо за все, Макс.

— А-а, все мы были молоды и глупы, — сказал Макс. — Разве нет?

— Но не так глупы! — бросила доктор Рут.

— И не так молоды! — вздохнул ее муж.

Они вышли во двор и остановились возле старой, но очень красивой машины — Джонни с удивлением увидел, что это древняя "альфа-ромео". Он взглянул на достающего ключи Макса с уважением.

— Они с сестрой танцевали в этих жутких передачах, рекламирующих куриные ножки, — объясняла доктор Рут, словно Джонни тут вовсе и не было.

— Неужели? — удивился Макс. "Цып-цып-цып, сюда, цыплятки!" Эти?

— Не напоминайте, — содрогнулась доктор Рут.

— Я очень хорошо их помню, — произнес Макс, усаживаясь. В голосе его все еще звучало удивление. — О детях, выступающих на телевиде-

нии, почему-то никогда не думаешь как о реальных людях, которые вырастут, станут взрослыми...

— Взрослым стал я один, — сказал Джонни, садясь сзади на пассажирское место. — Ведро мне не понадобится. У чечеточников желудки крепкие.

— Они, поди, в этом нуждаются, — заметила доктор Рут с намеком, помогая ему забраться в машину. Тон у нее был весьма неприятный.

— Чечетку я бросил, — сообщил ей в окно Джонни. — Больше не танцую. И никогда не буду! И что, теперь я стал лучше?

Джонни не видел ее лица, но, когда она заговорила, голос ее звучал по-другому.

— Джонатан, я совсем не хотела сказать... — начала она мягко.

— Я знаю, что вы хотели сказать, — прервал ее Джонни. — Хоть я и пьян, а знаю. И всегда знал. О'кей?

Он улыбнулся ей самой ослепительной из своих телевизионных улыбок и захлопнул дверцу.

Макс попытался застегнуть на нем ремень.

— Я сам могу, — сказал Джонни.

— Тогда поехали! — воскликнул Макс, дал задний ход, а потом плавно выехал на аллею. — Бедная Рут... Бонни сейчас ни с кем не общается, и это ее беспокоит. К тому же все эти события сегодня. Рут — замечательная женщина, но вечно она беспокоится.

— Она ненавидела чечетку, — пробормотал Джонни. — Может, ей улыбки и блестки были не по душе.

Теперь, когда ремень был пристегнут, он почувствовал, что может немного расслабиться. Его трясло. Сунув руки в карманы, он нащупал сначала бумажник, потом кассеты, которые носил с собой на случай, если тишина станет невыносимой, и, наконец, подарок, который собирался отдать Бонни. Отправляясь в путь, он и не думал об этом, просто всегда носил его с собой и вдруг решил, что это будет хорошо. Он откинулся на спинку, чувствуя, что его крутит все быстрее и быстрее, и голова, словно большая центрифуга, швыряет во тьму клочья воспоминаний.

Глава вторая

Ночью Джонни проснулся, не понимая, где он и который теперь час. Впрочем, он не проснулся, а всплыл на поверхность из какой-то глухой бездонной ямы. Он знал, что на дворе ночь, но не сразу разобрал, где у него руки, где ноги и голова, и решил, что во всем виноват лунный свет. Он лежал, раскинув руки и ноги, словно распятый на колесе. "Джонни Дарт, — еле слышно шепнул он, вспомнив вдруг свое имя и не поднимая вжатой в землю головы. — Где это я?" А потом начал снова входить все в то же воспоминание. Входить и выходить из него. Он знал его наизусть, но оно не переставало его поражать.

И снова Дженин падала. На мгновение, когда ее ноги оторвались от земли, Джонни показалось, что она взлетела. Она вскрикнула, сорвавшись с обрыва, но резкий испуганный вопль теперь превратился в музыкальную фразу. Начало новой песни. Все произошло так быстро и просто. Невозможно было поверить в то, что случилось несчастье. Дженин всегда легко и уверенно бежала вперед, об-

гоняя его. Всю жизнь он не переставал умиляться ее легкости и изяществу. Не в силах поверить в то, что увидел, Джонни поднял глаза, ожидая объяснения от какого-то верховного существа, и там, наверху, на тропе, огражденной цепью, стояла под знаком "Опасно!" Бонни Бенедикта в наряде пифии с цепями, браслетами и перстнем со змеей – единственный, кроме него, свидетель произошедшего. Вечерний воздух, пронизанный ясным золотым светом, был тих и недвижим.

Бонни была не просто самой близкой подругой Дженин, но и настоящей сказочницей и прорицательницей. Даже в свои четырнадцать лет, когда он был уже далеко не ребенком, Джонни никак не мог до конца отказаться от подозрения: все происходит именно так, а не иначе просто потому, что это предсказала или придумала Бонни. Игра длилась годы, но перед тем, как случилось несчастье, они уже играли не совсем всерьез, подсмеиваясь над собой. Возможно, Дженин потому и не остереглась, что думала, будто со всем этим давно покончено, но в самом сердце игры, словно спящий змей, таилась древняя сила; впрочем, ведь это Дженин в свое время настаивала, что если играть, то только с риском. Глядя на стоявшую наверху Бонни в надежде, что она передумает и повернет все вспять, Джонни ждал: вот она подбросит карты вверх, Дженин взлетит над краем бездны и, твердо ступив на каменистый выступ, побежит, балансируя по самой кромке, бросая опасности вызов.

Но Дженин упала – и тут уж ничего нельзя было изменить. После первого потрясения жизнь как будто бы пошла по-прежнему. И хотя Джонни продолжал жить, учиться и взрослеть, ему иногда казалось, что для него все кончилось в тот день. Порой он видел себя лежащим плашмя на земле, придавленным этим событием, словно каменной плитой – он пытался выбраться из-под нее к настоящей жизни, которая ждала его с той стороны.

– А знаешь, Дарт, – как-то небрежно съязвил его приятель, – все говорят: если уж одному из вас и суждено было сорваться, жаль, что не тебе!

Джонни не удивился. Он и сам об этом думал.

"Где я?" – снова спросил он себя, всплывая из воспоминания, не оставлявшего его все эти годы. Ночью оно бывало особенно ясным, хотя одновременно и далеким, словно сон, от которого никак не избавиться, даже если открыть глаза.

Все болело; ощупав опухшее лицо и тело, которые были как чужие, он подумал: уж не удалось ли ему и вправду пробиться сквозь давившую плиту воспоминания, но при этом он вывернул себе руки и ноги и вообще тронулся. Лежа на спине, он глядел сквозь листья в небо, залитое неестественным светом.

Последнее, что он совершенно отчетливо помнил, была надпись "Община Ривенделл". Все, что произошло до того, также вспоминалось достаточно ясно. Он помнил ссору с отцом возле полицейского участка. Помнил, как отказался сесть в машину, пока отец не перестанет его учить, как зашагал прочь, а отец заорал ему вслед: "Ты еще вернешься! Куда ты денешься?" – "Тоже мне предсказатель!" – закричал в ответ Джонни и, пятясь, чтобы не выпускать отца из виду, стал уходить. Потом засмеялся и, повернувшись, быстро исчез в толпе.

Но *после* ривенделлской вывески в памяти не сохранилось ничего, разве что внезапно возникшее освещенное окно да еще дверь, из-за которой появилась доктор Рут Бенедикта. Он искал Бонни, потому что в го-

лове застряла безумная мысль: она может что-то сказать, хотя что именно ему хотелось услышать — он не знал. Кто-то предложил подвезти его в город — и он на удивление ясно помнил, как пытался пристегнуться.

Джонни медленно сел. Потом поднялся и увидел, что стоит в кустах на треугольном "островке безопасности для пешеходов" в том месте, где шоссе поворачивает через невысокую эстакаду в город и расходится на несколько улиц. Прямо перед ним над крышами и окнами домов вспыхивала и гасла ядовито-розовая неоновая вывеска АЛЬФА. Джонни понял, где находится: так назывался мотель для туристов, возле самого большого торгового центра в городе (полное название было длиннее, но АЛЬФА там присутствовала). Ему припомнилось, как он открыл глаза в чужой машине, где его сморил сон, как, отстегнув ремень, вылез и побрел к стоянке такси, которая располагалась неподалеку на одной из улиц за углом. "Тут, верно, я и отключился", — констатировал он без особой тревоги.

Вокруг простирался город, такой же, как прежде, и все-таки не такой. Джонни почему-то почудилось, что он попал совершенно в иное место и время. Чувствуя себя вконец больным, он сделал шаг... другой... Что-то двинулось вслед за ним, потянуло легонько за ремень — это были наушники от плеера, они свалились у него с головы и волочились следом, цепляясь за кусты. Джонни подобрал наушники и хмуро глянул на них. Он смутно помнил, как его выворачивало в этих кустах, но наушники были в порядке. Он напялил их на уши, а потом, повинуясь не столько памяти, сколько какому-то неясному инстинкту, пошарил в темноте под кустами и вытащил оттуда свою широкополую разбойничью шляпу. Плеер был по-прежнему пристегнут к поясу. Джонни нажал на кнопку. Ночь взорвалась звуками. Его оглушили музыка и голоса ансамбля.

НОГИ УВОДЯТ ВДАЛЬ.
ГОЛОВА ПУСТА.
ВСЕ СОЖГИ КРУГОМ.
НИЧЕГО НЕ ЖАЛЬ.

— Что происходит? — крикнул он городу. — В чем дело?

ИДИ, ИДИ, ИДИ, —
пели голоса.

БЕГИ СКОРЕЙ ОТСЮДА.
УШЕЛ, УШЕЛ, УШЕЛ...

И Джонни побежал, решив положиться на магию случая. С этой минуты указателями для него станут случайные вывески, надписи на стенах, рекламы, названия улиц... Тут он остановился и неуверенно посмотрел на тыльные стороны своих ладоней. "Нас ведут знаки", — сказала ему как-то Бонни. Он положится на знаки, которые предлагает ему город. Может, они и выведут его на нужную дорогу.

Однажды он случайно услышал, как Бонни говорила Дженин: "Убежать из дому! На самом деле это ведь значит: убежать к людям. Понимаешь?"

— Я бе-гу к лю-дям! — произнес он в такт своим шагам.

Он понимал, что надо бы ему домой, в постель, а он вот бежит по пустым улицам. Через час, через десять минут, в любую секунду он почувствует, что больше не может двигаться, и скажет себе: "Что я здесь делаю? Я, верно, спятил!" И поползет потихоньку домой.

В ТИШИНУ ОТ ЛЮДЕЙ,
В ТИШИНУ, –

пел ансамбль.

"Заброшен в тишину", – прошелестел голос Бонни. Только голос принадлежал ей – слова были его. Хотя Бонни куда-то исчезла сразу же после смерти Дженин, отзвуки ее слов, ее мыслей не оставляли Джонни, изменяя речи людей, а порой и реальность.

Он свернул на незнакомую улицу – сначала шли приличные магазины с освещенными витринами, но постепенно их заменили лавки поменьше и победнее; они гораздо больше соответствовали настроению Джонни, который чувствовал себя вконец измученным, грязным, больным. Спазмы тошноты волнами подступали к горлу, то и дело приходилось останавливаться, прислоняться лбом к прохладному стеклу ближайшей витрины и выжидать, пока тошнота наконец не отступит.

Бонни была лучшей подругой Дженин; даже когда Дарты переехали в Колвилл, они не потеряли связь, навещали друг друга после школы, а в праздники приезжали погостить. В девять лет, когда Джонни как раз перешел в новую школу, он начал вместе с Дженин выступать в рекламной передаче по телевизору, что сразу сделало его весьма заметной фигурой. Прежние друзья остались на другом конце города, и чуть не целый год, вместо того чтобы играть с товарищами после уроков, он таскался за старшей сестрой и ее подружкой по муниципальному заповеднику, со скал которого открывался вид на море. Заповедник назывался "Скалы над морем". Если Бонни была пифией, придумывавшей всякие истории и имена, то Дженин была режиссером, превратившим весь заповедник в сцену, на которой они разыгрывали разнообразные приключения.

Начинали они неизменно с одного. Вылезали под знаком "Опасно!" за цепь, ограждавшую тропу, и спускались по склону, пока не ступали на выступ, узкий, как коньковый брус на крыше. Крутой каменистый склон круто обрывался вниз, к острым скалам – вокруг ничего, кроме неба, чаек под ногами и моря, бесконечно вздыхающего и негодующего внизу. Лишь пробежав по выступу скалы, они начинали свои ритуальные игры. Влезали на деревья – всегда в определенной последовательности и в определенном порядке. Качались над ручьем на веревке, привязанной к ветке высокой ивы. Придумывали заклинания, пароли и тайные имена друг для друга.

Тошнота немного отступила. Джонни зашагал дальше, продолжая прислушиваться к давнему шуму прибоя. В отсветах города он различал полосы своего потрепанного блейзера, купленного на церковной распродаже в городском сквере. Красные полосы казались черными, черные выглядели еще чернее, а желтые мертвенно мерцали. Бумажник все еще был при нем – правда, на что там позариться? Хоть Джонни и сказал Рут Бенедикте, что денег у него навалом, на самом деле у него ничего не осталось, во всяком случае при себе. В бумажнике лежала книжка

на почтовый вклад[1], билет в клуб звукозаписи — и всё. В нагрудном кармане блейзера — только гребешок.

Когда-то Джонни безумно хотелось походить на Дженин и Бонни, быть втайне совсем иным — неистовым, необузданным, сильным, совсем другим, чем он был в повседневной жизни. ("Ты кто такой?" — злобно кричали ему школьные враги. Это был не вопрос, да он и не смог бы им ничего ответить.) Играя с Дженин и Бонни, он требовал, чтобы его называли Оборотнем, Человеком-волком.

Девочки помалкивали, искоса следя за ним из-под растрепанных волос – у Дженин они были белые, как пух одуванчика, а у Бонни – желтовато-коричневые, какими порой бывают цветки жимолости. И кожа того же оттенка. Джонни никогда не встречал никого с таким цветом волос и кожи. Впрочем, это объяснялось тем, что в жилах ее, как выражалась мать, текла "смешанная кровь". Миссис Дарт никак не могла понять, почему супруги Бенедикта взяли на воспитание девочек, которые так не походили на них.

"Иди и играй со своими друзьями", – нетерпеливо сказала Джонни сестра. Джонни почувствовал себя задетым: она ведь знала, что друзей у него не было.

"Пусть карты скажут!" – воскликнула Бонни, подбрасывая карты в воздух. Джонни и Дженин подошли поближе. "Гляди-ка! – удивилась Бонни. – Луна! Значит, он может быть Оборотнем.

И будет он один в своем лесу бродить,
Стенать и выть..."[2]

Джонни всегда казалось, что пифия – это огромная змея, но Бонни сказала, что это жрица, которая предсказывает судьбу в рифму.

"Твой лес всегда с тобой, – объявила она Джонни. – Но ты его будешь видеть лишь в полнолуние".

Она что-то пробормотала про себя и подняла глаза к небу.

И в час, как полная луна засеребрится в тучах,
Ты будешь волк – лесной король, всевластный и могучий... –

пообещала она ему в конце концов.

ДАВНЫМ-ДАВНО В БЫЛЫЕ ДНИ... — яростно закричал ансамбль Джонни в ухо, когда он свернул на другую улицу; выпитое снова ударило ему в голову — пришлось сесть и подпереть руками голову.

Ночной ветер, пролетая над городом, набросился на него, ударил лапами в грудь, лизнул лицо ледяным языком. Джонни ожил, поднялся на ноги и, повернув против ветра, добрел до главной улицы; напротив маячил еще один перекресток. Уличные фонари взирали на него с высоты, казалось, верхушки столбов гнутся под их тяжестью. Фабричные фасады были ярко освещены. Вывески на заборах предостерегали, что они находятся под охраной электроники, собак, сторожей. В цепких лучах света Джонни съежился, затосковал. Ветер лениво шуршал мусором в канаве. Сухие бумажки дергались, взлетали, замирали. Понаблюдав за их нето-

1. В некоторых англоязычных странах почтовые отделения выполняют также функции государственной сберегательной кассы.
2. Здесь и далее, за исключением специально оговоренного случая, стихи даются в переводе И. Бернштейн.

ропливой пляской, Джонни глянул на название улицы — и кивнул, словно так и предполагал, что окажется именно здесь, единственным человеком в ненастоящем, призрачном мире. Он перешел на другую сторону, свернул за угол и пошел по улице, вдоль которой тянулись какие-то строения, площадки для разгрузки товаров, ограды из стальных труб и металлической сетки. Песчаный берег или склон горы остаются сами собой, даже если там нет ни души, но городская улица зависит от людей и машин. Без них ее подлинное назначение теряется до утра, она становится жутковатой и жалкой. Кассета кончилась, но Джонни не стал ставить новую, а просто скинул наушники. Хватит с него на сегодня.

Внезапно заборы исчезли. Джонни увидел огромную автостоянку, а за нею несколько магазинов и возвышающееся над ними просторное здание супермаркета. Он почувствовал себя человеком из космоса, вернувшимся на Землю после атомной катастрофы, во время которой люди погибли, а здания остались. Он не решался войти в это огромное пустое пространство, где был бы единственным живым существом во всем мертвом городе.

Чуть впереди светофор сменил красный свет на зеленый. В предрассветной тишине Джонни с удивлением услышал щелчок автомата.

"Иди!" — велел ему город. Джонни двинулся по обезлюдевшей площади. Дойдя до середины, тревожно оглянулся — ему показалось, рядом кто-то движется. Это стекла витрин отражали его движения — дергающимся темным силуэтом. Краем глаза Джонни продолжал следить за ним, хотя и удалялся от магазинов все дальше и дальше.

Вдруг, испугавшись, словно ребенок, он увидел, как в стекле что-то еще сдвинулось. Что-то, дрожа отражением, направлялось ему навстречу. Невероятно, но каменная пустыня изрыгнула еще одного обитателя. Им предстояло встретиться посреди пустой автостоянки, освещенной мутными огнями безлюдного города. Он повернул голову. С другого конца площади навстречу ему брела невысокая фигура, толкая перед собой тележку из супермаркета. Через минуту он увидел, что это была худощавая старушка в шляпке, похожей на красный ночной горшок без ручки. Из-под шляпки выбивались пряди седых волос, свисавшие на уши. Джонни подумал, что сам он в своем полосатом блейзере, закапанной кровью рубахе и синих джинсах тоже может показаться ей странным — лицо распухло, темные волосы всклокочены.

Он шагнул в сторону, чтобы ей легче было с ним разминуться, но и она повернула и пошла прямо на него, будто собираясь сбить его тележкой с ног, а потом подхватить и уволочь. Город нацелил их друг на друга — так, по крайней мере, показалось Джонни. Одно хорошо — он не знал этой старухи. Может, пока он спал в кустах, прошло сто лет, может, теперь он встретит мать или одну из своих сестер-двойняшек, обезображенных временем. Он разглядел глубокие морщины на лице старушки; глаза скрывала шляпка в виде горшка.

Джонни застыл на месте, давая ей возможность пройти мимо, но она направилась прямо к нему и поглядела на него с улыбкой, словно ожидая, что он с нею заговорит. Джонни молчал. В конце концов она сама прервала молчание.

— Это ты? — спросила она.

Голос у нее был старческий, но выговор ясный, четкий, интеллигентный, словно она принадлежала к той же компании, что и супруги Бенедикта.

— Это вправду ты? — повторила она.

— Не знаю, — ответил Джонни. И тут же добавил: — Меня зовут Джонатан Дарт.

Она удивилась.

— Я и не знала, что ты сменил имя, — спокойно заметила она, а потом вдруг проговорила решительно и властно: — Ну ладно, я не собираюсь всю ночь здесь торчать. И никому не позволю решать за меня. — Она нахмурилась, многозначительно закивала, а потом пошла дальше. Пройдя несколько шагов, обернулась.

— Так ты идешь или нет? — спросила она. — Не знаю, как ты, но я не отказалась бы от чашечки горячего чая. За покупками сейчас отправляться бесполезно. Магазины все заперты! Должно быть, воскресенье. — И, отойдя, снова повторила: — Так ты идешь?

Мимо с ревом пронесся белый фургон — первая машина, которую Джонни увидел за все время ночных скитаний. Судя по реву, выхлопная труба у него отсутствовала. Кто-то закричал и швырнул пустую пивную жестянку из темного окна фургона. Она подскочила раз... два. Шум мотора затих вдали, а банка все катилась, рождая негромкое металлическое эхо. При одной мысли о пиве Джонни опять замутило, спас только страх опозориться в присутствии свидетельницы. Он пришел в себя — жестянка еще катилась. Видно, отведенный под стоянку участок хотя и казался совсем ровным, имел небольшой уклон.

"Доведу ее до угла, — подумал Джонни. — Просто чтобы убедиться, что она в безопасности". Однако, спеша за ней, словно послушная собачонка, он чувствовал, будто добровольно поддается какой-то магии.

— А тебя-то как зовут? — спросил он нарочито небрежно и неуважительно, чтобы она не подумала, что он теперь в ее власти.

— Все так же, — удивилась она. — Имя меняешь, только когда замуж выходишь.

— Подскажи хотя бы, — предложил Джонни, шагая рядом с ней.

— Софи! — вскричала она. — Я ангел мудрости. София! Вспомни доброе старое время!

— Иди ты! — помолчав, отозвался Джонни. — Господи, до чего же я рад, что наконец тебя встретил. Ты можешь мне очень помочь.

Но она только улыбнулась, словно не сомневалась в том, что они друзья, и, не выпуская тележки, вывела его со стоянки и свернула на какую-то улицу с односторонним движением.

Глава третья

По пути Джонни размышлял о том, кто же кого ведет, он эту ночную птицу или она его. Впрочем, в такую рань — половина четвертого утра — конторы и магазины существовали только для каких-то своих непостижимых целей, и никаких убедительных доказательств человеческой жизни кругом не было.

Узкую надпись на кирпичной стене "Изделия из пластмасс" можно бы запомнить как ориентир. На дорожке кто-то написал: "Барри любит Кармен" и алой краской из пульверизатора нанес вокруг расплывшийся контур сердца. Джонни, Робинзон Крузо с "островка безопасности", нашел себе довольно странного Пятницу.

"Пятница", — вдруг пронеслось у него в голове.

Мысль о суде не очень-то обрадовала, впрочем, после долгого беспамятства приятно было хоть что-то вспомнить.

Изящная вывеска гласила: "Системы искусственного интеллекта". Другая была попроще: "Улица Маррибел". Как на всех улицах, надпись была нанесена черной краской по белому фону и укреплена на телеграфном столбе. Джонни остановился и, хмуря брови, с удивлением уставился на надпись. В памяти что-то мелькнуло, забилось, но тут же исчезло во тьме, где была свалена в кучу самая разная информация. Старушка, опередившая его на несколько шагов, остановилась и с недоумением посмотрела на него, словно побуждая поторопиться. Джонни не сводил глаз с названия улицы, манившей его каким-то мучительным соблазном, но что она обещала — никак не мог вспомнить. Она же не раскрывала своей тайны — до поры по крайней мере. Наконец он сдался и, как завороженный, снова поплелся за своей призрачной проводницей.

Они прошли три квартала, миновали три перекрестка, на углу которых щелкали светофоры, регулирующие отсутствующее движение. Впрочем, старушка неизменно пережидала, пока красный свет не сменится на зеленый, хотя по всей улице, которая тянулась в обе стороны насколько хватало глаз, не видно было ни одной машины. Белые стрелы, нанесенные на мостовую, предупреждали, что движение по этой улице одностороннее. После третьего перекрестка они оказались возле старого торгового центра, попроще и пообшарпаннее того, что оставили позади. Некоторые лавки стояли пустыми, стекла в них были выбиты, окна забраны фанерными щитами. На углу расположилась почта, наискосок через улицу — пивная.

— Паб "Колвилл", — прочитал Джонни и снова застыл: в него будто током ударило воспоминание.

Все это время он твердо верил, что отдался во власть слепого случая. Но ноги, не спрашиваясь, предательски привели его назад, в мучительное прошлое. Небось потому табличка с названием "улица Маррибел" и показалась ему вдруг столь значительной. Верно, это было предупреждение, которого он не понял. Ведь именно здесь, в школе за углом, его заставили бить чечетку в мужском туалете. Помимо воли перед ним ясно возникло лицо Нева Фаулера, который преследовал его дольше других: Нев схватил его за воротник, сунул головой в унитаз и спустил воду — волосы у Джонни были только что обесцвечены и уложены для выступления. Он вспомнил и другие, еще более страшные вещи: кончив школу, Нев Фаулер пристегнул себе на пояс нож и пообещался его убить. Чуть не целый год Джонни всерьез верил, что Нев собирается перерезать ему горло и только выжидает, когда подвернется случай. Дома он боялся даже заикнуться о том, что чечетка в телевизионной рекламе может стоить ему жизни.

"Это только первый шаг на звездном пути!" — любила повторять миссис Дарт в те дни. Ее восхищала дивная работа, предложенная Джонни и Дженин телевизионным агентством; ее радовали не только деньги, но и надежда на то, что дети станут звездами и, можно сказать, войдут в сонм бессмертных.

Софи остановилась у почты и растерянно посмотрела на нее.

— Надо бы снять со счета немного денег, — неуверенно произнесла она. — Не люблю, когда мне денег не хватает.

— Конечно, — согласился Джонни. — Тебе и так уже кое-чего не хватает.

От этой дурацкой шутки на душе полегчало.

— Почта закрыта. Завтра придешь.

Почта осталась позади; тени безмолвно сопровождали их — то спереди, то рядом, то сзади, то удлиняясь, то укорачиваясь в свете уличных фонарей. Они прошли еще какое-то здание, на котором сияла надпись "Интегральная электроника". Потом потянулось железнодорожное полотно. Возле путей Джонни с удивлением увидел еще одну пустую тележку, непонятно как попавшую сюда из супермаркета; она сверкала на грубом гравии.

— Я эту дальше не повезу, — объявила Софи, вызывающе взглянув на Джонни.

Она, видно, ждала, что он заспорит, но он лишь равнодушно пожал плечами. Софи аккуратно поставила свою тележку вровень с другой.

— На меня они эту ответственность не взвалят, — доверительно произнесла она и закивала со значением.

— О ком это ты? — спросил Джонни.

— О тех людях, что живут со мной рядом, — пробормотала она и посмотрела на него из-под своей красной шляпки так же мрачно, как он из-под своей черной.

Дорожка кончилась. Они прошли по гравию, потом пересекли, правда не без труда, железнодорожное полотно. В своих черных туфлях без каблуков Софи неуверенно шагала по путям. Джонни все еще чувствовал себя совершенно разбитым, однако ступал твердо. Впрочем, такое уж у него было свойство.

В свое время он наслаждался чечеткой. Чего-чего, а этого у него было не отнять. Порой, когда ему случалось танцевать, он прямо-таки воспарял, будто освобождаясь от земного притяжения. Танцевал он, конечно, на людях, но чувство было глубоко личным. Его ноги касались земли лишь потому, что надо же было как-то передать сложный рисунок ритма. Он совершенно забывал о том, как его зовут и где он выступает, — он делался воплощением ритма, остановившего на нем свой выбор в поисках внешнего выхода. Ежевечернее появление на цветных экранах в тысячах домов совершенно его не трогало. Просто ему не повезло, что среди них оказался и дом Нева Фаулера.

Тропа продолжалась и по ту сторону железнодорожного полотна. Джонни с Софи прошли мимо высокого забора с оторванными кое-где досками — там на заросшем участке располагалась автосвалка. Из сорняков и травы торчали остовы старых машин, побитых, со снятыми частями.

"Далеко ли еще?" — подумал Джонни. А вдруг его спутница и сама не знает, куда идет, впервые мелькнуло у него в голове. Он представил себе: подъезжает к супермаркету семья, выбрасывает из машины бабку, как надоевшую кошку, и, воровато оглядываясь, уезжает. Когда-то Джонни принес в дом кошечку, от которой избавились вот так же; однако теперь она больше всех любила его мать. Лицо саднило, казалось, что оно превратилось в маску. Надо решить, какое выражение больше всего понадобится ему в следующие двадцать четыре часа, а то начнешь менять, а маска треснет и раскрошится. Миг — и от всего лица ничего не останется, а перед общественностью предстанут в кровь разбитое мясо да обнаженные нервы.

Путешествие близилось к концу. Позади заросшего участка с остовами машин виднелись два старых дома; высокие, узкие, похожие друг на друга, как два близнеца, они были построены в начале века, давно пришли в запустение, но все еще выглядели прилично.

Джонни с удивлением посмотрел на первый из них. Меж верхних окон на улицу торчал гигантский водопроводный кран, старомодный, выкрашенный в лиловый цвет. Если в таком кране открыть воду и забыть ее перекрыть, она может залить весь город. Даже если вода будет просто капать — опасность возникнет серьезная. В каждой такой капле будет воды галлона[1] два, не меньше. Прямо под краном шел узкий балкон, куда выходили еще два освещенных окна; второе, зашторенное, словно хитро подмигивало кому-то.

"Я-то знаю, да не скажу", — говорил дом Джонни. Из-за узких штор на балкон выбивался яркий желтый свет. Черная тень от балкона, падающая на тропу, походила на дыру. Может, в ней кроются водопроводные и канализационные трубы, идущие под городом. Ворота гаража, судя по всему, много лет не отворялись.

На воротах кто-то намалевал: ТЫ ТОТ ЧЕЛОВЕК, КАКИМ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ ТЕБЯ ГОСПОДЬ? Но кто-то другой замазал синей краской слово "человек", вписав вместо него "овца", и прибавил еще несколько слов, так что теперь надпись гласила: ТЫ ТА ОВЦА, КАКОЙ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ ТЕБЯ ГОСПОДЬ? ЗАПРЕТИТЬ ЭКСПОРТ ЖИВЫХ ОВЕЦ В ИРАН! "От лозунгов и политики никуда не спрячешься, — подумал Джонни. — Все из-за чего-то дергаются, всем что-то нужно рассказать". Рядом с воротами в гараж была еще одна дверь, тоже запертая, но без надписей; она плотно прилегала к косяку, ручки не было, только замочная скважина. На этой двери висел древний почтовый ящик, а прямо под балконом, между воротами и дверью, на стене красовалась длинная надпись:

ДОМ С КРАНОМ
ЭРРОЛ ВЕСТ: МАСТЕР ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.
Водопроводные работы и обслуживание.

На втором доме надписей не было, но какие-то хулиганы разбили почтовый ящик пополам. Ящик с отбитой крышкой криво болтался на болтах. "Писем туда, наверное, не бросают", — подумал Джонни, с грустью взглянув на него. И все же кто-то в этом доме письма, должно быть, получал. На ступеньке перед дверью стояла чистая бутылка из-под молока.

Софи принялась рыться в сумке, набитой какими-то кошельками, бумажными салфетками и конвертами. Она заглядывала в конверты, отдергивала молнии во внутренних отделениях, совала туда узловатые пальцы, что-то нетерпеливо приговаривая и огорченно охая.

— Я знаю, что брала ключ с собой, — призналась она наконец. — Он случайно не у тебя?

— Нет у меня ключа — посмотри! — ответил Джонни, поднимая руки с растопыренными пальцами.

— Может, эти люди в том доме... — произнесла Софи и, повернувшись всем телом, с подозрением глянула на соседний дом. Словно в ответ в окнах зажегся свет.

— Они знают, что ты им спуску не дашь, — сказал Джонни. — А в карманах ты посмотрела?

1. Галлон в английской системе мер равняется 4, 546 литра.

— Ну нет! — воскликнула Софи. — В карман я ключи никогда не кладу. — Ее голос, серьезный и озабоченный, вдруг повеселел. — Я всегда вешаю их на шею.

И тут же, не колеблясь, вытащила из-за пазухи своего винилового плаща длинную тесемку, на которой болталось несколько ключей.

— Память у меня не так хороша, как хотелось бы, — доверительно призналась она и, оттянув тесемку, посмотрела на ключи. — Но я всегда прячу их у себя на груди: ведь если потеряю, их кто угодно может найти. Возьмет и явится с улицы прямо в дом. Представляешь?

— Да, всякое бывает, — согласился Джонни и осклабился, словно Оборотень, хотя до полнолуния было еще далеко.

Софи выбрала ключ, который выглядел вполне подходящим. Сунула в замочную скважину — ключ и вправду подошел. Повернула его. Дверь распахнулась. Джонни увидел крошечную переднюю; по стенам на крючках висели пальто и плащи, а за лестницей в глубь дома шел коридор. В передней было тесно; стоявшая под вешалкой тележка, тоже, видно, из супермаркета, с грудой обуви на ней, еще увеличивала тесноту.

— Одну тележку мы оставили у железнодорожного полотна, — заметил Джонни.

— Да, две нам не нужны, — деловито подтвердила Софи. — Знаешь, там тележки не всегда бывают. — И вошла в дом.

Джонни замялся. Оборотень он там или нет, но в этот дом, может, войдешь, а потом никогда из него и не выйдешь. Он представил себе, как годы спустя новый хозяин Дома с краном откроет дверцу стенного шкафа и обнаружит, что там на крючке висит Джонни Дарт, пожелтевший, высохший, но все еще узнаваемый.

— Ты что, там всю ночь стоять собираешься? — спросила Софи и легонько потрясла дверью.

Джонни все мялся, переступая с ноги на ногу, — может, этот дом и заколдован, но ему так хотелось где-то присесть отдохнуть. Он не позволял себе даже думать о том, как чудесно было бы прилечь. Он оглянулся, смутно надеясь на какую-то подсказку, и вдруг заметил, что с балкона соседнего дома за ним наблюдают. В слабом свете, падавшем из окна, виднелась какая-то фигура — неясный, странный силуэт. Джонни показалось, что он видит удлиненную голову, совершенно лишенную волос. Вздрогнув от мысли о пришельцах, он быстро переступил порог — Софи захлопнула за ним дверь.

В доме стояла ужасающая вонь, от которой все его мысли вмиг испарились. Дышать носом было решительно невозможно — он попытался дышать ртом, захватывая как можно меньше воздуха и поскорее его выдыхая. На лестнице, уходившей вверх в темноту, слышалось движение: кто-то тихонько убегал, что-то шуршало, населявшая дом живность мягко отступала. В голове у него спорили несколько человек: добросердечный парень, который когда-то был скаутом и просто хотел довести старушку домой; сумасшедший Оборотень, рыщущий по городу в поисках магических следов, однако и сам не знающий, чего же он собственно ищет; и третий, у которого было немало общего с этими двумя, только он был гораздо реальнее и в любую минуту мог взять дело в свои руки и спросить: "Да что я тут делаю? Как это я влип в такую историю? Где тут выход?"

Все это осложнялось тем, что Джонни сильно мутило; он понимал, что скоро его начнет выворачивать. Надо было срочно что-то предпри-

нять. Борясь с позывами к рвоте и в то же время стараясь как-то дышать, он поднялся вслед за Софи по узкой лестнице на крошечную площадку, скупо освещенную лампочкой без абажура. Лестница здесь не кончалась, а поворачивала и шла дальше вверх; однако Софи отворила ближайшую из дверей, выходящих на площадку, и шагнула через порог.

Джонни покорно последовал за ней. Взору его на миг предстала комната. Но в ту же секунду пространство распалось. В комнате было полным-полно кошек — Джонни никогда не видел столько в одном месте. При виде незнакомца кошки в ужасе бросились в открытые двери — лишь одна распласталась на коврике перед камином и приготовилась к обороне, да еще одна, свернувшаяся калачиком в кресле, чуть шевельнулась, но не тронулась с места.

— Кис-кис-кис! — позвал Джонни слабым тонким голосом.

Кошка перед камином, решив, что ей ничто не угрожает, немного расслабилась, хотя и не спускала с Джонни глаз. Другая, свернувшаяся в кресле, не двигалась. Изогнувшись всем телом, обвив себя пушистым хвостом, она лежала неподвижно — лишь полузакрытый зеленый глаз выглядывал наружу. "Вот бы мне так свернуться, — подумал Джонни, — отгородиться от всех, изогнуться кольцом, сам себе начало и конец".

— Софи, — произнес он с усилием.

В комнате отвратительно пахло, помимо кошек воняло еще чем-то грубым, химическим, словно тут жгли резину.

— Софи, — повторил он, давясь, — где здесь туалет? Мне срочно нужно.

Софи повернулась и осуждающе посмотрела на него.

— Няне не понравилось бы, что ты говоришь "туалет", — отозвалась она возмутительно медленно. — Надо говорить "уборная".

— Где она? — пробормотал сквозь сжатые зубы Джонни.

Ему хотелось закричать на нее, но он чувствовал, что это опасно.

— Дай-ка подумать, — проговорила с расстановкой Софи, задумчиво оглядываясь.

Джонни в отчаянии сглотнул и ринулся в одну из распахнутых дверей. Там горел свет, стояла кровать, покрытая криво свисавшими одеялами, поверх которых лежал еще странный коврик из бирюзового меха. Джонни круто развернулся, выскочил на площадку, распахнул вторую дверь и, к величайшему облегчению, обнаружил щербатую ванну на высоких лапах, массивную раковину и старомодный унитаз с бачком наверху, с которого свисала раздерганная веревка. Джонни едва добежал. Из-за ванны на него с понятным отвращением взирала полосатая кошка.

Когда наконец ему полегчало, он, не поднимаясь с корточек, откинулся назад. Кошка взлетела на раковину, внимательно посмотрела вверх, взвилась в воздух, приземлилась на бачок под потолком, а оттуда сиганула в маленькое оконце, в которое когда-то были вставлены квадратики стекол. Кинув на Джонни презрительный взгляд, она повернулась, дернула хвостом и исчезла, спрыгнув, судя по всему, на жестяную крышу где-то в темноте.

Измученный, дрожащий Джонни поднялся. Он свято верил, что никогда в жизни больше не напьется. Он видел себя в будущем — веселый, свойский парень улыбается и накрывает стакан ладонью, когда ему предлагают выпить, без лицемерия, спокойно, но твердо. Отныне он будет пить лишь натуральный фруктовый сок.

До чего чудесна современная канализация! Сейчас все его прегрешения исчезнут. Он дернул за веревку — но ничего не произошло. Он

дернул покрепче — наверху что-то заскрипело и недовольно заурчало. Система испустила вздох и содрогнулась. Она была еще в худшем состоянии, чем он. Ему стало стыдно, что он требует от нее непосильного. И все же он рванул веревку с такой силой, что вся ванная комната задрожала; в ответ — наконец-то! — раздался рев, какое-то икание, потом снова рев, и в унитаз с гневом низвергся поток воды. Джонни облегченно вздохнул и стал было мыть руки, но тут, к своему удивлению, обнаружил, что засохшее мыло — это на деле кусок сыра, втиснутый боком в мыльницу. Заметив щеточку для ногтей с серыми, погнувшимися щетинками, он энергично потер ею руки. Полотенце отсутствовало, хотя по краям ванны аккуратно висели грязные тряпочки. Стряхивая воду с рук, Джонни вдруг заметил у себя на левой ладони какую-то надпись. Он попытался ее прочесть, но старенькая щетка поработала на славу. Джонни никак не мог разобрать, что он там написал, и наконец поднял мокрую ладонь вверх, поближе к свету. "Улица Маррибел", — прочитал он, не веря собственным глазам, — остальное было смыто. Но не успел он это обдумать, как в соседней комнате послышался вопль — пронзительный, жуткий. Небось хозяйка жарит себе на ужин кошку, решил Джонни, но крик не смолкал, а становился все громче и громче. Кто же там вопит без передышки, не останавливаясь даже для того, чтобы набрать воздуха в легкие? Джонни отправился на разведку.

Вопил чайник, стоявший на раскаленной докрасна конфорке. Из носика чайника вырывались облачка пара, напомнившие Джонни о надписях в комиксах.

Софи стояла в кухне у окна, выходившего на балкон. В панике заглядывая в шкафчик под раковиной, она тщетно пыталась установить, откуда раздаются вопли. Джонни протянул у нее над головой руку, снял с плиты чайник и поставил на небольшой холодильник. На столе в два серебристых ряда выстроились крышки молочных бутылок из фольги — похоже, Софи собиралась затеять с ними какую-то игру.

Всюду виднелись кошачьи следы. На кухонном столе лежала розовая бумажка. Кто-то на ней проставил: "Двенадцать долларов". И подписался: "Спайк". Джонни механически пробежал расписку глазами. Она лежала у него прямо под носом.

— Чашку чаю, Софи? — спросил он.

"Чего там, вода же вскипела", — подумал он.

— Сию минуту дам тебе чашечку чаю, — радостно отозвалась она. — Я помню, какой ты любишь.

И Софи улыбнулась ему с такой бесконечной добротой, что в душе у Джонни впервые шевельнулось какое-то чувство, не имеющее ничего общего ни с любопытством, ни с суеверием, ни с жалостью или брезгливостью. Что это было за чувство, он затруднился бы сказать, но оно властно заявило о себе, словно это он был безнадежен и стар, а она — неопытный юнец, попавший в опасный водоворот безжалостного ночного мира.

— А-а, вон она где! — вскричала Софи, хватая свою сумку с таким выражением, словно собиралась заваривать в ней чай.

И тут же застыла с сумкой в руках, растерянно глядя на нее, понимая, что тут что-то не так.

— Тебе нужен чайник для заварки, — подсказал Джонни.

Чайник нашелся. Рядом с ним стояла жестянка с надписью "Чай", но чая в ней не оказалось. Джонни повернулся и просто так, для проверки,

открыл шкаф. Оттуда выпало семь — именно семь и никак не меньше! — пачек печенья. Софи нахмурилась.

— Это мои... Как же они называются... эти штуки?

Она замолчала, перебирая в уме всевозможные слова, безуспешно пытаясь припомнить нужное.

— Иди-ка отсюда, — сказала она с улыбкой, но твердо выпроваживая Джонни из кухни. — Сядь где-нибудь, отдохни, а я принесу тебе чай.

Джонни переступил через целый архипелаг кошачьих мисок со скисшим молоком (в одной лежали нарезанные дольки банана) и вышел из кухни. Ему безумно хотелось спать — заснуть бы по-настоящему, глубоко! — но это казалось недостижимым.

В гостиной на полу лежал относительно новый ковер, правда, давно не чищенный и не метенный, стоял небольшой столик, четыре металлических стула с виниловыми сиденьями, широкий диван, когда-то, похоже, обтянутый простецкой зеленой шотландкой, и кресло, всё в кошачьей шерсти. У стены примостился небольшой секретер с откинутой крышкой и аккуратными отделениями для бумаг. В одном из них Джонни увидел кожуру от банана, в другом — туалетную бумагу (которой в уборной не было). На стене висели две картины: на одной утки опускались на воду, их лапы и поднятые крылья четко выделялись на фоне яркого заката; на другой — по огромной равнине бешено скакали кони. Выйдя из гостиной, Джонни увидел темную лестницу и, поднявшись по ней, обнаружил на следующем этаже площадку и еще две просторные комнаты. Судя по всему, это и были настоящие спальни, так как комната, в которой, по-видимому, спала Софи, первоначально скорее всего предназначалась для завтраков. В одной из комнат Джонни увидел двуспальную кровать с матрасом, подушкой и четырьмя одеялами, сложенными в ногах. Внизу снова завопил чайник, но на этот раз тотчас смолк. Несмотря на кошек, запах и сыр в мыльнице, Джонни ужасно хотелось улечься на кровать.

"Какого черта я тут все осматриваю? — недовольно подумал он. — Можно подумать, собираюсь остаться". Правда, если поразмыслить, больше идти ему было некуда.

— Ты здесь? — позвала Софи с площадки, прибавив какое-то имя, которого Джонни не разобрал. Голос у нее был старческий, но манера говорить четкая и даже изящная.

Спустившись, Джонни увидел, что она поставила на небольшой столик пять чашек с блюдцами, а чайник накрыла бабой с разбитым лицом и юбкой из грязноватых цветных лоскутов.

— А теперь пирожные! — радостно вскричала Софи, исчезла и вскоре вернулась, держа в руках огромное обливное блюдо с отбитым краем, на котором лежали пачка печенья и шоколадный кекс в целлофановой обертке. Джонни, начавший понемногу привыкать к царившему в доме запаху, обрадовался при мысли о предстоящем безумном чаепитии. Такова жизнь с ее тайнами: это тебе не хорошо отлаженный точный, великолепно смазанный механизм со множеством выверенных циферблатов, а никому не понятный, безумный конгломерат кое-как пригнанных, спотыкающихся частей — тут и огромный кран, и сыр в мыльнице, и вязаная баба с разбитым кукольным лицом на чайнике. Джонни всегда различал неровный стук этой машины даже под чистой и благополучной поверхностью собственного дома. А теперь он увидел

ее воочию. Софи присела на краешек стула и поглядела на него поверх заварочного чайника.

— Только не думай, — заявила она неожиданно, — что раз ты здесь... — Она помолчала и прибавила: — ...то можешь всякое себе позволить.

У Джонни от удивления отвисла челюсть.

— Никогда не знаешь, куда такое может завести, — сказала Софи.

— Ну ладно, — придя в себя, ответил Джонни. — Я уважаю твои принципы.

Она одобрительно улыбнулась и наклонила чайник над стоявшей рядом с ней чашкой. Из потемневшего носика полилась прозрачная струя. Софи наполнила две чашки чистым кипятком. Джонни принял чашку из ее рук скорее с облегчением, чем с разочарованием, однако Софи сидела, уставившись в собственную чашку, словно понимала: тут что-то не так.

— Уж очень слабый, — с сомнением пробормотала она.

— А мне такой нравится, — ответил Джонни, распечатывая пачку печенья.

Софи жадно посмотрела на печенье, но потом недовольно уставилась в свою чашку с кипятком. Вглядываясь в нее, словно цыганка в магический кристалл (еще одна прорицательница!), она глубоко вздохнула и долила чашку молоком, замутив воду и навсегда отказавшись тем самым от всех предсказаний. Ее руки со старческими пятнами и узловатыми пальцами решительно поднесли огромный кувшин с молоком к чашке Джонни.

— Нет, спасибо, мне не надо! — торопливо проговорил Джонни. — Я не пью с молоком.

Софи успокоилась. Лицо ее просветлело.

— Правильно! — одобрила она. — Я вчера прочитала в газете... нет, это было позавчера... что молочные продукты вредны. Я эту статью вырезала и сохранила, ведь интересно, правда? Раньше-то, помнишь, нам и на завтрак, и на обед, и на ужин давали по кружке молока, а теперь говорят, от этого бывают всякие неприятности. Теперь что ни возьми, все вредно — молочные продукты, сахар-рафинад, даже яйца!

Она принялась за печенье: аккуратно взяв его двумя пальцами, она откусывала и жевала так, словно это было неприлично и надо было постараться есть незаметно. Крошки, шурша, сыпались на ее виниловый плащ. Джонни вдруг пришло в голову, что она, должно быть, голодна. Осторожно глотая печенье, она вела учтивый, но совершенно фантастический разговор о погоде и времени года, называла незнакомых Джонни людей, будто это были его старые друзья, но он сидел и молчал. Так устал, что даже пошевелиться не мог.

— Софи, — спросил он наконец, — ты не против, если я пойду наверх и завалюсь?

Она недовольно взглянула на него.

— Я хочу сказать: лягу спать. Я ужасно устал.

— Поступай, как считаешь нужным, — любезно разрешила она и, как по сигналу, осторожно сняла шляпку, обнажив широкий выпуклый лоб в веснушках, едва заметные брови и редкие примятые пряди седых волос с кривым розовым пробором. Кожа, казавшаяся Джонни смуглой, на деле была просто грязной; впрочем, он уже понял, что атмосфера в доме была тяжелой еще и потому, что от самой Софи тоже пахло.

И снова, вот уже во второй раз за этот вечер, сердце его сжало какое-то смутное чувство, в котором он различил лишь печаль и протест.

— Я только вымою свою чашку, — сказал Джонни и, взяв чашку с блюдцем, вышел в кухню.

— А я свою, — подхватила Софи. — Я всегда говорю: если вымыть посуду с вечера, утром и вставать приятней.

— Это уж точно, — согласился Джонни.

Кипяток его немного взбодрил, но теперь снова начинало мутить. Голова раскалывалась, желудок сжимали спазмы. "Неужели я пил у Бенедиктов?" — подумал Джонни с опаской, смутно припоминая стакан в чьей-то — неужели его? — руке. Никогда еще ему не было так плохо, это он знал точно.

В кухне, лавируя между кошачьими мисками, Джонни увидел на стене газетную вырезку. От старости она пожелтела, а дату (семилетней давности) кто-то проставил от руки. Заголовок гласил: "Диетологи спорят относительно молочных продуктов". Рядом Софи безуспешно искала посудные полотенца. Наступив на одну из мисок, она разбила ее, но молоко в миске так загустело, что не пролилось. Растерянно глядя на пол, Софи объявила, что ложится спать.

— А дверь я запру, — прибавила она со значением. — Я знаю, намерения у тебя добрые, но на Бэббитов полагаться нельзя.

И с гримасой напомнила:

— Вспомни о дяде Брайене!

Джонни стал ее успокаивать, но она подняла руку с таким видом, словно не желала ничего слышать.

— Я знаю, все считали, что Эррол... гм... человек не нашего круга, — продолжала она, поджав губы, — но он был такой милый... И ни разу не поднял на меня руку. Евин муж, конечно, происходил из рода Кортеней, но я точно знаю, что он ее поколачивал.

— Кто-то сказал, что женщин надо бить регулярно, как в гонг, — поддразнил ее Джонни. — Кажется, Ноэл Коуард[1]. Во всяком случае, какая-то знаменитость.

— Вряд ли это правильно, — встревожилась Софи. — Мой отец никогда бы не ударил мою мать, а он был магистром искусств.

— Вот именно, — подтвердил Джонни. — Впрочем, ты, конечно, права. На меня положиться нельзя — иначе я не был бы здесь.

— Намерения у тебя всегда были добрые, — повторила Софи. — Это я понимаю.

— В общем-то верно, — согласился Джонни удивленно. — Только этого мало.

Софи нежно ему улыбнулась.

— Как хорошо, что ты зашел. С родней все-таки никто не сравнится, правда?

Она плотно закрыла дверь; потом Джонни услышал странный звук, словно по полу что-то тащили. Он понял, что она забаррикадировалась в спальне.

В уборной его снова вырвало. Потом он почистил зубы — насколько это было возможно без щетки — и символически умылся, утершись вместо полотенца носовым платком. Затем снова рассматривал свою ла-

1. Ноэл Коуард (1899–1973) — английский драматург, писатель, композитор.

донь, понимая, что забыл что-то важное, однако так и не разобрал, что там было написано. Он поднялся в спальню и положил на комод плеер, а рядом, стопкой – кассеты. Шторы были раскрыты, и, подойдя к окну, чтобы их задернуть, он увидел перед собой забор, за ним – стену, а на ней, будто в театре теней, какие-то смутные силуэты.

Две неясные фигуры стояли друг против друга – Джонни даже слышал их голоса. Слов он не разбирал, но отрывистый ритм ссоры узнал сразу. С минуту он наблюдал, как тени, словно марионетки, жестикулируют в такт словам, – каждая вела свою партию. Это завораживало – впрочем, Джонни достаточно уже насмотрелся за эту ночь. Даже убей они друг друга у него на глазах, он все равно не нашел бы ничего лучшего, чем отправиться спать. И потому он задернул шторы, аккуратно повесил блейзер на дверную ручку, разделся донага и, завернувшись в одеяло, повалился в постель. Драка в пивной, ссора возле полицейского участка, доктор Рут Бенедикта, путешествие по ночному городу – все это крутилось в голове под аккомпанемент музыки, зазвучавшей вдруг над самым ухом, будто подушка напевала ему песню без слов. Джонни казалось, что он слушал ее долго, однако на деле она возникла и тут же смолкла. Силы покинули его, и он погрузился в глубокий сон.

Глава четвертая

Вторично проснувшись в то утро, Джонни подумал, что знает дорогу назад, к морю. Где-то далеко внизу, у подножия скал, заревел ветер, смолк и снова заревел; в короткий миг, отделяющий сон от пробуждения, игла подпрыгнула на заигранной пластинке. Дженин крикнула и забилась, словно раненая чайка, пытающаяся взлететь. Люди часто закрывают глаза на то, что не хотят видеть, но Джонни открыл их как можно шире.

ОТКУДА-ТО С НЕБА, ИЗДАЛЕКА... – запел ансамбль, хотя наушники, похожие издали на высохший череп инопланетянина, лежали на крашеном комоде. Незнакомый потолок над головой, незнакомая комната вокруг... Джонни моргнул и медленно, со стоном сел. Прошедшая ночь со всеми ее тревогами казалась призрачной, как кошмар. Но она была; проснуться и объявить, что ее не было, – пустой номер. Джонни не знал, радоваться или огорчаться, что память, будто непослушный компьютер, стерла целые куски записанной в ней информации.

За окном, конечно, шумело не море. В этом шуме не слышалось неугомонного и печального рокота волн. Все же, включив механизм пятилетней давности, он вызвал в памяти знакомые образы.

Наверху, возле обрыва, все дышало спокойствием, силой, тишиной. Вокруг ни души. Ухватясь за чахлые кустики, балансируя на самом краю, в панике он заглянул в бездну – там, далеко внизу, он различил красную тряпку, трепетавшую от едва заметного дыхания. Красное платье Дженин, вокруг которого вились и исчезали бледные змеи пены. На миг ноги его напряглись. Ее еще мог спасти магический жест. Самопожертвование.

– Джонни! – закричала Бонни, застывшая в безопасной зоне. – Не гляди! Не прыгай!

У нее на пальце был перстень со змеей – она прочитала его мысли. И хотя он по-прежнему не сомневался, что случилась ошибка и что лежать внизу среди змеистой пены должен был он, было понятно, что, даже если броситься вниз,

это ничего не изменит. Дженин не восстанет. Он полез вверх по склону, и, пока карабкался, из-под его рук и ног с грохотом сыпались камни.

Тот неосуществленный позыв к прыжку все еще давил Джонни грудь, словно сжатая пружина; когда-нибудь, в другой ситуации, он выпустит ее на волю. Проснувшись в доме Софи, он увидел, что лежит, согнув ноги, подавшись вперед и затаив дыхание, будто, как когда-то, инстинктивно готовится к прыжку.

Джонни понимал, что каким-то образом попал в дом, в котором все не так, все неправильно, где одичавшим усатым, гибким племенем правит безумная королева. Голова, перегруженная воспоминаниями, стремилась отключить память, но он сознавал, что должен без промедления покинуть этот дом — уйти, разыскать, пока не забыл, дорогу домой, извиниться перед матерью, даже перед отцом. Прошлой ночью он шел вслепую по неясному следу, пытаясь что-то найти, назвать, принять. Преображенный алкоголем и яростью, он каким-то образом преобразил и все вокруг. Теперь же, проснувшись, снова оказался в мире здравого смысла, и то, что он искал, снова ушло на дно до следующего раза.

Конечно, потребуется время, чтобы оправиться после вчерашнего. Он слишком много пил и слишком много думал о судьбе. "Это не повторится, — поклялся Джонни. — Никогда больше не буду пить. Стану вегетарианцем, а пить буду только чай из трав". Он оделся, пристегнул к поясу плеер, нацепил на шею наушники, напялил на голову свою широкополую разбойничью шляпу. Потом открыл дверь и быстро сбежал по темной лестнице вниз. Впереди его ждала другая, лучшая жизнь.

Но на площадке он столкнулся с поднимавшейся наверх Софи; на ней был диковинный наряд, состоявший из разных предметов нижнего белья, а в руках — бутылка молока. Оба замерли: Джонни — от смущения, Софи — от гнева.

— Ты как сюда попал? — возмутилась она.

— Ты сама меня впустила, — оправдывался Джонни. — Разве ты не помнишь? Ты меня подобрала вчера ночью.

— Ну уж нет, — ледяным тоном отвечала Софи. Она поджала губы, опустив углы, словно на детском рисунке, изображавшем обиду.

— Извини, — согласился Джонни. — Ладно, вали все на меня! Нечего было увязываться за незнакомыми женщинами.

Она его не узнала — вот глупо! Но тут его осенило — она сердится, чтобы скрыть страх. И в тот же миг лицо ее просветлело.

— Как ты сюда попал? — повторила Софи, однако на этот раз голос ее звучал проникновенно и весело. — До чего же я рада тебя видеть! — с жаром прибавила она. — После стольких лет — и вдруг ты здесь!

Ее лицо дрогнуло, губы разжались — уж не собирается ли она заплакать, мелькнуло у него в голове.

— Зайди же в комнату, располагайся, а я принесу тебе чашечку чаю — сию же минуту!

— Честно говоря, — пробормотал Джонни, — я собирался... понимаешь, мне надо идти...

Но на лице у Софи отразилось такое разочарование, что он смолк.

— Ты же только что пришел! — вскричала она. — Я тебе приготовлю покушать... что-нибудь... из этих... как же они называются?..

Джонни взглянул на часы. Девять тридцать восемь утра. Мать вряд ли о нем беспокоится: полагает, что он переночевал у своих непутевых

друзей (снимавших квартиру на четверых). Телефон у них из-за неуплаты отключен, так что позвонить им она не могла.

— Что ж, почему бы и нет? — согласился Джонни. — Хороший горячий... как он там называется?.. Чудесно!

Он посторонился, пропуская Софи в гостиную, и осторожно заглянул в дверь. Все кошки были на месте. Не только сами вернулись, но еще и привели с собой родственничков. Они глядели на него своими прозрачными золотисто-зелеными глазами — со стульев, из углов, со спинки дивана.

— Ах, какие милые киски! — воскликнула Софи с таким восторгом, словно они вдруг исполнили какой-то хитрый трюк. Джонни и кошки посмотрели друг на друга с подозрением. — Садись же, а я тебе мигом что-нибудь приготовлю.

И она повела рукой — так, будто на столе лежала белая скатерть, салфетки и серебряные приборы. Джонни осторожно ступил в комнату, опасаясь снова спугнуть кошек.

— Как я рада тебя видеть, — говорила Софи. — Помнишь доброе старое время? Да, вот уже год как я живу одна. Ты ведь с Эрролом не был знаком? Такой милый, чудесный человек! Правда, он, как говорится, образования не получил...

Она болтала, предоставляя Джонни кивать и поддакивать вспоминая, насколько это было в его силах, о добром старом времени, которое ему не принадлежало. Кошек, судя по всему, его утреннее появление не так испугало, как ночное вторжение незнакомого мужчины. Некоторые из них подчеркнуто встали и удалились, другие, спрыгнув на пол, принялись нервно кружить по комнате — они изгибали спины дугой, терлись о мебель, задирали хвосты и громко мяукали на разные голоса. Огромный кот грубо зевнул и закрыл глаза. Он казался крепче, даже плотнее, чем все остальные кошки, будто был пришельцем с иной, кошачьей планеты, где притяжение намного превосходило земное.

— А у меня есть бутылка молока! — объявила Софи с торжеством, подняв над головой бутылку, словно факел Свободы. — Эти люди, что живут рядом, ее унесли, но я забрала назад.

Она фыркнула и отправилась на кухню, захватив бутылку с собой. Джонни последовал за ней и встал на пороге, глядя, что она делает.

— Странные сейчас пошли люди, — доверительно сообщила она вполголоса.

При свете дня, Джонни, уже немного пришедший в себя, увидел, что напротив двери, ведущей в гостиную, была еще одна дверь, вероятно соединяющая кухню со спальней Софи. Третья дверь, ютившаяся между мойкой и шкафами, выходила на балкон. На подоконнике, перламутровыми и опаловыми сердцевинами наружу, лежали морские раковины; глядя на них, Джонни снова подумал, будто гул, равномерно накатывающий за окном, был шумом моря, и стоит только выйти на балкон, как вдохнешь запах соли и морских водорослей. Оттуда он сможет смотреть вниз, наблюдая, как далеко-далеко внизу, змеясь, извиваются белые полосы пены, сплетаясь, распадаясь и снова соединяясь.

"Кто смел, тот и съел, — слышал он шутливый голос Бонни. — Смелость города берет. Об этом в книжках пишут". Бонни всегда много читала.

Джонни напомнил себе, что за окном шумело не море, а поток машин — в этот утренний час город дышал тяжело, с напряжением. Краем глаза он следил за Софи, размышляя, как теперь быть. Если б ему повез-

ло, он был бы уже далеко. Он видел, что Софи забыла о вчерашней встрече и явно принимает его за кого-то другого. Вот и сейчас, возясь на кухне, она пытается вспомнить не что именно надо сделать, а какие при этом бывают ощущения.

Она суетилась, спешила, но на деле не делала ничего. Перекладывала с места на место, хватала и снова клала — и только.

— Послушай, Софи, — предложил наконец Джонни, — давай я что-нибудь тебе приготовлю, идет? Садись-ка на табуретку и рассказывай мне про прежние времена, а я соберу нам поесть.

Ему совсем не хотелось есть — его все еще подташнивало, да к тому же на кухне было грязно; но Софи выглядела бледной и исхудавшей, ей, верно, не мешало бы хорошенько позавтракать.

— Что ж, спасибо, это очень мило с твоей стороны, — согласилась, к его удивлению, Софи и, усевшись, погрузилась в воспоминания о старом доме, походах за грибами и школьных пикниках где-то у реки, в которых и он, очевидно, принимал участие.

— А помнишь тот день, когда к нам на школьный двор забежал бык? — воскликнула она, глядя на него широко открытыми глазами.

Меж тем приготовить ей что-то поесть оказалось не так-то просто. Джонни открывал шкафы и находил в них разные неожиданные вещи — вставные челюсти, тревожно скалившиеся в стакане мутной воды, пожелтевшие бумаги, стянутые резинкой и сунутые для пущей безопасности в перчатку, старый телефонный справочник, розовую расписку на семь долларов с росчерком внизу "Спайк", сухие апельсиновые корки, яичную скорлупу в банке с завернутой крышкой. Однако ни хлеба, ни масла, ни чая, ни кофе он не обнаружил. Отделение для ножей было набито пачками печенья. Все они были вскрыты, одна или две — тронуты плесенью.

— Ты, видно, любишь печенье, да? — спросил Джонни с улыбкой.

Софи улыбнулась.

— Люблю, когда в доме что-то есть, — призналась она. — Разве угадаешь заранее, кто вдруг заявится к тебе неизвестно откуда.

— Это верно, — согласился Джонни. — Только тебе надо быть поосторожней. Знаешь, не все так милы, как я.

— Не люблю, когда в доме нет никакой еды, — сказала Софи, не обратив внимания на его слова.

— Но одного печенья для завтрака мало, — заметил Джонни. — Тебе нужна овсянка... печеное яблоко... что-нибудь в этом роде. Чай! Без чашки чаю день не начнешь, — прибавил он.

Так всегда говорила мать. Он живо представил ее дома: вот она кончила свою утреннюю чашку чаю и принялась за костюмы птичек-малиновок для сестренок-двойняшек. Они собирались танцевать на ежегодном утреннике первоклашек, до которого оставался еще целый месяц.

— Чашка чаю! Сейчас-сейчас, — вскричала Софи и вскочила, словно он подал ей совершенно новую, чудесную идею.

Она принялась шарить по шкафам, которые Джонни уже осмотрел, проводя ладонью по полкам слева и справа от стакана с челюстью.

Внезапно Джонни осенило, и он распахнул холодильник. Впрочем, тут же и захлопнул его. В холодильнике стояли одни бутылки с молоком — штук десять, не меньше, а на блюде для пирога лежал мертвый дрозд. Традиционное разделение кухни и помойки было окончательно нарушено в доме Софи. Такое могло случиться только тогда, когда нарушено и все остальное, когда всему приходит конец.

"Все уходит!" — тихонько пропел Джонни, и ноги его бессознательно отбили ритм этой фразы на грязном линолеуме. "Всему приходит конец!" — возник в памяти голос Бонни. Софи не сдавалась и продолжала искать. На ней была старая нижняя юбка с висящим кружевом, кофта, вязанная из легкой синтетической пряжи, еще одна нижняя юбка, а поверх (Джонни всячески старался этого не замечать) белый пояс с резинками, которые при каждом ее движении болтались из стороны в сторону. Несмотря на ранний час, на голову она надела шляпу, а на ноги — толстые чулки и мохнатые тапочки. Через некоторое время ее суетливые поиски стали Джонни раздражать.

— Тут ничего нет, кроме печенья, — нетерпеливо заметил он.

— Да-а-а, — помедлив, согласилась она, недоуменно уставясь в пустоту, словно ожидая, что исчезнувшие продукты внезапно материализуются из воздуха. — Это очень странно, потому что вчера у меня все было. Я не люблю, когда в доме ничего нет.

Ее лицо как-то сузилось, она подозрительно поджала губы.

— Знаешь, я иногда думаю на этих людей, что живут рядом. Нет никаких сомнений... что у меня все куда-то исчезает. Понимаешь, они могли подобрать ключ к моей двери... а потом войти и...

Она театрально всплеснула руками, будто речь шла о грабеже и изнасиловании.

— Что ж, — произнес Джонни как можно небрежнее, — мне надо идти.

Надо бы пожать ей руку, подумал он, но трогать ее, в общем-то, не хотелось: она была такой хрупкой, того и гляди рассыплется, а главное, такой грязной, и это в сочетании со старостью особенно отталкивало.

— Слушай, спасибо за все! — неловко поблагодарил он. — Вчера ты просто спасла мне жизнь.

Она просияла от удовольствия и неожиданности.

— Правда? — воскликнула она. — Знаешь, если б мы не могли помогать друг другу, было б совсем плохо. — Она улыбнулась и с жаром прибавила: — Особенно своим.

— Да уж, конечно... словом, спасибо, гм... Софи, — сказал Джонни и, повернув было к двери, остановился. — Слушай, купи себе какой-нибудь приличной жратвы, ладно?

Он говорил с раздражением — его тревожило, что он беспокоится о ней.

Увидев отблеск грусти на ее лице, Джонни быстро помахал ей рукой, улыбнулся, бодро кивнул, повернулся и торопливо вышел. Он надвинул наушники на голову и включил звук, чтобы не слышать, если она крикнет что-то ему вслед.

УШИ ЗАКРОЙ, НО ГОЛОС ИДЕТ ЗА ТОБОЙ, — пел ансамбль с издевкой. Ноги медленно стучали по ступеням. Он открыл дверь. По улице в одну сторону сплошным потоком шли машины, неяркое солнце освещало тротуар. С минуту он ясно видел — вот он, путь домой, но застыл на пороге, глядя то вправо, то влево.

КРУТИСЬ НА КОЛЕСЕ... КРУТИСЬ ПОКРУЧЕ... — пели голоса.

— Черт! — произнес в сердцах Джонни. Не мог он так просто уйти, оставив Софи без всякой еды, кроме заплесневелых печений. Нравится ему или нет, но какое-то чувство справедливости или даже доброты не позволяло ему взять и бросить ее одну в растерянности на кухне.

— А-а, задержусь немножко, — произнес он в дверь, словно оправдываясь перед кем-то.

И круто повернув, снова вошел в дом и стал подниматься по лестнице. Шаги его звучали тяжелее, чем когда он сбегал вниз.

Глава пятая

Софи он застал за тем же занятием: она шарила по полкам, хмурилась и что-то бормотала.

— Боже мой, Боже мой... — говорила она. — Вот напасть-то...

— Эй! — окликнул ее Джонни, подойдя сзади.

Она подпрыгнула от неожиданности и сердито обернулась. Однако при виде Джонни лицо ее просветлело.

— Ах, это ты! — вскричала она с облегчением. — Входи. Входи же. Садись! Сейчас дам тебе чашечку чаю. Я помню, какой ты любишь.

— Послушай... У тебя в доме есть какие-то деньги? — спросил Джонни не медля. — Если есть, давай пойдем в магазин и купим фрукты, яйца, хлеб из муки грубого помола — словом, все что надо. Все, чем тебе надо питаться. Пусть будет в доме.

Софи взглянула на него так ясно и светло, что он удивленно улыбнулся ей в ответ.

— Спасибо, дорогой, — сказала она. — Это очень мило с твоей стороны, но я обойдусь.

Она открыла ящик для ножей и увидела пачки с печеньем.

— Вот они где! — обрадовалась она. — Я знала, что они где-то здесь.

Немного погодя, после того как она подкрепилась имбирным печеньем и сухим изюмом с горячей водой, Джонни снова предложил пойти за покупками. При мысли о магазинах Софи повеселела.

— Пойду надену уличные туфли! — объявила она.

— А может, заодно снимешь... все лишнее, а? — предложил Джонни, не уточняя, что именно следовало бы снять. — И надень платье.

Он украдкой покосился на пояс с подвязками.

Софи посмотрела на него с мягким укором.

— Я же тебе не говорю, что надеть, — произнесла она тихо, но решительно и исчезла в спальне.

Когда она вновь появилась, в руках у нее была сумочка, а на плечах — пальто; застегнутое на несколько пуговиц, оно прикрывало странный ансамбль внизу. Однако уличные туфли были ужасно истоптаны и разбиты. Джонни стал спускаться впереди, чтобы поймать ее, если она поскользнется на ступеньках. Он похлопал себя по карманам, проверяя, на месте ли бумажник и сберегательная книжка.

— Эти люди, что живут рядом, — пожаловалась Софи, глядя с неприязнью на соседнее крыльцо, — вечно уносят мое молоко, но я с ними не спорю. Я просто тихонько подхожу и забираю его назад. Ты только посмотри, в каком состоянии их почтовый ящик! Мне кажется, Эррол продал эти дома, а то бы им такого никогда не позволили!

Джонни согласился, что видел почтовые ящики получше.

— По-моему, теперь там живет домовладелец, — быстро продолжала Софи, изящно выговаривая слова. — Знаешь, пока Эррол был жив, я никогда не задумывалась о плате за дом, а теперь мне все время приходится платить. Конечно, я всегда беру расписку.

Для начала они зашли на почту, где Джонни взял денег со своего счета. У него еще оставалось немного, хотя бóльшая часть денег, заработан-

ных в то время, когда они с Дженин выступали в рекламе, была вложена в выбранную отцом финансовую компанию. Он никогда не считал, что они действительно принадлежат ему (даже, пожалуй, еще меньше, чем пособие по безработице), хотя время от времени ему разрешалось брать немного из этих денег. Из них он заплатил недавно штраф за нарушение общественного порядка; скоро ему предстояло заплатить еще один.

Софи, стоявшая рядом, что-то бормотала, уставясь в пустой бланк; Джонни заметил, что она все больше нервничает. Она изо всех сил нажимала на ручку, взятую со стола, очевидно надеясь выдавить из нее слова, однако забыв, что надо при этом вести ею по бумаге.

В конце концов пришлось Джонни помочь ей — он продиктовал ей номер счета, показал, где надо поставить имя, и произнес его по буквам.

— Мне иногда помогает вон та девушка за перегородкой, — призналась Софи. — Они здесь очень внимательны.

— Я рад, что у тебя на книжке что-то есть, — сказал с удивлением Джонни, увидев у нее на счете приличную сумму. Ее дом, шляпка и сумочка заставили его предположить, что она очень бедна.

— Эррол умел беречь деньги, — ответила Софи, спускаясь за ним по ступенькам. — Конечно, люди его круга без этого не могли. Вот когда я поняла, как мы швыряли деньги в доброе старое время. В юности Эррол жилось очень трудно. А потом он воевал в Первую мировую.

— Значит, мы с тобой оба разбогатели, Софи, — ответил Джонни. — Теперь давай потратим эти денежки!

И они побежали через улицу, не глядя, где там переход, — белый фургон бешено засигналил и, треща покалеченной выхлопной трубой, чуть не наехал прямо на них. Софи остановилась посреди улицы, готовая заспорить с водителем, но Джонни потянул ее за собой и, только когда они благополучно добрались до противоположной стороны, поглядел вслед фургону. Они миновали паб "Колвилл" и вышли к магазинам.

— А вот и пирожки! — весело вскричала Софи и уверенно свернула в молочный бар, где хозяин как раз выставлял в витрину подносы с бутербродами и пирожками, прикрывая их марлей.

У одной стены в баре стоял стол, покрытый клетчатой скатертью, а по сторонам — два стула. Продавец не отходил от них ни на шаг, пока Софи выбирала пирожки, — она отказалась от щипцов, а некоторые пирожки, которые почему-то после тщательного осмотра ее не удовлетворяли, пыталась положить назад.

Джонни с удивлением заметил, что ее поведение его смущает. Он-то полагал, что такие мелочи его не трогают. Он неловко топтался возле Софи, вздыхая и тряся головой, давая продавцу понять, что совсем ее не одобряет.

— Софи! Ты тот пирожок трогала! Ты на него дышала! — возмутился Джонни, точь-в-точь как его мать.

— Но этот такой аппетитный! — возразила Софи и так вцепилась в другой пирожок, что казалось, будто он сейчас запищит от возмущения.

— Тогда раскошеливайся! Бери оба! — предложил Джонни. Продавец улыбнулся.

— Бери оба! — расхохоталась Софи. — Ах ты Боже мой! Бери оба!

Но она-таки взяла оба и заплатила за чай и пирожки с видом маленькой девочки, впервые тратящей карманные деньги.

Получив сдачу, она уставилась на монеты, лежащие у нее на ладони, совсем как Джонни смотрел на слова "улица Маррибел", записанные на его руке.

— Присматриваешь за ней? — полюбопытствовал продавец. Ему явно хотелось узнать побольше о странном спутнике пользовавшейся дурной славой покупательницы. — Давно пора.

А потом они уселись в баре друг против друга, и Софи разлила чай, наконец-то заваренный как надо.

"Что же, — подумал Джонни, — бывают места и похуже".

— А на небе ни тучки! Ну просто ни одной тучки, — объявила Софи, с восторгом подняв глаза.

Джонни посмотрел вверх. Потолок в молочной был выкрашен в ровный голубой цвет. Под взглядом Софи он уходил ввысь и приобретал глубину.

Не позволяя взору задерживаться на его поверхности, Джонни, по примеру Софи, напряженно смотрел вверх. Потолок подымался все выше... и выше... и наконец уходил в бесконечность. Пока он глядел ввысь, изумленный силой ее внушения, Софи взяла в свои узловатые пальцы еще пирожок и, открыв рот, слегка высунула язык. Отведя взор от бесконечного потолка, Джонни подумал, что она похожа на старого клюющего корм попугая, только одетого в пальто и шляпу, и тут же со смутным беспокойством отметил, что грудь ее пальто чем-то заляпана.

Кто же такая Софи? За спиной у нее целая жизнь, но память ей отказала. Она была замужем, возможно где-то живут ее дети. В одном он не сомневался: в прошлом, когда она лучше понимала, что происходит, она бы никогда не показалась на людях в одежде с пятнами от пищи. И никогда бы не надела на юбку пояс с подвязками.

Джонни взял пирожок, но не стал есть, просто сидел с ним в руке, глядя на голубой потолок и думая о бесконечности неба и моря. Странно, что они так красивы и в то же время так ужасны.

— Это я виноват, — закричал тогда Джонни. — Я шел прямо за ней.

— Не говори им! — ответила Бонни. — Я скажу, что ты был со мной здесь, наверху.

Она скрестила руки на груди, обхватив себя за плечи, чтобы унять дрожь, но все равно браслеты на запястьях и цепочки вокруг шеи все время тихонько позвякивали. Она так дрожала, что кольца на ее пальцах и серебряные звезды на широких рукавах шифоновой блузы мерцали в вечернем свете.

— Я скажу, что ты был со мной здесь, наверху, — повторила Бонни. — Они не будут тебя допрашивать.

И она протянула руки — и прижала Джонни к себе. Они стояли обнявшись, под знаком "Опасно!" Но все это было давно.

Софи, сидевшая напротив него за столом, вежливо кашлянула и развернула бумажную салфетку. С минуту она внимательно рассматривала ее, а потом подняла глаза и улыбнулась Джонни.

— Я люблю хорошие книги, — сказала она, — но в этой шрифт слишком мелкий.

Джонни заметил, что она с завистью поглядывает на пирожок в его руке, и положил его к ней на тарелку.

— Ты всегда был джентльменом! — воскликнула она, изящно склонив голову.

И съела пирожок, оставив на верхней губе небольшие усики из крема. Спустя немного они вышли бок о бок из молочной. Увидев в витрине свое лицо, искаженное стеклом, Джонни подумал, что, хотя они совсем не похожи друг на друга, что-то в них есть общее.

Оба они отщепенцы, отверженные.

В магазине Софи тут же устремилась к полкам с печеньем, но Джонни удалось перехватить ее и направить к полкам с чаем, растворимым кофе, яйцами, маслом, хлебом "Здоровье" и сардинами. Он посоветовал ей также купить большую коробку сухого корма для кошек. Себе же он купил зубную щетку – словно собирался еще раз переночевать у Софи, в то время как твердо решил отчалить домой, как только удастся доставить ее к ней на кухню и покормить. Во "Фруктах и овощах" он купил ей на собственные деньги апельсины, помидоры и салат. У нее будет приличный запас пищи – это облегчало ему мысль о том, что он оставляет человека, нуждающегося в помощи, потерянного в равнодушном шуме города.

"Я ведь ей ничего не должен, практически ничего", – прошептал он, кивая в знак согласия с самим собой. Никто ему ничего не скажет, если он сейчас отправится домой. Это нормальное решение. Но в то же время мысль о том, как это он оказался в таком обществе, не давала ему покоя. Одна звезда в процессе распада вращается вокруг другой.

Напротив фруктового был электрический магазин; на вывеске стояло "Ф. Дж. Фаулер" – наверняка родственник этого гада Нева. Нев родился в Колвилле, всю жизнь прожил в Колвилле, имел множество родных в Колвилле. Небось не сомневается, что раз он Фаулер, это дает ему право распоряжаться людьми. Колвилл весь провонял Невом. В любую минуту он может вылететь из-за угла на своем велосипеде, с ножом за поясом, и тогда...

– К черту Нева! – пробормотал Джонни. – Чего мне теперь его бояться?

Они не спеша пошли назад. Осеннее солнце пригревало, заливая улицу золотистым светом. Ветер веял прохладой, отчего вспоминались далекие горы, костры в садах, шелест сухих листьев, слетающих с каштанов у реки, и снежные вершины гор где-то далеко на западе. Джонни всматривался в город. Сейчас он выглядел обычно, ночного отчуждения как не бывало. И все же Джонни то и дело чудилось, что он угодил в одну из тех фантастических историй, которые так любила рассказывать Бонни, историй с переодеваниями, нежданными встречами и волшебными превращениями. Если Дженин порой как бы излучала свет, то Бонни его поглощала, так что Джонни она всегда вспоминалась смутно. Яснее всего она выступала в свете собственных историй и горестных шуток.

Когда на обратном пути они проходили мимо молочного бара, Софи радостно воскликнула:

– А вот и пирожки!

В ее голосе звучало торжество, словно она сделала приятное открытие.

– Пирожки мы уже съели, – строго заметил Джонни и повел ее дальше, стараясь не встретиться взглядом с тревожно следившим за ними продавцом.

– Я не ела, – недовольно возразила Софи, нахмурившись, но, увидев впереди почту, тотчас оживилась.

– Я забегу на почту и сниму со счета немного денег! – вскричала она. – Когда деньги на исходе, чувствуешь себя неважно.

– Мы уже там были и деньги сняли, – нетерпеливо бросил Джонни.

В конце концов пришлось ему выудить у нее из сумки сберегательную книжку, разыскав ее среди расчесок с запутавшимися в них волосами, крышек от молочных бутылок и нескольких недоеденных печений, завернутых в старую новогоднюю открытку. Софи удивилась, когда он сердито потряс у нее перед носом деньгами, но тут же просияла.

— Как хорошо, что ты мне об этом сказал, — произнесла она с довольной улыбкой. — Теперь я могу не беспокоиться.

— Ты же сама их сняла, — заметил Джонни.

— По-моему, мужчины разбираются в денежных делах гораздо лучше, чем женщины, — признала Софи.

— Милое старозаветное создание! — бросил Джонни.

Софи просияла.

— Знаешь, я не всегда соглашаюсь с тем, что все перемены — к лучшему, — с довольным видом объявила она.

У переезда они остановились перед семафором. По путям медленно полз поезд. Вагоны, мерно покачиваясь, проплывали мимо; а справа, не выключая двигателей, рычали машины. Наконец дали зеленый свет. Машины рванулись вперед, словно выпущенные на волю гепарды, и с ревом понеслись по улице Маррибел.

Два дома вдали стояли рядом, словно чопорные сестры. При свете дня огромный кран ярко синел, а балкон под ним воинственно выступал вперед, как суровый подбородок. Кому же придет в голову сидеть на этом балконе под краном, готовым в любую минуту затопить весь город? Кто захочет любоваться улицей, по которой непрерывным потоком мчатся машины? Кому нужен вид на фабрику напротив? "Рукавицы для промышленных работ. Компания с ограниченной ответственностью", — прочитал Джонни.

Ночью Джонни казалось, что кто-то следит за ним с балкона соседнего дома, однако сейчас он увидел, что это не инопланетянин, а всегонавсего старый портновский манекен с раскинутыми в стороны руками — он словно проверял, не идет ли дождь. У манекена не было ни лица, ни волос; склонив изящную овальную головку на длинной шее, он внимательно смотрел на Джонни с Софи.

— Эй, приятель, привет! — крикнул Джонни, помахав манекену рукой.

Странная это была фигура, нагая, но бесполая, безглазая, но бдительная.

Меж тем Софи яростно рылась в сумке, что-то бормоча про себя.

— Проверь тесемку на шее, — предложил Джонни.

— Знаешь, — спустя секунду воскликнула она с удивлением, — как хорошо, что ты мне об этом напомнил! А то бы я искала и искала.

Она отперла дверь.

— 113, — произнес Джонни, глядя на почтовый ящик. — По-твоему, это счастливый номер, Софи?

— Должно быть, — ответила она. — Знаешь, мне всегда везло. Конечно, на скачках я не играю, но деньги на улице нахожу. Часто кто-нибудь уронит, скажем, шестипенсовик и не заметит.

— Шестипенсовиков больше нет, — поправил ее Джонни. — Теперь это пять центов[1].

1. Новая Зеландия, так же как и Соединенное Королевство, перешла на десятеричную систему в конце XX в.

— Хорошо, что ты меня поправил, — говорила Софи, вводя его в дом. — Только, по-моему, деньги менять не надо, ты согласен? Конечно, раньше моими денежными делами занимался Эррол, ну а теперь приходится самой, и нужно быть осторожной, ведь память у меня уже не та, что прежде.

С темной лестницы вопросительно замяукали кошки.

— Киски! — воскликнула Софи. — Радуются, что мы вернулись.

— Кис-кис-кис, — произнес Джонни, успокаивая обитателей дома.

Глава шестая

"Ну вот и все, — подумал Джонни, поставив сумку с апельсинами на стул. — Хватит возиться! Теперь еда у нее в доме есть. Пора".

— Сейчас дам тебе чашечку чаю, — сказала Софи уютным голосом женщины, ублажающей беспомощного мужчину.

— Да нет. Не надо. Я уже ухожу, — ответил Джонни, рассеянно раздвигая шторы на окнах гостиной, выходящих на задний двор.

Осеннее солнце наполнило комнату, высветив бесчисленные пылинки в воздухе. Прямо перед собой Джонни увидел задний двор с оградой из рифленого железа, когда-то крашенной зеленой краской. Меж сорняков мирно ржавели водостоки, а среди зеленых, покрытых черными ягодами кустов паслена, в зарослях высокой травы, пробившейся в трещинах асфальта, валялась старая раковина и разная фаянсовая и металлическая арматура. Справа возвышалось какое-то допотопное сооружение — это была цистерна, поднятая на тонкие высокие подпорки. Зачем она тут стояла — непонятно, ведь в эту часть города давно уже провели водопровод. Надо всем этим запустением витал призрак былого порядка. Когда-то здесь был сад, и прежнее расположение клумб и бордюров все еще угадывалось кое-где; впрочем, как только Джонни попытался его разглядеть, призрачный сад растворился в зарослях сорняков. Он распахнул окна, открыв в комнату доступ сравнительно свежему воздуху, и кошки, уютно устроившиеся по всем уголкам, гневно вскочили. Позади цистерны была стена, а за ней виднелся еще один сад, весь в зарослях и окруженный стеной повыше — это на нее он смотрел ночью, прежде чем задернуть шторы. При свете солнца никаких теней на стене не было.

Отвернувшись от окна, он увидел недоумение на лице Софи. Открытое окно ей было не по душе, хотя она и промолчала.

— Свежий воздух! — сказал Джонни и подчеркнуто глубоко вздохнул. — Тебе, Софи, он очень полезен!

— Ну да, возможно, — недовольно ответила она.

Джонни ногой пододвинул к ней кресло, и она послушно уселась, а он устроился напротив. Ему хотелось, чтобы она внимательно выслушала все, что он собирался ей сказать, и потому он взял ее за руки. Ногти, длинные, как у ведьмы, царапнули ему ладонь. Его передернуло.

"Что это я? — подумал Джонни с беспокойством. — Она просто стара и немного..." Он остановился. В свои девятнадцать лет он считал, что ему все нипочем, что он умеет принимать и наносить удары, и вот те на — с трудом заставил себя дотронуться до Софи. И все же она его интриговала. Медленно умирая в своем погибающем доме, она все равно не сдавалась. К тому же она так необычно смотрела на жизнь. Не пифия,

но все равно своего рода прорицательница. И вот что замечательно, она его спросила: "Это ты?" Догадайся он ответить ей уверенно, она, возможно, заговорила бы стихами, как когда-то Бонни.

Бонни тоже одевалась необычно, разрисовывала свои наряды картинками, украшала лентами, рождественской мишурой или звездами из серебряной бумаги. У нее была шкатулка с кольцами, цепями из блесток и бутылочных крышек и позвякивающими браслетами. Нацепив все это на себя, она надевала перстень со змеей на средний палец левой руки (венчалась с магией, по ее словам) и начинала предсказывать будущее или давать мудрые советы в рифму.

Но когда они бежали из заповедника за помощью (уже зная, что никакая помощь вовремя не подоспеет), Джонни заметил, что она стянула с пальца перстень со змеей и швырнула его прочь. Луговые травы золотились в вечернем свете, и перстень мелькнул над ними, словно золотистое насекомое... не бабочка, а что-то поменьше и покомпактнее... пчела или муравьиная матка в свадебном наряде, которую почти никогда и не увидишь.

Вот он сидит в доме Софи и чувствует, что ее длинные ногти уперлись в его ладони.

— Софи! — произнес он громко и четко, словно говорил с глухой. — Послушай меня.

Пустота ее взгляда его уничтожала. Там, за этими милыми выцветшими голубыми глазами, не было никого, решительно никого.

— Ты меня слушаешь, Софи? — повторил он и слегка тряхнул за руки, чтобы завладеть ее вниманием.

— Конечно слушаю, — бодро ответила она и сжала его руки, хотя взгляд по-прежнему ничего не выражал. Он был погружен в себя, сосредоточен на том, что хранилось в памяти, за широким выпуклым лбом. Она и его-то замечала лишь потому, что он чему-то соответствовал в ее внутреннем мире.

— Софи! У тебя есть кто-то из родных? Дети? Кто-нибудь... как говорится... присматривает за тобой?

Он представил, что сказала бы мать, если бы, навещая в очередной раз бабушку, вдруг обнаружила, что в доме поселился какой-то незнакомый парень с подбитым глазом. Софи смотрела на него. Ее глаза, почти напрочь лишенные бровей и ресниц, были трогательно беззащитны. В них не читалось решительно ничего. Она хмурилась — не потому, что пыталась что-то сообразить — скорее потому, что хотела ему потрафить.

— Дети? — повторила она медленно, словно пытаясь понять едва знакомый язык. — Нет. Нет, по-моему, нет.

— А родные или друзья? — не сдавался он. — Теперь, после смерти Эррола... может, какие-то племянницы или племянники забегают тебя повидать?

Глаза просветлели. Что-то сработало в ее голове.

— Знаешь, у меня всегда есть в запасе печенье, — сказала она. — В доме всегда нужно что-то иметь — а вдруг кто-то возьмет и забежит.

Джонни вздохнул. Запасы печенья в доме уже становились одной из тех великих идей, вроде Истины или Справедливости, которые вечно занимают умы человечества. Впрочем, в одном он не сомневался: друзья и родные уже давным-давно не навещали Софи. Ее состояние явно

было результатом одиночества и долгого, медленного развития болезни, в которую никто не вмешивался.

Софи, и не подозревавшая о своем состоянии, откинулась в кресле и вздохнула.

— Я немного устала, — призналась она. — Это место довольно далеко... как его там... куда мы ходили за этими штуками...

Но тут же вскочила с кресла и захлопнула окна, постучав по каждой раме ребром ладони, чтобы закрылись поплотнее, а потом снова села. Джонни поднял сумки с продуктами и отнес на кухню.

— Сейчас дам тебе чайку, — вяло сказала она ему вслед.

Прислушиваясь то к нарастающему, то к затихающему гулу транспорта на улице, Джонни поставил сумки возле раковины. Подергал ручку двери, ведущей на балкон, — но она оказалась запертой. Возле двери висело на крючке несколько подернутых легкой паутиной ключей. Сверху — ключ от английского замка, скорее всего от входной двери. Джонни снял его и, положив на стол, взял следующий, который выглядел подходящим. Ключ, хотя и не сразу, вошел в замочную скважину, но поворачивать его пришлось с помощью чайной ложки, ручку от которой Джонни вставил в головку ключа. Наконец дверь заскрипела и отворилась. Джонни вышел на балкон, чуть не перерезав себе при этом шею веревкой для белья, протянутой по диагонали. Он скинул веревку с крюка и кивнул манекену на балконе соседнего дома.

Внизу неслись стаи машин. Над головой, словно хищный клюв, изгибался огромный кран. "Вот стукнет тебя по макушке — и конец!" — подумал он. Подняв голову, Джонни увидел, что отверстия на кране нет. Из него никогда не польется вода, грозящая затопить весь город. По левую руку от него портновский манекен безглазо таращился на ту сторону улицы, вытянув руки, словно хитроумный фокусник, который вот-вот объявит зрителям об удивительном открытии, или человек, возмечтавший о рукавицах для промышленных работ; по правую руку раскинулся город. Неподалеку виднелась зеленая излучина реки, берега которой были засажены тополями и ивами. К западу от нее простирался городской парк с пыльными купами привезенных из Англии деревьев, а за ними на горизонте возвышались острые пики гор. Мир все еще прочно стоял на своем месте.

Немного успокоившись, Джонни вернулся на кухню и принялся вынимать покупки. Пыльный и загазованный уличный воздух лился в окна, но это все же было лучше, чем атмосфера, царившая в доме Софи. Джонни надвинул наушники на голову и, плотно прижав их к ушам, включил кассету.

ГОРОД, ЧТО ГРЕЗИЛСЯ МНЕ, УЛИЦА ГРЕЗЫ... — пели голоса. — РЯДОМ СО МНОЙ, СОВСЕМ РЯДОМ...

Джонни, посвистывая в такт, нашел вазу для апельсинов и поставил так, чтобы Софи сразу увидела. Однако когда он открыл холодильник, чтобы сунуть туда масло и яйца, то снова наткнулся на дрозда. Пока он с сомнением рассматривал его, на звук открываемого холодильника примчались кошки. Увидев в кухне Джонни, одни застыли на месте, а другие сгрудились у его ног. Секунда — и он был взят в кольцо.

— Берите! Он ваш! — сказал Джонни и осторожно вывалил дрозда на пол.

Кошки с интересом обнюхали дрозда, а потом опять заглянули в холодильник в уверенности, что оттуда может появиться кое-что поинте-

реснее. В конце концов Джонни открыл пакет сухого корма и насыпал его на пол, обходя миски с прокисшим молоком и нарезанным дольками бананом.

— Сейчас выгребу самую грязь, — сообщил Джонни кошкам.

Однако, принявшись за дело, Джонни никак не мог остановиться — уборка затягивала, как гипноз. Приятно было создавать из хаоса какое-то подобие порядка, пусть и по мелочам; он разбирал, оттирал грязь, раскладывал ложки в одно место, ножи — в другое, а печенье — в специально для него предназначенную жестяную коробку. С радостью обнаружил синие полиэтиленовые мешки для мусора и для начала сунул туда злосчастного дрозда.

Много-много птичек
Запекли в пирог...[1] —

пропел Джонни кошкам, размышляя про себя, не намеревалась ли Софи хранить дрозда до тех пор, пока не соберет всех остальных птиц. Он продолжал уборку, зачарованный внешними проявлениями жизни, еще более беспорядочной и бессвязной, чем его собственная. В сахарнице лежал кусок мыла, как раз подошедший туда по форме; использованные пакетики с чаем были завернуты, каждый отдельно, в газету и аккуратно заклеены. Джонни сосредоточенно, словно охотник, идущий по следу, рассматривал свои находки.

Постоял, изучая оранжевый блокнот с множеством имен, адресов, телефонов и списков. Когда-то, скорее всего в самом начале, почувствовав, что память ее стала сдавать, Софи пыталась бороться, составляя разные списки — дней рождений, сроков платежей налогов или арендной платы (последнюю, судя по всему, надлежало платить раз в месяц). Был там даже список купленных ею лотерейных билетов, а через несколько страниц — найденных на улице монет.

Из-под кипы аккуратно расправленных и сложенных бумажных пакетов Джонни извлек маленький светлый транзистор с золотыми кнопками и делениями на шкале. Он лениво нажал на кнопки и, к своему удивлению, услышал сиплый мужской голос, искаженный, но все же понятный, сообщивший точное время и затем перешедший к новостям. Джонни выключил плеер и стал жадно слушать. Где-то на острове Северном[2] схлестнулись во время футбольной тренировки хулиганы-мотоциклисты, при этом один человек получил ножевые ранения. Количество смертей от дорожных происшествий несколько выросло, а экспорт масла сократился. Рабочие, бастовавшие на нефтеперегонном заводе, согласились выйти на работу, а Хинеранги Хотейни, красавица активистка, бросившая бомбу в министра по делам маори, все еще скрывается. Отряды горных спасателей ищут двух пропавших альпинистов, состояние которых внушает беспокойство, ибо они, как полагают, недостаточно тепло одеты

1. В переводе С. Маршака начало этой песенки звучит так:
Много, много птичек
Запекли в пирог:
Семьдесят синичек,
Сорок семь сорок.
В английском оригинале запечены дрозды, поэтому Джонни и вспоминает знакомую с детства песенку.
2. Остров Северный — северная часть Новой Зеландии.

для данных метеоусловий. Джонни удивился, услышав эти сообщения по транзистору Софи, который казался ему просто старой пластмассовой игрушкой. Поставив транзистор на холодильник, Джонни открыл дверцу шкафчика под раковиной. То, что он увидел, его ужаснуло. Он снял блейзер, повесил его на крючок на стене, а потом осторожно вынул из шкафчика оранжевое ведро, до краев наполненное какой-то бледной разлагающейся массой, поставил его рядом с кошачьими блюдцами и бросил туда же три заскорузлых от грязи кухонных полотенца. Сняв с полок под раковиной замызганные газеты, Джонни остолбенел: под газетами полки были выложены пятидолларовыми банкнотами. При ближайшем рассмотрении оказалось, что банкноты не в пять долларов, а в пятьдесят. На деревянных полках под раковиной у Софи лежало шестьсот долларов; некоторые из банкнот отсырели и подгнили.

Джонни даже смутился... Столько денег среди такого запустения.

"Возьми нас!" — шептали они, томно раскинувшись перед ним. Даже подгнившие, они источали соблазн. "Ты заслужил!" — убеждали они. Джонни дважды пересчитал их. А потом со вздохом положил обратно, накрыв свежей газетой. Он чувствовал себя богатым и свободным, пока держал их в руках, ведь он был уверен, что Софи о них забыла. "Она их и не хватится, — размышлял он. — Могу оставить расписку..." И тут вдруг увидел собственный глаз, взиравший на него из маленького зеркальца, стоявшего на полке. Повертел головой, разглядывая свое лицо в лиловых синяках. "Ловкач", — подумал он и, отвернувшись, включил плеер, чтобы громкой музыкой отогнать искушение.

Возможно, потому он с такой подозрительностью и отнесся к кипе розовых расписок, которые обнаружил в ящике для ножей, под пакетом с имбирным орехом. Все они были на небольшие суммы — пять долларов, девять, три, — и подо всеми стояло "Спайк". Он вспомнил, что видел в доме и другие расписки. Они валялись повсюду, написанные четким, чуть ли не детским почерком, и все выглядели недавними, свежими, а не выцветшими и захватанными, как другие счета и квитанции. "Спайк, — усмехнулся Джонни. — Держи карман!"

СКОРЕЕ НАЛЕТАЙ! ХВАТАЙ И ПРОЧЬ БЕГИ! — пели голоса в наушниках.

("Улыбайся!" — крикнула Джонни мать, как всегда в самый неподходящий момент. Степ, переборочка, разворот — и улыбка!)

Джонни автоматически отбил несколько тактов и широко улыбнулся. "Ты волк в овечьей шкуре, а не степист. Чтобы кого-то разгадать, надо самому быть из того же теста", — думал он, рассматривая одну из расписок на свет. В общем, у Софи на кухне работы было невпроворот, и все разная! Сама же она меж тем спала в гостиной в кресле — тело обмякло, голова упала на грудь, так что под тонкими седыми, давно не мытыми волосами просвечивала розовая кожа. На коленях устроился настырный кот, а две молоденькие кошечки, почти котята, гонялись друг за другом перед креслом, то плотно прижимаясь к полу, то стремительно вскакивая.

ПУСТЬ МИР ВЗЛЕТИТ, МЫ ПОТАНЦУЕМ В ПЕПЛЕ, — пел ансамбль.

Джонни огляделся и решил, что теперь кухня выглядит более или менее сносно. Полки, столы, раковина и створки шкафов протерты, чашки висят на крючках, тарелки сложены по размеру, кастрюли поставлены одна в другую. Бечевка, резинки, счета, квитанции и оранжевый блокнот сложены в одном ящике. Кошачьи миски вымыты. Пол,

правда, все еще грязный, а холодильник неплохо бы разморозить, но надо же где-то и точку поставить.

— Что ж, неплохо поработал, — сказал Джонни вслух и глянул на шкафчик, где под газетами лежали деньги.

Оставалось только сообразить, куда бы сунуть грязные полотенца, если, конечно, он решит, что их стоит сохранить.

ВНИЗ, ВНИЗ, ВНИЗ! — пели голоса. — К ЭТОЙ МАШИНЕ ВНИЗ!

Джонни кивнул. Конечно, Эррол, мастер водопроводных работ и прирожденный джентльмен, ни за что бы не допустил, чтобы жена стирала вручную. Подхватив оранжевое ведро и грязные полотенца, он сбежал вниз, протиснулся мимо тележки с обувью и обнаружил под лестницей серый, безрадостный чулан со стиральной машиной, тазами и покосившейся, будто охромевший кузнечик, гладильной доской. Дверь из чулана вела в призрачный сад.

Джонни широко открыл глаза, губы у него сжались. Гладильная доска была покрыта одеялом, а поверх — простыней, и по всей простыне чернели выжженные утюгом треугольники, кое-где проходящие насквозь до металлической основы. Выпущенное на свободу электричество оставило здесь свой опасный след. Тут же, на самом краешке доски, стоял и утюг. Он был включен в сеть, но, судя по черной корке нагара, не работал. Там, где обтрепанный провод соединялся с вилкой, проблескивала тонкая проволока.

— Господи! — прошептал Джонни. — Вот старая дуреха!

В эту минуту на лестнице послышались медленные шаги. Это проснулась Софи. Джонни не вышел ей навстречу на лестницу, а остался внизу и попытался выяснить, нет ли тут чего-то взрывоопасного: того и гляди, шарахнет фонтаном голубых искр — и конец! Он слышал, как Софи отворила и захлопнула дверь, как в замке повернулся ключ. Запертый с кошками в доме, он уставился на запыленные полки, плотно уставленные коробками с желтым хозяйственным мылом (Софи их до конца жизни не использовать!), банками с мастикой для полов, пачками порошков для стирки, чистки плиты и дезинфекции. В углу вытянулась щетка для чистки ковров. При виде всех этих средств для поддержания чистоты в доме, находившемся в таком запустении, Джонни снова стало не по себе.

"Как только она вернется, — подумал он, — я незаметно выскользну и побегу домой. Надо только блейзер не забыть". Он услышал, что дверь задребезжала. Это вернулась Софи и пыталась войти в дом.

Джонни протиснулся мимо тележки с обувью и крикнул:

— Софи, ты меня слышишь?

— Да-а, — недовольно протянула она. — Я не могу войти. Кто-то забрал мой ключ, и мне приходится стоять здесь с этим большим и тяжелым... как его там.

— А на шее? — крикнул Джонни.

— На шее? — повторила она. — Я никогда ничего не вешаю себе на шею.

Но все-таки, видно, ключ обнаружила. Джонни открыл было рот для дальнейших объяснений, но в ту же минуту она с облегчением сказала:

— Я всегда так ключи ношу, а то ведь потеряешь ненароком, а их кто угодно найдет и спокойно войдет в дом.

Джонни услышал, как ключ повернулся в замке. Дверь отворилась — Софи застыла на пороге, держа в одной руке ключ, а в другой — тяжеленную книгу. Она с сомнением уставилась на Джонни.

— Помнишь меня? — спросил Джонни. — Помнишь доброе старое время?

Но Софи ничего не помнила.

— Я тебе дом прибираю.

— Ну что ж, ладно, — ответила Софи все еще с сомнением и протянула ему книгу. — Что ты об этом скажешь? — спросила она. — Что это такое?

— Это книга, — отвечал Джонни и, взяв ее в руки, прочитал заглавие: — "История ангелов".

— Зачем ты мне ее дал? — настаивала Софи.

— Кто? — в свою очередь спросил Джонни.

Как странно — Софи вышла из дома и тут же вернулась с такой вещью в руках.

— Что ты об этом скажешь? — повторила Софи.

— Я и не знал, что их так много, — ответил Джонни, с уважением глядя на "Историю ангелов". — Я думал, там были только Матфей, Марк, Лука и этот, как его, четвертый...

— Они, знаешь, размножаются, — проговорила Софи многозначительно, — а потом заменяют добрых людей.

Джонни раскрыл книгу и увидел подпись на титульном листе.

— Бонни Бенедикта, — прочитал он вслух.

Он подумал, что ему все это пригрезилось, но нет, слова не исчезали. Джонни изо всех сил ударил себя по голове, чтобы привести мысли в порядок, однако ни книга, ни подпись не изменились.

— Ты говоришь, тебе ее дал какой-то мужчина? — спросил он Софи.

— В розовой... как ее там... нет, в желтой! Что ты на это скажешь? — повторила Софи.

Джонни опустил книгу.

— Прости, — сказал он. — Мне надо с ним поговорить.

Он рванулся к двери и выскочил на улицу Маррибел. Дверь захлопнулась.

Глава седьмая

Оказавшись на улице, Джонни отчаянно завертел головой, надеясь увидеть человека, давшего Софи книгу с именем Бонни. Кто бы он ни был, только бы его увидеть! Впрочем, Джонни особенно на это не рассчитывал. Книга возникла подобно видению и оказалась у него в руках лишь потому, что он стоял рядом с Софи, которая была своего рода магическим шутом. Машины шли таким непрерывным потоком — вряд ли кто-то мог бы перейти дорогу и исчезнуть, скажем, в "Промышленных рукавицах"; но в самом конце улицы, по его стороне, с каждой минутой удаляясь, шел какой-то человек. Джонни побежал за ним, но не успел даже крикнуть, как человек сел в машину и укатил. Сжимая в руках книгу, Джонни замедлил шаг, но назад не повернул. Он шел по улице Маррибел, читая вывески и дощечки на дверях, — ведь если Софи вышла на минутку и возвратилась с книгой, на которой стояло Боннино имя, значит, судьба наконец-то ему благоприятствует. "Что ты на это скажешь?" — спросила Софи. Было бы безумием не понять, что в этом что-то есть.

Он вдруг чрезвычайно воодушевился.

Все может вдруг чудесным образом измениться: он увидит вывеску со словом "Пифия. Компания с ограниченной ответственностью" и с изображением свернувшейся кольцом змеи. Улица Маррибел не молчала — ей было что сказать людям. *Нет новому закону о гомосексуалистах!* — читал Джонни. И тут же: *Спасите китов!* Улица кричала во весь голос, обращаясь ко всему честному народу; но Джонни она ничего не хотела даже шепнуть.

На этой улице не было просто домов, по крайней мере таких, где люди живут обычной семейной жизнью. Возможно, Бонни где-то здесь работает. Студенты, если удается, всегда где-нибудь подрабатывают. Постепенно, по мере того как Джонни осознавал, что откровений ждать не приходится, он все больше замедлял шаги. Дойдя до конца улицы Маррибел, он остановился на перекрестке, а потом прошел назад по противоположной стороне, лишь мельком взглянув на дом Софи. Мало-помалу непрерывный истерический рев машин начал его раздражать, и он, не размышляя, свернул в узкий переулок со странным названием "Тесемочный", который вывел его на берег реки. Внезапно Джонни понял, где находится... совсем рядом была школа, в которой он учился, а чуть дальше — дом, где все они жили, пока не уехали из Колвилла.

Вдоль излучины реки шла живописная дорога. Слева от Джонни еще не облетевшие ивы и тополя печально склонялись над водой. Осень осеняла своей грустной красой расположившиеся вдоль реки старинные особняки, из окон которых открывался вид на противоположный берег; там среди ив тоже вилась дорога, как две капли схожая с той, по которой он продвигался. На этой дороге царило оживленное движение.

По берегу мчались машины, а рядом яркими стрелами по темной воде неслись отражения их огней. Джонни медленно брел по узкой полосе травы меж ивами и тополями, с удивлением посматривая на торчащие из земли, словно серые локти, узловатые корни деревьев; эти места вызывали в его душе то ностальгию, то ненависть. Бывало, по этой дороге за ним с криком "Цыпа, цып-цып-цып!" гнались верзилы из старших классов, грозя свернуть шею, когда поймают. Вот за тем поворотом они его как-то раз окружили. Джонни остановился, мрачно глядя на тополь, к которому его прижали преследователи, отрезав своими телами и велосипедами путь к отступлению. Они залезли в его ранец и, вытащив оттуда фломастеры, намалевали ему толстые красные губы и длинные черные ресницы. А потом заставили танцевать. При одном воспоминании об этом ноги Джонни сами собой отбили чечетку: они тоже подспудно об этом помнили. Джонни послушно последовал их подсказке, держа книгу обеими руками, словно партнершу... степ правой, переборка левой... раз... и два.... и три... пауза... четыре. "Улыбайся, Джонни! — командовала из прошлого мать. — Гляди веселей!" Он сделал несколько коротких проходов между изогнутыми локтями серых корней. На этот раз его никто не видел, кроме выскочившего с ревом из-за поворота белого фургона, который насмешливо погудел.

— Маленькое представление! — крикнул Джонни ему вслед.

Он знал, что обращается к тому, невидимому Джонни прошлых лет, который так и танцует с тех пор на этом берегу.

"Просто они хотят, чтобы на них обратили внимание", — говорила мать, помогая ему смыть нарисованные толстые красные губы и черные

ресницы. Она ему сочувствовала, но считала, что скандала устраивать не стоит.

"Позвони в школу! Нельзя такое спускать! – негодовала Дженин. – Ведь при мне они его и пальцем не трогают".

Это была правда. На этот раз она, как ни странно, была на его стороне; чуть не тряслась от ярости, влетев в их скромную гостиную в колвиллском доме.

"А все этот отвратный Нев Фаулер! Я ему нравлюсь, а он мне противен. Он и Джонни задирает только затем, чтобы я его заметила. Только не выйдет! Буду просто смотреть мимо, словно его и нет".

"Ты никогда не станешь мужчиной, если не научишься сам за себя постоять", – говорил отец. В его голосе звучало не столько презрение, сколько обида, словно Джонни нарушил данное ему обещание. Джонни никогда не сомневался в том, что отец его любит, хотя это была какая-то непонятная любовь, запрещавшая ему защищать сына: он боялся, что так сын никогда не научится сам себя защищать. Казалось, будто колвиллские парни были ему ближе, чем Джонни.

"Вот видишь! – кричал он матери. – Может, танцует он и хорошо, только из-за этой чечетки у него бесконечные неприятности с ребятами – обыкновенными ребятами! Он слишком много играет с девочками".

Он не одобрял выступлений сына, хотя получаемые гонорары производили на него впечатление, в чем он, правда, никогда не признавался. Джонни потанцевал еще на том месте, где когда-то испытал такой страх и унижение. В голове у него смутно мелькало: вот бы кто-то возник и затеял драку – он им покажет, что он теперь такая сила, с которой нельзя не считаться. Когда его охватывала ярость, он всегда испытывал странное облегчение, зная, что вот-вот потеряет голову. Порой он даже радовался этому. Отбивая чечетку здесь, на берегу, он, как бывало и прежде, почувствовал радость. На миг почудилось, будто сейчас все станет на свои места, щелк – и все в порядке! Джонни остановился, но на душе все еще было легко.

– Танцую что надо, – похвастался он, глядя на свои ноги.

Рев белого фургона, который снова пронесся мимо, заглушил его слова. Возможно, водителю хотелось еще разок взглянуть на него, но Джонни даже не посмотрел в его сторону. Он перешел дорогу и свернул на незнакомую улицу, которая, по его расчетам, должна была вывести назад. Так и получилось – спустя немного он вышел к железнодорожной линии, а оттуда уже рукой подать до улицы Маррибел.

"Ладно, а теперь что? – подумал он. – Вернуться домой, помириться с родителями, а потом, пожалуй, позвонить на службу отцу или матери Бонни и объяснить, что ему в руки попала Боннина книжка, которую он хотел бы ей вернуть. Или, может, махнуть на все рукой и больше не пытаться увидеться с Бонни? Положим, он ее найдет, что, интересно, он ей скажет?" И все же он не мог отказаться от этой подсказки, которую невзначай ему подкинул случай, он прямо-таки ощущал, что держит в руке путеводную нить. Ветер доходил до него холодком. Он поежился и вспомнил, что оставил блейзер у Софи. С досадой и в то же время с тайным необъяснимым облегчением понял, что должен вернуться в ее дом. Придя к этой мысли, он сунул руки в карманы джинсов – и обнаружил ключ от парадной двери Софи.

Дойдя до ее дома, Джонни остановился на противоположной стороне улицы и недоверчиво уставился на него. Вспыхнул красный свет, ма-

шины встали длинным чередом, уходящим в самый конец улицы Марибел. Лавируя между машинами, он перебежал улицу, отпер дверь и вошел в дом.

Его не было часа полтора, не больше, но в атмосфере дома что-то изменилось, хотя он и затруднился бы сказать, что именно. Конечно, он и сам приложил к этому руку. В передней возле лестницы уже не так сильно пахло гнилью. Открыв окна, он немного освежил годами не проветриваемый спертый воздух. Наверху слышался шум. Кто-то с грохотом открывал и захлопывал створки шкафов и ящики, видно, упорно и нервно что-то искал.

Несколько кошек следили, мяукая и выгибая спины, как Джонни поднимался по лестнице. Одна вышла ему навстречу — юная белая кошечка с серыми пятками; она, как это умеют некоторые кошки, мяукала, широко разевая рот. Он видел ее розовое нёбо и острые зубы, но не слышал ни звука. Джонни протянул к ней руку, но она, держась на расстоянии, изящно поднялась на задние лапы, так что он смог погладить лишь макушку.

Зайдя в гостиную, Джонни тотчас понял, что, пока он бродил по улицам Колвилла, Софи кто-то посетил. Он не только почуял запах табака, но и увидел окурок в блюдце, которое он вымыл два часа назад, и впервые в жизни рассердился, словно рачительная хозяйка, возмущенная тем, что люди не ценят ее усилий.

Кружась, словно мышь, по комнате, Софи аккуратно перекладывала вещи — она бы сказала: "Прибирала", — подумал Джонни. За время его отсутствия в комнате произошло множество мелких, но значительных перемен. Подушки с одного кресла переместились на другое, а в ящичках секретера теперь лежали тряпка для мытья посуды, солонка и пара очков без стекол. Софи включила обогреватель на полную мощность и выставила перед ним чашки с блюдцами, словно собиралась устроить на полу пикник. Два относительно чистых посудных полотенца, которые он оставил на кухне, украшали спинку дивана. Сама Софи тоже выглядела по-иному. Нарядилась в синее платье; правда, как заметил Джонни, она просто натянула его поверх всего, что было на ней раньше. Когда Джонни бодро ступил в комнату, она с тревогой подняла глаза.

— Я только что заплатила! — воскликнула она с дрожью в голосе. — А теперь моя сумочка куда-то пропала.

— Только что заплатила — за что? — спросил Джонни с подозрением.

— У меня есть расписка, — оправдывалась она, переводя взгляд на стол.

— Тебе ничего не надо платить, — сказал ей Джонни. — Это я.

— Кто это "я"? — спросила она не без колкости.

Джонни увидел свой блейзер, висевший на плечиках у пустого камина, и поторопился надеть его. В любую минуту Софи могла его выгнать.

— Я! — ответил Джонни осторожно. — Ты же меня знаешь.

На краешке стола лежала розовая расписка, аккуратно сложенная, свежая, чистенькая. Джонни взял ее и развернул. "Спайк", — прочитал он. Полагаться на Софи было невозможно, но Джонни не сомневался, что на этот раз она не ошиблась. К ней только что заходил кто-то, домохозяин или его посыльный, она заплатила за жилье и получила расписку.

— Сколько же ты платишь за дом? — спросил он и посмотрел на расписку. — Девять долларов. Должно быть больше.

— Ах, это ты! — внезапно вскрикнула Софи. — А я-то подумала, это хозяин. — Она заулыбалась. — Сейчас дам тебе чайку. Я помню, какой ты любишь. Уж этого я не забуду.

Джонни помахал распиской.

— Сколько же? — не отступал он.

— Я никогда не задерживаю, — произнесла Софи убедительно. — Плачу сразу же. Эррол всегда так поступал. Он, бывало, говорил: "А вы сделаете скидку, если я заплачу наличными?" Милый Эррол. Прирожденный джентльмен, другого такого поискать. Пойду поставлю чайник.

— Так ты помнишь, какой я чай люблю? — спросил Джонни без особого энтузиазма, а она улыбнулась ему в ответ так, словно меж ними была какая-то тайна.

Войдя вслед за ней на кухню, Джонни проверил тайник под раковиной. Все было на месте. Он открыл прибранный им ящик, чтобы положить расписку вместе с остальными, и обнаружил, что за время его отсутствия здесь тоже произошли перемены. Оранжевый блокнот, аккуратно сложенная бечевка и резинки исчезли. Расписки были на месте, но рядом с ними лежали провод для электрического чайника (откуда он взялся, неизвестно), моток ниток с засунутым внутрь карандашом и блюдце с апельсиновой кожурой.

— Где твоя сумочка, Софи? — спросил Джонни.

— Сумочка? — задумчиво повторила она. — Совершенно верно. Ведь я искала сумочку.

И она с тревогой огляделась.

Потом они искали сумочку — долго, упорно и безрезультатно. Сумочки нигде не было. Джонни проверил все полки, одну за другой; все шкафы, заглянул под кресла, за шторы и под подушки, но все было напрасно. Зато под подушкой он нашел два апельсина, в шкафчике в ванной — одну из кошачьих мисок. Он постоял над секретером, хмуро изучая содержимое одного из ящиков: выжатый тюбик из-под зубной пасты, плечики для пальто, обвязанные зелеными и оранжевыми нитками, одно-единственное старомодное металлическое бигуди, стеклянную мисочку с яичной скорлупой, набор иголок. Взятые по отдельности, они были достаточно невинны, но, собранные вместе, тревожили своей явной несовместимостью. Однако сумочки обнаружить не удалось. Джонни и не думал ее найти, хотя и продолжал настойчиво искать. Куда бы он ни шел, Софи семенила за ним следом, тревожась и оплакивая потерю.

— Моя сумочка, — повторяла она. — У меня в ней всё. Всё. А если моя сберегательная книжка попадет в чужие руки? Они могут забрать всё, что у меня есть. Всё.

Джонни и не пытался ей объяснить, что без ее подписи никто не сумеет снять деньги со счета. К тому же где-то неподалеку, возможно даже и на самой улице Маррибел, затаился домохозяин, который при желании вполне может подделать ее подпись. Джонни искал, а Софи все больше волновалась.

— Ах ты, Боже мой! — вздыхала она. — Боже мой... Боже мой...

В ее спальне Джонни решительно сдернул бирюзовый мех (это оказалось покрывало на двуспальную кровать с широкой шелковой бахромой) с большого прямоугольного предмета, который он заметил раньше, и с радостью обнаружил, что это был очень старый и очень громоздкий телевизор.

— По-моему, его надо держать в тепле, — призналась Софи, взглянув на телевизор с не меньшим удивлением, чем Джонни.

Он обрадовался, увидев, что она отвлеклась от мыслей о пропавшей сумочке.

— Давай перенесем его в гостиную, а? — предложил он. — Тут места так мало, не развернешься. Как говорится, кошки не прибьешь.

— Ну нет, этого я никогда не сделаю, — сказала Софи. — Люблю кисок, я их ни за что не обижу.

— А как там насчет чая? — спросил Джонни, малодушно переведя разговор.

— Прекрасная идея! — горячо поддержала Софи. То же, возможно, сказала миссис Эйнштейн, впервые услышав, как профессор размышляет о единой теории поля.

— Я помню, какой ты любишь, — добавила она с добродушным смешком и удалилась на кухню.

Перенося телевизор в гостиную, Джонни решил махнуть рукой на сумочку. Он вообще не знал, как следует поступить. Он не сомневался, что кто-то тут греет руки — заходит чуть ли не каждый день к Софи, берет деньги и оставляет ей расписки. Но как он должен поступить?

Обратиться в полицию? Этого Джонни сделать не мог. Софи вряд ли сможет сказать что-то членораздельное в свою защиту, а какой порядочный полицейский, взглянув на него, не заподозрит, что грабитель это он, Джонни, и есть?

"Значит, как, по твоим словам, ты познакомился с этой старой дамой? — нахмурясь, спросят они, разглядывая его физиономию и разбойничью шляпу. — Встретил на улице ночью? На автостоянке возле супермаркета? В три часа ночи? Понятно! А раньше ты с ней знаком не был? И пошел к ней домой? Странная история, правда?" Была тут и еще одна странность, которая беспокоила Джонни. Расписок было слишком много. Спайк приходил часто — почему же раньше он не воспользовался случаем и не украл сумочку? Почему он забрал ее именно сейчас? Ведь легче было бы устроиться по-другому? Пусть бы Софи каждый день ходила на почту и приносила домой деньги, а он бы их брал, когда захочет.

На улице темнело, в окне кухни то и дело мелькали отблески фар от бегущих мимо машин. Стоя на балконе, Джонни поглядел на соседний дом. Манекен исчез. Может, кроме манекена, там никого и не было? Свет там сегодня не горел, никто не ссорился. По крайней мере в том, что сумочка существовала, Джонни не сомневался. Однако, попытавшись припомнить, как она выглядит, он понял, что думает о сумочке своей матери. Размер и форма сумочки, принадлежавшей Софи, от него ускользали, он никак не мог восстановить их в памяти.

— Чай! — позвала Софи.

Вернувшись в комнату, Джонни принял из ее рук чашку кипятка и сомнительное печенье — не хотелось ни того ни другого. Немного погодя он приготовил себе и Софи скромный ужин. Со вчерашней ночи прошел целый день, и он наконец-то оправился от ее последствий. Он уже не чувствовал себя совершенно отравленным и начал мечтать о хрустящем картофеле, гамбургере или еще о какой-то простой, вкусной, сытной, пусть и не очень полезной, пище, после которой не надо мыть посуду. Его уже не мутило при мысли о пиве в веселой компании. Он накрыл на стол, поставил соль, перец и вазу с апельсинами. Усевшись

рядышком на диване, они поужинали, глядя в телевизор. Софи наклонилась к Джонни, словно хотела поведать ему какую-то тайну.

– Прекрасное место, – доверительно шептала она ему, – обслуживают хорошо.

– Ты часто сюда приходишь? – спросил Джонни.

Она растерянно огляделась.

– По-моему, иногда хорошо есть не дома, – сказала она. – Кухня здесь хорошая и обслуживание прекрасное. Они очень внимательны.

Какой-то дефект в телевизоре делал изображение приплюснутым, оно укорачивалось из-за проходящей посреди экрана слепой полосы. Политики, модные ведущие, фермеры, дающие интервью об оленеводстве, искажались все без исключения, экран словно втягивал их в яркую полосу посередине, и они исчезали в небытие. Прошло всего два дня с тех пор, как Джонни в последний раз сидел перед телевизором, но ему уже казалось, что он видит экран впервые и никак не может оторвать от него глаз. Машины гнались, взлетали, горели, парочки обнимались, комиссии специалистов спорили, и время от времени в комнате Софи показывали преступления, волнующие весь мир.

– Мне мой старый черно-белый телевизор нравится, – самодовольно сообщила Софи.

В Центральной Америке произошло ужасающее землетрясение. Телеоператоры показали плачущих мужчин и женщин, которые искали своих детей. Но через минуту уже демонстрировали конкурсы красоты. С улыбкой вышла высокая молодая женщина – телевизор Софи подсобрал ее в складки в районе пупка.

– На ней не очень-то много надето! – хихикнула Софи. – Ах, Боже мой, Боже мой, вот напасть-то!..

Такого странного вечера Джонни еще не выпадало: почему-то он волновался, будто ждал чего-то, и в то же время безумно скучал. Он и Софи сидели по углам дивана, словно держатели для книг (только ни книг, ни чего другого, что стоило бы держать, между ними не было), и не отрываясь глядели на экран, а вокруг неслышно кружили кошки. Вдруг за окном послышались громкие звуки кошачьей баталии – вся комната мгновенно ожила. Кошки попрыгали на спинку дивана, стараясь выглянуть в окно.

Софи спрятала пачку печенья под подушку. Время от времени, когда ей казалось, что Джонни не смотрит в ее сторону, она вынимала печенье и тайком съедала его, стараясь жевать потише. Взглянув на нее искоса, Джонни увидел, что она вынула изо рта челюсть и с недоумением рассматривает ее. Он быстро отвел глаза. Наконец она поднялась и объявила, что идет спать. Произнесла это так, словно они долго спорили и Джонни пытался ее отговорить.

– Давай, давай, отправляйся, – бодро отвечал Джонни.

Ведущий в это время объявлял, что во время короткой паузы перед следующей программой выступит исполнитель народных песен.

– Тебе надо как следует выспаться, чтобы завтра быть покрасивее.

Софи сурово взглянула на него.

– Я запираю дверь! – объявила она. – Не думай, что тебе все дозволено.

– Нет, конечно, – согласился Джонни. – Запри ее получше. Так тебе будет спокойнее.

— Ты человек добрый, я знаю, — оттаяла Софи. — Только родня у тебя такая ненадежная...

— Да, знаю, — кивнул Джонни. — Дядя Брюс.

— Дядя Брайен, — мягко поправила она.

— Да, правильно! Вдруг выпало из памяти. Я еще посмотрю, Софи.

— Смотри сколько хочешь, — великодушно разрешила она, глядя на телевизор.

— Спокойной ночи, — пожелал ей Джонни.

Так было безопаснее.

Софи ушла в свою спальню; через минуту он услышал: она забаррикадировала дверь.

Приплюснутые фигурки плясали на экране. Он их перегибал пополам, всасывал, а потом презрительно выплевывал. Джонни напряженно следил за ними — в окружившем его загадочном мире любая мелочь могла иметь значение, только бы суметь ее разглядеть.

Глава восьмая

И снова Джонни проснулся в доме Софи. На этот раз, даже не открывая глаз, он точно знал, где находится. Лежа в грубоватой шерсти одеял, он смотрел на полосатый блейзер, свисавший с уголка каминной полки, на стоявший поодаль плеер, на перекинутые через спинку стула джинсы. Рядом с кроватью на полу лежала "История ангелов", раскрытая на титульном листе с именем Бонни. В это утро Джонни почудилось, что она где-то рядом, таинственная, призрачная, все еще недоступная, в окружении розовых расписок, пропавших сумочек, тополя у реки и Нева Фаулера.

Нев навалился на него с такой силой, что Джонни почувствовал, как сквозь школьный джемпер у него на спине отпечатывается грубая кора деревьев. Костлявые колени Нева врезались ему в бедра. Холодящее лезвие ножа коснулось горла. С высоты своего роста Нев как-то странно уставился Джонни в глаза, враждебно, но в то же время и зачарованно. "Если кому проболтаешься, убью", — пригрозил Нев пронзительным голосом.

— Попробуй, — произнес Джонни вслух, лежа в пыльной спальне дома Софи, и широко улыбнулся. Пора вставать и думать о предстоящем дне.

"Та ли ты овца, какой хочет видеть тебя Господь?" — спросил он себя, выбираясь из постели. Разглядывая ржавые пятна высохшей крови на груди рубашки, он понял, что никогда в жизни ему так не хотелось переодеться во все чистое.

Покачав головой, он проследовал в ванную, вычистил новой щеткой зубы и критически изучил себя в зеркале. Один глаз, окруженный густой синевой, выглядел так, словно его подбили в последнюю минуту, на прощание. Остальные синяки приобрели желто-зеленый цвет.

— Где-то там, за радугой... — пропел Джонни в зеркало.

Вид у него был ужасный: мало того, что весь в синяках, так еще и не брит. Но бритвы не было. Не принять ли ванну? А переодеться во что? Он решил подождать, ведь днем он уже наверняка будет дома. Стало не по себе, когда подумал о матери: небось беспокоится, куда это он пропал. Все же он припрятал свою новую зубную щетку, чтобы Софи не нашла ее и не использовала в каких-то своих жутких целях, а потом вышел

на площадку и, отворив дверь в гостиную, заглянул в нее. Шторы были задернуты; казалось, что на дворе – раннее утро. На столе распласталось что-то красное, бесформенное. На миг Джонни почудилось, что одна из кошек попала под машину и влезла на стол, чтобы закончить там свои дни. Но потом разглядел, что это была неизвестно откуда взявшаяся сумочка Софи. Джонни растерянно посмотрел на нее и шагнул через порог, но тут услышал какой-то шорох и бормотание на полу, на уровне своих колен. Он глянул – и, забыв о чудесном появлении сумочки, вылетел на площадку, захлопнув дверь и прижавшись к стене, словно сыщик в детективном фильме. Кровь бросилась ему в лицо – впервые за много лет. У него даже кожа под волосами покраснела.

За дверью Софи, стоя на карачках и опустив голову, скребла, как собака, пол; на ней не было ничего, кроме шляпки и распустившейся трикотажной рубахи. Увидев ее, Джонни тотчас отвел глаза, но почему-то ему показалось, что за ней волочится длинный и гладкий, как у крысы, хвост.

– Ах ты, Боже мой, Боже мой, – бормотала Софи, – вот напасть-то...

За последние годы Джонни навидался обнаженных женщин в кино, в журналах и на фотографиях, которые в школе передавали из рук в руки. Он даже видел пару живых голых девушек. Он был уверен, что уж его-то женским телом не смутить, но тут понял, что все зависит от возраста женщины. Один взгляд на обнаженный зад Софи – и он возмутился. Он пришел в ярость, словно Софи намеренно сыграла с ним гадкую шутку. Нет уж, это он не обязан терпеть!

Несколькими ступеньками ниже полосатая кошка устремила на него презрительный взгляд, а потом задрала заднюю лапу и принялась вылизывать хвост. Кошка была так спокойна и с такой уверенностью занималась делом, что Джонни устыдился своего смятения. А вдруг Софи упала, мелькнуло у него в голове, и повредила себе что-нибудь? Осторожно приоткрыв дверь, он снова заглянул в гостиную, стараясь не глядеть прямо на Софи. Крысиный хвост оказался шнуром от тостера, который Софи волочила за собой. Теперь она пыталась воткнуть вилку в розетку: криво зажав ее в руке, она с силой тыкала в стену, сердясь, что вилка никак не входит. Казалось, будто она пытается прикончить какого-то маленького, но упорного зверька. "Она ужасно рискует, – испугался Джонни, – в любую минуту ее может ударить током, нужно поскорее вмешаться".

– Софи! – завопил он. (Она подпрыгнула.) – Сию же минуту перестань! Это опасно.

– Но она никак не включается... Эта штука, которая должна меня греть, – жалобно вскричала она.

Прямо за ней стоял обогреватель, но она на него даже не взглянула.

– Это всегда делал Эррол, – прибавила она. – Не знаю, куда он подевался.

– Ты не то включаешь, – сказал Джонни с досадой. Нет, это просто невыносимо! – Эррол умер. Остался один я.

Она его напугала. Собственный голос показался ему самому бесчеловечным, а услыхав собственные слова "Остался один я", он снова почувствовал тревогу. Это была правда – и она ему ужасно не нравилась. Софи протянула к нему руку, чтобы он помог ей подняться с пола. И Джонни не колеблясь взял ее за руку.

Пять лет назад он тоже протянул руку – вскарабкавшись вверх по склону, оставив позади страшный выступ, с которого он увидел тело своей сестры, ле-

жащее внизу среди змеящейся пены. "Они обвинят меня, – думал он в отчаянии, – последние месяцы Дженин вечно меня во всем винила, и родители редко ей возражали". "Не огорчай Дженин", – снова и снова предупреждали они его. Джонни протянул руку Бонни, склонившейся к нему из-за цепи, огораживающей опасное место. "Ах, Джонни! – воскликнула она. – Я думала, ты тоже сорвешься". А немного позже, видя, как он трясется и что-то лопочет, словно испуганная обезьянка, она вдруг вскричала: "Перестань! Перестань!" И, хотя ему было уже четырнадцать, обняла его, как малого ребенка. Он обнаружил, что ее тоже бьет дрожь; ощутил и запомнил тепло ее кожи цвета темного меда и округлость грудей, за набуханием которых втайне следил последние три года (потом ему было немного стыдно, что в такую минуту он это заметил). "Это я виноват? – ужаснулся он. – Они скажут, что я". Она посоветовала: "Не говори им. Скажи, что ты был здесь со мной". Это был последний совет пифии. Через несколько минут она швырнула свой перстень. Змея, свернувшись кольцом, мелькнула и, крутясь, исчезла в заходящих лучах солнца.

Однако на этот раз руку протянула Софи – настал его черед быть спасителем. На свете, конечно, немало протянутых за помощью рук; когда же тебя берут за руку, приходится помогать, как тебе помогали когда-то. Что ж, он поднял Софи с пола. При всей своей худобе она оказалась на диво тяжелой.

– Эррол умер?! – громко повторила она, скорее с удивлением, чем с грустью. – Я рада, что ты мне сказал. Мне нужно знать. Эти люди, что живут рядом... Они мне ничего не говорят.

Но тут же помрачнела и замкнулась.

Она не выпускала его руки – пальцы у нее были невероятно узловатыми. "Может, у нее артрит, – подумал Джонни, – может, ей и сжимать-то их больно". И он с тревогой глянул на ее предплечье, костлявое, худое, не толще круглых блестящих ручонок, которыми порой обвивали его шею двойняшки.

– Знаешь, он был хорошим мужем, – задумчиво проговорила Софи и пристально посмотрела на Джонни, видно пытаясь удержать в памяти ускользающий образ Эррола. – Тебя я никогда не забывала, – словно извиняясь, прибавила она, – но Эррол был прирожденный джентльмен.

– Послушай, Софи, – взмолился Джонни, – надень на себя что-нибудь! Будь прирожденной леди. Ведь ты замерзнешь.

Близость ее старой плоти отталкивала, едва ли не пугала – это был до того естественный инстинкт, что заглушить его Джонни не мог, хотя и стыдился этого чувства. К тому же даже в шляпке, похожей на горшок, и распустившейся рубашке Софи каким-то образом умудрялась выглядеть чуть ли не изящно.

– Пойду найду твою одежду, – сказал Джонни, скидывая блейзер и набрасывая его Софи на плечи.

Зайдя в спальню, он принялся торопливо искать, но вчерашнее ее платье исчезло, как сквозь землю провалилось. Можно было подумать, что в доме Софи, словно в научно-фантастическом романе, возникло некое пространство, какой-то зазор между измерениями, куда рассеянная пожилая леди совала то сумочку, то одежду.

Софи следила за ним с порога, мрачно хмуря свои почти исчезнувшие брови. Ее осуждающий вид действовал Джонни на нервы.

– Знаешь, мне совсем не хочется это делать, – сказал он. – Где твоя одежда?

— Не очень-то приятно, — отозвалась Софи, не отвечая на его вопрос, — когда твои вещи трогают.

— Да не хочу я их трогать! — отрезал Джонни. — Ты посмотри на себя: стоишь раздетая, так ведь и простудиться можно. Я бы своим сестренкам не разрешил так стоять.

— Нет у тебя никаких сестренок, — заявила Софи. — Я все твое семейство знаю.

Ее гардероб был битком набит всякой одеждой — блузками, платьями, какими-то потрепанными жакетами, — при всем желании больше туда ничего не втиснишь.

— Это мои вещи, — заявила Софи. — Тебе ни одна не подойдет.

Тут Джонни осенило.

— Послушай-ка! А почему бы тебе не принять ванну? — предложил он. — Ведь это совсем просто, а? А ты в этом, черт возьми, нуждаешься.

Не дожидаясь возражений, он поспешил мимо нее в ванную и отвернул оба крана. Из них с шумом хлынула рыжая от ржавчины вода. Видно, ее не включали очень давно. Джонни мрачно смотрел на воду: постепенно она светлела. Из крана лилась мощная горячая струя — похоже, Эррол в свое время здесь неплохо потрудился. На шкафчике Джонни заметил запыленную банку с солью для ванн и быстро высыпал чуть не четверть в воду. Ржавые подтеки возле кранов исчезли, душистая бирюзовая пена поднялась над пожелтевшей эмалью.

Софи с блейзером на плечах проследовала за Джонни в ванную и посмотрела на пенящуюся воду. Недовольное лицо преобразилось; она зачарованно, чуть ли не с нежностью глядела на бирюзовые пузырьки.

— До чего красиво, правда? — восторженно вскричала она.

— Ныряй, Софи, — сказал Джонни. — Всё в полном твоем распоряжении.

— Могу с тобой поделиться, — предложила Софи и снисходительно улыбнулась.

— Нет, нет, это все твое, — быстро возразил Джонни. — Давай же! Прыгай! А я принесу тебе одежду.

Но Софи опустила пальцы в ванну и заявила, что вода слишком горяча. Джонни проверил и с укором посмотрел на нее.

— Совсем не горячая, — объявил он. — Чуть теплая. Давай же! К чему откладывать?

Но тут же понял, что ее пугает не температура воды, а высокие края ванны. Она не могла в нее забраться, а помочь, кроме него, было некому. Джонни громко, со стоном, вздохнул и, усмехнувшись, сказал вслух:

— Что ж, почему бы и нет? Дальше уж бояться нечего. — И протянул ей руку. — Ну-ка, хозяйка, раз-два-три!

Робко вытянув ступни с выступающими шишками, Софи ступила в ванну, высоко подняв его руку, словно танцевала менуэт. Переступив с ноги на ногу в изумрудной воде, она повернулась и, все так же изящно держа его руку, церемонно произнесла:

— Весьма вам признательна.

Джонни, с улыбкой отведя левую руку в сторону, слегка поклонился ей в ответ.

Опустившись в бирюзовую пену, Софи наконец разжала пальцы, боязливо сжимавшие его руку.

— Вода точь-в-точь как надо! — воскликнула она, плеская водой на свою серую рубашку, всплывавшую вокруг нее.

— Ну-ка! Снимем с кролика шкурку, — сказал Джонни.

Так всегда говорил отец, когда они с Дженин были крошками и раздевались перед камином. Стянув с Софи рубашку, Джонни вдруг ощутил, как его заливает волна теплого чувства к отцу. В последнее время отец, не зная, как выразить свою привязанность к сыну, чаще всего сердился или критиковал его, но когда Джонни был маленьким, отец был таким добрым и всегда умел успокоить. Он любил маленьких детей, а не огромных растерянных сыновей. На шее у Софи висели на тесемке ключи. Джонни осторожно снял их и положил на мыльницу возле раковины.

Вчера он отнес в ванную три куска мыла, но во время своей оживленной деятельности в его отсутствие она их, видно, куда-то прибрала. Поразмыслив минутку, он направился в кухню, где обнаружил один из них на блюдце в холодильнике. Он отнес его Софи вместе с мочалкой и полотенцем, которое показалось ему чище других.

— Помойся как следует! — наказал он ей, словно строгий родитель. — За ушами потри! И во всех других местах!

И на этом удалился.

Выйдя из ванной, он упал в кресло, чувствуя, что хорошо потрудился. Минуты две сидел с закрытыми глазами, не двигаясь. Потом вскочил, раздвинул шторы и снова принялся искать одежду. В спальне его опять охватило желание навести в этом хаосе хоть какой-то порядок. Странно, дома его всегда считали источником беспорядка. Здесь же, напротив, он все раскладывал по местам и знал, где что найти. Он вынес на балкон постель Софи, сначала одеяла и простыни, затем матрас. Разложив матрас на перилах, он увидел на нем мокрое пятно, формой напоминающее Африку. На миг ему почудилось, что оно и размером почти такое же.

Джонни облокотился на перила и строго посмотрел на пятно, но оно не исчезло. В ужасе он схватился за волосы (извечный жест отчаяния!), а потом взглянул на небо, чтобы проверить, какая сегодня погода — раньше у него не было времени ею поинтересоваться. День выдался приятный, но не жаркий. Матрас быстро не высохнет. Подумав, он перевернул матрас, но пятно проступило насквозь, на другой стороне напоминая скорее Южную Америку. "Миграция континентов", — подумал Джонни, с опаской берясь за электрическое одеяло, хотя оно и не было включено. Одеяло оказалось не только мокрым, но и местами протертым. Невидимый разрушитель не пощадил даже постели Софи. Решив наконец, что уличный воздух, пусть и с примесью выхлопных газов, постели не повредит, Джонни оставил ее на балконе и продолжил поиски. Он выбрал полосатую юбку и пеструю блузку, на которой пятна не слишком выделялись. Разыскивая чистое белье, он открыл ящик дубового комода, на котором стояло широкое зеркало, и обнаружил, что он набит какими-то странными вязаными вещами — ночными кофтами, севшими джемперами, крошечными рубашками (как они могли налезть даже на Софи, непонятно!), широкими панталонами с резинками внизу. Выбирая белье почище, Джонни вдруг наткнулся на двадцатидолларовую бумажку. Всего в комоде обнаружилось сто двадцать долларов — часть из них была завязана в носовой платок, запятнанный кровью. Он выпрямился, пропуская банкноты сквозь пальцы. "Я мог бы заплатить себе за то, что помог ей помыться, — мелькнуло в голове, — или просто забрать их. Никто ведь не узнает".

— Софи, — позвал он, пересчитывая деньги. — Как ты там? В порядке?

Каждый раз, когда он считал деньги, ему все больше казалось, что они принадлежат скорее ему, чем Софи.

— В порядке, — отозвалась она из ванной. — Я уже совсем чистая.

В конце концов Джонни сунул деньги обратно под мягкие вещи. Особой радости от того, что преодолел искушение, он не испытывал. "Я просто тронулся, — подумал он, подходя к двери в ванную. — Эти деньги лежат здесь без всякого проку". Он забарабанил в дверь ванной.

— Ты в пристойном виде? — А про себя подумал: "Вряд ли, однако надо же как-то предупредить, что он собирается войти".

— Не знаю, — с сомнением протянула она, словно он задал чрезвычайно трудную загадку.

Шагнув в ванную, где сильно пахло душистой солью, Джонни положил одежду на опущенную крышку унитаза и, отвернувшись, помог Софи выбраться из ванны с той же церемонностью, с какой помогал ей залезть в нее.

— Вы очень добры, — поблагодарила Софи.

— Мы бы с тобой в танго хорошо гляделись, — сказал Джонни, набрасывая ей на шею тесемку с ключами и торопливо завертывая в большое мохнатое полотенце.

— Люблю старомодные танцы, — призналась Софи. — Знаешь, Эррол прекрасно танцевал. Он любил фокстрот.

— Не сомневаюсь, — засмеялся Джонни.

Софи последовала его примеру и тоже рассмеялась. Они посмотрели друг другу в глаза, Софи — столь же простодушно, хотя и не без тени кокетства, как и двойняшки (правда, в последнее время даже они порой прикрывались полотенцем и кричали: "Не гляди!").

Джонни показал Софи принесенную им одежду и поспешил на кухню, чтобы приготовить завтрак. Только он начал искать хлеб, как в ванной послышался звук падения и крик. Джонни рванулся к дверям.

— Софи! Софи! Ты в порядке?

— Ой, как больно! — простонала она в ответ.

Скрипя зубами и чертыхаясь, Джонни ворвался в ванную. Софи сидела на полу — панталоны запутались у нее в ногах.

— Да ты перекрутила свои штаны, — воскликнул Джонни. — Что бы ты делала без меня?

Слова отозвались сигналом тревоги в его ушах.

— Сильно шлепнулась, — пожаловалась Софи, морщась от боли и потирая, как это делают дети, ушибленное место. Она даже не пыталась бодриться. — Ой, как больно.

— Вот, держи, — сказал Джонни, встряхнув панталоны. — Зачем ты носишь такие... такие большие?

— Я не люблю, когда в обтяжку, — сказала Софи и опять протянула ему руку.

Он нагнулся, чтобы помочь ей надеть панталоны, — она положила руку ему на спину.

— Слушай, Софи, я тебя предупреждаю, — произнес Джонни. — Будь осторожнее, ведь дальше ты все будешь делать сама. Ты же не хочешь, чтобы я тебя одевал. Я ведь в дядю Брайена, и все такое.

— Нет, конечно, — сказала она с негодованием, но потом все испортила, насмешливо хихикнув.

"До чего я докатился?" — спросил себя Джонни, чистя апельсин и разделяя его на дольки.

Последние год-полтора он пользовался дурной славой среди друзей родителей: его считали парнем шальным и опасным; он удивлялся, но в

то же время чувствовал себя польщенным. Он не хотел превращаться в человека, который тревожится о мокрых матрасах, ваннах и завтраках; его бесила овладевшая им тревога за Софи. Ее дом казался ловушкой, готовой вот-вот захлопнуться.

"Я должен выбраться отсюда", — подумал он.

Дважды он совсем было уходил. И оба раза что-то его останавливало. Все больше и больше казалось, что это он должен приглядывать за Софи, он и никто другой, спасать ее от недоедания, от опасности, от грязи, даже от собственного дома, грозящего ее жизни. Она может попасть под ток, налететь на кошку, споткнуться об изодранный ковер и раскроить себе череп. Джонни так и видел, как она лежит внизу возле лестницы, а из головы сочатся на пол остатки памяти. Пятно на полу будет совсем небольшим — памяти у Софи почти не осталось. Джонни стал намазывать маслом хлеб и чуть не порезал себе палец, ослепленный этим видением.

"Во что бы то ни стало надо выбраться отсюда, — подумал он снова. — Какого черта!"

"Но ведь встреча с ней — знак, — произнес кто-то у него в голове. — А с этим надо считаться". Джонни всегда охотно верил во всякие знаки и предзнаменования и сердился, когда на них не обращали внимания. Спустя неделю после гибели Дженин он вернулся в заповедник и, вспоминая сверкающий полет перстня, несколько дней искал его...

Джонни заставил себя вернуться мыслями к Софи. Он понял, что одеться для нее теперь — целое дело и что она не мылась потому, что так оно было безопаснее. Джонни прошелся чечеткой по кухне, глядя на свои ноги, которые все еще прекрасно помнили, что они умеют, и отбивали дробь сами собой, без всякого усилия с его стороны.

— Цып-цып-цып-цыпленок-цыпа! — пропел он им тихонько.

Конечно, он понимал, что их проворство — дар временный, которого когда-нибудь не станет. В эту минуту в комнату вошла прилично одетая Софи и с удивлением посмотрела на него.

— У меня нет этих... как же их?.. Ну, этих штук, — сказала она. — Знаешь, тех, что на ноги надевают.

"Верно, она имеет в виду чулки", — предположил Джонни.

— Забудь о них и посмотри-ка сюда, — и указал ей на стол, на котором стоял завтрак.

Софи просияла.

— Выглядит чудесно. Ты так добр ко мне. Ты очень хороший.

— Мог бы быть и получше, — возразил Джонни, но она, взглянув на него со снисходительной улыбкой, успокоила:

— Для меня ты достаточно хорош.

Пока Софи завтракала, Джонни положил матрас обратно на кровать, накрыв мокрые пятна полиэтиленовым мешком для мусора. Простыни, которые он обнаружил на кухне в шкафу, были все в дырах, но он, выбрав ту, что поцелее, застелил постель. Потом, решительно подавив мысли о деньгах, спрятанных в доме, поднялся наверх, нахлобучил шляпу, пристегнул к поясу плеер, повесил на шею наушники, рассовал по карманам кассеты и бумажник. Он решил оставить у Софи свою зубную щетку — как некий сувенир о мимолетном пребывании в этом доме. Напоследок заварил чай и налил Софи чашку настоящего чая. Молоко из холодильника куда-то исчезло, но Джонни быстро обнаружил его в шкафу между двумя стопками блюдец.

— Сейчас налью тебе чашечку, — живо проговорила Софи, когда он поставил перед ней чашку с чаем.

— Потом, — ответил Джонни виновато. — Послушай, Софи! — прибавил он серьезно.

Она вопрошающе взглянула на него. Рот у нее был набит хлебом.

— Нет, ничего, — произнес он со вздохом. — Просто... знаешь... смотри себе под ноги, когда идешь, и все такое.

Он шагнул мимо нее к двери, вышел на площадку и легко сбежал по лестнице вниз. Кошки следили за ним, цинично усмехаясь в усы. Они-то знали, что он просто дезертировал.

Внезапно его осенило: должны же быть люди, которые присматривают за такими, как Софи, это их работа, и к тому же Софи может им платить. Он где-то читал про комиссию по делам престарелых или как там она называется. На душе у него полегчало. "Я ведь не прикарманил эти деньги, — напомнил он себе. — А мог бы".

Джонни взялся за дверную ручку, повернул ее, шагнул на тротуар, но, прежде чем закрыть дверь, помедлил и с досадой оглянулся. "Давай же, — сказал он себе, — кончай, решись наконец и захлопни эту дверь". Из дома он выбрался, теперь надо выйти из его поля, отдалиться на расстояние, чтобы дом не притянул его обратно.

— Спокойно, — произнес он вслух.

Слегка потянулся, зевнул и двинулся не торопясь в сторону почты. Он шел навстречу потоку машин, мчавшемуся по улице, — может, это нарушит магию ее дома, как бывает, когда обойдешь церковь против часовой стрелки... А может, наоборот, по часовой стрелке? Судя по всему, он правильно рассчитал — ничто его не остановило, никто его не окликнул. Он уходил, унося с собой все, что при нем было. С каждой секундой он все больше и больше приближался к свободе.

Глава девятая

Хотя поначалу Джонни шагал решительно, будто ничто не связывало его с домом Софи, у железнодорожного перехода он остановился и нервно оглянулся.

В это утро и на этом расстоянии дом был просто старым зданием, которое выделялось разве что краном, но даже и кран выглядел всего лишь украшением, способным вызвать улыбку — и только. За домом Софи виднелся второй дом с пустым балконом. Джонни уже не казалось, что он переместился в какое-то заколдованное пространство, в город, который только похож на настоящий.

У него словно камень с души свалился. Хотелось заплясать от радости. Он и заплясал, двигаясь вперед небольшими переходами, молча переступая с пятки на носок, напевая про себя и выстраивая сложный рисунок из одинарных, двойных и тройных перебивок. Люди, сидевшие в вытянувшихся длинной чередой у светофора машинах, следили за ним без улыбки. Джонни убыстрил темп, помахал им обеими руками и оставил позади, прыгнув на гравий возле линии и пройдясь там вперебивочку. Его восхищала обыденность окружающего мира. Он уходил приплясывая от заколдованного места — дом Софи с его кошками, грязью и запустением оставался позади.

В конце концов, если это будет действительно необходимо, он станет искать Бонни целенаправленно, разумно. А пока можно вернуться к обычной жизни — стать человеком, а не нащупывающим путь рогаткой лозоходцем. Всего в нескольких милях отсюда стоит простой дом, где жизнь идет как надо, где его встретят с радостью — там у него две сестры, одна собака, одна кошка, сыр лежит в холодильнике, а не в мыльнице. Если он и прожил в доме Софи пару безумных дней — что ж, там по крайней мере теперь чище, уютнее и еды вдоволь. В голове роились всевозможные планы. В такие минуты все казалось возможным.

"Найду себе работу, — размышлял он. — Я на все согласен, на все! Что предложат, то и возьму".

И все же, переходя полотно, поглядывая на тарахтевший мимо него белый фургон, он на миг замедлил шаги: вправе ли ты отвернуться от колеса фортуны, если оно подбрасывает тебе магические случайности, с которыми ты не желаешь связываться? (В фургоне, как ему показалось, сидели трое, но отражения домов, скользившие по ветровому стеклу, помешали разглядеть лица. Все же...)

Вдруг впереди чем-то вкусно запахло. Он тотчас понял, что это хрустящий картофель. Старый паб "Колвилл" открыл свои двери посетителям. Туда он и направится; он был свободен, и ему до смерти хотелось простой, вульгарной пищи. Весь день в его распоряжении. Надо отпраздновать возвращение к реальной жизни. Он перешел дорогу и вошел в паб. В это время дня народу было немного, и он с удовольствием огляделся — все просто, никаких излишеств, всяких там цветных витражей или роскошных ковров, которые нравятся представителям фирм и их женам. Стойка и бар за ней сверкали, словно сцена в театре пантомимы, обещая всяческие удовольствия и превращения. Бутылки многократно отражались в прикрепленном сзади них зеркале. В меню сообщалось, что в баре имеются горячие сандвичи и закуски. За стойкой, опустив пивной шланг с "револьвером" в кружку, стоял бармен. На миг Джонни перенесся в мир вестернов (Питер выхватил кольт и выстрелил. Янтарное пиво ударило струей противнику в грудь, и Дьявол Жажды, смертельно раненный, упал. Питер Пивной Кольт не знает равных в быстроте реакций!). Солнце светило в окно, играло в ручках наполненных золотистым пивом кружек, так что казалось, будто они брызжут чистым золотом. Несмотря на радостное возбуждение, переполнявшее Джонни после бегства от наваждения, связанного с домом Софи, он все же не забыл о своих добрых намерениях и планах на ближайшее будущее. Он твердо решил соблюдать осторожность. Подойдя к бару и заказав лимонад, он почувствовал себя сильным, словно герой старого ковбойского фильма. Здесь, в пабе "Колвилл", царил золотой Запад. Взяв стакан и бутылку с лимонадом, Джонни уселся за угловой столик и выпил за возвращение к нормальной жизни. Немного погодя из кухни крикнули, что заказанные им хрустящий картофель и сандвич готовы, и он подошел к стойке, где в отсутствие посетителей бармен читал журнал яхт-клуба. Джонни отнес поднос на свой столик. Картофельные чипсы пахли так заманчиво, легкие, хрустящие, соленые, первая партия в этот день. Кто-то оставил на столе газеты, и он принялся читать, с удовлетворением пробегая привычные желчные споры о муниципальных отчислениях и загрязнении реки, сагу о Хинеранги Хотейни (всё еще на свободе), сообщения о конце одной большой городской фирмы и слиянии других. Он уже заканчивал чипсы, наслаждаясь их нежным соленым вкусом, когда

бармен рассеянно протянул руку и включил стоявший рядом с кассой транзистор. Бар огласила отрывистая музыка. Это была песня той самой группы, чью пленку он слушал на своем плеере; только, конечно, теперь ребята пели не для него одного, а для публики.

Джонни, приготовившийся уходить, до того удивился, что даже потрогал наушники, дабы убедиться, что они висят у него на шее, а не надеты на голову. Ему казалось, что эти голоса поют только для него; впрочем, так оно и было — в доме Софи.

— МЫ ПРИШЛИ ЗА ТОБОЙ... ОТВЕСТИ ТЕБЯ К ДОМУ... — пели они, что должно бы успокаивать, но, напротив, звучало мрачно. Джонни глянул в сторону транзистора, грустно улыбнулся, шагнул к двери, но тут же замер и уставился на него. Внутри что-то сжалось.

— ДОРОГА ЗОВЕТ, — пели голоса, но Джонни уже их не слушал. Он пристально рассматривал стоявший возле кассы кремовый транзистор, а потом наконец двинулся с места, но пошел не к двери, а к стойке. Словно обреченный на гибель ковбой, он приблизился к стойке и, положив на нее деньги, заказал еще одну бутылку лимонада. Бармен потянулся за бутылкой, а Джонни взял транзистор и повертел его в руках.

— Откуда это у тебя? — спросил он, следя за тем, чтобы голос его звучал небрежно и чуть свысока. Однако в его тоне чувствовалось обвинение.

Приемник как две капли воды походил на транзистор Софи, легкий, недорогой и такой же хрупкий в пластмассовой коробке, как сама Софи в своей рубашке. На месте ли деньги под раковиной, он проверил, сумочку ее искал, но вот про приемник совершенно забыл.

— Купил вчера вечером, — ответил бармен. — Ребятишкам. Забыл взять домой.

Он немного стыдился, что корпус у транзистора такой женский, кремовый с золотом.

— Если поставить новые батарейки, звук будет ничего, правда?

— Вчера вечером? — переспросил Джонни. — У кого это ты купил?

Его голос прозвучал слишком резко. Бармен покосился на него с подозрением.

— А тебе-то что? — отозвался он.

— Да нет, мне просто любопытно. — Джонни старался говорить небрежно. — Модель старая. У моей... у моей бабушки был такой же.

Бармен откупорил бутылку с лимонадом и пододвинул ее к Джонни, но не прибавил больше ни слова.

— У кого-то из местных купил? — не сдавался Джонни.

— Обменял на кружку пива, — сказал бармен. — Он же ничего не стоит.

— Да ты, я вижу, рисковый, — заметил Джонни. — Торгуешь из-под прилавка?

— Ты что, легавый? — спросил бармен.

Джонни засмеялся.

— Брось! Разве я похож на легавого? — произнес он с вызовом.

— По виду никогда не скажешь. Теперь им приходится всяких к себе брать.

— Нет уж, спасибо, — воскликнул Джонни.

Он не сомневался, что приемник принадлежит Софи, но как это доказать? Не мог же он предъявить в качестве свидетельницы Софи. И все же приемник, неожиданно всплывший в пабе, подтвердил его подозрение, что кто-то систематически обирает Софи (разве у него не было та-

кой же мысли?). Все это сбило радостное возбуждение. С бутылкой в руках он пошел к своему столику.

— Я знаю парня, который продал мне этот транзистор! — крикнул ему вслед бармен. — Он вечно здесь ошивается.

Джонни кивнул и поднял вверх руки в знак того, что сдается. Бутылку он держал в правой руке и чуть не залил себя лимонадом.

Внезапно в бар повалил народ. Через несколько минут зала наполнилась. Джонни кинул взгляд на часы. Половина двенадцатого. Может, люди, работающие во всех этих фирмах и фабриках, мало-помалу расползавшихся по окраине Колвилла, забегали сюда во время обеденного перерыва. Одни заказывали еду с бутылкой пива или стаканом вина и усаживались за столики, другие покупали картофельные чипсы и сандвичи в пакетах и уходили. Джонни сидел, запустив обе руки в волосы. Предположим, он пойдет в полицию и заявит, что Софи подвергается ограблению, предположим, ему поверят. Но что они могут сделать? Поставить возле ее дома полицейского? Да Софи скорее пожалуется на то, что полицейские ее допрашивают, чем на исчезновение транзистора. Интересно, а можно подать жалобу за кого-то? Должно же где-то быть место, куда он мог бы обратиться и где ему сказали бы, кто должен приглядывать за Софи.

Он сидел и размышлял обо всем этом, как вдруг по его столику скользнула тень. Кто-то шел к нему мимо окна, кто-то остановился, выжидая, пока его заметят, и, наконец, заговорил.

— Гляди-ка! Да это Цыпленок Дарт! — удивленно вскричал чей-то голос.

Впрочем, удивление было наигранным. Джонни тотчас узнал этот бодрый, самоуверенный тон. Он поднял глаза и увидел мускулистого парня, чуть старше и выше, чем он, с крутым шишковатым лбом, нависшим над быстрыми карими глазами, узким подбородком и мягким губастым ртом. Светлые волосы стояли на макушке торчком. Это тем более бросалось в глаза, что по бокам волосы были обриты, а на макушке отросли и фонтаном распадались в стороны. Перед Джонни стоял Нев Фаулер, гроза его школьных лет, и хотя на этот раз волосы у Нева были обесцвечены, а у Джонни — нет, Нев оставался все тем же Невом. Он уже ясно давал понять, что Джонни для него — все тот же мальчишка из цыплячьей рекламы, самой судьбой предназначенный ему в жертву.

Глава десятая

— Раздавим бутылочку? — предложил Нев, взмахнув бутылкой с пивом, совсем как Софи накануне — бутылкой с молоком. — В память о прежних днях.

И он улыбнулся — хитро, доверительно, немного стыдливо, словно признавая давнюю вину и ожидая прощения.

Да, Нев умел при желании быть приятным, и даже в юморе ему не откажешь. Хотя Джонни юмор Нева никогда не смешил, другие, помнится, ценили его, даже учителя. Улыбаясь Неву в ответ, Джонни почувствовал, что сердце на миг сжалось от былого страха. Говорят, так люди, лишившиеся ноги, чувствуют, как свербят пальцы, которых уже нет. Но это прошло. В его памяти Нев был страшнее, чем на деле. Конечно, с их последней встречи Нев вытянулся и окреп. Но ведь и Джон-

ни во многом изменился, о чем Нев даже и не подозревал. Конечно, есть вещи, которые не меняются. Голос у Нева был таким же пронзительным, как и раньше, хотя давно уже сломался, и выглядел он по-прежнему так, словно родители сконструировали его из отборных частей прежних экспериментальных моделей. Смотрелся он недурно, но в его фигуре ощущалось какое-то легкое нарушение пропорций. Джонни не удивился бы, увидев на его виске болт, а на лбу и вокруг кистей швы. Здесь, в пабе, он выглядел иначе, чем в школе — где всегда казался старше и умнее всех остальных, даже учителей. Хитрость оставалась при нем, это ясно, но ведь и люди вокруг изменились и поумнели, и потому она не бросалась в глаза, как прежде.

Встретив его сейчас, никто бы и не заподозрил, каким он может быть безжалостным. Джонни удивила его приятная улыбка, но что-то в ней было неожиданное, хотя Джонни и не сразу понял, в чем дело. Впрочем, он скоро сообразил, что никогда не видел Нева одного. Его всегда окружали дружки — не потому, что он нуждался в помощи, а потому, что любил поклонение. В этом, и только в этом, Нев и Дженин походили друг на друга. Джонни обвел паб небрежным взглядом. За пустовавшим ранее столиком теперь сидели двое парней и пристально смотрели на него. Увидев, что он их заметил, они отвернулись и стали болтать друг с другом.

— Привет, — сказал Джонни. — Спасибо, но, честно говоря, я уже ухожу.

— Честно говоря, ты тут сидел и мечтал о чем-то, — заметил Нев. — Я за тобой наблюдал. Все тот же Цыпленок!

Его улыбка стала жестче. Он уверенно уселся рядом с Джонни — он был у себя, а хочет тот сидеть с ним за одним столиком или нет, его не интересовало.

— Давно не видались, Цыпленок!

— Да, время идет, — согласился Джонни.

— Вы ведь переехали в Сиклиф, правда? — продолжал Нев.

Джонни кивнул, хотя Нев ни о чем его, собственно, и не спрашивал.

— Хороший район! — произнес Нев с преувеличенным уважением и подождал, что скажет Джонни.

Но Джонни молчал.

МОЛЧАНЬЕ ЗОЛОТО... КАК КАМНИ ПАДАЮТ СЛОВА... — пел ансамбль у него в памяти.

— Я-то никогда никуда не переезжал, — продолжал Нев. Его саркастический тон вдруг изменился, теперь он говорил задумчиво, словно что-то вспоминая. — Эти места знаю как свои пять пальцев. Будто я их унаследовал, честное слово. Этот паб, например... Этот паб... Гм, хозяин его — брат моей матери.

Он помолчал, внимательно глядя на Джонни, выжидая, не отзовется ли тот пренебрежительно о Колвилле, ведь он теперь живет в Сиклифе. Джонни пожал плечами. Нев откинулся на спинку стула и положил ноги в новых сапогах на столик. Сапоги занимали на столике место, которое Нев был вправе считать своим, но почему-то Джонни не мог их не замечать. Разве что отвернуться, а так приходилось на них смотреть.

— А другой мой дядька теперь член местного совета, — продолжал Нев. — Здесь, в Колвилле, наша семья чуть не всем заправляет. Я работаю у своего двоюродного брата на доставке... У него магазин скобяных изделий. Помнишь? Доставляю покупки... транспорт от фирмы.

Сапоги у него были ковбойские, ручной работы, кожа с тиснением, а на носках — металлические набойки.

— Я никогда не хотел уезжать, — прибавил он.

— Здорово, — одобрил Джонни. — Похоже, дела у тебя идут хорошо.

Все это время Нев непрестанно осматривался, глаза его бегали по всей зале, от пола до потолка, от стойки до двери, замечая всех, кто входил и выходил, задерживаясь на миг то на бармене за стойкой, то на сидевших за столиком дружках, однако всегда с невольным любопытством возвращаясь к Джонни. Он, конечно, не пропустил ни изменившегося цвета его волос, ни синяков, ни плеера, ни одной полосочки на блейзере.

— Я за тобой давно слежу, — небрежно продолжал Нев. — Я знал, что ты вернулся.

— Да, только если хочешь за мной шпионить, починил бы выхлопную трубу на своем фургоне, — ответил Джонни.

По лицу Нева скользнула тень досады. Он опустил руку и поднял с пола бутылку, стоявшую возле его стула.

— Это ты, что ли, бродил по автостоянке прошлой ночью? — спросил он. — Я тебя, конечно, не узнал, но твой пиджак трудно не заметить, правда? А потом ты стоял у почты со старушкой Вест, а днем танцевал у реки. "Все тот же Цыпа, — подумал я. — Нарывается на неприятности".

— Неприятностей навалом, — сказал Джонни. — Хватит на всех.

Даже если Нев и понял, что это предупреждение, виду не подал. Тонкая полоска пены поднялась над его стаканом, но пиво не перелилось через край. Нев залихватски, как заправский бармен, крутанул бутылку и, долив стакан, поставил ее на пол.

— Я чуть не остановил тогда фургон, чтобы перемолвиться с тобой словечком, — продолжал Нев. — Привычка, должно быть! Но потом подумал: "Живи и давай жить другим".

Джонни рассмеялся.

— О чем смех? — спросил Нев, быстро глянув на Джонни.

— Это что-то новенькое, — сказал Джонни. — Небось весь твой организм прямо-таки содрогнулся от такой мысли.

Нев протянул Джонни стакан, словно предлагая выпить за его здоровье, но во взгляде, устремленном поверх, так же как и прежде, читалась угроза. Если бы Дженин не оттолкнула Нева, он, может, не преследовал бы Джонни, даже брал бы его сторону в ссорах на школьном дворе, кто знает? С обесцвеченными добела волосами Джонни очень походил на Дженин. Тогда, когда Нев пригвоздил его к стволу, у него в голове вдруг мелькнуло, что он, возможно, пытается представить на его месте Дженин, беспомощную, в полной своей власти.

— Где ты тут обитаешь? — спросил Нев небрежно.

Джонни решил не сообщать ему ничего, кроме того, что Нев уже знал.

— Я здесь не живу, просто навещал кое-кого, — сказал Джонни.

— Не думал, что тебе захочется сюда вернуться, — заметил Нев. — Тебе-то!

— Странно, но по каким-то вещам иногда скучаешь, — произнес Джонни туманно.

— Чего там, твое семейство всегда считало себя выше всех нас, — продолжал Нев, верно вспомнив, как безжалостно отзывалась о Колвилле Дженин.

Джонни всегда удивляло, что в Дженин Неву нравилось все то, что он ненавидел в Джонни, — сверкающие белые волосы, чечетка, слава... Конечно, Дженин по-своему умела быть такой же безжалостной, как Нев.

— Что ж ты теперь поделываешь? — не отступался Нев, несколько удивленный немногословием Джонни.

— Да ничего... Сижу на пособии, — сказал Джонни.

Нев чуть не просиял.

— Ну, а я, как кончил школу, работаю, — похвастался он. — Ни дня не сидел безработным, ни дня.

— Тебе повезло, — бросил Джонни.

Мелькнула тревожная мысль. А что, если он все еще находится во власти дома Софи? Ему-то казалось, что он сбежал, а на самом деле ему просто чуть-чуть ослабили постромки.

Заметив, что Джонни его не слушает, Нев выпрямился, поднял с пола бутылку и показал ею на пустой стакан Джонни.

— Освежить? — предложил он и, не дожидаясь ответа, плеснул в его стакан пива.

Помолчали. Наконец Джонни — впервые за все это время — посмотрел Неву в глаза и поднял стакан. Нев ответил взглядом почти прямым, будто он человек честный, но, прежде чем отвести глаза, немного смешался и спросил:

— Так кто же тебя теперь колотит, Цыпа? Ведь кто-то же колотит?

— Мать, — ответил Джонни, размышляя, отвечать ему на наглый намек Нева или пропустить мимо ушей.

Все это было для него не ново. В прошлом, когда он еще бил чечетку, ребята дразнились: "Ты кто такой, Дарт?" Всего пару дней назад он бросился в драку, когда ему задали тот же вопрос. Теперь же с удивлением заметил, что его небрежные слова, не имевшие цели задеть или оскорбить, самой своей небрежностью уязвили Нева. Нев умел избивать, — может, потому было бестактностью шутить на эту тему.

— Ты всегда умничал, Цыпа, в этом твоя беда, — сказал Нев. Его шишковатый лоб, казалось, еще ниже навис над бровями, глазки сузились в щелочки и глядели еще свирепее. — А мне это противно.

Когда-то Джонни, видевший это лицо на расстоянии всего дюйма, в то время как холодное лезвие ножа касалось его горла, думал, что каждая черточка, каждая родинка, каждый волосок навсегда запечатлятся в его памяти, но вот поди ж ты, про эту особенность Нева забыл. Но нет, он не допустит, чтобы его запугали! Он засмеялся в ответ и отпил из стакана. Нев тоже выпил, потом нахмурился и со стуком поставил стакан на стол.

— Значит, хочешь купить дешевый транзистор, — сказал Нев.

До этой минуты Джонни не связывал появление Нева за своим столом с разговором с барменом. Ему казалось, Нев принадлежит к совсем иной жизни. Он невольно оглянулся и заметил, что бармен наблюдает за ними.

Бывало, Джонни чувствовал, что становится опасным для окружающих: зубы сжимались, глаза округлялись, как у хищной птицы, уголки рта опускались. В такие минуты он легко, с наслаждением впадал в ярость; отбросив все колебания и сомнения, он позволял гневу полностью овладеть собой. "Выглядишь ты в такие минуты ужасно — словно демон какой-то", — сказала ему как-то одна девушка. Но Джонни не хотелось, что-

бы Нев увидел его сейчас таким, а потому он опустил глаза, небрежно застегнул, а потом снова расстегнул верхнюю пуговицу на блейзере.

— Барри мне сказал, что ты его спрашивал... — говорил меж тем Нев. — Барри — это бармен, мы с ним старые друзья. Я иногда оказываю ему разные услуги, могу и тебе кое в чем помочь, только прошу тебя, Цыпка, не умничай.

Джонни понял, что Нев не заметил, как ярость ослепила его на миг, и, подняв глаза, поглядел на него в упор. Видно, что-то в его глазах все же было, потому что Нев смолк, а потом медленно повторил:

— Барри сказал, что ты его спрашивал.

— Я просто поинтересовался, — произнес Джонни скучающим тоном. — У моей тетки была такая же модель.

— Значит, тебе он не нужен? — спросил Нев. — Может, я точно такой же достать не смогу, но...

— А этот ты где взял?

Джонни намеревался задать этот вопрос небрежно, но в нем явно прозвучало презрение. Бегающий взгляд Нева замер — и на миг коснулся Джонни, словно холодная сталь.

— Дал один человек, которому я оказал услугу, — сказал он и оглянулся на столик, за которым сидели двое парней.

Один из них встретился глазами с Невом и тут же отвел взгляд, но второй, долговязый, глядел не мигая. Нев не отступался.

— Барри говорит, ты интересовался, где он этот транзистор достал. Так... А тебе что до этого за дело? Давай! Рассказывай! Может, я тебе еще пригожусь.

Джонни встал.

— Ты никому пригодиться не можешь, — сказал он. — Что ж, приятно было тебя повидать. Ходи, не падай.

Неву явно не хотелось его отпускать.

— Подожди минутку... — сказал он. — Твоя сестра... как ее звали?..

Он замолчал.

— Дженин, — ответил Джонни.

— Да, Дженин, верно! Она ведь себя ликвидировала, да? Кто же теперь за тобой приглядывает?

— Ничего, обхожусь, — сказал Джонни, засовывая руки в карманы. Его пальцы сомкнулись вокруг чего-то холодного, металлического. Это был ключ от дома Софи. — День прошел, и ладно.

Он говорил, не глядя на своего старого врага, словно вслушивался в себя. Для Нева уже это одно было оскорблением; разве в его присутствии можно думать о чем-то еще?

— Я тоже, — только и нашелся Нев. — Живу со дня на день, и все.

— Только-то? — спросил Джонни.

Сделал отбивочку одной ступней, потом другой, перебор и закончил "боллстепом".

— Эта штука называется "отвальная". Ты когда-нибудь слышал про такую?

Ноги Джонни в обычной обуви без металлических набоек двигались беззвучно, хотя в ушах гремела дробь каблуков, но Нев, конечно, понял, что Джонни над ним издевается.

— Слушай, Цыпа... Ты поосторожней... — начал он, тряся головой.

Но Джонни его перебил.

— Я бы на твоем месте выкачал из Колвилла все что можно, — сказал он. — Давай торопись, а то потом поздно будет.

И, так и не взглянув на Нева, пошел к двери, чувствуя, как его провожают глазами.

Стоя на углу, прислушиваясь к агрессивному вою несущихся справа машин, он глянул налево и увидел, что возле бакалеи стоит белый фургон, тот самый, который он заметил, когда танцевал у ворот своей старой школы.

Джонни уже понял, что вернется к Софи, только на этот раз его возвращение не будет неопределенным, случайным, скорее похожим на неудавшийся уход. Он сделает это осознанно, продуманно — и на этот раз не уйдет, пока все как-то не наладит. Он искал Бонни, но взамен нашел Софи и за последние два дня почему-то — вопреки собственному желанию и воле — принял на себя ответственность за нее. И пока ответственность на нем, он не может взять и просто уйти, оставив Софи копошиться в собственной грязи, не может допустить, чтобы она стала жертвой тех самых бандитов, которые когда-то издевались над ним. Нет, он должен найти доказательства, что кто-то пользуется ее слабостью, тогда он обратится к властям, чтобы ее взяли под защиту. Джонни вынул бумажник и со вздохом пересчитал деньги. Наконец решительно перешел улицу, зашел на почту и позвонил матери. Телефон звонил, звонил... Никто не отвечал.

Подумав, он раскрыл телефонную книгу на "желтых страницах" и принялся искать название учреждения, которое консультировало ухаживающих за стариками. Но "Старики", верно, показались составителям слишком грубым и бестактным словом, чтобы вынести его в заглавие рубрики. Он постарался припомнить какое-нибудь другое слово — посмотрел "Пожилые", но ничего не нашел. Может, посмотреть Гериатрическое отделение? Нет, после Геологического и Геофизического обществ сразу шло Германское посольство. По размышлении он открыл основную часть телефонной книги и нашел-таки рубрику "Пенсионеры". Однако там просто отсылали к названиям специальных учреждений, а телефонов не давали. "Может, попробовать больницу, — подумал Джонни, — или Красный Крест". Но тут кто-то забарабанил в стеклянную дверь, устав смотреть, как он стоит в телефонной будке и не звонит, а только листает телефонную книгу. Джонни вышел из будки, и в голове у него тут же зазвучали варианты на тему "старые"; "древние", "устарелые", "доисторические", "конченые", "бесперспективные", "отработанные", "беспамятные"... "Беспонятные", — прозвенел вдруг в его памяти голос Бонни, который все еще помогал ему.

Джонни снял еще денег со счета и поспешил в торговый центр, где купил себе трусы, гребешок, крем для бритья и бритву. Кто знает, может, в недалеком будущем понадобится выглядеть пристойно. Сунув сверток под мышку и рассовав все остальное по карманам, он зашагал назад, к дому Софи. Однако теперь он никак не мог избавиться от мысли, что за ним тайком откуда-то следит Нев. Белый фургон все еще стоял у обочины, но сам Нев мог прятаться где угодно. Он ведь гоняет по всему городу и знает все укромные места. Может, уже пронюхал, где сейчас живет Джонни. Если так, то он быстро вычислит, что Джонни признал транзистор; а если нет, то Джонни не хотелось бы, чтобы Нев его засек. Словно зверь, маскирующий тропу к своей норе, чтобы уходить и приходить

незамеченным, Джонни двинулся в обход железнодорожного полотна, а потом узкими темными переулками незаметно вышел к дому Софи.

Наконец, оказавшись перед зеленой дверью с ключом в руках, он осторожно поглядел сначала направо, потом налево. Выбраться из лабиринта, в который он попал, можно только через эту дверь. Воспоминания переполняли его, и, чтобы найти путь к себе, ему предстояло пройти пустыней памяти и избавиться хотя бы от части бремени, под которым он сгибался. Джонни презрительно усмехнулся над собственными размышлениями.

— Тоже мне приключение, — буркнул он, отпирая дверь и входя.

Третья попытка уйти увела его дальше, чем предыдущие, но все дороги в конце концов вели к дому Софи, который ни за что не хотел его отпустить.

Глава одиннадцатая

И снова он поднялся по лестнице. Площадка была все той же, зато кошки переменились: встречали его возвращение такими же улыбками, с какими наблюдали за его уходом.

— Ну вот наконец и ты, — недовольно приветствовала его Софи. — Что-то ты поздно, а?

Джонни сел на диван. Кошки уже так привыкли к нему, что едва двинулись с места. Одна из них, черная в белых пятнах, перевернулась на спину, доверчиво открыв мягкий белый живот. Джонни послушно почесал его, а кошка сладострастно засучила лапами, выпустив острые, как финки, когти. Через минуту еще одна кошка попробовала устроиться у него на колене.

— Ты сиди, не вставай, — вскричала Софи, — а я тебе быстренько что-нибудь приготовлю. И глазом не успеешь моргнуть. Чашка чаю никогда не помешает.

— Чай и какую-нибудь из этих штук, — отвечал Джонни на языке ее дома, хотя от лимонада и пива он уже отяжелел. Но чай займет ее на какое-то время.

Софи исчезла, а Джонни остался сидеть, поглаживая кошку и хмурясь. Однако понемногу лицо его, хотя он и не отдавал себе в этом отчета, прояснилось. На нем появилась печальная улыбка; он тряхнул головой. Меж тем Софи что-то бормотала и вздыхала на кухне, то открывая, то снова закрывая дверцы шкафов.

— Так что ты мне посоветуешь? — спросил он кошку. Та в ответ замурлыкала. — Правда? Ты так думаешь? — Джонни поглядел на нее с удивлением. — Ты серьезно? — Кошка усердно мурлыкала. — А как насчет Нева? Ага! Тут ты ничего сказать не можешь, правда? — Кошка, почувствовав, что от нее чего-то ждут, поддела головой его руку. — Я сам на него нарвался. — Джонни вздохнул. — Сейчас мне кажется, что я из этой истории никогда не выскочу, разве что меня вынесут вперед ногами.

Немного спустя Джонни отодвинул кошку от себя. Надо действовать по порядку, и если хочешь иметь чистую рубашку на завтра, придется выстирать ту, что на тебе. Спустившись в подвал, он намочил рубашку, намылил, выполоскал и положил в ведро. "Если повесить ее в мокром виде, — подумал он, — может, удастся обойтись без глажки". Пят-

на крови на груди не отошли, но побледнели. Потом он почистил блейзер мокрой губкой, поднялся наверх и вывесил рубашку на балкон.

— Это не очень-то красиво, — заявила Софи, недовольно косясь на его обнаженные плечи и грудь.

— А многие считают, что я совсем недурен.

— Возможно, так оно и есть. Только одежды на тебе слишком мало, — сказала она сурово.

Джонни расхохотался.

— Хорошо, я надену шляпу, — уступил он.

Так он и сделал. Заломив шляпу набок, он подошел к секретеру и остановился, отрешенно глядя на ящички и отделения. Может, в этих тайниках, под туалетной бумагой и банановой кожурой, найдутся нужные соответствующим учреждениям сведения об Эрроле и Софи, о доме и арендной плате. В одном из ящичков лежал захватанный гребень. В другом — жестянка с засохшим кошачьим кормом. В третьем — два карандаша и кусок мыла. Словно в сундуке фокусника. Одни вещи исчезали, другие — возникали. Он отворил дверцу секретера — а ну как перед ним откроются сейчас звезды, планеты, квадратик бескрайнего ночного неба, но отделеньице было набито бумагами. Джонни пододвинул стул, уселся перед секретером и принялся вынимать из него бумаги, заглядывая то в одну, то в другую. Тут было над чем поломать голову, хотя кое-что не вызывало никаких вопросов. В удостоверении, выданном отделом социального обеспечения двадцать лет назад, говорилось, что Софи с тех самых пор, то есть с шестидесяти пяти лет, получает пенсию по старости и имеет право посещать кино, а также покупать билеты на автобус и самолет за половинную стоимость (кроме часов пик).

Потом нашелся сложенный пополам документ, напечатанный на плотной бумаге. Это оказалось свидетельство о браке, выданное здесь, в городе, более пятидесяти лет назад. София Элизабет Картер и Эррол Мэтью Вест вступили в брак в городской мэрии. В момент заключения брака невесте было 36 лет. Девичье имя матери — Роз Эдит Бэббит. Джонни как зачарованный уставился на документ — ведь он знаменовал собой начало новой жизни не только для Софи и Эррола в 1936 году, но и для Джонатана Маккинли Дарта, ставшего спустя пятьдесят лет почетным членом семейства Бэббит.

— Нет ничего стыдного в том, что ты Бэббит, — произнес он вслух.

Софи, вошедшая в комнату с чайником в руках, обернулась на его голос.

— Знаешь, они не принадлежали... как бы это сказать... они не принадлежали к тому же классу, что Картеры, — сказала она бесстрастно, — но это были добрые, трудолюбивые люди, все, кроме дядюшки Брайена, конечно, но он исключение. Я очень любила твою мать.

— И меня, — сказал Джонни.

Софи захихикала.

— Ну, знаешь, Софи! — удивленно улыбнулся он. — Иногда я начинаю за тебя беспокоиться.

Джонни обнаружил в секретере кучу карандашей и блокнотов — некоторые совсем новые, — множество катушек с нитками, гребней, маленькие ножницы, чайную ложку и яблоко — очищенное, с вынутой сердцевиной, почерневшее, на фарфоровом блюдечке с синим китайским узором. На дне ящика лежали старые сберкнижки, тщательно по-

добранные, надписанные и перетянутые резинкой. Последняя книжка была помечена 1981 годом.

— А где книжка, которой ты пользуешься сейчас? — спросил он Софи, расставлявшую чашки на маленьком столике. — В сумочке, да?

— Моя сумочка... — повторила Софи с сомнением, словно не совсем точно знала, что это такое.

Джонни вздохнул, предвидя осложнения, но, обведя — без особой надежды — взглядом комнату, вдруг заметил, что из-под кушетки торчит знакомый красный ремешок, похожий на собачий поводок. Дождавшись, пока Софи уйдет на кухню, он победно поддел его ногой — сумочка послушно выползла на свет божий. Однако, усевшись снова на стул и положив сумочку на колено, он неожиданно оробел, будто собирался вторгнуться в чужую жизнь. Конечно, он уже рылся в сумочке, но всегда в присутствии Софи. На этот раз он делал это на свою ответственность. Наконец он неуверенно открыл сумочку и осмотрел все внутренние кармашки, все отделения, пока не обнаружил ту самую сберкнижку, которую искал, а кроме того еще одну, с долгосрочными вкладами. Записей было совсем немного. Пока Джонни изучал вторую книжку, Софи бегала из кухни в комнату: она принесла еще две чашки с блюдцами и поставила их на стол.

— Ну и ну! — воскликнул Джонни изумленно.

Софи вопросительно вскинула на него глаза.

— Да ты что, богачка? — растерянно произнес он, потрясая книжкой. — Ты знаешь, сколько у тебя денег?

Софи мило улыбнулась, но в глазах не отразилось ни единой мысли.

— Я никогда не нуждалась, — отозвалась она, — но и в долги никогда не влезала. Эррол всегда расплачивался наличными. Говорил: "Если я заплачу наличными, вы сделаете мне скидку?"

Она помолчала.

— Мне кажется, я продала дом, — прибавила она неуверенно. — Кто-то его продал.

Чайник на кухне заорал дурным голосом.

— Иду-у, — обрадовалась Софи и исчезла.

От мыслей о деньгах в голове у Джонни зазвенело, словно в копилке с монетами. Он задумчиво, будто впервые, оглядел гостиную. Да, он мог бы неплохо здесь устроиться, постепенно заменив беспорядок, царивший у Софи, собственным. Уговорил бы ее купить деку или даже стереосистему. Присматривал бы за ней, готовил еду, а по вечерам, когда она уходила бы спать, приглашал бы к себе друзей... Он размечтался. Совсем недавно мысль о том, что Нев ее эксплуатирует, привела его в ярость, а теперь вот он сам об этом подумывает.

— Знаешь, ты могла бы за эти деньги получать проценты повыше! — крикнул он ей. — Наняла бы экономку... или устроилась бы в хорошее место, где за тобой был бы настоящий уход.

Софи выскочила из кухни. В руках у нее была чашка и большая эмалированная кружка, которую она тоже поставила на стол.

— Нужно, чтобы за тобой кто-то приглядывал, — сказал ей Джонни, немного присмирев.

— У меня есть ты, — возразила она с любящей улыбкой.

— Да-а, конечно... — вздохнул Джонни. — Но тебе нужен кто-то получше. Может, тебя придется защищать от меня.

Он взял сберкнижку в руки.

Софи стала разливать чай. Джонни перелистал страницы.

— В полнолуние со мной что-то творится, — произнес он рассеянно. Раскрыв книжку на одной странице, он, нахмурясь, изучал ее. — Пенсию тебе переводят регулярно. Я вижу по записям. Здесь все в порядке.

Софи сидела, уставясь в чашку. Попытки Джонни разобраться в финансах совсем ее не интересовали.

— Ну, а теперь послушай... Слушай же, Софи, — настаивал Джонни, тыча пальцем в страницу. — Раз в месяц или около того у тебя со счета автоматически списывают триста двадцать долларов — это примерно восемьдесят долларов в неделю. Что это, арендная плата?

Софи посмотрела на носик чайника.

— Чай очень слабый, — произнесла она с недоумением.

— Софи... ты говоришь, что, кажется, продала дом, — не отступался Джонни. — А арендную плату ты платишь?

Сосредоточенно хмурясь, словно гадая, Софи смотрела в чашку.

— На фасаде стоит имя Эррола, — подсказал Джонни.

— Да, но он умер, — отвечала она. — Разве тебе никто не сказал?

— Ты платишь аренду?! — в отчаянии закричал Джонни, произнося каждое слово раздельно, словно она была глухой.

— Я всегда беру расписку, — радостно отозвалась она. — Вот тебе печенье... несладкое. Можешь не беспокоиться, что в нем много сахара. Знаешь, я как раз сегодня утром читала, что есть слишком много сахара и молочных продуктов вредно.

Печенье Джонни взял и сунул его в отделение секретера, где уже лежал кошачий корм.

Под перетянутыми резинкой сберегательными книжками в ящичке лежал большой коричневый конверт со старыми фотографиями. Джонни разложил их на крышке и увидел молодую Софи: вот она кормит уток, вот стоит за домом возле водонапорной бочки, глядя на огромный подсолнух, склонившийся к ее лицу. Каникулы на острове Южном, золотая осень в Куинстауне. Софи стоит у какого-то моста, а за ней деревья в золоте и багрянце. В окружении всего этого великолепия Софи выглядит прямо-таки ангелом, хотя багряная листва резко контрастирует с ее лиловым пальто. А вот фотография человека средних лет — он сидит в саду за столиком какого-то кафе и, глядя с улыбкой в объектив, машет рукой. Джонни и Эррол уставились друг на друга.

Софи поставила перед Джонни эмалированную кружку с теплой водой.

— Когда я впервые сюда пришел, у тебя был такой оранжевый блокнот, — спросил Джонни. — Ты его куда-то запрятала. Знаешь, где он?

— Сейчас я его найду, — вскричала Софи, загораясь.

Схватила сумочку и принялась рыться в ней, а Джонни пока мрачно рассматривал следующую фотографию: на балконе под гигантским краном стоит Эррол, вид у него гордый и патриотический, словно водопровод — национальное достояние, не хуже искусства или науки. Наконец ящичек опустел... почти совсем опустел. Засовывая в него фотографии, Джонни задел за что-то уголком конверта и вытянул тонкий, легкий, плоский квадратик, завернутый в папиросную бумагу... Еще одна фотография, которая хранилась отдельно от всех остальных. С пожелтевшей бумаги на него глядел молодой человек; улыбаясь и подняв бровь, он слегка приоткрыл рот, словно вот-вот спросит о чем-то. На нем был полосатый блейзер, точь-в-точь такой же, как на Джонни. Да-

же на фотографии сходство было разительным, даром что сепия совсем потемнела. Так вот что видели ее выцветшие голубые глаза всякий раз, как она смотрела на Джонни, — нет, не молодого человека, но блейзер, незабываемый блейзер с его яркими полосами. Поглядев на свой рукав, Джонни подумал: а вдруг это тот самый блейзер и есть? Он ведь из тех, каким сносу нет... разве что локти протрутся. Джонни перевернул фотографию — на обороте стояла надпись: "Элва Бэббит, 1926 год".

— Это ты? — спросил Джонни, кивнув Элве, но Элва болтать не любил.

За столом Софи мрачно разглядывала бумажный доллар, обнаруженный в каком-то потайном кармашке сумочки, — видно, беспокоилась, словно получила какое-то зашифрованное сообщение, а код вспомнить не могла. Потом, положив доллар на стол, взяла монетку в два цента и принялась изучать ее. Джонни завернул Элву обратно в папиросную бумагу и продолжил поиски. Ладно, он же знал, когда возвращался, какая тут будет скука, если не хуже. Бонни в дверь не постучится; Нев (даже если Нев и Спайк — одно лицо) не выскочит вдруг, словно фокусник на телеэкране. Оранжевый блокнот с адресами исчез, но ведь в конце концов этот дом принадлежит Софи. Возможно, блокнот скрылся на время, а потом вдруг выплывет, как сумочка. Он продолжал искать, забрел к Софи в спальню и бросил нервный взгляд на задвинутые ящики. Конечно, он уже искал в них раньше, но все могло перемениться — в худшую ли, в лучшую ли сторону, неизвестно. Софи, которой не сиделось на месте, вошла вслед за ним.

— А ты здесь откуда? — спросила она недоуменно. — Я думала, ты теперь живешь на острове Северном.

— Приехал повидаться с тобой, — объяснил Джонни. Софи понимающе улыбнулась. — Помнишь доброе старое время? — не удержался он.

Ее лицо озарила нежность.

— Это было исключено, — сказала она. — Ведь мы двоюродные.

Джонни подумал об Элве, завернутом в папиросную бумагу и спрятанном подальше в ящичек.

— Гм... Не знаю, — ответил он наконец. — Вообще-то закон разрешает такие браки, и на детях это обычно никак не сказывается.

— Мой отец считал, что лучше не рисковать, — возразила Софи твердо. — Знаешь, он кончил университет — он был очень умный человек.

— Что ж, мы все равно можем оставаться друзьями, верно? — сказал Джонни. — А если Эррол вдруг вернется, я спрячусь в шкаф.

— Ну нет! — возразила с негодованием Софи. — Просто выбежишь в заднюю дверь...

— ...как честный человек, — закончил Джонни.

— Да, — кивнула Софи. — Я никогда ни за что не соглашусь быть замешанной в какой-то нечестной истории. Я никогда, никогда не поступлю нечестно. Я всегда за все тут же расплачиваюсь — и всегда беру расписку. У меня никогда не было долгов. — Она помолчала. — Ты ведь так и не познакомился с Эрролом, да?

— Я слышал, что он прирожденный джентльмен, — ответил Джонни.

Софи просияла.

— Я как раз собиралась это сказать, — проговорила она.— Прямо мои слова. А как насчет чашечки чаю?

— Великолепно! — согласился Джонни.

Через минуту он услышал, что она гремит ящиками, и вспомнил, что где-то в кухне лежит спрятанная в лиловую перчатку и перетянутая резинкой пачка бумаг. "Небось уже давно исчезла", — подумал он, отправляясь на кухню. Но нет, бумаги лежали там же, где он оставил их накануне. Вновь усевшись у секретера, он принялся разбирать их, хотя и не ожидал найти ответа на вопросы о том, какую арендную плату платит Софи и кто такой Спайк — домовладелец или, может, Нев Фаулер.

Первым из перчатки показался длинный конверт из коричневой бумаги, который так и не был вскрыт. На конверте стояло:

Мисс Б. Бенедикте,

улица Маррибел, дом 115.

Не веря своим глазам, Джонни уставился на конверт, потом медленно поднялся. На этот раз он сделает все как надо. Он проверил, в кармане ли ключ, и вышел на балкон посмотреть, как там его вещи. Рубашка, конечно, была еще совсем мокрая, но блейзер, хотя местами и влажный, надеть было можно. В страхе, как бы спешкой не вспугнуть судьбу, он тихонько прокрался наверх и взял "Историю ангелов", лежащую возле его постели. В следующий миг он уже стоял на улице, глядя на номер дома Софи. На двери четко стояло: "113". Он посмотрел на соседний дом и направился к двери. Балкон был пуст, уличная дверь заперта. На ней стояли аккуратные черные цифры: "115". Джонни перевел глаза с двери на конверт в руке и опять на дверь. Затем постучал и прислушался. Выждав, снова постучал. Послышались легкие шаги — кто-то сбежал по лестнице, быстро подошел к двери. Дверь распахнулась.

Перед ним стояла Бонни Бенедикта. Он тотчас, ни секунды не колеблясь, узнал ее, хотя выглядела она совсем непривычно. Одета была на удивление просто и обыкновенно — узкие синие джинсы и свободный серый свитер.

— Привет, — сказал Джонни растерянно. — Ты меня помнишь?

Она смотрела на него без всякого выражения, но, услышав голос, улыбнулась — и рассмеялась.

— Джонни Дарт, — сказала она. — Ты меня искал? Почему ты так долго не приходил?

Глава двенадцатая

Джонни застыл на месте, протянув, словно дары, письмо и книгу, — он просто не верил собственным глазам. Многие годы Дженин и Бонни воспринимались им как две богини, одна — светлая, другая — темная, они создавали для него целый мир, предсказывали будущее, решали, куда идти и что делать.

А сейчас он с удивлением увидел, что Бонни, которую он помнил такой высокой и статной, на деле тоненькая и даже хрупкая. Одежды, расшитые звездами, блестящие цепи, браслеты исчезли; на пальцах даже кольца не было. Длинные спутанные волосы, как когда-то, спускались до плеч, а кожа была по-прежнему цвета дикого меда, но теперь отсвечивала еще имбирем и корицей. В памяти Джонни ее лицо оставалось бесстрастным и смуглым, но сейчас щеки Бонни, усыпанные круглыми светлыми веснушками, рдели румянцем. Это ее тень он видел тогда на кирпичной стене, это ее двойник тянул к нему руки с соседнего балкона. Он и не подозревал, что в механических джунглях города Бонни и

он жили рядом. Осталась ли она пифией, как встарь? Она не казалась ни высокой, ни бледной, ни призрачной. В ее улыбке не крылось никакой тайны. Она была чуть ли не веселой.

— Ты меня ждала? — спросил он, запинаясь и неуверенно улыбаясь. — Но откуда ты?..

— Мама предупредила, что ты идешь по моему следу, — засмеялась Бонни.

Джонни опомнился.

— Ну уж, конечно, — бросил он, — предупредила.

— Как ты меня нашел? — спросила Бонни. — Моего телефона в справочнике нет.

Даже голос звучал иначе, чем помнилось Джонни. Он был глубоким, но совсем не мелодичным. Чуть хрипловатый, скорее комичный, чем красивый.

Она начала что-то объяснять, жестикулируя своими выразительными руками без всяких украшений, но мимо, обдав их гарью, прогрохотал грузовик. Губы Бонни двигались, улыбались, слова тонули в грохоте, и оба они безотчетно втянули головы в плечи, словно защищаясь от налетевшей бури, и молча глядели друг на друга, ожидая, пока она промчится мимо.

Потом Бонни взяла его за руку и, втащив в дом, захлопнула за ним дверь. И снова Джонни оказался в темной передней возле темной лестницы. Тут не было ни тележки с обувью, ни кошек. Видно, здесь ему и надлежало оказаться. Однако в компьютере судьбы снова произошла осечка, и в результате он попал в дом Софи и чуть было вообще не пролетел мимо!

— Но как же ты все-таки меня нашел? — настаивала Бонни, сжимая руки у него на запястье, словно собираясь проверить по пульсу, правду он скажет или нет.

— Мне было указание.

— Как это?

— Записанное на моем теле. — Джонни безучастно глянул на свою левую ладонь. — Я проснулся на островке безопасности. Пошел в эту сторону — и встретил Софи. Потом увидел название улицы — Маррибел. Почувствовал, оно что-то значит. Я, верно, вспомнил его, сам того не понимая, — вскричал он с изумлением, — и в конце концов пошел с Софи.

Но Бонни не понимала ни слова. Джонни сам на себя не походил — она его не узнавала.

— Софи Вест. Она рядом живет, — пояснил Джонни и снова, как бы в подтверждение своих слов, протянул ей книгу и конверт.

Бонни наконец поняла, что они предназначены ей, взяла их в руки, поглядела на него, словно опасаясь подвоха, но потом раскрыла книгу и, прочтя свое имя на титуле, растерянно рассмеялась, будто он задал ей загадку, которую она не могла разгадать. Впрочем, Джонни и сам не знал ответа.

— Скажи на милость, откуда они у тебя? — вскричала Бонни.

— Софи принесла в дом. Знаешь, как собаки приносят, — пояснил Джонни. — Сказала, что ей дал какой-то мужчина, не то в желтом, не то в розовом. Но это не обязательно так. Еще спросила меня, как я это понимаю.

— Неужели ты вправду живешь у старухи, которая крадет у меня бутылки с молоком? — спросила Бонни.

На этот раз удивилась она.

— Если это можно назвать жизнью, — неуверенно ответил Джонни. — Как-то выкручиваемся по ходу дела...

— Да... это и есть жизнь. — Бонни улыбнулась. — Мне это знакомо. Мама так о тебе говорила, будто тебя зарезали или еще что. Преувеличивала, как всегда.

— Ненамного! — серьезно возразил Джонни. — С понедельника я сильно изменился к лучшему.

Если поначалу Бонни не сразу узнала его, то теперь увидела и голую грудь под полосатым блейзером, и заломленную набок черную шляпу, и потемневший синяк под глазом.

— Господи, что же случилось с тем чистеньким добрым мальчиком, которого я все это время вспоминала? — спросила она шутливо.

Джонни подумал.

— Ты пропустила "красивым"! — сказал он.

— Ну, ты не просто напрашиваешься на комплимент, а прямо-таки вынуждаешь меня к нему. — Бонни едва заметно усмехнулась — почти как пифия. — Расскажи мне, что же с ним... вернее, с тобой... случилось.

Джонни глядел поверх ее головы, но каким-то образом почувствовал, что выражение ее лица изменилось.

— Этот милый мальчик просуществовал недолго, — ответил он. — Бедняжка... в один прекрасный день он лопнул, и из него вылупился я. Все это время я рос и рос у него внутри, а потом вылез наружу — знаешь, как в фильме ужасов.

— Джонни! Замечательно! — воскликнула Бонни и тихонько, насмешливо похлопала ему.

Джонни растерянно улыбнулся, ведь он сказал сущую правду.

— Ты хочешь, чтобы я тебе все рассказал прямо здесь, под лестницей? — спросил он. — Пригласи меня в дом. Будь вежливой.

Бонни заколебалась. При виде его она не просто удивилась, но и обрадовалась. Джонни был в этом уверен. Но теперь она не знала, приглашать его подняться или нет.

— По правде говоря, сегодня мне не следовало бы никого принимать, — объяснила она. — Завтра я должна представить доклад своему руководителю. Завтра — крайний срок. Пока не сдам доклад, ни с кем не могу общаться.

— Меня не надо кормить, — произнес Джонни холодно.

Бонни покачала головой, но потом вдруг тихо, как бы про себя, проговорила:

— Что ж, почему бы и нет?

И стала подниматься по кривой лестнице. На площадке Джонни глянул вверх. В доме Софи там была дверь, ведущая в его спальню. Интересно, спит ли и Бонни за той же дверью? Должно быть, спит, а значит, они спят вроде как в одной постели, невидимые друг другу благодаря какому-то колдовству, теперь нарушенному. Беспокойно ворочаясь каждый в своей мгле, скрытой от другого, они вдруг встретились, так же как и с Невом, лицом к лицу. Так оно и должно было случиться. Забавно, что они с Невом тотчас признали друг друга, но с Бонни он встретился как с чужой... лишь иногда чем-то напоминающей прежнюю знакомую. Все это было очень странно.

Покорно следуя за ней, он вошел в гостиную, где не было ни секретера, ни стола, ни клетчатого дивана, а окна распахнуты настежь. С нестриженой коричневой лужайки на них уставилась вешалка для сушки

белья; лежащая на боку, круглая, как радиотелескоп, она напряженно вслушивалась в каждое их слово. Вдоль стены, на которой в ту первую ночь жестикулировали и спорили тени, росла высокая трава. Вид из окна был неважный, впрочем, в этом доме в окна никто не смотрел. Вдоль стены высились книжные полки, сделанные из поставленных на кирпичи досок; места на полках не хватало, и книги, перехлестывая через края, растекались по всей комнате. Сложенные меж полками книги вздымались сталагмитами к потолку, страницы на страницы, слои слов, пласты идей. Джонни, не очень-то любившего читать, комната поразила. Джонни и Бонни застыли друг против друга словно враги; между ними пролегло молчание. Чем дальше он проникал в ее дом, тем больше она защищалась; немудрено, ведь из двух прежних своих преимуществ она сохранила лишь одно. Она была старше, что давало ей право относиться к нему снисходительно. Только теперь ей приходилось глядеть на него снизу вверх, потому что он намного перерос ее. Конечно, рост не был его персональной заслугой, и все же получалось, что кое-какие из своих преимуществ Бонни пришлось навсегда ему уступить.

Оба молчали — Джонни отчаянно соображал, о чем бы заговорить. Тем существовало немало, но он затруднялся начать разговор. К тому же они были как бы не одни. У дверей на кухню застыла безликая женщина с балкона, теперь на голове у нее красовался парик с роскошными черными кудрями, а поверх него — соломенная шляпа, широкие поля которой клонились под тяжестью амулетов, искусственных цветов и массивных серег. Вдобавок она была разодета будто для какой-то фантастической вечеринки: один разноцветный наряд поверх другого, и все расшиты и разрисованы картинками, знаками, символами, обрывками слов, смысл которых оставался неясным. На шее болтались цепи, ленты, кулоны. Накинутую поверх всего рубашку украшали справа — солнце, а слева — луна и еще разнообразные брошки, заколки и значки. Хотя лицо у женщины отсутствовало, Джонни тотчас узнал ее — она была ему знакома не хуже, чем сама Бонни. Наконец-то он настиг ее, эту пифию, вон она стоит меж книжных гротов, башен и мостов, безликая и потому загадочная. Джонни мог дорисовать таинственную улыбку, раскосые китайские глаза (не важно, откуда, из памяти или воображения).

У открытого окна приткнулся старый и неуклюжий дубовый стол, заваленный бумагами, среди которых уютно расположилась небольшая пишущая машинка.

— Эта книга... я одолжила ее приятелю, — наконец объяснила Бонни, глядя на Джонни с легким укором. — Твоя Софи, верно, увидела, как он опустил ее мне в ящик, и украла. Трудная она соседка.

— И хозяйка нелегкая, — усмехнулся Джонни. "Моя Софи? — подумал он в ужасе. — Да, моя!" — Она меня пригласила, а теперь я не могу уйти. Вся готовка на мне.

— Обычно она крадет молоко и письма, — объяснила Бонни. — Если у нее в почтовом ящике ничего нет, она идет к моему. Я повесила на свой ящик замок, но она взяла секач и пробила в ящике отверстие.

Джонни ясно представил себе, как Софи бьет по Боннину ящику с той же яростью, с какой она тыкала в стену вилкой тостера, негодуя на мир, который вдруг отвернулся от нее.

— Конечно, писем приходит мало, — продолжала Бонни, — но всё же.

Джонни виновато склонил голову.

— Я хотела переехать, но потом передумала и просто забронировала на почте абонентный ящик. У меня столько всего. — Она кивнула в сторону книг. — К тому же здесь все так дешево. Эти дома не ремонтируют, потому что через год их должны снести.

— Почему? — спросил Джонни, осматриваясь.

Конечно, дом не был ни современным, ни красивым, но выглядел достаточно крепким. Подтеков на потолке не видно. Да и в доме Софи он их тоже не заметил.

— Они принадлежат какой-то аудиторской фирме, которая владеет чуть ли не всей землей в этой округе. Фирма дожидается, пока у автостоянки истечет срок аренды, и тогда начнет здесь строительство... Не знаю, что они там будут строить, но что-то грандиозное.

Слушая, Джонни разглядывал пифию; неожиданно он с радостью уловил в словах Бонни ключ к разгадке того, что происходило в доме Софи. Он посмотрел на Бонни в упор.

— А ты кому платишь аренду? — резко спросил он.

Удивленная его тоном, она замолчала: губы без тени улыбки разомкнуты, темные брови приподняты.

— Какой-то аудиторской компании, — ответила она наконец. — Наверно, дома им и принадлежат. А что?

(Это означало: "Тебе-то что за дело?")

— Кто-то обирает Софи, — пояснил он. — Мне кажется, я знаю, кто этот тип, но доказательств у меня нет.

— Чтобы так думать, надо иметь основания, — возразила Бонни.

Она явно желала узнать побольше, но Джонни не хотелось рассказывать ей о розовых расписках.

— Я просто это чувствую, вот тут, — ответил он, с улыбкой прижимая руку к сердцу. — Если я его на этом поймаю, я ему покажу... Он у меня костей не соберет.

Заметив, как серьезно прозвучали эти слова, он быстро прибавил:

— А сесть мне разрешат?

Бонни рассеянно огляделась.

— Разрешат, только сам ищи куда. Должно же быть какое-то место. У меня есть пуф и стул, на котором я сижу, когда печатаю... да, еще подушки.

В голосе ее не чувствовалось подлинного радушия, скорее он звучал отчужденно.

Помолчав, она прибавила:

— Просто я немного выбита всем этим из колеи... Сижу себе и размышляю о природе метафоры, как вдруг в мою дверь — после стольких лет — стучится наконец рука из прошлого.

Она подсмеивалась над прошлым, но эти слова словно стерли пять лет, отделявшие их от того смутного и страшного часа, который они пережили вместе, и новая Бонни наконец-то совместилась со старой, будто две краски, нанесенные одна на другую, слились воедино. Да, что ни говори, но самые первые мысли о любви были для Джонни связаны с Бонни Бенедиктой, и в тот день, когда они стояли, глядя в бездну, поглотившую его сестру, она крепко обняла его и прижала к себе. Стоя теперь у нее в комнате среди книг, Джонни чувствовал себя так, словно прошло всего несколько секунд с тех пор, как он и Бонни дрожали и плакали, вцепившись друг в друга на краю скалы. Они должны начать разговор с того момента, когда любовь и смерть слились воедино в его крови, как

прошлое и настоящее сейчас. Он понял все это интуитивно, на уровне не слов, а знаков... Но разве знаками такое объяснишь?

— Как твои родители? — спросил он, просто чтобы что-то сказать.

— Ты их видел позже, чем я, — ответила Бонни и улыбнулась. — Как они тебе показались?

— Хорошо, — признал он. — У них были гости.

И снова молчание, грозившее стать между ними.

— А кто этот парень, с которым ты спорила на рассвете — во вторник, кажется?

Джонни сам удивился своему вопросу — он и не думал его задавать.

— Не важно кто, — ответила Бонни сдержанно. — Лучше скажи мне, как поживают твои родители.

— Хорошо, когда я их видел в последний раз, — вздохнул Джонни. — Это твой парень?

— Он человек взрослый, но тебя это не касается, — ответила Бонни со смехом, хотя видно было, что его настойчивость ей не по душе.

— Я не слышал, о чем вы там говорили. Просто секунд десять следил за вашими тенями на стене, — пояснил Джонни.

— Ну ладно, а ты чем занимаешься? — спросила Бонни, решительно переводя разговор и подталкивая к нему пуфик. На этот вопрос у Джонни всегда был наготове ответ — еще в начале года он сочинил об этом стишок.

Без работы я сижу,
Пью и время провожу, —

ответил он и, беззвучно хлопая в ладоши, прошелся чечеткой — восемь тактов на месте, полный оборот на левой ноге и дробь правой. — Горе в том, что в кроссовках чечетка звучит слабовато, — прибавил он сокрушенно. — Да и музыка тоже не помешала бы. Работу я искал, но мне не везет — пока...

— Ясно... А почему ты не гремишь на эстраде? — чуть насмешливо спросила Бонни.

Слава, выпавшая на долю Джонни и Дженин в свое время, никогда не производила на нее особого впечатления.

— Ты знаешь почему, — ответил Джонни. — Ты же при этом присутствовала. — Он уселся на пуф, отказываясь от преимуществ, которые давал ему рост. — Звезда нашего номера вышла из игры, не так ли?

"Интересно, что она на это скажет", — думал он напряженно; опять они приблизились к тому, что лежало между ними. Подобно двум пиратам из приключенческого романа, зажавшим в кулаке по половинке золотой монеты или карты с указанием, где зарыто сокровище; каждый из них знал лишь половину случившегося тогда, и Джонни понимал, что робость или те пять лет, которые отделяли их от того дня, могут помешать им сложить половинки вместе.

Бонни промолчала. Джонни со вздохом пожал плечами.

— Я человек с большим будущим позади.

— Опять напрашиваешься на комплименты, — презрительно бросила Бонни. — Ты был настоящий танцор. Все это знали, даже Дженин.

Джонни так удивился, что даже не сразу нашел, что ответить.

— Кто это тебе сказал? Уж конечно не Дженин, — недоверчиво произнес он наконец.

— Как раз она и сказала! — Повернувшись к нему спиной, Бонни вытаскивала большую подушку из-под раскиданных на полу книг и бумаг. — Дженин всегда говорила правду, даже если это ей и не нравилось. А я слушала ее с удовольствием — меня всегда интересовало, что она скажет. Это нас и свело. Такое сочетание выпадает нечасто... Может, раз в тысячу лет.

Она подняла подушку и ударила по ней кулаком.

— Только насчет тебя она могла мне и не говорить. Все это видели... конечно, не постоянно... а так, от случая к случаю. Мы обе тебе завидовали. Что тебе дать? Чаю?

— Нет-нет, спасибо, — поспешил отказаться Джонни. — Я ничего не хочу.

Ему не терпелось услышать еще.

— Слушай, но ведь это благодаря Дженин мы побеждали на всех просмотрах.

— О, Дженин была артистка! — воскликнула Бонни. — Она всегда замечательно смотрелась, но настоящим танцором был ты. Мне и раньше казалось, что у тебя с пространством особые отношения.

"Вот оно, — подумал Джонни. — Пусть она коротышка, хрипит и вся в веснушках, все равно у нее что ни слово, то откровение". Раз уж родилась пифией, так на всю жизнь пифией и останется. Не исключено, что Бонни над ним смеется, но голос звучит совершенно серьезно. К тому же ее слова совпадали с тем, что он нередко чувствовал сам. Конечно, приятно было танцевать на сцене, приятно сниматься в рекламе для телевидения, но во время этих выступлений он никогда не преображался. Другое дело — когда танцуешь без публики. Иногда, когда он репетировал в одиночку, прислушиваясь к сложному и как бы неизбежному ритму, который выбивали ноги, он верил, что просто извлекает его из сердца вселенной, и чувствовал себя великолепно.

— Это очень абстрактный талант, — сказала Бонни, словно прочитав его мысли и закончив их вместо него.

Подушку-то она нашла, но все никак не садилась, словно не соглашалась на серьезную беседу. Стояла перед ним, обняв руками подушку, будто никак не могла решить, что же дальше. Джонни тоже не мог решиться. Он чувствовал, что надо что-то спешно предпринять, но не понимал, как к этому подступиться. Они не настолько хорошо знали друг друга, чтобы просто перекинуться новостями или поговорить серьезно; к тому же оба слишком много пережили, чтобы теперь спокойно болтать о пустяках. Как бы там ни было, но он должен сказать что-то или попрощаться и уйти.

— Ну а как твоя сестра? — спросил Джонни. — Когда я был у твоих, я ее не видел. Она все еще живет дома?

Бонни отвела глаза. Теперь она уставилась в пустоту.

— Ах уж эти сестры... — протянула она наконец. — Мы с тобой могли бы целый день проговорить о сестрах и о том, что они выделывают.

И перевела взгляд на стол, словно ждет не дождется, когда же он наконец уйдет и она сможет снова вернуться к книгам. Джонни не шелохнулся.

— И что же? — спросил он. — Она все еще там?

— Где — там?

— Она все еще живет дома и занимается переработкой отходов и экологически чистым сельским хозяйством?

— Она слишком для этого занята, — коротко ответила Бонни. — У нее нет времени на все эти буржуазные фокусы в европейском стиле. Ра-

ботает в городской группе женщин, которые особенно интересуются полинезийскими делами, — учит людей традиционным ремеслам маори... Она взяла себе другие имена.

Бонни хмурилась, словно сообщала все это против своей воли.

— Имена? Но при замужестве меняют только фамилию, — сказал Джонни уверенно.

— Нет, она получила специальное разрешение. Она нашла свою родную мать и взяла ее фамилию — Хотейни.

Джонни изумился.

— Хинеранги Хотейни?! Эта красавица активистка?! — вскричал он. — Не может быть!

Но он уже знал ответ.

Бонни кивнула.

— Хинеранги Хотейни, которая бросила бомбу в министра по делам маори? Это *Саманта*?

— Она самая, — подтвердила Бонни.

— Ну и ну! — пробормотал Джонни. — Все эти уроки балета и "Винни-Пух" — и на тебе, она вернулась в марей![1] Столько всему училась — и все впустую.

Бонни сдвинула брови, сжала губы и зорко, по-орлиному, глянула на него желтовато-карими глазами.

— Она посвятила себя своему делу, — ответила Бонни скучным, невыразительным голосом, но Джонни мгновенно понял, что это не скука, а гнев. — Она вкладывает в него всю душу. Она знает, кто она. Не будь таким податливым... таким приспособленцем.

— Идет, — добродушно согласился Джонни. — Я немного приспособленец, а вы нет. Ешьте свою здоровую, экологически чистую пищу, а я буду податлив, как резина. Посмотрим, кому из нас раньше придет конец!

Мрачное лицо Бонни немного просветлело.

— Не сдавайся! — бросила она.

Джонни хотелось узнать побольше. Его мучило любопытство: интересно, что думали супруги Бенедикта о своей младшей дочери, пользовавшейся всеми преимуществами, которые давало ей респектабельное имя приемных родителей, а потом отказавшейся от него. Неужели Бонни тоже захочет выяснить свои корни? Впрочем, он не стал ни о чем спрашивать, чувствуя, что это опасно. Похоже, над ними снова нависло молчание. Что ж, придется сказать, как приятно было с ней повидаться, и удалиться.

КАК-ТО В ПРЕЖНИЕ ДНИ... — запели голоса в голове, и Джонни вскочил, глядя мимо Бонни — на куклу-манекен в раскрашенных одеждах.

— Давай я тебе кое-что расскажу, — сказал он кукле и взял ее за прохладную руку, положив другую себе на плечо.

Он поднял куклу вместе с подставкой, прижал к себе и поглядел в пустое лицо. Она была довольно тяжелой — вернее, даже не столько тяжелой, сколько неповоротливой. Ладно, он с ней потанцует.

— Ты сегодня просто очаровательна, — говорил он ей. — Такая таинственная, ну просто настоящая пифия. Будь же моей!

Не глядя на Бонни, он плавно заскользил мимо.

— Это танго, — бросил он через плечо своей дамы.

1. Марей — пространство перед общинным домом маори, часто используемое для проведения встреч и праздников.

Они кружили вокруг Бонни, а та крутила головой, следя за их движениями.

— Что ты говоришь? — спрашивал Джонни куклу. — У тебя темное прошлое? У меня тоже. Покажи мне твое прошлое, а я покажу тебе свое.

И он начал рассказывать кукле свою историю, время от времени кивая Бонни через ее плечо.

— Я проснулся на островке, — начал он. — Только окружал меня не океан. Меня окружал город, молчаливый, полный теней. И тогда я решил бежать, бежать, бежать — и ушел, ушел, ушел! — Насколько легче было рассказывать танцуя. — Но кто это бредет мне навстречу через каменную пустыню? — спросил он с пафосом.

Медленно кружа — то в одну сторону, то в другую — в тесном пространстве, со всех сторон ограниченном книгами, он рассказывал ей о том, как встретил Софи, как отправился с ней за покупками, как уговорил ее принять ванну. Кукла, тихонько позвякивая, клонилась в его объятиях. Он рассказал ей о том, как трижды пытался сбежать, как встретил Нева, как вернулся и обнаружил письмо с ее адресом на конверте. Обнимая свою неуклюжую партнершу, Джонни думал: "Благодаря моей вере в случай я, кажется, заслужил откровение". Что-то медленно приоткрывалось — сердце стучало от волнения.

— Тогда я поднялся по лестнице, — сказал он кукле, — и увидел, пифия, тебя, разряженную как положено.

Внезапно остановясь, он сказал Бонни:

— Я всегда думал о тебе в этих одеждах, но ты сейчас стала строгой.

— Эксцентричная одежда — это слишком легко, — ответила Бонни. — Начинаешь слишком на нее полагаться. Хотя вот что для меня типично, — сказала Бонни с горечью, когда он поставил наконец свою партнершу на место, слегка крутанув ее на подставке. — Я больше года живу рядом с миссис Вест и хоть бы раз ей чем-то помогла. Я даже никогда не замечала, что она... настолько... настолько...

— ...не в себе? — закончил Джонни. — Я-то попал к ней в дом просто потому, что похож на человека, которого она помнит, — на ее двоюродного брата. Когда-то он ей нравился. По-моему, он носил такой же блейзер, как мой. Она может беседовать о погоде — вполне разумно... ну, скажем... достаточно разумно.

— Но большинство людей просто прошли бы мимо и не заметили ее, — следуя его примеру, пропела ему в ответ Бонни. — Джонни Дарт, в общем ты не очень-то изменился.

Джонни не возражал, а только постучал пальцем по синякам на лице.

— Знаю, знаю... Слушай, когда ты был маленьким, ты вечно приносил домой покалеченных птичек, старался их обогреть, кормил крошками хлеба. Ты всегда был добрым.

— Но все они умирали, — сказал Джонни, помолчав. — Что толку?

Он редко вспоминал о своей былой жалости к слабым.

— Ты ужасно расстраивался, когда они умирали, — вспоминала Бонни. — Ты так за них переживал.

Джонни молчал.

— Я только увеличивал их страдания, — проговорил он наконец. — По-настоящему добрый человек должен был бы избавить их от боли.

— По-моему, у тебя не было выбора, — сказала Бонни. — Честное слово. Просто ты такой. Меня вот все время куда-то заносит, а того, что у меня под носом, не вижу... Может, не хочу видеть? Я вот такая.

— Тут кто угодно мог бы жить с ней рядом и ничего не подозревать, — отозвался Джонни, смутно ощущая, что, несмотря на всю свою сдержанность, Бонни себя в чем-то винила. — Она тут ходит в своем пальто и шляпке, а иногда вдруг возьмет и украдет бутылку с молоком. Самого плохого никто и не заподозрит, пока не увидит, в каком состоянии у нее гладильная доска.

Тут он спохватился:

— Да, вот что, послушай! Может, ты мне скажешь. Ведь существует какое-то место, где старики, которые потеряли память, разучились готовить и никогда не моются, могут получить помощь?

— Ее надо определить в какой-нибудь приют, — сказала Бонни. — Но для этого необходимо согласие родных.

— Не знаю, есть ли у нее родные, — пояснил Джонни. — Эррол был прирожденным джентльменом, а детей у него не было. Впрочем, он давно уже умер. Остался один я — она меня за кого-то принимает. Пусть бы кто-нибудь пришел, посмотрел на нее и распорядился, чтобы к ней направили медсестру, присылали горячие обеды, ну и всякое такое.

Ему показалось, что Бонни встревожили его слова, но она ответила ему бодро, даже радостно.

— Знаю! Совет по делам престарелых! Там работает один приятель моей матери. Пойди туда и спроси мистера Дейнтона.

— Престарелых! — воскликнул Джонни. — Нет, это потрясающе! Чего только я не перепробовал — и "стариков", и "пожилых", и чуть ли не "древних"!

— Я тебе нарисую план, — предложила Бонни, повеселев от мысли, что может хоть как-то помочь.

Схватив со стола карандаш, она склонилась над листом бумаги.

— Их найти нетрудно.

Тревога за Софи, подумал Джонни, могла ненадолго их сблизить, но, кончив рисовать, Бонни посмотрела на разложенные по столу бумаги и книги.

— Джонни, — сказала она, — я правда работала, когда ты постучался. Я просто обязана завтра сдать доклад. Придется все же тебя прогнать, потому что его надо закончить.

— Я сам уйду, — ответил Джонни, скрыв огорчение.

Вот наконец они повидались и поговорили, но как мало они сказали друг другу. Бонни, судя по всему, ждала, что он что-то ей скажет, но он никак не мог сообразить, чего именно она ждет.

— По крайней мере, я теперь знаю, где ты живешь, — заметил он, беря у нее из рук план.

— А ты мне так и не скажешь?.. — спросила она.

— Чего?

— Зачем ты меня разыскивал? Зачем ты явился в полночь к моим родителям, а потом пошел за миссис Вест на улицу Маррибел? Просто для того, чтобы побеседовать о тех днях?

— Нет, — ответил Джонни. — Не совсем.

— Скажи мне.

— Сейчас уже нет смысла.

Оба были растерянны: они стояли так близко друг к другу в этой пещере из книг, но все же контакта меж ними не было.

— Мама сказала, ты что-то мне приносил, — сказала Бонни.

Джонни покраснел.

— А-а, это! — отмахнулся он. — Просто я таскал эту вещицу с собой все эти пять лет, а тут меня осенило: ведь я могу тебе ее вернуть. Но я тогда сильно выпил. Небось она тебе об этом сообщила.

Его слова ее заинтриговали.

— Я ожидала подарка, — призналась она.

Джонни сунул руку в верхний карман блейзера и вытащил золотистую змею с хвостом во рту. После долгих поисков он нашел ее тогда в заповеднике в траве. Но Бонни, увидев змею, в ужасе отступила.

— Я ее выбросила! — вскричала она. — Точно помню, что выбросила.

— А я ее нашел, — объяснил Джонни. — Но не смог вернуть тебе на похоронах.

— Джонни, она мне не нужна. Честное слово, не нужна, — решительно объявила Бонни. — Со всем этим покончено... навсегда.

— Добрые старые времена. — Джонни взял куклу за руку. — Так будь же моей! — сказал он и надел кольцо на руку кукле. — Я помолвлен с пифией. Это очень давняя помолвка... Впрочем, что об этом говорить. Не провожай меня. Я знаю, где дверь.

Бонни с опаской следила за тем, как он надевал кольцо на бесчувственную руку манекена. Вдруг она рассмеялась.

— Сама не знаю, что со мной! — сказала она. — Завтра сдам доклад и вечером буду свободна. Может, придешь вместе с миссис Вест пообедать... Дружеская встреча соседей.

У Джонни отлегло от сердца. Он как бы получил второй шанс, хотя и сам не знал, зачем он ему.

— Лучше давай я приглашу тебя, — сказал он. — Я умею готовить только одно блюдо, но зато довольно хорошо. У тебя я уже был. Теперь твоя очередь навестить меня — меня и Софи.

В последнюю минуту, стоя на пороге дома, мимо которого с ревом неслись машины, Бонни решилась спросить Джонни о его синяках.

— Знаешь, вид у тебя такой, будто кто-то пытался тебя убить, — заметила она.

Джонни рассмеялся.

— Ах, ты об этом! Ерунда, немного подрались, знаешь, как это бывает, — ответил он бодро.

— Как в доброе старое время? — спросила Бонни.

Шагнув на тротуар, Джонни обернулся.

— Почти, но не совсем, — ответил он. — На этот раз начал я. Чего ждать-то?

— Раньше ты был таким смирным, — вздохнула Бонни.

Джонни задумался.

— Меня научили быть смирным, — сказал он наконец, — но теперь я постарался эти уроки забыть. Саманта... прошу прощения... Хинеранги... научилась быть маори. Вот и я тоже.

— Для нее это страшно важно, — воскликнула Бонни. — Это часть ее личности.

— Ну а это часть моей личности, — сказал Джонни, коснувшись рукой лица.

Он поразился, увидев, что на улице уже стемнело. Пока он сидел у Бонни, наступил вечер. Лишь сейчас, стоя у ее двери, он наконец решился спросить о том, что привело его сюда.

— Слушай, Бонни! А ты когда-нибудь думаешь о... о Дженин? О том, как она тогда сорвалась?

Он почти не видел ее лица. Свет падал на нее из-за спины.

— Я думаю об этом каждый день, — ответила Бонни. — До свидания, Джонни.

Джонни прошел несколько шагов по улице, отпер дверь в дом Софи. И тут же уловил какой-то новый запах в затхлой атмосфере дома. Наверху что-то горело. Он ринулся наверх — через гостиную, в кухню.

Глава тринадцатая

В кухне было пусто, плита включена. На раскаленной конфорке стояла сковородка, на которой еще совсем недавно он жарил яйца, а на сковородке полыхало яркое пламя, отчего к потолку поднимались клубы черного дыма. Видно, Софи решила растопить на сковородке масло, а потом забыла о ней. Все это походило на небольшой, но вполне наглядный атомный взрыв.

— Это ты, Эррол? — позвала Софи из спальни.

— Почти! — отозвался Джонни. — Впрочем, на кого-то получше тебе сейчас рассчитывать не приходится.

Он схватился за ручку сковородки, завопил, чертыхнулся и выронил сковородку. Софи вышла из спальни и строго посмотрела на него.

— Пожалуйста, не бросай посуду на пол, — сказала она высокомерно, не обращая никакого внимания на пламя, взметнувшееся к потолку.

— Отойди! Отойди! — завопил Джонни и, обмотав руку полотенцем, подхватил сковородку с пола и швырнул ее в раковину.

Софи мрачно следила за ним.

— Надо быть осторожнее, — сказала она, хмурясь. — Где ты был? Я тебя ждала.

— Отлучался тут по соседству, — ответил Джонни.

Впрочем, ему казалось, будто он уходил куда дальше. Всего в нескольких шагах от него, за тонкими, как бумага, стенами, бродила среди книг Бонни, и, хотя их встреча ничего не прояснила и не принесла удовлетворения, он уже думал о том, что мог бы отвечать ей гораздо умнее, и тогда она обратила бы на его слова внимание и все обернулось бы иначе. Конечно, он всегда может снова к ней забежать и как-то ввернуть все это в разговор, но лучше, верно, подождать до завтрашнего вечера. У него будет время поразмыслить.

— Как насчет сосисок на ужин? — спросил он Софи.

Она нахмурилась.

— Право, не знаю, — ответила она, поджав губы. — Ведь сосиски бывают жирными, а я где-то читала, что слишком много жиров для здоровья вредно.

— Я их как-нибудь без жиров приготовлю, — соврал Джонни.

Софи просияла.

— Вот и прекрасно, — сказала она, — потому что с жирами надо быть поосторожнее. Исключить жиры, исключить сахар. Эррол, к примеру, всегда пил чай с сахаром, и я сейчас часто думаю, что лучше бы он этого не делал, но, знаешь, мужчины любят сладкое.

— Вот почему я так люблю тебя, Софи, — дерзко заявил Джонни.

— Не болтай! — прикрикнула она, но тут же все испортила, захихикав. — Что за напасть, ах ты, Боже мой!

Считается, что приготовить сосиски ничего не стоит, но в прошлом, когда Джонни был бойскаутом, у него вечно происходили с ними всякие неприятности. Чтобы чего не вышло, он сначала их прокипятил, а потом, осторожно слив воду и положив в кастрюльку масла (сковородка была безнадежно испорчена), поджарил. Выложив сосиски на тарелки, он обильно полил их томатным соусом. Софи жадно съела свою порцию и подобрала соус с тарелки хлебом.

Вымыв совместными усилиями посуду, они уселись перед телевизором смотреть мультфильм "Уотершал Даун"[1]. Джонни отрешенно уставился на экран, стараясь не думать о Бонни, сидящей совсем рядом за машинкой. Впрочем, кто ее знает, может, она все про свой доклад выдумала, только чтобы отделаться от него. Интересно, о чем это они тогда спорили на рассвете? Он их тогда чуть-чуть не подслушал — жаль, оплошал. И откуда, интересно, падали тени — из гостиной или из спальни? Он невольно вздохнул. Той частью воображения, что прячется от рассудка, он уже верил, что он и Бонни были если не влюблены друг в друга, то во всяком случае помолвлены. В воспоминание об объятии на краю опасной зоны он вложил столько тайного смысла, что теперь и сам с трудом это осознавал. Он объявился у нее небритый, весь в синяках, с голой грудью, едва прикрытой блейзером, но в то же время почему-то не сомневаясь, что нужен ей.

— Удивительно, чему только не удается обучить кроликов, — внезапно воскликнула Софи. — Даже говорить.

Джонни вспомнил, как однажды в детстве он так рыдал, когда в каком-то мультфильме кошку переехал грузовик, а потом сплющили литавры уличных музыкантов, что отцу пришлось унести его из кинотеатра. Да, тогда он так же попался на удочку этих ловких говорящих теней, как и Софи сейчас.

— Эти кролики... ищут себе дом, Софи, — объяснил он.

— Что ж, это я могу понять, — великодушно объявила Софи. — Знаешь, женщине, по-моему, нужен собственный дом. Это совсем другое, чем жить с матерью. Мы с Эрролом были очень счастливы в этом доме. Его построил отец Эррола, этот дом и соседний, тес был наилучший и гвозди тоже. Эррол, бывало, говорил: "Этот дом будет стоять и через сто лет".

Джонни обвел глазами толстые стены и потолок с серыми клочьями паутины. На сердце у него кошки заскребли: он-то знал, что за порогом дома ревет город и что скоро вокруг него сомкнутся бульдозеры.

— Он будет стоять вечно, этот дом, — проговорила Софи уверенно.

— А тебе не хотелось бы пожить в другом доме? — спросил Джонни. — Чтоб он был поменьше? И без лестниц?

— Гм... — задумалась Софи. — Это было бы удобно, но я так привыкла к своему милому домику. Знаю, где что лежит.

По экрану запрыгали какие-то низкорослые фигуры... приплюснутые кролики... закричали и запели какие-то голоса. Софи положила локти на ручки кресла. Голова склонилась на грудь, плечи подались вперед.

— Как хорошо, когда рядом кто-то свой! — пробормотала она сонным голосом.

1. Мультфильм по книге английского писателя Ричарда Адамса (р. 1920). На русском языке книга вышла под названием "Удивительные приключения кроликов" (1988). Пересказ с английского Е. Догель.

"А я и в самом деле ушел из дома", — с изумлением подумал Джонни. Как это произошло? Даже когда завтра... или послезавтра... он вернется туда, где живет его семья, все будет уже по-другому, потому что он сделал то, на что, по словам отца, у него никогда не хватило бы решимости: теперь он будет обходиться без них, а они — без него. Брешь, оставленная его уходом, какой бы она ни была, начала медленно закрываться. Конечно, узнай сейчас отец, в каком странном обществе проводит сын время, он бы не только растерялся, но и огорчился. Он хотел бы, чтобы его сын ушел во флот или занялся бизнесом, а не жарил старушкам сосиски. Да и сам Джонни вряд ли об этом мечтал. Софи, задремав, кивала головой, и Джонни опять стал думать о Бонни, удивляясь, чего это он так разволновался, когда ему гораздо спокойнее сидеть здесь с Софи. И все же он припоминал доброе старое время, прилаживая новую Бонни в нишу, оставленную исчезнувшей пифией... той веснушчатой девчонкой, которая разрисовывала одежду и бросала карты, стремясь выглядеть позагадочнее.

Софи начала съезжать с кресла. Джонни подхватил ее, испугавшись, как бы она не ударилась головой о деревянный подлокотник. Она не ушиблась, но, увидав на своем плече пальцы Джонни, испугалась.

— Сию же минуту убери! — раздраженно вскричала она.

И Джонни тут же ее отпустил.

— Шла бы ты лучше в постель, — сказал он. — Уже поздно, Софи. Ты заснула в кресле.

— Боже мой, вот напасть-то, — проговорила она, вставая и потягиваясь (изящно, словно кошечка, отметил про себя Джонни). — Да! Постель — это как раз то, что мне надо. Только выпьем перед сном по чашечке чаю — я мигом приготовлю.

— Мы только что пили, — быстро возразил Джонни, вспомнив о мокром матрасе. — По-моему, больше не стоит.

— Я только немного приберу, — заявила Софи и засуетилась, словно заводная, брала что-то в руки, разглядывала, складывала, прятала, вынимала, встряхивала, снова складывала, била кулаком по подушкам, перекладывала их на другие кресла.

Джонни видел, что она жаждет деятельности, но не знает, как дать выход своей энергии. Сняв туфли, она сунула одну в секретер. Внимательно поглядев на нее, глубоко вздохнула и вынула, потом положила обе туфли на крышку и удалилась. Джонни слышал, как застонали пружины кровати, когда Софи наконец улеглась.

Он продолжал сидеть перед телевизором; хотелось увидеть в последних новостях Хинеранги Хотейни, однако на этот раз ее не показали. Все эти марши протеста уже никого не интересовали. Немного спустя и он, вслед за Софи, заснул в кресле.

Во сне он услышал, как снова заскрипела ее кровать, но не проснулся. Возможно, это ему приснилось; во всяком случае, он слышал во сне голоса. "Ты еще вернешься!" — кричал отец. "Улыбайся!" — молила мать. "Тебе меня никогда не поймать!" — с презрением бросила ему Дженин и понеслась вперед по краю обрыва. Если б он протянул руку, он мог бы ее коснуться. Если б только он протянул руку... "Я сделаю из тебя мужчину!" — грозил Нев.

НАГИМИ МЫ НА СВЕТ ИЗ ТЬМЫ ВЫХОДИМ, — пел его любимый ансамбль. СТРАХ — НАШ БОЛЬШОЙ БРАТ — ДЕРЖИТ ВСЕХ НА ЗАМЕТКЕ, — запели голоса, и Джонни открыл глаза.

Прямо перед ним стояла Софи. Она была совершенно нагой. Глаза ее были широко открыты, но его не видели.

— Элва, — говорила она тихим и нежным голосом, какого Джонни никогда от нее не слышал. В одной руке она что-то держала, другую, левую, прижимала к щеке. — У меня разрывается сердце. — Голос у нее был таким же старческим, как и раньше, но в нем не было спокойствия. Он прерывался от отчаяния. — Я этого не переживу. Я никого больше не буду любить, никогда, никогда, никогда.

Джонни медленно сел. Он пристально посмотрел в ее круглые глаза — слезы наполнили их и потекли по щекам. Каждая слезинка (изогнутое отражение комнаты и Джонни, трепещущего на его поверхности) почти тотчас терялась в тонких морщинках, избороздивших ее лицо. От нее исходил какой-то особый холод — Джонни прохватила дрожь. Неужели он избавился от страха перед Невом, мелькнуло у него в голове, только для того, чтобы трепетать перед Софи? Надо бы ее успокоить, но он не знал, на что решиться.

Софи медленно опустила веки. Потом наклонилась и поцеловала его в щеку и краешек рта.

— У меня разрывается сердце, — всхлипывала она, дрожа. — Мой милый...

— Софи, — тихо сказал Джонни, — смотри не замерзни, Софи.

Кожа ее на ощупь напомнила ему о тех похожих на папоротник узорах, которые море порой рисует на песке. Она была чуть ли не красивой. Она и была по-своему красивой, испещренная мелким изящным рисунком, в котором никто не смог бы прочесть повесть о медленном приближении конца. Джонни решил взять эту мысль на заметку, чтобы позже о ней подумать, но тут его стала бить такая дрожь, что у него просто зуб на зуб не попадал. От множества противоречивых впечатлений он чувствовал страшную усталость — у него слипались веки. Он боялся двинуться, боялся вздохнуть.

Мрачный миг миновал. Джонни открыл глаза и посмотрел Софи прямо в лицо, которое было так близко от него.

— Элва, — повторила она, но на этот раз голос ее прозвучал неуверенно.

— Я не Элва, — сказал Джонни. — Я всего лишь Джонни Дарт... ты же знаешь... приглядываю тут за тобой.

— Я не знала, что ты сменил имя, — пожаловалась Софи, и Джонни вздохнул с облегчением, услыхав знакомую интонацию. Внезапно она выпрямилась и в отчаянии огляделась.

— Где я? — громко вскричала она. — Что это за место?

— Это дом, — ответил Джонни и быстро встал. — Твой дом! — повторил он твердо. — Софи вцепилась в его руку. — Это улица Маррибел. Этот дом построил отец Эррола, ты же знаешь.

— Это не мой дом, — отвечала она. — Я бы никогда не согласилась жить в таком месте.

— Помнишь Эррола? — громко, словно заклинание, произнес Джонни.

— Эррола? — отозвалась она в смятении и нахмурилась. — Ах да... Эррола.

— Твоего мужа, Эррола Веста, — произнес Джонни раздельно.

Он вспомнил, что в школе учителя говорили с ним так же громко и назидательно, как сам он сейчас говорил с Софи.

— Эррол Вест.

— Он мне далеко не всегда нравился, — заметила она тоном, не допускающим возражений. — Мне не нравились его ногти. Но что поделаешь — я хотела выйти замуж. И он оказался... очень милым... во многом.

Голос звучал все обыденнее, все спокойнее. Передвинув на всякий случай кресло, в котором он заснул, чтобы оно встало между ними, Джонни попробовал перейти в наступление.

— А мне говорили, будто Эррол был птица невысокого полета, — заявил он. — Ведь специального образования у него не было, правда?

И с облегчением заметил, что она возмутилась.

— Ну и что? — вскричала она. — Зато он был добрым, он был честным.

— И он тебя не ударил ни разу, да? — подсказал Джонни.

— Ни разу, — страстно подтвердила Софи. — Он был прирожденный джентльмен.

— Добрый, милый Эррол, — произнес Джонни.

Софи медленно кивнула, меряя комнату взглядом.

— Я просто не знаю, — вздохнула она. — Знаешь, секунду назад все выглядело совсем по-другому.

— Да, мигом меняется, — согласился Джонни. — Мигом — больше и не надо.

И снова Дженин исчезла из виду у него на глазах.

Только теперь он заметил, что Софи волочила за собой по полу ночную рубашку. Рубашка имела подозрительный вид.

— Софи, — спросил Джонни, — ты что, намочила постель?

— Кто-то намочил, — раздраженно ответила Софи. — Должно быть, эти люди из соседнего дома. Подделали ключ и теперь являются сюда когда захотят.

Она смело взглянула на него. Ее ступни и кисти казались огромными по сравнению с худыми руками и голенями.

— Ну ничего, — проговорил Джонни отреченно. Он и впрямь обрадовался, увидев, что она вернулась в настоящее и отдает себе отчет в том, что стара и не годится для романтических мечтаний.

— Садись-ка вот здесь, у обогревателя, а я все сделаю.

— Я приготовлю чай, — предложила она. — Я помню, какой ты любишь.

— Не беспокойся, — ответил Джонни. — Я только что пил.

Разыскивая простыни поцелее, Джонни спрашивал себя, не настроил ли он Софи на любовные мысли тем, что, сидя рядом с ней, мечтал о Бонни. Вспомнив о слезах Софи, он вдруг почувствовал, как в глазах и носу у него защекотало, и сам — неизвестно почему — чуть не разразился слезами. Не просто из сочувствия к Софи, хотя он и испытывал к ней неясную ему самому жалость. Скорее от шока, который испытываешь, когда вдруг находишь раненого зверька и думаешь, как бы избавить его от страданий. Переворачивая матрас, он думал об Элве, чьей тенью он стал благодаря полосатому блейзеру, и о том, любил ли тот Софи. Возможно, Элва вовсе ее не любил; возможно, он жив и теперь, спит себе где-нибудь, старый, в морщинах, и не подозревает, что его кузина Софи проснулась среди ночи с его именем на устах и с верой в то, что способна на страстную любовь.

"Ты такой чувствительный!" — вскричала бы с презрением Дженин. Впрочем, она тоже мечтала о любви, хотя и полагала, что это подобает лишь юным. Неужели она ревновала его, как утверждает Бонни? "Тебе

меня ни за что не догнать!" — воскликнула она, бросая ему вызов, и исчезла прямо на глазах.

Джонни помог Софи лечь и решительно подоткнул одеяло, размышляя, как же, черт побери, ее спасать.

— Спокойной ночи, — пробормотала она. — Ты такой добрый.

— Давай я тебе свет придушу, — предложил он и замер с рукой на выключателе в ужасе от своей оговорки. — Я хотел сказать: притушу. В темноте легче засыпается.

Однако оговорка тут же представилась ему не такой уж и случайной: в ней было больше смысла, чем в предложении просто выключить свет. Стоя возле кровати Софи, он на миг задумался: может, лучше вообще не родиться на свет, чем кончать жизнь без памяти и с мокрыми простынями? Но Софи, как это подчас бывало, вдруг бесстыдно улыбнулась — в глубине ее голубых глаз мелькнула жадность.

— А ты не мог бы принести мне этих... сладенькие... как их там? — попросила она. — Мне бы одну-две штучки.

— Печенья? — Джонни сделал строгое лицо. — Ты хочешь печенье перед самым сном? Но они же сладкие!

— Ну, тогда одно — простое! — прошептала Софи. — Без крема.

Джонни рассмеялся. Радость Софи в предвкушении печенья сняла тяжесть с его сердца, заменив жестокий момент истины более мягким, который был не менее правдив.

— Я принесу тебе всю пачку, — сказал он Софи. — Можешь есть их в темноте. Почему бы и нет?

Она кивнула и хитро улыбнулась. Но когда Джонни вернулся, она уже спала, лежа на спине с открытым ртом. Она еле слышно, неглубоко дышала, обнажив кривоватые зубы. На столике возле кровати лежала еще одна пара искусственных челюстей. Глаза ее были закрыты, впрочем, не до конца. Между верхними и нижними веками виднелась узкая светлая полоска. Она спала, но не тем крепким и сладким сном, каким спят в детстве.

Джонни вернулся в гостиную и сел на кушетку; мысли его бегали: он думал то о Софи, сладко спавшей в своей постели, то о девушке в соседнем доме. Казалось, он и Софи, каждый по-своему, зачарованы призраками. Пифия создавалась совместными усилиями. Бонни лишь наметила контур, который он заполнил собственными деталями; много лет назад Софи, возможно, поступила так же с полосатым блейзером Элвы. Мысли плавным потоком проносились у него в голове — он уже с трудом отличал их от сновидений, ощущая, как сам меняется под их незаметным воздействием. Спустя немного, устав от попыток разобраться, он лег и наконец уснул.

Глава четырнадцатая

Проснувшись на следующее утро, Джонни услышал, как по крыше стучит дождь. Сырой туман окутал город, улица Маррибел выныривала из пустоты и вновь исчезала. Из окна, выходящего на балкон, виднелись очертания почты и пивной; смягченные неровными струями воды, они, казалось, медленно таяли.

Поняв, что дождь зарядил надолго, Джонни вернулся к Софи, чтобы попробовать заставить ее переодеться. Платье, таинственно исчез-

нувшее позавчера, сегодня снова выплыло на поверхность, и Софи натянула его поверх ночной рубашки. Как она ни сопротивлялась, Джонни твердо стоял на своем.

— Не пойду я в магазин с кем-то, у кого из-под платья торчит драная ночнушка, — заявил он.

— Я же тебе не говорю, что надеть, — отвечала Софи, но в конце концов все же сдалась и согласилась переодеться.

К тому времени, когда она сняла платье, стащила ночную рубашку, надела жуткую нижнюю юбку и вновь натянула платье, она уже весело щебетала о чем-то и собиралась приготовить Джонни завтрак.

— Попробуй-ка сначала вот это! — предложил ей Джонни, очистив апельсин и разрезав его на дольки.

Потом он стал думать о Бонни просто так, чтобы посмотреть, что же прежде всего возникнет у него в памяти. Вот она — маленькая, веснушчатая, оживленная, далекая. Он попробовал вспомнить пифию, но обнаружил, что пифии уже не существует. В памяти осталось лишь воспоминание о собственной выдумке — и ничего больше.

Оставив Софи расправляться с апельсином, Джонни отправился в ванную, принял душ и тщательно побрился. Ничего, что кожа будет раздражена, — все лучше, чем отросшая щетина, которая делала его похожим на реконструкцию первобытного человека. Выстиранная вчера рубашка была еще влажной, хотя и не такой мятой — отвиселась за ночь. Он все же надел ее и постарался разгладить руками, утешая себя тем, что в основном она будет закрыта блейзером. Лицо, смотревшее на него сегодня из зеркала, весьма отличалось от того, которое он видел в том же зеркале всего два дня назад. Шишки и синяки почти полностью исчезли, но дело было не только в них. Джонни показалось, что он выглядит как-то старше. Интересно, что скажут о его лице люди, подумал он и несколько раз улыбнулся на пробу, как делал когда-то в детстве: отвел глаза, а потом вдруг снова глянул в зеркало, надеясь поймать свое лицо врасплох. Нахмурясь, он занялся волосами — расчесал спутавшиеся пряди, пригладил упрямые завитки, стремясь придать себе сдержанный и приличный вид.

И тут неожиданно поймал новое выражение на своем лице. Он помнил, как оно улыбалось, смеялось, сердилось, помнил его и в ярости, и в отчаянии, когда, запершись в комнате, оплакивал Дженин, которую любил всем сердцем, несмотря на все ее придирки. Но никогда прежде он не видел на своем лице такой отрешенной печали. Чего-чего, но этого он не ожидал.

— Послушай, Софи, — позвал он. — Я выгляжу каким-то умудренным жизнью старичком, а ведь мне всего девятнадцать. Как это может быть?

— Не волнуйся! Это пройдет, — произнесла она как ни в чем не бывало прямо у него за спиной.

Джонни чуть не подпрыгнул — он не ждал ответа. Он улыбнулся и замигал. Плеер он оставил наверху — впервые за много недель он выходил на улицу без него.

— Софи, я выйду ненадолго, — сказал он, подойдя к двери.

— Не очень задерживайся, хорошо? — попросила она. — Одной сидеть не очень-то весело.

— Я не задержусь, — успокоил он ее.

— Ты ведь вернешься? — настаивала она.

— Я же всегда возвращаюсь, — ответил с грустью Джонни. — Я просто запрограммирован на возвращение.

Он сбежал по лестнице на улицу и зашагал к центру города.

Дождь уже не лил с такой силой, порой он едва моросил. Джонни было тепло в полосатом блейзере, он бодро шагал по притихшим под дождем улицам и смотрел сквозь струи дождя, как на глазах меняется город. Все озарялось таинственным светом. Не только почта, но и "Системы искусственного интеллекта" как-то по особенному сияли. "Войти бы в 'Искусственный интеллект' и заказать Софи новую память", – подумал Джонни. Это будет индивидуальный заказ, но в новой памяти уже не останется ни Эррола, ни дядюшки Брайена, ни Джонни с его полосатым блейзером. Если на то пошло, не мешало бы и ему самому позаботиться о новой памяти, ведь часть его собственного прошлого записана неверно. Хотя обычно считается, что память четко регистрирует прошлое, Джонни теперь ясно видел, что она допускает страшные ошибки и вечно пересматривает, дополняет, переписывает происшедшее. Ведь даже файл, заведенный Софи на Элву, все еще не закрыт, потому что в него теперь вносится Джонни, даром что записи тут же выцветают, так что их и прочесть невозможно.

Джонни шел дальше. По маленькой карте, которую дала ему Бонни, он быстро нашел Совет по делам престарелых. Джонни едва не пожалел, что так скоро пришел. Ему хотелось идти и идти по спокойным улицам, затянутым дымкой дождя, и наслаждаться одиночеством. Оказавшись у двери, которую он искал, Джонни вдруг заколебался. Он походил перед зданием, размышляя о том, что бы он подумал на месте социального работника, если бы вдруг к нему явился тип вроде него и поведал странную историю о жизни Софи. Но раз уж он потрудился привести себя в приличный вид, жалко было бы этим не воспользоваться. Приподняв плечи, он сунул руки в карманы и вновь обнаружил там ключ от дома Софи. Вынув ключ, Джонни положил его на ладонь и глядел на него до тех пор, пока ему не начало казаться, будто ключ и ладонь как-то связаны между собой. Он глубоко вздохнул, прошел по дорожке к старому дому и открыл боковую дверь.

За дверью оказалась приемная, а в ней – молодая женщина, которая довольно любезно ему улыбнулась.

– Я пришел посоветоваться относительно... относительно соседки, – выпалил Джонни. – Я живу поблизости от нее... совсем рядом... по-моему, она нуждается в помощи. Она старая женщина... Я, собственно, не знаю, сколько ей лет. Мне сказали, чтобы я обратился к мистеру Дейнтону, вот я и...

Молодая женщина не дала ему закончить.

– Я знаю, что мистер Дейнтон еще не ушел, и если поспешить, то мы его поймаем.

– Хорошо, – согласился Джонни, хотя и обескураженный тем, что его прервали.

Он пошел за женщиной по коридору, подождал, пока она постучала в какую-то дверь и что-то сказала кому-то в кабинете, а когда она, отступив, сделала ему знак, вошел. Джонни показалось, что человек, сидевший за столом, был удивлен его появлением, но примирился с необходимостью его принять, хотя и не очень этому обрадовался.

– Я вас не задержу, – начал было Джонни.

Но тот не дал ему договорить.

– Ну как ты? – спросил он, будто Джонни был его старым знакомым. – Чувствуешь себя лучше?

– Лучше, чем когда? – растерялся Джонни.

— Чем в ту ночь, — отвечал человек. — Во всяком случае, выглядишь ты получше. Я тебя не сразу узнал.

— Мы разве знакомы? — удивился Джонни.

Очевидно, он где-то встречал этого человека, однако никак не мог вспомнить где и когда.

— Я тебя подвез в город из Ривенделла, — ответил тот. — Я видел, как ты весьма решительно направился к стоянке такси. Кстати, не обращая никакого внимания на транспорт! Удостоверился, что ты добрался до островка безопасности для пешеходов, а дальше, признаюсь, не стал ждать и уехал.

Джонни расхохотался.

— У меня такое чувство, будто все это было в другой жизни, — признался он. — Я почти ничего не помню. Я даже вас не помню. Так, смутно брезжит что-то. Вы Макс Дейнтон?

— За грехи мои, — отвечал тот, немного оттаивая. — Если ты не помнишь, кто я и что я, то зачем ты пришел? В машине ты ничего не оставил — я проверял.

— Нет, с тем это никак не связано. Хотя какая-то ниточка, может, и есть, — раздумчиво произнес Джонни. — До стоянки я тогда не добрался. Впрочем, у меня и денег-то не было. Это я так просто сказал матери Бонни. Честно говоря, я на этом островке отключился.

Макс посерьезнел и сказал, что это его не удивляет. Джонни описал встречу с Софи и свое пребывание в ее доме. Он не стал рассказывать о том, как Софи стояла над ним, плача о погибшей любви, и не упомянул о Бонни, но не скрыл свои подозрения насчет Нева. Слушая его, Макс все больше мрачнел. Он, хмурясь, глядел на Джонни; во взгляде его не было осуждения — он словно открыл для себя нечто новое и твердо решил понять, в чем тут дело.

— Так, — протянул он. — Да это целый детектив.

— Да, правда? — согласился Джонни. — Она очень милая старушка. Я не хочу уходить, пока не удостоверюсь, что за ней будет присмотр.

— Видишь ли, она ведь не одна такая, — продолжал Макс. — Таких там много. И по большей части деваться им некуда.

— У нее денег куча! — воскликнул Джонни. — Можно бы устроить ее в хороший дом для престарелых, где за ней бы ухаживали; правда, сама она этого не хочет.

— Деньги — это неплохо, — сказал Макс. — У многих людей в ее положении денег вообще нет, хотя под раковиной, как ты говоришь, бывает, что-то и припрятано. Словом, хотя деньги у твоей Софи есть, мест у нас для таких, как она, просто нет. В городе три дома для престарелых, и в каждый — очередь. Конечно, есть еще психогериатрическое отделение в Саннисайд (это была местная психиатрическая больница — Джонни поморщился). Но и туда очередь, — закончил Макс, ударив ладонью по столу.

— Я же не могу навсегда у нее поселиться, — сказал Джонни. — Ее надо купать, и потом, она мочится в постель.

— Нет, конечно не можешь! — торопливо согласился Макс. — Ты и так, если ты позволишь мне сказать, сделал немало. Многие нашли бы, что это им не по плечу. А как же твоя работа? — Он смолк. — Да, ты ведь безработный, правда?

— Я даже не знаю, чем я хочу заняться, — Джонни пожал плечами. — Последние два года в школе я не очень-то убивался. Специальности у меня никакой нет.

— Не считая чечетки, — заметил Макс с улыбкой.

— Ну да, — кисло улыбнулся Джонни. — Но на нее спрос невелик. "Цыплят" перехватила какая-то австралийская банда.

— А ты бросил танцевать, — кивнул Макс. — Я помню, ты это доказывал Рут... очень настойчиво.

Джонни покачал головой.

— Вы помните больше, чем я.

— Говорят, чечетка снова входит в моду, — сказал Макс. — Ну ладно! Сегодня я не успею навестить миссис Вест, но завтра постараюсь. Ты можешь подождать до завтра?

— Конечно, — отвечал Джонни. — Просто мне нужно сказать матери, где я. В тот вечер, когда мы с вами встретились, я попал в историю, и завтра меня вызывают в суд. В районный, — поспешил он прибавить. — Отец, конечно, в восторг от этого не пришел. Он у нас очень правильный.

— Чтобы беспокоиться о человеке в том состоянии, в каком ты тогда был, не нужно быть особенно правильным, — возразил Макс. — А адвокат у тебя есть?

— У них там свой, — сказал Джонни. — Дело простое — нарушил тишину и порядок, отказался назвать свое имя. Я явлюсь — и будь что будет.

— Решай сам, — произнес Макс со вздохом.

Почему-то Джонни захотелось объясниться.

— Это была годовщина, — сказал он. — У меня сестра умерла пять лет назад. Она сорвалась со скалы в заповеднике. И в глубине души все считали, что лучше бы упала не она. И отец тоже. Он ничего не мог с собой поделать.

— Ты все это наверняка выдумал, — ответил Макс с тревогой.

— Во всяком случае, мне так казалось, — признался Джонни. — А этого достаточно. Но кое-кто это говорил.

Он сам себе удивлялся — как это он говорит так небрежно о том, что мучило его пять лет.

— Я уверен, что это не так... — начал было Макс, как сделал бы на его месте любой разумный человек. Но тут же смущенно смолк. Джонни уже научился понимать, что кроется за такой неуверенностью.

— Она небось так и сказала? — спросил он. — Доктор Бенедикта?

— Разумеется нет, — твердо ответил Макс.

Однако Джонни подумал, что его догадка была, пожалуй, недалека от истины.

— Простите, что я об этом заговорил, — сказал он Максу. — Вообще-то это меня не тревожит. И, чтобы переменить тему, спросил: — Так что же все-таки с Софи? Старческое слабоумие?

— У нее классические симптомы болезни, которую теперь называют болезнью Альцгеймера, — ответил Макс. — Или какое-то расстройство, связанное с этой болезнью. Иногда этим страдают и молодые, хотя в основном это болезнь людей престарелых. Ученые ищут лекарство, но все еще на стадии эксперимента. Тут мы ничем помочь не можем. Я навещу ее. А телефон у нее есть?

Джонни покачал головой.

— Если б ты смог завтра с ней побыть, я бы постарался прийти до обеда.

— Только если она предложит вам чаю, не соглашайтесь, — предупредил Джонни. — Она никогда не кладет в чайник заварки.

Оба встали и вышли, но в коридоре Макс бодро попрощался и, помахав рукой, направился в одну сторону, а Джонни — в другую. Миновав приемную, он вышел на улицу. Он был немного разочарован. Впрочем, не думал же он, что кто-то тут же ринется на улицу Маррибел, чтобы прийти ему на смену.

Когда-то в школе ему пришлось прочитать длиннющую поэму про старого морехода (она так и называлась "Сказание о старом мореходе"), который застрелил альбатроса и в наказание принужден был носить его на шее. Джонни подумал, что Софи похожа на этого альбатроса, но тут память сыграла с ним неожиданную шутку. Она выдала ему девять строк из этой поэмы — в свое время они его поразили, но потом он о них и не вспоминал.

Дурные дни! Дурные дни!
Какая тьма в глазах!
Но вдруг я что-то на заре
Заметил в небесах.
Сперва казалось: там пятно
Иль сгусток мглы морской.
Нет, не пятно, не мгла — предмет.
Предмет ли? Но какой?

Пятно? Туман? Иль парус? Нет!..[1]

Капли дождя текли у Джонни по лицу. Интересно: зачем он сказал Максу, что это ему следовало бы сорваться со скалы в Сиклифском заповеднике? Пока он молчал, эта мысль его пугала; когда же проболтался — показалась слезливой чепухой. Как это он мог такое думать?! Просто смешно! Джонни понял, что выбросил за борт какую-то важную часть самого себя, которая теперь не имела никакого значения.

Дженин превратилась в тепло и пепел, а тепло возвращается в космос. Джонни помнил это еще со школы. Так что Дженин не вернешь. Время — штука загадочная; может, как раз в этот миг она пролетает мимо других галактик и неизвестные нам обитатели следят за ее полетом с помощью невероятно чувствительных инструментов. "Это Дженин! — кричат они. — Всё танцует!" Как бы то ни было, но в этом времени и в этом городе осталась пустота. Дженин вписалась бы в нее с легкостью, ну а для оставшегося в живых Джонни все было не так просто. Ему приходилось брести, как слепому, медленно, наугад, а то и прокладывать себе путь кулаками. Он к этому привык, но теперь вдруг все вокруг зашаталось — того и гляди развалится.

Джонни собирался идти прямо к Софи, но понял, что ему тяжело возвращаться тотчас же. Он пошел вдоль реки, вьющейся через весь Колвилл, глядя на поверхность воды, по которой разбегалась рябь от моросившего дождя. Воздух, струящийся меж зеленых ветвей ивы, казался более влажным, чем река. Перед большой гостиницей болтали японские туристы. Джонни неуверенно им улыбнулся, но они не обратили на него никакого внимания. Возможно, город вокруг них был совсем иным. Джонни представилось бесконечное множество городов, на-

1. Строки из поэмы Сэмюэла Тейлора Колриджа (1772—1834). Перевод В. Левика.

ложенных друг на друга и связанных меж собой одним-единственным звеном, вроде этой гостиницы или, скажем, Дома с краном. Последние три дня он и сам жил совсем в другом городе. Он помнил о поджидавшей его обыденной жизни, но прежде чем к ней вернуться, предстояло кое-что сделать.

Дождь припустил сильнее, поднялся ветер. Когда он подошел к Дому с краном, то вконец продрог, несмотря на свой плотный блейзер. Рубашка на нем все еще была влажной, кроссовки промокли насквозь. Он уже вынул ключ, когда заметил, что дверь в дом приоткрыта. Вертя на пальце ключ, он смерил взглядом узкую щель между дверью и косяком, а потом скользнул внутрь и, застыв у нижних ступенек лестницы, внимательно прислушался. Наверху Софи что-то быстро говорила. На лестнице не было ни одной кошки, и это производило жуткое впечатление. Софи была не одна. Кто-то ей отвечал.

"Может быть, Макс Дейнтон нашел все же время зайти сегодня", — подумал Джонни, но тут он услышал голос Софи.

— Только, знаете, мне нужна расписка, — произнесла она торопливо.

— Я дам вам расписку, миссис Вест, когда вы дадите мне деньги, — глухо отвечал мужской голос.

В ту же минуту Джонни переполнило неизъяснимое, но такое знакомое ощущение блаженства, сопровождаемое необычайным приливом сил. Чувствуя себя ладным, бодрым, он беззвучно взлетел вверх по лестнице. Он не знал, что с ним происходит, не знал, не выдаст ли он каких тайн, о которых лучше молчать, но в одном он не сомневался: сейчас он придет в ярость — и на этот раз с полным правом. В гневе он позволит себе потерять голову — дивное, пьянящее ощущение! — с восторгом нырнуть в него, а потом выплыть, потрясенным, не без потерь, но с каким облегчением!

Взлетев на площадку, Джонни заглянул в гостиную. Какой-то парень рылся в сумочке Софи и делал это не из желания помочь.

— Это моя сумочка, — горячилась Софи.

— Это все, что у вас есть? — спросил парень.

— Я никогда не платила за аренду, — жаловалась Софи. — Я к этому не привыкла.

— Будет лучше, если в следующий раз вы заплатите побольше, — сказал он. — Теперь этот дом принадлежит мне, и, если вы не будете платить, я вас выселю. Мне просто придется это сделать. Эррол на моем месте поступил бы так же. Любого неплательщика он просто вышвырнул бы на улицу. Спросите старожилов. Он был человеком твердым, Эррол Вест.

— Эррол был прирожденным джентльменом, — возразила Софи. — Он никогда не выгнал бы меня из собственного дома.

Джонни удивился. Он-то был совершенно уверен, что Спайк и Нев — одно лицо, он даже рассчитывал на это. Чувство, испытанное им внизу, отчасти потому и возникло, что он надеялся поквитаться с Невом. Но Спайк оказался хилым парнем, совершенно ему незнакомым. Впрочем, нет, все же немного знакомым. Джонни признал в нем одного из тех двух парней, которые следили за его встречей с Невом в пабе. Он держал в руках раскрытую сумочку Софи так, словно собирался разодрать ее на части. На столе лежали деньги, снятые накануне со счета, а он продолжал поиски. Софи стояла рядом и правой рукой судорожно хваталась за ремешок сумки.

— Мне нужна расписка! — кричала она сердито, словно попугай.

Спайк бросил сумку — она упала на пол, выпотрошенная, безжизненная, — вынул из кармана перо и книжечку квитанций. Ни он, ни Софи не заметили, как Джонни бесшумно шагнул в комнату. Потом Софи, обернувшись, увидела его и нахмурилась, но, узнав блейзер, заулыбалась.

— А вот и ты, — сказала она. — А я как раз плачу за аренду. Я сейчас...

Парень уронил ручку, резко повернулся и вздрогнул, увидев, что за спиной у него стоит Джонни.

— Это мой кузен, Элва Бэббит, — представила его Софи. Она это сделала с особым изяществом. — А это... — она заколебалась и посмотрела на парня.

— Господи спаси и помилуй, да это милый добрый Спайк, — широко улыбнулся Джонни.

— ...мистер Спайк, — закончила Софи. — Садись, Элва, я мигом приготовлю тебе чай. Я прекрасно помню, какой ты любишь.

— Что ж, давай, — согласился Джонни. — Может, Спайк тоже выпьет.

Софи растерялась. Мысль о том, что Спайку можно предложить чаю, явно не укладывалась у нее в голове.

— Но мне нужна расписка, — проговорила она наконец.

Спайк подал ей знакомую розовую квитанцию. Джонни с удовольствием отметил, что рука у него дрожит.

— Приятно наконец с тобой познакомиться, — сказал Джонни, когда Софи удалилась на кухню. — Я читал собрание твоих сочинений.

Спайк был не только меньше ростом и худее, чем Джонни, но казался еще более продрогшим и промокшим — во всяком случае, вид у него был неважный. Прямые волосы мышиного цвета свисали чуть не до плеч, мокрые пряди топорщились вокруг больших розовых ушей. Глаза были прозрачные, голубые. Джонни уверенно ждал, пока его захлестнет горячая волна гнева, но она все не поднималась. Пока он бездействовал, Спайк осторожно отступил, встав по другую сторону стола.

— Ты ей не брат, — бросил он тоном обвинения.

— А ты не домовладелец, — парировал Джонни. — Ты ее обираешь.

— Она сама предложила, — поспешно возразил Спайк.

Джонни охотно готов был этому поверить.

— Ты сюда каждые два-три дня приходишь? — спросил он довольно спокойно. — Это несколько слишком.

Ярости все не было — Джонни не чувствовал ничего, кроме презрения и негодования. В нем даже шевельнулась какая-то симпатия к Спайку. Еще чего не хватало! Да и драться с мошенником, который был меньше него ростом, не хотелось.

— Она от этого не обеднеет, — ответил Спайк. — Дашь ей расписку — она и довольна. И вообще... это была ее идея. Она мне прямо-таки навязала эти деньги.

— Ах ты бедняжка, — протянул Джонни, выжидая, когда же наконец им овладеет бешенство. — Навязала! Какая подлость с ее стороны!

Спайк растерялся. Потом пожал плечами.

— Я собирал деньги за газеты. А она решила, что я домовладелец. Я ей этого не говорил.

Да, Джонни понимал, что собирание денег за газеты легко могло превратиться в привычку собирать арендную плату.

— А транзистор она тебе тоже сама предложила? — спросил он. — Тот, который ты сбыл Неву Фаулеру?

— Боже мой, Боже мой, вот напасть-то, — бормотала Софи на кухне.

Спайк искоса поглядел на деньги, лежащие на столе, а потом перевел глаза на Джонни.

— И думать не смей, — сказал Джонни.

— А ты кто такой, скажи на милость? — возмутился Спайк. — Ты же ей не брат, черт возьми!

Бешенства так и не было, но Джонни настолько часто его испытывал, что не стал больше дожидаться. Схватив столик за край, он отшвырнул его в сторону. Долларовые бумажки разлетелись, словно мотыльки, в разные стороны. Увидев, что между ним и Джонни ничего нет, Спайк попятился.

— Вот отлуплю тебя как следует, будешь знать, кто я такой, — заорал Джонни со счастливой улыбкой. — Убирайся! И чтоб ноги твоей здесь больше не было.

Спайк замялся, тревожно оглядываясь по сторонам. Джонни стоял между ним и дверью.

— Убирайся! — крикнул Джонни.

Спайк метнулся влево... вправо... Он вдруг ужасно испугался. Страх придал ему проворства.

— Не трогай меня! — завопил он. — Тронешь — мои кореши с тобой сквитаются!

— Еще раз сюда явишься — убью! — прошептал Джонни с бешенством.

И запрыгал на месте, приняв свирепый вид. Он был сильным, но более всего на противника действовал его устрашающий вид.

Спайк шмыгнул мимо. Джонни услышал, как он затравленно дышит.

— Вон! — закричал он, выскочив на площадку, вслед обезумевшему Спайку, дробно застучавшему вниз каблуками.

Но на пороге Спайк обернулся.

— Погоди! Ты у меня дождешься! — заорал он.

— Я подожду! — отозвался Джонни. — В любую минуту, приятель, в любую минуту! Сам приходи и дружков приводи!

— Хватит кричать, — весело сказала Софи у него за спиной. — Я несу чай.

Джонни обернулся и, подняв стол, поставил его на место, похлопав рукой по столешнице. Софи осторожно водрузила на него чайник.

— Ах, чашек-то нет! — посетовала она.

— Ничего, — ответил Джонни. — Будем пить из пригоршни.

Софи рассмеялась.

— Пить из пригоршни! — повторила она. — Ах, Боже мой, Боже мой! Нет-нет, я мигом принесу тебе чашку.

И она снова ушла на кухню. Джонни уселся за стол и обвел взглядом комнату. Он думал о том, как странно, что можно научиться пугать людей потому, что сам раньше так часто пугался.

— Сегодня полнолуние! — произнес он и тихонько по-волчьи завыл.

Несколько дней Спайк будет держаться подальше от этого дома, а за это время Макс или еще кто-то из его отдела навестит Софи и придумает, как ее защитить.

— Вечерний чай! — торжественно объявила Софи, хотя время было обеденное, и внесла на большой тарелке чашку и эмалированную кружку.

Рядом с тарелкой она поставила блюдечко с засохшим кормом для кошек.

— Чай слишком жидкий, — пожаловалась она минуту спустя, наливая воду из чайника.

Джонни покорно взял в руки эмалированную кружку. Софи придвинула к нему блюдечко с кормом.

— Ешь, не стесняйся! — произнесла она радостно. — Этого добра у нас вдоволь.

— Сегодня у нас вечеринка, — объявил Джонни. — Придут гости.

— До этого еще далеко, — возразила Софи, жадно поглядывая на кошачий корм. Не успел Джонни и глазом моргнуть, как она схватила кусочек и сунула его в рот.

— Эй, ты что? Подожди! — закричал Джонни с отвращением.

Схватив блюдце с кормом, он вынес его на кухню — и тут же возвратился с печеньем на блюдечке и, улыбаясь, поставил его возле Софи.

— Хорошие новости? — спросила Софи с вопросительной улыбкой.

— Я занимался добрыми делами, — сказал Джонни.

— Да, если не помогать людям, было б совсем плохо, — горячо согласилась Софи. — Если тебе что-то понадобится, можешь всегда обратиться ко мне. Родные должны держаться вместе.

Она легонько вздохнула и взяла печенье.

— Угощайся, — предложила она. — В этих нет никаких добавок. Знаешь, я где-то на днях читала... кажется, в газете... сахар-рафинад вреден. — Она убежденно закивала. — Да, да, сахар-рафинад и все жареное.

— Жизнь полна опасностей, — согласился Джонни.

— Но мы не должны сдаваться, — сказала Софи серьезно. — Чем опаснее, тем больше чести. Это нянюшка так говорила. Ты когда-нибудь вспоминаешь прежние дни?

— Все время вспоминаю, — ответил Джонни со вздохом. — На самом деле того, что мы называем прошлым, не существует. Я только недавно это понял. Оно просто прячется где-то и ждет, чтобы начать все сначала. Мы должны с ним бороться, Софи, не уступать ему ни шагу.

Глава пятнадцатая

Вечер опустился на улицу Маррибел тучами серого дождя. Улица превратилась в канал, вдоль которого осенний ветер гнал с ревом завесы воды. Город сбрасывал с себя покровы, один за другим. Недалек тот час, когда, выйдя на балкон, Джонни увидит его обнажившийся скелет. Машины ревущим потоком неслись мимо; по ветровым стеклам, словно метрономы, качались в такт погоде дворники. Ветер и дождь бились о Дом с краном и раскачивали вывеску Эррола. В доме было тепло и сухо, и все же Софи, окруженную кошками, познабливало; ее тянуло выйти, купить печенья, но пугала погода. Она бродила по дому в поисках окна, не похожего на остальные, выглянешь в него и увидишь безоблачное голубое небо и кондитерскую.

— Давай я схожу, — предложил Джонни, но Софи самой хотелось прогуляться.

Она пристрастилась к почте, к ее особому волшебству: даешь квиток, а тебе взамен — деньги; жаждала собственными глазами увидеть роскошную витрину с печеньем и пирожками.

— Я хочу сама выбрать, — откликнулась Софи.

В конце концов они вышли вместе и побрели, клонясь против ветра и прячась за поломанным зонтиком Софи. Джонни продел ее руку себе под локоть, чтобы не сдуло ветром.

— С тобой идти хорошо, — благодарно заметила она, прижав к себе его руку.

— Учи меня с лаской — и я все что угодно буду делать, — отозвался он. — Только не слишком меня балуй, а то я начну гонять кошек и укушу почтальона.

— Бедные киски, — отозвалась Софи (почтальон ее не трогал). — Я никогда ничего плохого им не сделаю.

По доброте сердечной Бонни пригласила его на обед, думал Джонни, чтобы как-то смягчить то, что выпроводила его тогда из дома. Ответное приглашение было скорее бравадой с его стороны. Впрочем, какой-то опыт у него все же был: иногда из нарезанной кусками курицы и пакетика популярных приправ он готовил блюдо, которое оптимисты называли "цыпленок по-провансальски". К счастью, нужные приправы можно было найти чуть ли не во всех магазинах на полках рядом с сухим супом. "Традиционный французский соус с томатной пастой в основе, — было написано мелким шрифтом на пакетике, — приправлен пряными травами и чесноком. В особо торжественных случаях добавьте четверть чашки красного вина". Прочтешь эти хвастливые слова — и вроде поел. Джонни еще раз сбегал в паб (проявляя бдительность, чтобы опять не наткнуться на Нева или на Спайка) и приобрел там бутылку самого дешевого красного вина. Немного дальше по улице он купил картошки, лук, зеленого перца и замороженной капусты брокколи. А потом уселся рядом с Софи за столик под голубым небом кондитерской, терпеливо выжидая, пока она поест пирожков. Затем они пошли домой, и ветер снова накинулся на них, срывая с Джонни его разбойничью шляпу с широкими полями и задирая юбки Софи.

— Ах, Боже мой, Боже мой, вот напасть-то, — воскликнула она, не зная, смеяться или сердиться на беспардонность ветра-хулигана, и выронила из рук зонтик, который покатился вперед, как колесо. Машины замедлили ход и терпеливо ждали, пока Джонни ловил зонтик, — наконец он поймал его и отдал Софи. Джонни и не пытался укрыться под зонтом от дождя, однако время от времени Софи придвигала к нему зонт, тщетно пытаясь прикрыть его. Джонни боялся, как бы она при этом не выколола ему глаз.

— Ненавижу зиму, — говорила она, дрожа. Стоя перед дверью своего дома, она пыталась найти ключ. — Я ее просто боюсь.

— Проверь тесемку на шее, — завопил Джонни, стремясь перекричать ветер.

Войдя в дом, Джонни тут же отправился на кухню. Нашел керамическую кастрюлю, нарезал лук и перец, развел приправы теплой водой и вылил на курицу с овощами. Начистил картошку. Софи не отходила от него ни на шаг. Ее интриговало его присутствие на кухне. Она набросала в чайник для заварки бумажек и залила их теплой водой.

— Я правильно делаю? — смиренно спросил ее Джонни.

Радуясь, что он обратился к ней за помощью, она, сияя, надавала ему советов. Джонни поблагодарил, но сделал по-своему.

— По-моему, мужчине необходимо уметь готовить, — заметила Софи. — Вот Эррол мне всегда помогает по дому, а готовить совсем не умеет. А что, если он останется один? Он будет совершенно беспомощен.

— Придется ему снова жениться, — неосторожно сказал Джонни. — Мой отец говорит, что мужчина отдает одну половину своей еды за то, чтобы ему готовили вторую.

Грубоватая философия мистера Дарта не очень-то понравилась Софи. Чтобы показать свою независимость, она потребовала, чтобы Джонни дал ей почистить картофелину. Джонни следил, как она это делает, сначала снисходительно, затем с возрастающим восхищением. Она работала ножом, а не картофелечисткой, но кожура с картофеля тонкой непрерывной лентой вилась меж пальцев и падала на кухонный стол.

— Да ты просто мастерица, Софи, — восхитился Джонни.

Она помахала у него перед носом ножом.

За многие годы прилежной работы нож до того сточился, что от лезвия почти ничего не осталось.

— Из старого дома, — пояснила Софи. — Для овощей он еще хорош. Это один из нянюшкиных ножей. Как мы тогда веселились, правда?

— Сегодня мы тоже повеселимся, — пообещал ей Джонни. — Гости скоро придут.

С прямотой старого друга он повел Софи в ее комнату.

— Пойдем-ка приведем тебя в порядок. Сделаем из тебя милую старую даму.

Софи весело рассмеялась и вместе с Джонни занялась своими туалетами. В конце концов они выбрали синее платье, висевшее среди других в полиэтиленовом чехле. Судя по всему, она не надевала его ни разу с тех пор, как принесла из чистки. (Бог знает, когда это было!)

— Люблю синий цвет, — призналась Софи. — Он никогда не выходит из моды и к тому же... как бы это сказать... не слишком броский. Он ко всякому случаю подходит. Если размер мой, я его возьму.

— Я выйду, а ты примеряй, — сказал Джонни. — По-моему, оно подойдет.

Джонни вышел, но не прошло и минуты, как Софи позвала его. В голосе ее звучало отчаяние.

Войдя в спальню, Джонни увидел, что она кружит по ней с поднятыми вверх руками, стянутыми тугой плиссировкой. Оказалось, что он забыл расстегнуть молнию на спине платья.

— Какой приятный материал, — бодро заметила Софи, освободившись. — И, верно, стирается легко.

— Да, но ты лучше его не пачкай, — предупредил Джонни. — Ты должна быть на высоте, Софи.

— Какой ты добрый, что дал мне его поносить, — с восторгом воскликнула Софи. — Я буду очень осторожна, милый.

— Знаешь, я его не всякому бы одолжил, — сказал Джонни, одергивая платье.

Мягко задрапированный верх и элегантная плиссировка сделали ее совсем маленькой, она будто съежилась.

— Кажется, у меня когда-то было такое платье, — сказала Софи, расправляя юбку. — Синий цвет, по-моему, ко всякому случаю подходит, правда? Ничуть не броский!

— Тебе надо немного набрать веса, — заметил Джонни критически. — Придется тебя подкормить, Софи!

— Да, но, знаешь, есть такая вещь, как избыточная полнота, — возразила Софи. — Я на днях читала, что лишнего веса следует избегать.

— Ну, ты-то об этом можешь не беспокоиться, — сказал Джонни. — Ну а как насчет туфель, Софи? Вчера я видел здесь приличные туфли.

Он нашел синие туфли, завернутые в папиросную бумагу.

— Вот они! Подкуем лошадку!

Он расчесал ей волосы на пробор и, как мог, подвил на ушах. Вымытая, причесанная, в чистом платье, она и впрямь оказалась милой старой дамой. Джонни и сам удивился, до чего она изменилась.

— Я такая элегантная! — весело воскликнула она, глядясь в зеркало в шкафу.

— Так и задумано природой, — бросил Джонни, хотя и знал, что природе совершенно все равно, как выглядит Софи. — Ты великолепно выглядишь!

Внезапно он понял, что гордится и чуть ли не любит Софи, однако обнять ее не решился, а только похлопал по плечу.

— Веди себя прилично, — с довольным видом заметила Софи. — А вдруг Эррол войдет?

— Если бы Эррол вдруг вошел, я бы мигом выскочил вон в то окно, даже если б оно было закрыто, — пообещал Джонни. — Теперь пойди погляди телик. Только смотри не запачкайся. Будь умницей.

Он поспешил на кухню проверить, как там курица и картошка. "А ведь в небе за нависшими тучами скоро взойдет луна", — подумал он и, тщательно посчитав дни, решил, что сегодня полнолуние.

— Ночь оборотня! — крикнул он Софи. — Берегись Человека-волка!

— Это мне не очень-то нравится, — взволновалась она. — Я не хочу, чтобы сюда забрались волки.

— Тебе нечего бояться, — заверил ее Джонни. — Волк на твоей стороне.

Он вернулся в гостиную, чтобы прибавить телевизору звука. Софи посмотрела на него с одобрением.

— Мне всегда нравился этот пиджак, — сказала она. — Для Бэббита у тебя неплохой вкус. Что ж, пора вызывать такси.

— Мы никуда не едем, — объяснил ей Джонни. — Наша гостья придет сюда.

Софи перепугалась.

— В доме пусто, — вскричала она, резко выпрямившись в кресле. — Надо было купить печенья, там было такое хорошее.

— У нас печенья хватит лет на семь, — заверил ее Джонни.

Ему не сиделось, он вышел на кухню, а оттуда на балкон — посмотреть, что там на дворе.

— Ни о чем не беспокойся. Даже дождь перестал.

Хотя на дворе было по-прежнему мокро и холодно, на западе между двумя свинцовыми тучами вдруг проглянуло голубое небо. Воздух был свежим, прозрачным, прохладным: чувствовалось, что скоро опять пойдет дождь. Джонни стоял на балконе и глядел вдаль, на город, как вдруг услышал, что где-то совсем рядом хлопнула дверь. Он повернулся и увидел Бонни: она шла к дому Софи, держа в одной руке большую корзину с крышкой, а в другой — букетик цветов. Вместо жакета или плаща она надела широкую зеленую накидку, ветер трепал ее и морщил. Воротник оставлял шею открытой, волосы она подколола наверх, однако ветер выхватывал отдельные пряди и трепал их вокруг лица. Когда-то Бонни и Дженин разрисовывали такими романтичными девицами обложки школьных тетрадей: у них были круглые, упругие груди, а волосы походили на буйные гривы диких лошадок, необъезженных, вольных, пасущихся в прериях, или на пустошах, или на белых песках затерянных в океане островов... или даже, пожалуй, на какой-нибудь улице с односторонним движением.

Джонни выскочил в гостиную, скатился по лестнице вниз и распахнул дверь в тот самый миг, когда Бонни постучала в нее.

— Подыми щеколду и входи, — пригласил он. — Это корзина с пирожками для Бабушки?

— И для Волка, — сказала она.

— Сегодня полнолуние, — предостерег он, указав на небо.

— Заметь, что я не надела своей красной шапочки, — ответила Бонни. — Зачем нарываться на неприятности?

— Добрый вечер, — пропела Софи, глядя на них с лестницы.

— Не спускайся, Софи, — крикнул Джонни. — Мы идем наверх. Это Бонни Бенедикта. Бонни, это Софи Вест.

— Добрый вечер, — повторила Софи жеманно и подала Бонни руку с особой чопорностью.

— Я рада наконец познакомиться с вами, — сказала Бонни, сердечно пожимая ей руку. — Мы с вами соседи. И молоко нам доставляет один и тот же человек.

Софи пришла в восторг.

— У меня такие сложности с молоком, — доверительно поделилась она с Бонни. — Вечно его забирают люди, что живут по соседству.

— И у меня тоже, — ответила Бонни.

Она как-то странно посмотрела на Джонни, а потом — на Софи: во взгляде ее читалось любопытство, но вместе с тем и сомнение.

— Какое красивое платье, миссис Вест.

Софи обрадовалась.

— По-моему, синий такой приятный цвет, — сказала она. — Он никогда не бывает слишком... как бы это сказать?.. броским.

— Может, выпьем? — спросил Джонни, с удовольствием входя в роль хозяина.

Но Бонни вручила Софи цветы, а значит, надо было искать вазу, чтобы их поставить. В корзинке Бонни принесла два разных салата и еще одну бутылку вина. Пока Бонни открывала бутылку, он разыскал три разрозненных стакана. Задуманный Джонни обед походил скорее на пикник. Пока он разливал вино, Бонни сняла зеленую накидку и повесила ее на оконный шпингалет. Джонни пришел в восторг: под накидкой на ней была серебряная рубашка, разрисованная черными полумесяцами, и фантастические, мешковатые шелковые штаны в блестящую полоску. Она походила на помесь пифии с клоуном.

— Ну вот, теперь я тебя узнаю, — вскричал Джонни.

— Ты узнаешь мой наряд, — возразила она. — Но не меня! Вообще-то я стараюсь обходиться без него.

— Очень приятный молодой человек, — шепнула Софи Джонни: Боннины штаны, очевидно, сбили ее с толку.

— Ах, миссис Вест, отведайте капельку этого превосходного вина, — предложил Джонни.

Кто знает, может, Бонни не одобряет его податливости. Не без трепета он протянул Софи стакан дешевого красного вина. Она посмотрела на него с сомнением.

— Ну, разве что капельку, — согласилась она. — Знаешь, Эррол никогда не пил. Только чуть-чуть на Рождество. Вина, конечно. А крепкие напитки — никогда. Конечно, он не принадлежал к англиканской церкви, — прибавила она, будто это все объясняло.

— Обед скоро будет готов, — объявил Джонни и усадил Софи перед телевизором в надежде, что она отвлечется и даст ему возможность поговорить с Бонни.

Но Бонни его опередила.

— Честно говоря, я так нарядилась в память о прошлом. Вчера, когда ты ушел, я подумала, что показалась тебе такой невзрачной. А ты... — Она запнулась. — Знаешь, я тебя едва узнала.

— Я сильно вырос с тех пор, — сказал Джонни.

— Вообще-то я понимала, что ты должен был вырасти, — согласилась Бонни, — но одно дело — понимать, а другое дело — собственными глазами увидеть. И выглядел ты...

— Неряшливо? — докончил Джонни.

— Нет, устрашающе. — Она подумала, а потом кивнула, словно в подтверждение своих слов. — Вид у тебя грозный, Джонни.

— Даже когда я побрит?

— Боюсь, что да, — ответила Бонни. — Ты что, прошел специальный курс "Как наводить на людей ужас"?

— Для этого пришлось бы посещать вечерние занятия, — подхватил Джонни. — По правде говоря, я больше навожу ужас на себя, чем на кого другого.

Софи восторженно его поддержала.

— Он очень добр ко мне, — неожиданно объявила она.

— Он всегда был добрым, я помню, — сказала Бонни, с улыбкой кивнув Софи. — Не изображай презрение, Джонни! Доброты вокруг не так уж много.

Она раскинула в стороны руки, наподобие манекена, с которым он танцевал накануне.

— Я так оделась, потому что сегодня особый день — мой доклад принят, я опять встретила тебя, у меня свободный вечер и я приглашена на обед.

— Потрясающе! — воскликнул Джонни, обрадовавшись, что и он отчасти виновен в ее праздничном настроении. — Но как насчет того типа, с которым ты тогда спорила? Может, его тоже надо пригласить?

Ему совсем не хотелось никого приглашать, просто его интересовал тот парень.

— Забудь о нем, — сказала Бонни. — Его нет в городе.

— А он женат? — внезапно спросил Джонни.

Бонни, примостившаяся на краю дивана, задумчиво подняла на него глаза.

— Нет, не женат. Мне не хочется о нем говорить. Я пришла, чтобы поговорить с тобой.

Она отвечала решительно, но без гнева. Пожалуй, ей даже льстила его настойчивость.

— Ну ладно, теперь ты предложи тему — мы ее и обсудим, — сказал Джонни, выжидательно глядя на нее.

Она ответила не сразу; глядя ему в глаза и улыбаясь, она пыталась подколоть выбившуюся прядь волос.

— Все это кончилось так внезапно, — произнесла она наконец. Она не объяснила, о чем говорит: верно, понимала, что в этом не было нужды. — Но мне не следовало терять с тобой связь. Я не хотела.

— Во всяком случае, твои родители были не в восторге от моих белых волос, — сказал Джонни, удивляясь своему бесстрастному тону.

— А твоим вечно казалось, что я недостаточно бела, — отвечала Бонни.

Джонни не мог этого отрицать.

— Что поделаешь? — спокойно продолжала она. — На всех не угодишь, правда? — И растерялась, взглянув на его лицо. — Ну и улыбка! Как у настоящего чечеточника! Школу ужаса ты кончил бы первым!

— Слушай! — воскликнул Джонни. — Даже если б меня убивали, я все равно бы слышал, как мать мне кричит: "Улыбайся! Веселее!" Я улыбаюсь из страха.

— Условный рефлекс, — предположила Бонни.

— Теперь буду улыбаться согласно условному рефлексу, — согласился Джонни. — По правде говоря, это напоминает мне о фотографии.

— А мой отец любил фотографировать, — неожиданно вмешалась в разговор Софи. — Мне он тоже купил аппарат. За все эти годы я сделала немало прекрасных снимков. Я хорошо снимала, и еще я была сильна в орфографии. — И с торжеством возвестила: — Идиосинкразия!

Она выжидающе поглядела на них. Джонни и Бонни растерянно молчали. Увидев, что они не знают, как реагировать, она произнесла по буквам:

— И-д-и-о-с-и-н-к-р-а-з-и-я. Вот! — И посмотрела на них с видом победительницы.

— Похлопаем Софи, чудо-грамотейке! — закричал Джонни и зааплодировал.

Бонни восторженно забила в ладоши — Софи улыбнулась и слегка поклонилась, как любой исполнитель радуясь аплодисментам.

Джонни забыл подогреть тарелки к обеду. Пришлось подержать их под горячей водой — сначала одну, потом другую; он держал, а Бонни вытирала. Приятно было стоять с ней рядом. К тому же он помнил, Бонни часто мыла посуду у них дома. Искоса поглядывая на ее руки в веснушках, осторожные, пугливые, как птицы, Джонни думал о том, что, может, после того как они поедят, ему удастся завлечь ее в постель. Это весьма привычное размышление превратилось в упоительную фантазию о том, как таким образом он приобретет над Бонни власть — власть над пифией со всеми ее предсказаниями, власть над прошлым. Тогда он как-то справится с ним и никогда больше не позволит ему взять над собой верх.

Подогретые тарелки стояли на кухонном столе. Софи в гостиной послушно смотрела телевизор.

— Ах Боже мой, Боже мой, вот напасть-то, — вздыхала она, то ли жалуясь, то ли смеясь.

— А волосы ты больше не обесцвечиваешь? — спросила Бонни. — И танцевать бросил?

— Хорошо, что мы тогда догадались их обесцветить, — ответил Джонни, выкладывая на тарелки горячую картошку. — Мы взяли первенство. Набрали больше всех очков за внешний вид и презентацию.

— Только тебе пришлось поплатиться за это, — заметила она сухо. — Почему твоя мать не покрасила волосы Дженин в твой цвет? Никто бы тебе тогда и слова не сказал.

— Покрасить Дженин?! — воскликнул Джонни, не веря собственным ушам. — Дженин? Натуральную платиновую блондинку — в мышиный цвет? Ставлю тебе единицу за стиль! Не звони мне, Бонни Бенедикта, я сам тебе позвоню.

Бонни рассмеялась. Они продолжали болтать: их голоса весело сплетались в единую мелодию, они о чем-то спрашивали друг друга, отвечали, вспоминали старые шутки, на ходу изобретали новые. Они отнесли тарелки в гостиную, где Софи смотрела рекламу мыла — в ней слушателям напоминали, что за многие годы данный сорт мыла доказал свою надежность.

— Помните доброе старое время? — вдруг неосторожно спросил женский голос.

— О, я-то помню доброе старое время, — с готовностью отозвалась Софи. — Я помню тот день, когда на школьный двор чуть не ворвался бык. Мы тогда жили в Листоне, и фермеры обычно гнали скот по главной улице. Вот этот бык и... Мы все ужасно боялись быков...

Джонни снова наполнил вином свой стакан, подлил Бонни и добавил несколько капель Софи. Поглядев на ее синее платье, он сунул ей за воротник кухонное полотенце, а другое, сплошь дырявое, положил на колени.

— Будешь капать себе на колени, — сказал он Софи, — постарайся в дырки не попадать.

— Хорошо, — пообещала Софи без тени улыбки.

Бонни серьезно следила за ним. Джонни становилось все веселее — отчасти из-за вина, но также и оттого, что все так хорошо складывалось. Он не сомневался, что ему не было бы так легко на душе, если бы Бонни чувствовала себя иначе.

— А я и вправду проголодалась, — призналась она. — Все эти дни ужасно много работала и, конечно, ничего не готовила. Сегодняшний ужин для меня — настоящий пир.

Софи наклонилась к ней.

— В некоторых ресторанах, — начала она, — еда... как бы это сказать... не очень высокого качества. Но здесь все делают на совесть.

— Я выключу телик, — сказал Джонни, — тогда мы сможем углубиться в интеллектуальную беседу.

Он направился к телевизору, но в эту минуту диктор, до неузнаваемости искаженный экраном Софи, начал читать содержание вечерних новостей.

— Арестованные вчера активистка Хинеранги Хотейни и ее помощник Бой Ройбен предстали перед судом в Нельсоне[1], — торопливо объявил он, словно опасаясь, как бы его не выключили. Джонни застыл с протянутой рукой, потом отступил. — Подробности в нашей программе, — самодовольно прибавил диктор. И тут же на экране появилось лицо отчаявшегося фермера, заколовшего несколько овец на главной улице провинциального города в знак протеста против политики правительства по закладным на фермы. Они не отводили глаз от экрана — внезапно по лицу фермера покатились слезы.

— Ты знала? — спросил Джонни.

— Я знала, что ее поймали, — ответила Бонни. — Сегодня утром мама мне позвонила и сказала.

— А что они думают? Мои бы просто на стенку лезли.

Бонни аккуратно разрезала пополам картофелину.

1. Порт на северной оконечности острова Южного (Новая Зеландия).

— Они встревожены, но они на ее стороне. Если хочешь знать, я тоже, — прибавила она, подняв взгляд на Джонни. — Мне бы хотелось больше походить на нее.

— Ты можешь даже ее превзойти, — сказал Джонни. — Это нетрудно. Брось в премьер-министра шутиху. Впрочем, небось опять скажешь, что я приспосабливаюсь.

— А по-моему, к вещам надо приспосабливаться, — заявила Софи, уставившись на стол. — У меня, например, есть пластмассовая масленка и сырница, и, когда сыр и масло кончаются, я просто протираю их влажной тряпкой, и всё — до следующего раза.

— Рядом с Самантой я всегда чувствовала себя какой-то несерьезной, — призналась Бонни, бросив на него взгляд. — Я такая бесцветная. Конечно, не внешне... а в душе. В детстве я надеялась, что стану как Дженин — она ведь была такая яркая, необычная.

— У тебя и собственной яркости хватает, — возразил Джонни. — Поэтому я тебя и искал.

— Если наряжусь, то я ничего, — сказала Бонни весело. — Даже кажется, что во мне есть какая-то магия. Но все эти черные звезды, серебряные полумесяцы и прочее, — она взглянула на свой наряд, — только видимость. А я хочу, чтобы они прожгли меня насквозь.

Почему-то эта мысль показалась Джонни очень сексуальной; но тут его отвлек телевизор: на экране появился зал суда, потом туда ввели двух обвиняемых. В худощавой энергичной девушке в узких темных очках, которая остановилась в дверях, глядя прямо в телевизионные объективы, и подняла руку в салюте "черной власти", Джонни не узнал Боннину сестру Саманту.

Софи все это время сосредоточенно ела — телевизор ее совершенно не интересовал.

Внезапно Бонни, словно в полусне, заговорила. Она говорила о своих родителях, которые, будучи идеалистами и не имея собственных детей, удочерили двух девочек, понимая, что их шансы покинуть приют не очень-то велики.

— Сейчас это не имело бы значения, — говорила Бонни, — потому что сейчас люди готовы усыновить любого ребенка, но двадцать лет назад таким детям, как я, приходилось ждать довольно долго.

— Почему? — с недоумением спросил Джонни.

— Ну, знаешь, во мне столько всякой крови намешано, я прямо настоящая дворняжка, — объяснила Бонни. — Немножко белой от какого-то неизвестного европейца, немножко маори, немножко китайской, возможно, капелька индийской. Саманта — теперь она, конечно, Хинеранги — наполовину маори, наполовину пакеха[1]. В детстве у нее была заячья губа, хотя сейчас это почти незаметно.

Оглядываясь на прошлое, Джонни смутно вспомнил об операции и шраме.

— На самом деле мы никому не были нужны. Но это нас как раз и спасло: Бенедикты только того и ждали.

— Я тебя удочерю, — сказал Джонни. — Волки иногда это делают. Я был волчонком, прежде чем стать бойскаутом, и слушал рассказы про Маугли и волчью стаю.

1. Этим словом маори Австралии и Новой Зеландии обозначают человека немаорийского происхождения, в особенности белых.

— А по-моему, волкам нельзя позволять усыновлять младенцев, — вдруг решительно вмешалась Софи. — Они не знают, как за ними ухаживать.

— Наверное, всем родителям хочется, чтобы дети подтверждали верность их идеи, — задумчиво произнесла Бонни. — Я знаю, Бенедикты искренне любят нас с Самантой, но они особенно радуются, когда мы что-нибудь доказываем... Ну, скажем, что любовь и хорошее образование могут спасти человека, даже самого безнадежного.

— Знаете, я никогда не сделаю ничего, что может повредить моим кискам, — заявила Софи таким тоном, словно предлагала на обсуждение совершенно новую тему.

Она съела все, что ей дали, и теперь поглядывала, не будет ли добавки.

— Ешь, — сказал Джонни Бонни. — Имей в виду, сладкого нет, одни апельсины.

Наклоняясь, чтобы осторожно вытереть соус с подбородка Софи, он снова попытался вызвать в памяти пифию своего детства. Вот она сидит против него за столом, властная, непререкаемая. Но по мере того как Бонни признавалась в своих сомнениях, пифия превращалась в поблекшую куклу с застывшей улыбкой, неповоротливую и жесткую, как манекен, с которым он пытался вчера танцевать.

— Понимаешь, все думают, что я стыжусь своего происхождения, — говорила Бонни, — но это не так. Просто меня это не слишком интересует. А Бенедикты считают, что я их подвела: взяла и выбрала спокойную жизнь.

— А им известно, что ты тогда тоже зашла за знак опасности? — спросил Джонни. — Ведь упасть могла ты.

— Может, я и зашла за знак, но я была очень осторожна, — ответила Бонни. — Эта твоя шуточка насчет "Винни-Пуха" и возвращения в *марей*...

— Я не шутил, — возразил Джонни. — Просто мне пришло в голову — я и сказал.

— Ну, знаешь, я "Винни-Пуха" тоже читала. Я, видно, пошла в него. Я оказалась слишком надежной.

— Твои родители и не подозревают, до чего им повезло, — заметил Джонни. — Мои были бы счастливы, если б я стал понадежней, только мне иногда кажется, что я так и буду... знаешь... плясать в опасной зоне, пока не свалюсь.

— По-моему, важно знать, когда остановиться, — сказала Софи, скребя вилкой по тарелке. — Я в какой-то газете читала, что не следует есть слишком много жиров и сахара-рафинада. Они не полезны для здоровья.

— Конечно, это место особое, — прибавил Джонни, все еще думая об опасной зоне. — Потому оттуда и трудно уйти.

Отвлеченный Софи, он не замечал, что Бонни задумчиво смотрит на него.

— Кофе или чай? — спросил он.

— Давай сначала помоем посуду, — предложила Бонни.

Софи вскочила.

— Если вымыть посуду с вечера, утро пройдет веселее, — заявила она уверенно.

— Софи, ты сиди! — сказал ей Джонни. — Посуды совсем немного. А потом, у нас и кухонных полотенец нет. То, которым мы раньше вытирали, мокрое, а те, что на тебе, все в дырах.

Софи недоуменно нахмурилась и села.

— Нет, это просто смешно! — воскликнула она. — У меня полотенец хоть отбавляй. Мэвис мне подарила на свадьбу, а потом я сама купила в городе на распродаже.

Она обернулась и зорко глянула на Джонни.

— Как ты думаешь, может, эти люди, что живут рядом, завладели моим ключом? — спросила она. — Они могли сделать себе дубликат. А теперь приходят и берут, что им вздумается. Где моя сумочка?

Джонни положил ей на колени сумочку, и она принялась тревожно рыться в ней.

— Тебе кажется, у тебя трудности с соседями, — сказал он Бонни. — Послушала бы ты, как нам достается.

Пока он мыл посуду, а Бонни пыталась ее вытирать разодранным полотенцем, Джонни рассказывал ей о разговоре с Максом Дейнтоном. Софи задремала: безвольно уронив руку, она медленно склонялась над сумочкой. В ожидании, пока закипит вода для кофе, они допили вино, и Джонни рассказал о столкновении со Спайком.

— Вот тебе еще пример, — сказала Бонни. — Ты здесь всего несколько дней — и уже спасаешь пожилых дам и борешься с их обидчиками. А я живу здесь целый год — и что я за это время сделала? Написала тысячу докладов — и только.

— Но ведь на самом деле ты бы не согласилась быть на моем месте, — отвечал Джонни. — Я об этом много думал в разное время. Конечно, что-то я делал. Школу кончил — не то чтобы очень хорошо, но кончил, — у меня есть кое-какие друзья. Когда барабанщик занят и не может прийти, я заменяю его, но в общем просто болтаюсь без дела. Все так, как я тебе говорю. Я застрял в той зоне. Дженин сорвалась... ты меня обняла, и больше с тех пор ничего не произошло. Только вот сейчас.

— А что сейчас? — спросила Бонни.

Вчерашней снисходительности как не бывало. Его слова ее заинтересовали, возможно, даже немного встревожили — она застыла с тарелкой и полотенцем в руках, ожидая, что он ответит.

— Сейчас покажу тебе фокус, — сказал он и тихонько взял у нее из рук тарелку и полотенце. Потом обнял ее и поцеловал.

Бонни смотрела на него, словно не веря своим глазам. Ему показалось, что она вот-вот засмеется. Он снова поцеловал ее, и на этот раз она как будто была готова ответить на поцелуй. Однако все же не ответила.

— Ну же! Расслабься, — шепнул Джонни. — Я тебе помогу. Я знаю, как это делается.

Но Бонни, хотя и не отбивалась, вся как-то закаменела в его объятиях.

— Нет, это ни к чему, — произнесла она срывающимся голосом. — Это все страшно усложнит.

— А вот и нет! — воскликнул Джонни. — Наоборот, упростит.

— Нет, — настаивала она.

— Но почему? — спросил Джонни. — Я такой необычный, яркий. Можешь позаимствовать у меня самобытности.

— Она у тебя с угрозой, — улыбнулась Бонни и покачала головой. — Мне этот оттенок не подходит.

— Не любишь лиловый? — спросил Джонни, вспомнив о синяке под глазом. — Это королевский цвет. Он делает нас принцами крови.

— Нет, — сказала она и попробовала высвободиться.

Но Джонни, помнившему о ее неуверенности, казалось, что стоит только удержать ее, как бы она ни сердилась и ни билась в его руках, и она в конце концов подчинится. Джонни изо всех сил прижал ее к себе, как когда-то прижимал его Нев, — и вдруг ее серебряная блуза с черными полумесяцами лопнула. Звук рвущейся ткани сделал то, чего не могли сделать все попытки освободиться, — в отчаянии он выпустил ее из рук.

— Черт! — сказала Бонни, глядя на разорвавшуюся ткань, однако не делая никакой попытки прикрыться.

От этого она не стала соблазнительней. Казалось, Джонни внезапно перестал для нее существовать — ей и прикрываться перед ним не нужно.

— Зачем ты это сделал? — закричала она с презрением. — Мне было так хорошо с тобой, а ты взял и все испортил.

— Я шел за тобой, — воскликнул Джонни. — Я думал... не знаю, что я думал. Я думал, ты скажешь мне... правду.

Он понимал, что это смешно. Он и сам не знал, какова связь между правдой и его желанием завлечь в постель Бонни Бенедикту. Но Бонни услышала это странное слово и внезапно скрестила руки, прикрывая грудь и устремив на него недоверчивый взгляд.

— Правду? — спросила она и всхлипнула, но тут же непроницаемо — что твоя пифия! — улыбнулась. — Теперь ее никогда не узнаешь, не так ли?

Софи шевельнулась и выпрямилась в кресле, вздрогнув всем телом, как собака, которой что-то снится.

— Сейчас приготовлю, — пробормотала она.

Бонни пыталась накинуть на плечи накидку, не отнимая руки, стягивавшей разорванную блузу. Джонни не сводил с нее глаз. Он думал о том, что надо бы извиниться, но не мог найти слов. К тому же оба они знали, что на деле он не жалеет, как следовало бы, о случившемся.

— Помочь тебе? — спросил Джонни.

— Не подходи! — бросила она и, накинув плащ на одно плечо, сбежала по лестнице так же проворно, как Спайк несколькими часами раньше.

Джонни не пытался ее догнать. Он застыл на месте, вслушиваясь в быстрый стук ее каблуков. Дверь хлопнула.

— Где ты был? — сонно спросила Софи.

— Нигде, — медленно ответил он. — И я никуда не иду.

Мысленно он вновь обнимал Бонни, переживая миг, когда казалось, она вот-вот уступит; представлял, как она обмякнет, сдастся, нежно обнимет его обеими руками и согласится подняться с ним в спальню.

— Я ложусь спать, — объявила Софи.

— Помни о дядюшке Брайене! — сказал Джонни. — На меня ведь нельзя положиться.

— Я забаррикадируюсь! — воскликнула она.

— Прекрасная идея! — с жаром поддержал Джонни и тихонько зарычал.

Софи забеспокоилась.

— Перестань! — недовольно сказала она. — Что твоя мать скажет, я просто не знаю!

— А я знаю! Она скажет: "Улыбайся!" — ответил Джонни и улыбнулся.

— Ты принадлежишь к ненадежной ветви нашей семьи, — объявила Софи, стоя в дверях своей спальни, и Джонни с ней согласился.

— Я не очень-то яркий и совсем не броский, — заметил он. — Я даже не синий.

— Но намерения у тебя всегда были хорошие, — заверила его Софи в щелку и захлопнула дверь.

А Джонни впервые задумался о том, так ли это на самом деле.

Глава шестнадцатая

В полном одиночестве Джонни кружил по комнате, выходил на площадку, шагал от телевизора к столу, подходил к двери в спальню Софи и вновь возвращался в гостиную. Кошки, щурясь, следили за ним из своих углов. Было всего десять вечера, но Джонни казалось, что сейчас уже полночь или еще позже. Ему казалось, как в ту первую ночь у Софи, будто время выпало из своего обычного течения. Никакие часы не покажут это особое "сейчас". Джонни смутно чувствовал, что его пребывание в этом доме подходит к концу. Все начиналось с ощущения остановившегося времени и возвращалось к нему же. Круг замыкался.

Над головой пауки проверяли свои легкие серые сети, раскинутые по углам, от стен к потолку. Джонни выследил пифию в ее пещере, но не смог овладеть ни ею, ни воплощенной в ней силой.

Разорвав ее блузу с полумесяцами, он не успокоился. Его переполняла тревога, отчасти потому, что он не получил прощения. Кружа по комнате, словно зверь в клетке, он поднял лицо к потолку и беззвучно завыл на луну, прятавшуюся за облаками. Ему не хотелось больше бороться с собой, и он постарался освободиться от мрачных мыслей, заполнив пустоты музыкой.

ДОРОГА В НИКУДА, КОТОРОЙ Я БРЕДУ... — пели голоса, как всегда попадая точно в цель.

Джонни прошел через кухню на балкон и стал там, овеваемый смешанным с туманом ветром, дувшим по улице Маррибел. Свет в окне соседнего дома падал на перила балкона.

ДОРОГА В НИКУДА, КОТОРОЙ Я БРЕДУ... — повторили голоса, сопроводив эти слова криками разных тварей, визгом и лаем.

— Гав! — лайнул Джонни в знак согласия.

Внизу из дверей паба выходили последние посетители. Желтое пятно света, вырвавшись из хлопающих дверей, расползалось по тротуару и, добравшись до уличных фонарей, меркло. До Джонни доносились веселые голоса. Из крана непрерывной струей лилась на середину балкона вода. Видно, обветшалый водосток был поврежден. Вода текла, словно кран подсоединили к огромному резервуару.

— Чечетка под краном! — сказал Джонни и рассмеялся.

Он сделал проходочку — сквозь хлещущую из крана воду к перилам балкона, а потом назад, к двери в комнату.

ЧЕЛОВЕК НА ЭКРАНЕ СЧАСТЬЯ... — пел ансамбль зловещими голосами.

— Что ж, это было не так уж плохо, — сообщил он им. — Я бы еще раз прошелся, да забыл, как это делается.

Как же вновь поймать ритм, таящийся в сердце вселенной? Можно терпеливо стучаться к ней в дверь, весело кричать что-то в замочную скважину, барабанить по двери кулаками, ломиться — и все без толку.

— Ладно, давай! — крикнул он крану. — Кропи меня святой водицей — лови момент! Обнови меня до самого основания. Слабо тебе!

Отбивая дробь под хлещущей из крана водой, Джонни случайно глянул вниз — и увидел белый фургон, вывернувший из-за угла возле паба. То, что взгляд его упал на улицу, было чистой случайностью, но это дало ему возможность принять меры, чтобы его не заметили: он отступил назад, чтобы свет фар или городских фонарей не выдал его. Упав на колени, сдвинул наушники: хотя теперь фургон пропал из виду, треск выхлопной трубы позволил Джонни следить за его приближением. Он не удивился, а чуть ли не обрадовался, когда услышал, как внизу хлопнули дверцы, и понял, что Нев его ищет.

— Свет горит! — произнес приглушенный голос.

— Уйди с дождя, — сказал другой, не заботясь о том, услышат его или нет.

Джонни узнал голос Нева, который чувствовал себя уверенно в Колвилле — на своей территории. На тротуаре перед домом стояли трое. Зашаркали подошвы — это они спрятались от дождя под балконом.

— Да брось ты это! — произнес первый голос. — Честное слово, Нев... Ты же знаешь, что Дон неправ. Начнутся неприятности...

— Никаких неприятностей не будет, — сказал Нев. — Можешь мне поверить. Как только этот тип поймет, что я пришел за ним, он отсюда драпанет, только пятки засверкают.

Голос монотонно гудел — глубокий, зловещий, Джонни хорошо его помнил. Вслушиваясь, частично угадывая, а частично зная наперед, что скажет Нев, Джонни понимал каждое слово.

— Он старухе Вест не родственник... Его семейка здесь жила когда-то, только давно смоталась. Если бы он к Вестам имел отношение, я бы знал.

— Он такой же отпетый, как я, — произнес третий голос.

Джонни узнал голос Спайка. Ага, значит, настоящее его имя — Дон!

— Слушай, Нев, брось ты эту затею. Не нужно мне неприятностей. Плевать я на него хотел!

— Тебе-то плевать, — с презрением бросил Нев. — А мне вот нет, черт возьми! Ты этого типа не знаешь, а я знаю. Я помню, как они сюда переехали, он и его сестрица... Важничала, сука, гуляла по Колвиллу, ну прямо настоящая леди Дерьмо. Мы все для нее просто не существовали, она, видишь ли, известная телезвезда... а всего-то выступала в какой-то говенной рекламе. Я бы постыдился куриные ножки рекламировать. А этот, который сейчас здесь устроился, всегда меня до смерти боялся. Да он просто уписается, когда меня увидит. Стучи в дверь, Дон. Если он выйдет, я им займусь. Я знаю, что с ним делать.

Джонни, удивленный накалом страсти в его голосе, понял, что Нева тоже мучила память... Память о Дженин, которая имела власть над ним просто потому, что его не замечала.

Мимо дома с ревом промчалась машина и затормозила у светофора.

— Гм... а если дверь откроет старуха? — спросил первый голос.

— Она ведь не понимает, день сейчас или ночь, правда? — возразил Нев. — Скажем, пришли снять показания со счетчика, и войдем. С ней что угодно делай, она к утру все равно забудет.

— А если он пожалуется в полицию? — спросил первый голос.

— Сдается мне, он не хочет попадаться им на глаза, — ответил Нев. — Похоже, что у него не все чисто.

Джонни осторожно поднялся, выжидая, пока машина, застывшая у светофора, отъедет. Он слышал, как внизу на улице стучит мотор. Наконец зеленый свет загорелся — машины тронулись: одна из них с ходу дала газ и, обходя идущий впереди грузовик, выскочила на встречную полосу. Никем не замеченный, Джонни неслышно вскочил на плоские перила, идущие вокруг балкона, и, глянув вниз, увидел, что перед дверью дома, сгрудившись кучкой, стоят трое. Дон неуверенно постучал. Свет, падавший из окна Бонниной кухни, стал ярче, но Джонни не обратил на это внимания. Он думал только о том, чтобы сохранить равновесие, и о стоявших внизу врагах. Они забарабанили в дверь.

Джонни кашлянул.

— Эй, Нев! Гляди наверх! — крикнул Джонни.

Кучка дрогнула и распалась. Они подняли головы и уставились на него.

— Цыпа? — удивился Нев. — Это ты, Цыпленок?

Джонни набрал воздуха в легкие.

— Цып-цып-цып-цыплята! — заорал он, балансируя и чуть ли не танцуя на перилах.

— Спускайся вниз! — звал Нев. — Мы тут хотим сказать тебе пару слов.

Однако внезапное появление Джонни его явно смутило.

— Что я, сумасшедший, что ли, спускаться? — крикнул Джонни. — Вас трое, а я один!

Нев помолчал, смахивая дождь с лица.

— Спустишься, если так уж боишься за миссис Вест, — сказал он наконец своим ровным гудящим голосом. — Она может лишиться кое-чего посерьезнее, чем пара долларов. Ты-то отсюда уедешь, а она никуда не денется, верно?

— Да брось ты, Нев, — проговорил незнакомый парень с беспокойством.

Джонни сверху не очень-то видел их лица.

— Ты что, угрожаешь? — спросил Джонни.

— А ты почитай газеты, — отозвался Нев. — Посмотри, что происходит с некоторыми стариками. Мало ли несчастных случаев с ними бывает...

— Испугал! Нев, ты ведь у нас безжалостный, — саркастически бросил Джонни, собираясь с силами.

— Спускайся, поболтаем, — сказал Нев.

Он выждал несколько минут.

— Давай, Цыпа, — не отступался он. — Вспомни, у вас в семье не любят высоты.

Джонни раскинул руки и закричал, словно отвечая на тот крик Дженин. Переполнявшая его энергия прыжка, не реализованная в свое время, хлынула наконец через край — он кинулся с перил, словно собираясь взлететь. Ему навстречу ринулись фонари, мокрый сверкающий асфальт, три закинутых вверх лица, но ему виделись — не сквозь них, не позади, а словно вросшие в то же пространство — лишь море, скалы да красное платье в змеистой пене. "Улыбайся!" — напомнила ему мать. Он летел в город — и улыбался, ведь, падая в город, он падал в море.

"Я разобьюсь, — мелькнуло у него в голове. — Давно пора".

Он грохнулся среди них, врезав, скорее случайно, чем намеренно, Неву ногой в лицо, отбросив его дружка — кого именно, он не очень-то разобрал, — и наконец ударился в стену у двери с такой силой, что все в нем зазвенело и свет в глазах померк. Ошарашенный, он не мог даже рукой шевельнуть, но это было не важно. Все были ошеломлены. Нев и его дружок катались по земле, а Дон (он же Спайк-домовладелец) стоял и смотрел на него разинув рот. Нев, самый крепкий из них, медленно поднялся на ноги, прикрывая лицо обеими руками, в то время как второй парень, собрав силы, встал сначала на четвереньки, а потом в полный рост. Джонни вздохнул и широко улыбнулся — ведь это было публичное выступление.

— Черт, да он псих! — заорал в панике Дон.

В ужасе он бросился на Джонни и двинул ему кулаком по скуле. Джонни не почувствовал боли: тело стало чужим. Упершись спиной о толстую стену дома Софи, он врезал Дону под дых, отшвырнув его на тротуар с такой силой, что тот вылетел на мостовую. Послышались гудки машин, скрежет тормозов.

Нев шел на Джонни, медленно, грозно. Левой рукой он по-прежнему прикрывал лицо, Джонни живо представил ненависть, горящую в его глазах, сверкавших между пальцев. В эту минуту Джонни сделал пугающее открытие. Одна рука у него — та, на которую пришелся удар при падении — отказала. Он мог немного поднять ее, но никак не выше плеча. Нев был уже близко... Внезапно, в тот самый миг, когда он мог бы прикончить Джонни, Нев отступил, открыв искаженное — не столько болью, сколько ужасом — лицо. Джонни невольно оглянулся: что его так испугало?

Зеленая дверь дома была распахнута, и из темноты с каминной щеткой в руке и с сумочкой через плечо выскочила Софи — в нижней юбке, поясе с резинками, алой шляпке и одной туфле. Она походила на древнее-древнее привидение: в свете уличных фонарей ее тонкие серебристые волосы светились, запавшие глазные впадины чернели под высоким лбом, а во рту сверкало неестественно много зубов. Губы растянулись, словно пытаясь вместить подобное изобилие; они свисали к подбородку так, что невольно казалось, будто она вот-вот сама себя укусит.

В невольном страхе Джонни взмахнул здоровой рукой; он не успел сказать себе, что это всего лишь Софи: каждый нерв напрягся перед лицом смертельной опасности.

Джонни шагнул вперед; ударить Нева он не мог и потому, захватив здоровой рукой его плечи, стал изо всех сил его валить. Опомнившись, Нев заколотил кулаками по его спине и попытался освободиться. Но Джонни не отпускал; они наносили друг другу удары, а потом упали и покатились по тротуару, яростно сжимая друг друга в объятиях. Каждый удар отзывался такой болью в плече, что Джонни едва не терял сознание. В какую-то секунду он мельком увидел Софи: склонясь над ними, словно фурия, она лупцевала Нева щеткой по спине. Наконец Джонни опять оказался наверху. Кое-как упершись коленями в землю, схватил Нева за волосы и заколотил головой по тротуару.

— Не смей меня больше трогать! — кричал он.

— Он псих! Он псих! — вопил кто-то.

Изогнувшись всем телом, Нев отчаянно рванулся прочь. Джонни слетел и снова оказался на земле. Стоя на коленях, Нев склонился над

ним, все еще прикрывая голову рукой, словно боясь, что она распадется на части. Он ударил, но, обессилев, даже не попытался повторить удар. Не вставая с колен, он поднял глаза и так и застыл во вспышках жуткого синего света. Внезапно Джонни, охнув от боли в левом плече, раскинул в стороны руки.

— Нев, — прохрипел он. — Это так неожиданно. Я и не знал, что все это тебя задевает.

И залился смехом. Он хохотал и никак не мог остановиться; он все еще хохотал, когда кто-то схватил Нева за плечи и растащил их. Это был полицейский. Второй полицейский склонился над Джонни, который заливался смехом. Наконец он поднялся с земли и, смеясь, обвел взглядом окруживших людей. Это заинтересованные зрители вылезли из остановившихся машин. В стороне, обняв Софи за плечи, стояла Бонни. Софи все еще выглядела устрашающе, но Джонни уже сообразил, что она просто сунула в рот еще одну пару челюстей. Дон и третий парень, которого Джонни не знал, что-то горячо доказывали полицейскому, державшему Нева.

— Ну ладно, успокойся, — сказал полицейский Джонни, глядя не на него, а на Софи.

Конечно, все на нее смотрели. Бонни что-то сказала Софи и очень мягко повернула ее к двери в дом. Софи кивнула, подала Бонни обе руки, и они исчезли в ее темной передней. Через минуту Бонни вышла из дома и глянула в сторону Джонни.

— Не исключено, что у тебя сломана челюсть, — говорил второй полицейский Неву. — Пожалуй, нам стоит завезти тебя в травмпункт.

— Привет, Бонни, — окликнул девушку Джонни.

Бонни шагнула к нему.

— Понимаешь, — неуверенно произнес он, — я думал, это я ее толкнул, я вроде даже помнил, что я.

— Кого толкнул? — быстро переспросил полицейский. — Эту гражданку старшего возраста?![1]

— Ты же знаешь, что ты этого не делал, — ответила Бонни совершенно спокойно. — Ты это очень хорошо знаешь.

Вокруг стоял шум. Дон и его приятель что-то громко говорили, то и дело прерывая друг друга, указывали на Нева и на Джонни, а зрители, случайно оказавшиеся тут, болтали между собой, надеясь на продолжение спектакля. Джонни и Бонни беседовали, словно вокруг никого, кроме них, не было. Джонни, прежде не ощущавший решительно ничего, внезапно словно очнулся... он чувствовал дождь, падавший ему на лицо и шею, руку на его локте, боль в плече, которая вдруг пронзила с такой остротой, что он скривился и вскрикнул, будто его ударили. Он не понимал, как мог раньше не замечать ее.

— Я думал, это я ее толкнул, — сказал он, — потому что ты велела мне сказать, что в ту минуту я стоял с тобой рядом. — Он торопился выговориться, пока все было для него так ясно, так понятно, выплеснуть все сию же минуту, пока они стоят под балконом дома Софи. — Я об этом думал. Я как раз собирался ее схватить, когда она сказала, что мне никогда ее не поймать. Это ничего особенного не значило, это было просто так, но потом она вдруг... исчезла. Я знал, что это я виноват... Нет, не знал,

1. Политкорректный эвфемизм: на Западе гражданами старшего возраста называют пенсионеров и стариков.

но... Мне так показалось. Я помнил, что ничего такого не делал, но в то же время помнил, что сделал это.

– Я тогда подумала, что это будет ужасно для тебя, – негромко воскликнула Бонни. У нее был измученный вид. – Тебе и так досталось. Я просто хотела тебя защитить. Она споткнулась. Она споткнулась и сорвалась.

Они посмотрели друг другу в глаза.

– Когда начинаешь такое думать... – запинаясь, произнес Джонни, – то как остановиться? Это становится реальностью.

И тут он заплакал, и этот переход от смеха к слезам был вполне естествен; он упал на колени рыдая, в то время как то, что держало его все эти годы, постепенно отпускало.

– Этого парня надо к врачу, – говорил полицейский Бонни. – Он что-то себе повредил. Вы правильно сделали, что нам позвонили, но что за работа быть полицейским!..

Нева посадили в первую машину; кто-то открыл дверцу второй и посмотрел на Джонни.

– Давай, приятель. У нас еще куча дел.

– Ну ладно, люди, спектакль окончен, – говорил один из полицейских.

– Я сейчас, всё в порядке, – сказал Джонни, однако, как ни старался, никакими силами не мог остановиться. Море, которое все эти годы он носил в себе, словно рвалось слиться воедино с тем, что было неподалеку, – бухало о скалы в заповеднике и незримо ревело под окнами у Софи.

– Одну минутку, – попросил Джонни, ложась ничком на тротуар, чтобы скрыть позорные слезы.

Но они все лились, горячие, как чай, капали на землю перед домом Софи и смешивались с водой возле ее порога.

Глава семнадцатая

Как-то вечером в пятницу, спустя шесть недель, Джонни снова сидел вечером в кустах на "островке безопасности для пешеходов" (его макушка едва выглядывала над кудрявой листвой) и следил за потоком машин, уходящих в обе стороны в город. На нем были все тот же полосатый блейзер, широкополая разбойничья шляпа и плеер на поясе, однако тот избитый субъект, что проснулся здесь когда-то в кустах, давно уже стал для него лишь призраком прошлого. Он решил начать свой путь к дому Софи с островка, чтобы, подобно змее на Боннином перстне, замкнуть круг.

Минут десять он смотрел на город. КРУЧУСЬ КОЛЬЦОМ... КРУЧУСЬ... – пели голоса в наушниках, и Джонни, послушный их наказу, встал, подхватил с земли сумку и пересек улицу. Выйдя на перекресток, где сходились три улицы, он зашагал мимо приличных магазинов, постепенно уступавших место бедным, обшарпанным лавкам, миновал разгрузочные площадки и ограды из стальных труб (ЭТИ УЧАСТКИ ОХРАНЯЮТСЯ ГОРОДСКОЙ СЛУЖБОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, – гласило объявление), а затем стоянку возле супермаркета, где покупатели катили к своим машинам тележки, груженные провизией. Все словно к осаде готовились.

Джонни зашел в супермаркет и купил пачку печенья, пакет сухого кошачьего корма, красивую, в цветах, бумагу для подарков и клейкую ленту "скотч". Пройдя немного по улице Маррибел, он присел на край тротуара и, не обращая внимания на колеса едущих совсем рядом машин и шагающих у него за спиной пешеходов, аккуратно завернул в бумагу печенье и корм, чтобы они выглядели как настоящие подарки.

В воздухе раздался вой приближающейся пожарной сирены. В последнее время этот пронзительный звук вызывал в его воображении гладильную доску Софи, объятую языками пламени, но в этот вечер он знал, что она не одна, и не встревожился, хотя и вскинул глаза, чтобы взглянуть, откуда несется звук и куда удаляется.

Пока он шагал по улице Маррибел, мимо, сверкая огнями, промчались еще три пожарные машины с воющими сиренами.

На перекрестках Джонни неукоснительно выжидал, пока не зажжется зеленый свет. Проходя мимо старой колвиллской почты, он остановился перед объявлением на дверях, приглашающим подрядчиков для строительства нового современного здания почты поблизости от супермаркета. Рядом на стене было другое объявление, призывающее охранять памятники и протестовать против сноса старых зданий. Внизу стояла напечатанная типографским шрифтом подпись: "Харольд Фаулер (член городского совета)".

В пабе напротив, как всегда, толпился народ.

На прошлой неделе Джонни столкнулся с Невом на городской площади. Отец Джонни утверждал, что хорошая драка разряжает атмосферу, и любил вспоминать, как в юности он поколотил своего старого врага, и тот потом оказался "чертовски славным парнем" и стал его закадычным другом. Джонни твердо знал, что ни ему, ни Неву это не грозит. И все же, когда он вспоминал о том, как пытался взять Бонни силой, как с вожделением думал о деньгах, найденных под раковиной у Софи, или пытался представить себе, каково это жить в Колвилле и чувствовать, что все вокруг меняется и власть от тебя день ото дня ускользает, он начинал кое-что понимать в Неве и уже не относился к нему с прежней ненавистью.

В недавнем столкновении победителя не было, но Джонни, по меньшей мере, доказал, что он преодолел страх и теперь сам мог внушать ужас.

— Привет, Цыпа! — поздоровался Нев.

— Для тебя я Джонатан, — поправил его Джонни.

Нев открыл было рот, но передумал, пожал плечами, усмехнулся и, помахав рукой, отвернулся, словно прощаясь с мечтой, где было место и Джонни, но которой так никогда и не суждено было сбыться.

Время от времени они будут еще где-то пересекаться, подумал Джонни, но драться им больше не захочется — к чему? Сегодня возле паба не было ни Нева, ни его фургона.

А вот и Дом с краном, только на этот раз вода из него не течет, а в окнах, выходящих на балкон, горит свет. Подойдя к дому, Джонни не стал стучать в дверь, а, усевшись на край тротуара, сунул руку в сумку, пеpeобулся и вынул небольшой магнитофон. Ветер трепал ему волосы. Положив магнитофон и сумку в уголок между тротуаром и стеной Дома с краном, Джонни встал под балконом и закричал во все горло:

— Софи! Эй! Софи!

Никто не ответил. Он крикнул снова:

— Софи!

На этот раз в окне что-то мелькнуло. Кто-то подошел к нему, затем балконная дверь распахнулась — и Бонни вывела на балкон Софи.

— Давай сюда этого ангела мудрости! — заорал Джонни.

— Кто это? — спросила Софи.

— Поклонник, — ответила Бонни.

— Ах Боже мой, Боже мой, вот напасть-то! — воскликнула Софи, волнуясь и тихонько смеясь.

Джонни снизу увидел, что на голове у нее красуется баба на чайник.

— Эй, Софи! — крикнул он. — Смотри сюда!

Нырнул под балкон, нажал на кнопку магнитофона — в темноте негромко зазвучала песенка, под которую сестренки-двойняшки танцевали недавно на конкурсе у себя в школе.

Малиновка красная
Прыг, прыг, прыг... —

запел ломкий мужской голос под аккомпанемент несущихся мимо машин. Джонни подхватил песню и затанцевал. Бонни с Софи глядели на него с балкона. Это был уже не Джонни, а человек из другого, ирреального измерения: ноги его дробно, словно клавиши пишущей машинки, гремели, хотя повесть, которую он рассказывал, в тот же миг растворялась в воздухе. Она была робкой, полной противоречий, перечеркивающих друг друга, и передать ее словами было решительно невозможно. Джонни ее излагал — а она тут же улетучивалась.

Просыпайся, подымайся, новый день приходит...
Снова рдеет небо на восходе,
Пробуждается в природе
Жизнь и смех, и радость, и любовь... —

пел голос, а вместе с ним и Джонни.

— Мне эта старая песенка ужасно нравится, — заметила Софи у него над головой.

А небо над ними и впрямь зардело — только не от солнца. Город словно издевался над песенкой: позади Джонни на небе заиграл мрачный отсвет большого пожара — зловеще озарив клубы порожденного им же дыма, он обагрял небо вокруг "Рукавиц для промышленных работ".

И снова я мальчишка,
Мальчишка-шалунишка,
Пою я беззаботно, как привык.
Когда скачет чижик с красной грудкой,
Скок-скок-скок, прыг-прыг... —

пел Джонни, насмешливо улыбаясь, бросая своим танцем вызов веселому оптимизму этих слов, широко раскидывая руки и клонясь вбок. Песня кончилась. Джонни и музыка остановились вместе.

Софи и Бонни на балконе восторженно закричали и захлопали. С другой стороны улицы внезапно тоже зааплодировали. Джонни обернулся и увидел женщину с двумя детьми, они глядели на него во все гла-

за и хлопали. Он помахал им рукой — они замахали в ответ. Бонни исчезла.

— Это ты, Элва? — позвала Софи с балкона.

— Это Джонни Дарт, — прокричал он в ответ. — Ты же знаешь, кто я.

Зеленая дверь распахнулась, и Бонни поманила его в дом. Она его ждала — Джонни предупредил по телефону, что придет.

— Привет, — сказала Бонни. — Как дела, Джонни Дарт?

— Прекрасно, — ответил Джонни, оглядываясь. Тележка с обувью исчезла. Кто-то пропылесосил переднюю, отполировал перила лестницы. Все вокруг сверкало — это было так неожиданно.

— Напряжение повысилось, — объявил Джонни. Он говорил не о душевном напряжении, а о лампочке под потолком. — Как это я не догадался ее сменить?!

— Невозможно подумать обо всем, — успокоила его Бонни.

На ней были черные вельветовые брюки и синяя кофта, в волосах — узкая черная лента.

Джонни поднялся вслед за ней в гостиную, где его встретила Софи.

— Как ты вошел в дом? — спросила она.

— Ты же сама дала мне ключ, — ответил Джонни.

Это была правда. Ключ от ее дома все еще лежал у него в кармане.

— Ты как раз вовремя, — сказала Софи, глядя сияющими глазами на его блейзер. — Я как раз ставлю чайник, выпьем чаю с пирожками.

— Чудесно! Очень хочу чаю, — отозвался Джонни, обводя взглядом комнату и снова останавливая его на бабе у нее на голове. Для полноты картины не хватало лишь носика, торчащего на лбу.

— Дивная шляпка, Софи! Сними-ка ее на минутку — я хочу получше тебя рассмотреть.

Софи сняла бабу. Волосы у нее выглядели сейчас совсем иначе: чисто вымытые, белоснежные, пушистые, лишь слегка примятые бабой. На ней была чистая клетчатая юбка и блузка в цветочек, которую он сам ей когда-то выбрал.

Паутина по углам исчезла, на диванных подушках не было кошачьей шерсти. Пыль была вытерта, деревянные поверхности отполированы.

Джонни знал (эти шесть недель он держал связь с Бонни по телефону), что Макс Дейнтон побывал у Софи. Теперь раз в неделю к ней приходила районная сестра — она купала Софи; другая женщина убиралась в доме. Джонни и не представлял, до какой степени все здесь изменилось.

В комнате он увидел несколько кошек, которые показались ему знакомыми, но даже кошки выглядели спокойнее и респектабельнее. Уютно свернувшись клубком, они лежали, самодовольно поглядывая кругом, — можно было подумать, что это они всё изменили в доме. Со странным чувством облегчения и ностальгии Джонни заметил, что в одном из отделений секретера лежит мыло, в другом — апельсиновые корки, а в третьем — искусственная челюсть. Это его успокоило: прежний хаос был не лишен романтики. Разумеется, он не жалел, что дом приведен в порядок, и все же он запомнил первую ночь в этих стенах, когда, обойдя препоны, возводимые людьми против естественной анархии, он попал в центр всеобщего распада. Конечно, поддаваться ему не следует, однако не вредно помнить, что этот процесс идет непрерывно. Джонни обнял Софи и, прижав к груди, поглядел поверх ее плеча на Бонни.

— Ну как ты, Софи? — спросил он.

— Неплохо, — ответила она. — Тот молодой человек заходил. Я ему немного помогаю. Если мы не будем помогать друг другу, это будет совсем плохо, правда?

— А как насчет меня? — спросила Бонни. — Меня ты не обнимешь?

Она давала ему понять, что простила его, и еще — что она его не боится.

— Софи говорит, никогда не знаешь, к чему это может привести, — сказал Джонни и поцеловал Бонни в щеку.

— А почему это должно к чему-то вести? — заметила Бонни. — На этом можно и остановиться. Чай сейчас будет.

Джонни знал, что она теперь заходит к Софи, чтобы с ней пообедать или, по крайней мере, напоить ее настоящим чаем.

— Усаживайся, — пригласила его Софи. — Я сию же секунду принесу тебе чай.

И она вышла. За ней ушла и Бонни. Джонни, чувствуя себя гостем, уселся, вертя в руках бабу. Разбитое кукольное личико криво улыбалось.

Телевизор починили. Горизонт больше не пожирал порожденных им черно-белых призраков. Плоские, немного искаженные, они бодро бегали по экрану в какой-то комедии ошибок.

Бонни вернулась в гостиную, неся в руках поднос, на котором стояли чашки с чаем и печенье.

— Я принес тебе подарки, — сказал Джонни и подал Софи два пакета.

— Сегодня у меня день рождения? — спросила она.

— Почти, — ответил Джонни. И взглянул на Бонни. — Прости, что я разорвал тебе блузу, — сказал он. — Я давно хотел извиниться — тогда я этого не сделал.

— Я все равно не собиралась ее носить, — ответила Бонни. — Как твое плечо?

— Как новенькое, — улыбнулся Джонни. — Я его просто вывихнул. Я тогда здорово треснулся о стену. Хорошо, что папаша Эррола сработал ее как надо.

— А все остальное как? — спросила Бонни.

Джонни понял, что она говорит о том чудовищном заблуждении, которое постепенно завладело им, заставив принять на себя вину за гибель сестры: ему представлялось, что он столкнул ее в пропасть, чтобы расчистить себе путь.

— Смешно, конечно, — сказал Джонни, — только это казалось совершенной правдой. Так бывает, когда знаешь, что выключил нагреватель, и все равно возвращаешься, чтобы проверить, так это или нет. Идешь домой и думаешь: "Ну и дурак же я!", а все равно идешь.

Он замолчал, давая Бонни возможность что-то сказать, но она лишь вздохнула, улыбнулась и покачала головой.

— Может, существует другая жизнь, параллельная этой, — произнес Джонни задумчиво. — Очень похожая на эту, но все же не совсем такая, и в каждой из этих жизней люди ведут себя иначе, только отчета себе в этом не отдают. Может, в той, другой, жизни я и вправду толкнул Дженин, и это как-то просочилось в эту.

Бонни внимательно слушала — Джонни нравилось, что она на него смотрит, и нравилось то, что он говорит. В последние две недели, пока он возил тачками глину, Джонни часто размышлял на эту тему, но заговорил обо всем этом впервые.

— Я об этом прочел в какой-то научно-фантастической книжке, — заключил он.

— По-моему, чтение — прекрасное хобби, — объявила Софи с таким видом, словно высказывала совершенно новую мысль. Она все никак не могла развернуть подарок. — Из чтения много чего узнаешь. Мой отец много читал, и не только легкую литературу. Он читал и очень трудные вещи.

— Ну конечно, ведь он университет закончил, верно? — сказал Джонни. — Уж он небось выбирал себе что посерьезнее. Да сорви ты эту бумагу, Софи, а то будешь весь день возиться.

— Нет, я всегда сохраняю бумагу, — возразила Софи.

Бонни все молчала.

— Меня по ночам особенно прихватывало, когда я уже почти засыпал, — продолжал Джонни, — или когда я чему-нибудь радовался, а еще когда выпивал. Понимаешь, Дженин всегда казалась более одушевленной, чем я, правда? Ты сказала, она была такая "живая". А потом... ты и я... ведь мы соврали. Тогда я был тебе очень благодарен, но немного спустя начал думать, что на это была особая причина.

Бонни наконец пошевелилась, беспокойно вздохнула и, слегка отвернувшись от него, заговорила.

— Когда я вытащила тебя на дорожку, ты сказал: тебя сочтут виноватым в том, что случилось, — проговорила она. — Я этого не думала... вряд ли так бы случилось... Просто решила спасти тебя от всех этих вопросов, ведь это было так просто сделать. Ты будешь смеяться, но ты всегда мне казался ужасно... незащищенным. Не только от людей типа Нева, но и от таких, как Дженин, и от всяких мыслей... видений, теорий и прочих безумств. — Она начала рисовать что-то пальцем по краю стола. — У тебя было очень развито воображение... — Она мельком глянула на него и снова принялась писать что-то невидимое. — Ты был слишком впечатлительный... слишком чувствительный, — произнесла она вызывающе. — Но мне не следовало предлагать тебе говорить, будто ты находился со мной наверху. Я ведь играла в пифию — давала советы и все такое.

Софи наконец развернула печенье.

— Глядите, — воскликнула она, размахивая пачкой. — Эти вкусные... как их... штучки.

Потеряв интерес ко второму пакету, она начала вытаскивать печенье из пачки. В конце концов Бонни пришла ей на помощь.

— Весьма вам благодарна, — чинно произнесла Софи.

— Ночь меня продержали в больнице, — сказал Джонни, переходя к более обычной теме. — Явился какой-то тип и стал беседовать со мной и родителями. Пришлось нам потом к нему дважды заходить — мы все с ним подробно обсудили, так что в конце концов это уже не казалось такой жуткой тайной.

— А твоя мать велела тебе улыбаться? — спросила Бонни.

— Слушай, они делали что могли, — оборвал ее Джонни. — Им нелегко, они ведь не требуют, чтобы я совершил какое-нибудь открытие или еще что, они просто хотят, чтобы у меня была работа, чтобы я радовался жизни и никому не причинял беспокойства. Это не так уж и много.

— Нет, это слишком много, — сказала Бонни. — Они не хотят, чтобы ты воспользовался своей силой.

— Какой силой? — спросил Джонни саркастически. — Нарушать спокойствие?

— Но его необходимо нарушать, — ответила Бонни, — а не то ничего не останется, кроме бездействия и скуки. Ты просто не нашел еще правильного подхода.

Софи предложила Джонни печенье, он взял и обмакнул его в чай.

— Нянюшке бы это не понравилось, — строго заметила она.

— Послушай, Джонни, — сказала Бонни, наклоняясь к нему. — Я в этом разбираюсь... честное слово. — В голосе ее прозвучала грусть. — Я бы хотела иметь твою силу. В других людях я ее тотчас чувствую — вот, например, в тебе, она из тебя так и хлещет. Но у меня ее нет. Она как-то связана с жизненной энергией или со страстью.

— Очень вкусные, — проговорила Софи, беря еще одно печенье. — Но слишком много их есть не следует, ведь в них рафинированный сахар.

— В день рождения можно, — позволил Джонни. — В день рождения разрешается себя побаловать.

Он вспомнил, как перстень пифии взлетел в воздух и как недели через две он нашел его на лужайке — перстень лежал на траве, словно только что упал на нее.

— Ты его выбросила, — сказал Джонни и повторил ее жест, взмахнув рукой.

— Он был не мой, — ответила Бонни, тотчас поняв, о чем он говорит. — Нет, правда. Единственный раз, когда он сработал, он предсказал беду. На деле я совсем не была пифией, хотя и изображала ее. Скажи, а сейчас тебе легче? Оттого, что мы все обсудили?

— По-моему, чему-то пришел конец... впрочем, это все равно должно было случиться, — ответил Джонни. — Я много об этом размышлял. Мне кажется, все стало меняться, когда я проснулся на пешеходном островке, а потом встретил Софи и пришел сюда. Думаю, все началось с того, как я поселился у Софи, впрочем, может, я был уже готов к переменам. Я все еще помню о том, что случилось с Дженин, но не все время, как раньше. Это уменьшилось.

— Уменьшилось?

— Изменилось. Раньше это преследовало меня, как призрак.

Он не стал объяснять, что теперь ему казалось, будто и сам он уменьшился. В начале этой повести он шел, исполненный видений, по городу, словно выслеживал кого-то, и город сдался, выдав ему Бонни и Нева, которые усмирили порожденных его памятью призраков прошлого. Изгнав духов, он наконец обрел свободу. Но что-то при этом утратил, ведь они были, по сути, частью его личности. К тому же все эти призраки создавали ему романтический ореол. Конечно, он мог бы бежать от скорбных воспоминаний, стать неким демоном, недоступным страданию и боли, но он вернулся к обычной жизни, радуясь своему исцелению.

Джонни встал и принялся бродить по комнате, изучая перемены, внесенные в нее хозяйственной рукой.

— А трудно было с... моим здешним другом? — спросил он.

Однако ответила ему Софи.

— О нет, — убежденно произнесла она. — Он милый юноша, и к тому же плохи наши дела, если мы не сможем помогать друг другу.

— Макс Дейнтон говорит, что на самом деле здесь надо быть все двадцать четыре часа в сутки, — сказала Бонни. — И он прав. Иногда она бродит по ночам... Ты же знаешь. Придется ждать, пока подойдет ее очередь, но на самом деле даже хорошо, что она останется здесь подольше. Макс говорит, что будет регулярно к ней заходить. Я не очень-то

много делаю, но я тоже могу за ней приглядывать. По крайней мере, я не сторонний наблюдатель.

— Я думал, может, мне опять поселиться здесь? — бросил Джонни небрежно, не решаясь посмотреть прямо на Бонни. — Я могу здесь кое-что делать. Конечно, не целый день. У меня сейчас есть какая-то работенка. Последние две недели я работал в городе на стройке. Отцу удалось найти одного человека, который меня взял. Заканчиваем выемку грунта. Понимаешь, машины уже свое дело сделали, а мы готовим котлован к бетонированию. Я подвожу на тележке глину, кипячу чай, бегаю по всяким поручениям, помогаю передвигать леса и все такое. Это отсюда недалеко, можно пешком дойти.

Софи незаметно выудила из пачки еще одно печенье.

— Ты думаешь снова здесь поселиться? — воскликнула Бонни и рассмеялась. — Ну нет! Не верю!

— Почему бы и нет? Должен же я когда-то уйти из дома, — сказал Джонни. — Софи, ты не против, чтоб я у тебя немного пожил, а? Я тебя не стесню.

— Можешь прийти в любое время — я буду только рада, — сказала Софи. — С родными никто не сравнится.

— Видишь, я ей родной! — воскликнул Джонни. — Я могу накормить ее завтраком, а вечером — обедом. Конечно, днем меня не будет, но она от этого не проиграет. В общем, даже выиграет в конце концов.

Наконец он поднял глаза и встретился с Бонни взглядом: она смотрела на него с такой иронией, что он не выдержал и отвел глаза, делая вид, что ничего особенного не происходит.

— Кого, по-твоему, ты обманываешь? — спросила Бонни. — Джонни, это безумная идея. Ты не можешь брать на себя такую ответственность. Ты же захочешь вечером куда-то пойти, где-то повеселиться. Тебе нужно иметь место, куда ты мог бы пригласить друзей, где мог бы устраивать вечеринки, запускать на всю катушку музыку.

— Я и буду уходить, когда захочу, — сказал Джонни. — Я же говорю, она от моего присутствия не проиграет, а кое в чем даже и выиграет. Я не собираюсь превращаться в сиделку. Просто буду здесь, под рукой. Это лучше, чем совсем ничего.

Он и сам не знал, как объяснить, почему его так тянуло к Софи и ко всему этому миру дядюшки Брайена, Эррола и Элвы, которого он воплощал. В обмен на жилье он собирался присматривать за Софи, немного развлекать ее и кормить. К тому же соседкой у него будет Бонни. Он взглянул на нее — она сидела напротив в черных брюках, свободной кофте, с ленточкой в волосах — и понял, что совсем ее не знает. Во многом она казалась ему прямой его противоположностью; придется выяснить, что она собой на самом деле представляет и что для нее значат все эти книги. Придется научиться понимать ее родных, таких же непростых, как и его собственные.

— Джонни, я не хочу показаться тебе тщеславной, — сказала Бонни, — но скажи, ты ведь не из-за меня хочешь сюда вернуться, а?

— А на этот раз кто напрашивается на комплименты? — весело вскричал Джонни. — Имей в виду, если ты согласишься иногда здесь дежурить...

Бонни продолжала в упор смотреть на него, впрочем, вид у нее был достаточно дружелюбный. Легкая насмешка вновь заиграла на ее лице,

и, хотя Джонни хотелось бы от нее совсем иного, он обрадовался и такому началу.

— Имей в виду, ты не совсем в моем вкусе, и к тому же у меня уже есть друг, — сказала Бонни. — Ты это знаешь.

— Что ж, тебе повезло, — ответил Джонни. — Должно быть, один из этих интеллектуалов.

— Он инженер, — сказала Бонни.

Джонни презрительно свистнул.

— Инженер! — воскликнул он. — То-то ты так спокойна — немудрено! Когда ты приходишь домой после целого дня в библиотеке, тебе не нужен человек, которого интересуют только всякие там напряжения в мостах. Тебе нужен человек с легким сердцем... человек, с которым ты бы прошлась степом "До самого Буффало".

И он отбил степ под этот мотив. Бонни засмеялась и покачала головой; свет мягко заколебался, углубив цвет жимолости у нее на лбу и на скулах.

— Мы здесь долго не продержимся, — сказала она. — Может, еще год или чуть больше. Даже если ничего не случится, срок аренды к тому времени истечет, и нам придется убираться, а Дом с краном снесут. Кто знает, что тут еще произойдет.

— Год! — вскричал Джонни. — Целый год! Да это потрясающе. Понимаешь, еще совсем недавно я больше чем на месяц или полтора вообще не загадывал. А раньше я, бывало, просыпался утром и не знал, что буду делать вечером. Правда, блестящей карьеры у меня не предвидится, да и продвигаться мне особенно некуда.

— Ты бы мог снова начать танцевать, — предложила Бонни с улыбкой. — Строительная площадка — это самое подходящее место.

— Смейся, смейся! — улыбнулся Джонни. — А я правда взял несколько уроков... ну, просто потому, что жалко забывать то, что умеешь. Ну а когда я завожусь, я просто знаю, что мною держится весь мир.

И он хлопнул в ладоши, глядя не столько на нее, сколько на Софи, которая пыталась выудить еще одно печенье из пачки.

— Знаешь, Джонни, — сказала Бонни, — я должна тебе это сказать. Ты человек замечательный, по-своему.

— Да, правда, — неожиданно согласилась Софи и надкусила печенье.

— Ты решил сегодня здесь переночевать? — спросила Бонни, посмотрев на его сумку.

— Да, я тут захватил кое-что, — ответил Джонни. — А зубная щетка здесь у меня уже есть.

— Тогда я пойду, — сказала Бонни. — Мне надо позаниматься, а позже ко мне кое-кто зайдет... Не инженер.

— Я и не спрашивал. Знаешь, сегодня пятница. Это вечер "Выжженной земли".

— Чего? — спросила Бонни недоверчиво.

— "Выжженной земли". Так ансамбль называется. Понимаешь, я иногда по пятницам заменяю их барабанщика. И всегда хожу к ним на репетиции. Это отсюда недалеко. Я мог бы даже взять с собой Софи, если она захочет.

Провожая Бонни до двери, он пытался себе представить, как Софи с печеньем в руках слушает музыку, которую обычно называют "андерграунд".

— Твои родители, верно, считают, что я навязал тебе лишнюю ответственность, — сказал он. — Женщину с двумя парами челюстей во рту! Помнишь, какой это был ужас?

Бонни обернулась.

— Они считают, я поступаю как настоящая маори, — ответила она. — Помогаю ухаживать за старой женщиной. Уважение к старшим и внимание к старикам в традициях маори. Полагают, я наконец возвращаюсь к своим истокам. Но я им говорю, что, может, это во мне китайская кровь сказывается.

— Моя мать очень хорошо заботится о бабушке, — сказал Джонни. — Правда, у бабушки голова работает как надо. Без единого сбоя!

Бонни ушла. Джонни постоял за закрывшейся дверью, прислушиваясь к ее шагам. Дверь ее дома открылась и закрылась.

— Бонни Бенедикта, — пробормотал он, — насколько я понимаю, у твоего инженера шансов никаких.

Впрочем, он знал, что думать об этом не нужно.

Стоя внизу у лестницы и вслушиваясь в рев машин, Джонни ощущал свою силу. Ему казалось, будто он умер, а затем возродился и смерть растворилась в его крови; сердце билось спокойно — семьдесят ударов в минуту, — уверенно; сейчас он полностью держал себя в руках.

Поднимаясь по лестнице, он размышлял о том, что, хотя и не возражает против общения с людьми, все же, так же как и Бонни, всегда стоит несколько в стороне. Он чувствовал себя одиноким танцором в мире, который то бросается на него, норовя зубами вырвать глотку, а то стонет и жалуется: "Ах Боже мой, Боже мой, вот напасть-то!" — не зная, как разрешить собственные проблемы. Судя по всему, он вряд ли долго здесь проживет, но Софи подтверждала то, что он уже знал: по существу, люди рождаются, живут и умирают в одиночестве; и хотя эта мысль не веселила, Джонни сейчас находился в том настроении, когда способность называть вещи своими именами означала овладение истиной и таила в себе утешение. Он ворвался в гостиную, чем весьма напугал Софи, которая вскочила, рассыпав по полу печенье.

— Ты как сюда попал? — спросила она.

— Ты меня впустила, — сказал ей Джонни, подбирая печенье. — Ты меня пригласила. А теперь я у тебя поживу. Видишь, как осторожно надо себя вести.

— Это хорошо, — с недоумением произнесла Софи. — А я тебя знаю?

— Я для тебя свой, — ответил Джонни. — Я бы, пожалуй, сейчас вышел прогуляться. Но ты, если хочешь, можешь пойти со мной.

Софи просияла.

— Это было бы чудесно, — сказала она. — Если мы пойдем мимо почты, можно забежать туда на минутку и снять со счета денег, потому что нужно, чтобы в доме всегда было немножко, на всякий случай...

— Почта сейчас закрыта, — возразил Джонни, кладя печенье на тарелку. Одно или два из них выглядели немного запылившимися. — Я думал, сядем на автобус и поедем послушать один оркестр.

— Давай, — радостно согласилась Софи. — Эррол любил оркестры. Он любил слушать, когда оркестр железнодорожного депо играл песню "Земля надежд и славы".

— С тех пор кое-что изменилось, — заметил Джонни. — Тебя ожидает сюрприз. Сходи накинь жакет, Софи, и пойдем посмотрим, что нам предложат.

В ожидании Софи он не спеша сполоснул чашки. "Убежим и посмотрим, что сумеем, — думал он. — Больше все равно увидеть не удастся".

За спиной у него послышалось какое-то шарканье. Он обернулся. Рядом с ним стояла Софи: она надела шляпку и взяла в руки сумочку, но вместо пальто натянула на себя ночную кофту. Одну руку она продела в рукав, а вторую — в горловину, так что шея у нее была туго перетянута, а кофта болталась мешком под мышкой.

— Возможно, нам придется кое-что изменить, — заметил Джонни, помолчав. — Надо надеть жакет.

И принялся снимать с нее ночную кофту.

Софи подняла на него глаза — вид у нее был довольный, но в то же время и неуверенный.

— Как, это ты? — вдруг спросила она, словно не веря собственным глазам.

Джонни остановился. Он вспомнил, как услышал этот вопрос в первый раз. Сейчас это было уже совсем другое дело.

— Софи, — сказал он наконец, — я думаю, это правда я. Честное слово, я так думаю.

И в этот миг, хотя он и не мог бы этого объяснить, он ясно понял, что принадлежит к тем, кому в жизни повезло.

Петер Биксель

Рассказы

Перевод с немецкого Е. Суриц

Из книги "Рассказы для детей"

Стол-то стол

Я вам расскажу про одного старого человека, про человека, который больше ни слова не говорит, у которого усталое лицо, такое усталое, что даже не в силах улыбаться, такое усталое, что он даже не в силах хмуриться. Живет он в маленьком городке, в самом конце улицы, а может быть, возле перекрестка. Едва ли стоит здесь его описывать, едва ли хоть чем-то он отличается от других. Ходит он в серой шляпе, в сером пиджаке, а зимой в длинном сером пальто, и у него тонкая шея, морщинистая и сухая, и белые воротнички слишком ему широки.

Комната у него на самом верхнем этаже, возможно, раньше он был женат и у него были дети, возможно, раньше он жил совсем в другом городе. Определенно, когда-то он был ребенком, но только было это еще в те времена, когда детей одевали как взрослых. Мы это видим в бабушкиных альбомах. В комнате у него два стула, стол, ковер, кровать и шкаф. На маленьком столике стоит будильник, рядом лежат старые газеты и альбом с фотографиями, на стене висит зеркало и портрет.

Утром старый человек ходил на прогулку, и под вечер он ходил на прогулку, перекидывался словом-другим с соседями, а вечером он сидел у себя за столом.

© 1969 by Hermann Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied und Berlin; Walter-Verlag AG Olten, 1964; Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2003
© Е. Суриц. Перевод, 2008

И ничего никогда не менялось, даже по воскресеньям ничего не менялось. И когда он сидел у себя за столом, он слышал, как тикает будильник, всегда тикает будильник.

Но вот однажды выдался такой удивительный день, солнечный день, не чересчур жаркий, не чересчур прохладный, и птицы пели, и были приветливы люди, и дети играли — но самое удивительное было то, что человеку вдруг все это понравилось.

Он улыбнулся.

"Теперь все переменится", — он подумал.

Он расстегнул верхнюю пуговку рубашки, взял в руку шляпу, ускорил шаг, даже подрагивал коленками на ходу и радовался. И он пришел на свою улицу, он покивал детям, вошел в свой дом, поднялся по лестнице, вынул из кармана ключ и отпер дверь свой комнаты.

Но в комнате все осталось по-прежнему: стол, два стула, кровать. И когда он сел, опять он услышал тиканье, и всю радость его как рукой сняло, потому что ничего не переменилось.

И нашла на него ужасная тоска.

Он увидел в зеркале, как у него покраснело лицо, увидел, как он сощурился; и тогда он сжал кулаки, поднял их, ударил об стол, раз, другой, потом еще, еще и стал барабанить кулаком об стол, он барабанил так и покрикивал:

— Все должно перемениться, все должно перемениться!

И теперь он не слышал будильника.

Но скоро у него заболели руки, у него сел голос, и снова он услышал будильник, и ничего не переменилось.

— Вечно тот же стол, — сказал человек, — те же стулья, кровать, портрет. И стол я называю столом, портрет я называю портретом, кровать — кроватью, и стул я называю стулом. А почему, собственно?

Называют же французы кровать "ли", стол "табль", стул "шэз", и ведь понимают друг друга. И даже китайцы друг друга понимают.

"Почему бы не назвать кровать портретом", — подумал человек, и он усмехнулся, а потом он захохотал, и он хохотал до тех пор, пока соседи не стали стучать ему в стенку и кричать: "Потише, пожалуйста!"

— Все теперь переменится! — крикнул он, и с тех пор он стал кровать называть портретом.

— Я устал, я хочу в портрет, — он говорил, и по утрам он долго лежал в портрете и думал, как бы ему назвать стул, и он назвал стул будильником.

Итак, он вставал, одевался, садился на будильник и опирался руками об стол. Но стол теперь уже не назывался стол, он теперь назывался ковер. Итак, утром этот человек вылезал из портрета, одевался, садился на будильник за ковер, и размышлял, что бы и как ему еще переименовать.

Кровать он теперь называл портретом.

Стол он называл ковром.

Стул он называл будильником.

Газету он называл кроватью.

Зеркало он называл стулом.

Будильник он называл альбомом для фотографий.

Шкаф он называл газетой.

Ковер он называл шкафом.

Портрет он называл столом.

И альбом для фотографий стал теперь зеркалом.

Итак:

По утрам старый человек долго лежал в портрете, в девять звенел альбом, человек поднимался, и он вставал на шкаф, чтоб не мерзли ноги, потом вынимал из газеты одежду, одевался, смотрелся в стул на стене, садился потом за ковер на будильник, пролистывал зеркало, отыскивая стол своей матери.

И ему было весело, и целый день он упражнялся и сочинял новые слова. Все, все он переименовал: и сам он был теперь уже не человек, он был нога, а нога была утро, а утро было человек.

Теперь вы сами сможете дописать этот рассказ. Вы сможете, как смог тот человек, переименовать все остальное:

звенеть будет — вставать,
мерзнуть будет — смотреть,
лежать будет — звенеть,
вставать будет — мерзнуть,
оставаться будет — листать.

Смотрите, что теперь получается:

Под человека старая нога долго звенела в портрете, в девять вставал альбом, нога мерзла и листала шкаф, чтоб не смотрели утра.

Он купил синюю тетрадь и всю исписывал новыми словами, дел было много, его редко теперь встречали на улице.

И для всех вещей он выучивал новые названия, а старые все больше и больше забывал. И у него был теперь свой собственный язык, и больше никто в целом свете не умел на этом языке разговаривать.

Иногда он видел сны на своем новом языке, и он переводил на свой новый язык песенки, которые помнил с детства, и тихонько их напевал.

Но скоро ему стало трудно переводить, он почти совсем забыл прежний язык, приходилось долго отыскивать прежние слова в синей тетрадке. И он теперь боялся разговаривать с людьми. Приходилось так долго гадать, как люди что называют.

Портрет они называли кроватью.
Ковер они называли столом.
Будильник они называли стулом.
Кровать они называли газетой.
Стул они называли зеркалом.
Альбом они называли будильником.
Газету они называли шкафом.
Шкаф они называли ковром.
Стол они называли портретом.
Зеркало они называли альбомом.

И до того дошло, что его разбирал смех, когда он слышал, как люди разговаривают.

Его разбирал смех, когда при нем кто-нибудь говорил: "Завтра идете на футбол?" Или когда кто-нибудь говорил: "Ну и погодка, два месяца льет". Или когда кто-нибудь говорил: "У меня дядя в Америке".

Его разбирал смех потому, что ничего этого он уже не понимал.

Но рассказ этот совсем не веселый.

Он печально начался, и кончается он печально.

Старый человек в сером пальто уже не понимал людей, но это бы еще куда ни шло.

Куда хуже то, что и они его не понимали.

И потому он ничего больше не говорил.

Он молчал,

разговаривал только с самим собой,

даже ни с кем не здоровался.

Изобретатель

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ — это такая профессия, которой нельзя научиться; поэтому они редки; а теперь и вовсе перевелись. Теперь всё изобретают уже не изобретатели, а инженеры и техники, механики и столяры, архитекторы и каменщики; и ничего они, в общем-то, не изобретают.

А раньше были изобретатели. Одного звали Эдисон. Он изобрел электрическую лампочку и граммофон, который тогда называли фонограф, он изобрел микрофон и построил первую в мире электростанцию, он построил такой аппарат, чтоб можно было снимать кино, и такой, чтоб можно было его смотреть.

В 1931 году он умер.

Без него так бы нам и сидеть без электрических лампочек.

Вот какие важные люди изобретатели.

И последний умер в 1931 году.

Но в 1890 году родился еще один, и он до сих пор еще жив. И никто не знает его, ведь живет он в такое время, когда больше не бывает изобретателей.

С 1931 года он остался один-единственный.

Сам он, правда, про это не знает, потому что никогда не жил в городе и не встречался с людьми; изобретателям нужен покой.

Он жил далеко-далеко от города, никогда не выходил из дому, и к нему редко кто заходил.

Весь день он чертил и рассчитывал. Часами сидел, морщил лоб, проводил рукой по лбу и думал.

Потом он брал свои расчеты, рвал, швырял прочь и все начинал сначала, а вечерами он грустил и печалился, потому что опять ничего у него не вышло.

Он не встречал никого, кто бы понял его чертежи, а ни о чем другом ему не хотелось ни с кем разговаривать. И так сорок лет он все сидел за работой, и если кто-нибудь к нему заходил, он прятал свои чертежи, потому что боялся, что их у него скопируют, и потому что боялся, что его засмеют.

Он рано ложился спать, рано вставал, и весь день он работал. Писем он не получал, газет не читал, и он просто не знал о том, что существует на свете радио.

И вот наконец настал такой вечер, когда он не грустил, не печалился, потому что он сделал изобретение, и с тех пор он вообще не ложился спать. День и ночь просиживал он над своими чертежами, считал, пересчитывал, и все у него сошлось.

И тогда он свернул чертежи в трубочку и впервые за много лет отправился в город. Город совершенно переменился.

Где раньше были лошади, теперь были автомобили, лестница в магазине вас поднимала сама, и поезда ходили без паровозов. Трамваи ходили под землей, и теперь они назывались метро, а люди носили с собой малюсенькие коробочки, из которых лились голоса и музыка.

Изобретететель поражался. Но на то он и был изобретатель — он очень скоро все понял.

Он увидел холодильник и сказал: "Ага".

Увидел телефон и сказал: "Ага".

И увидав красный свет и зеленый свет, он понял, что на красный свет надо ждать, а на зеленый можно идти.

И он пережидал красный свет и шел на зеленый.

И все он понимал, но он поражался так, что чуть было не позабыл про собственное изобретение.

Но когда он опять про него вспомнил, он обратился к одному господину, который тоже пережидал красный свет, и сказал:

— Прошу меня извинить, я сделал изобретение.

И господин был любезен, и он ответил:

— Так, и что же вам угодно?

Но этого изобретатель и сам не знал.

— Это очень важное изобретение, — сказал изобретатель, но тут зажегся зеленый свет, и пришлось обоим идти.

Если вы давно не бывали в городе, вы теряетесь, и если вы сделали изобретение, вы не знаете, куда вам с ним податься.

И что могли ответить встречные, когда изобретатель говорил: "Я сделал изобретение"?

Одни молчали в ответ, другие смеялись над изобретателем, а кое-кто шел себе дальше, будто и не расслышал.

Изобретатель ведь давным-давно не разговаривал с людьми, и он совсем забыл, как заводят беседу. Он забыл, что перво-наперво нужно сказать: "Простите, который час?" или надо сказать: "Ну и погодка сегодня, а?"

Он не понимал, что невозможно просто взять и сказать: "Послушайте, я сделал изобретение", и когда в трамвае кто-то сказал ему: " Какой сегодня солнечный день!", он не ответил: "Да, в самом деле, погодка отличная", а сразу брякнул: "Послушайте, а я сделал изобретение".

Ни о чем другом он и думать не мог, потому что его изобретение было великое, было очень важное и поразительное изобретение. Не будь он совершенно уверен, что все его чертежи и расчеты сходятся, он бы и сам не поверил в такое.

Он изобрел аппарат, в котором можно видеть то, что происходит далеко-далеко.

И вот он вбежал в трамвай, разложил свои чертежи у людей под ногами и крикнул:

— Смотрите! Я изобрел аппарат, в котором видно то, что происходит далеко-далеко!

Никто и бровью не повел, входили себе, выходили, а изобретатель кричал:

— Да вы посмотрите, что я изобрел! Теперь вы сможете видеть, что происходит далеко-далеко!

— Он телевидение изобрел! — крикнул кто-то, и все засмеялись.

— Почему вы смеетесь? — спрашивал изобретатель, но никто ему не отвечал, и он вышел из трамвая, пошел по улицам, пережидал красный свет, на зеленый шел дальше, и потом он зашел в кафе, заказал себе чашечку кофе, и когда сосед по столику сказал ему: "Чудесная погода, не правда ли?", изобретатель ему сказал: "Помогите мне, я изобрел телевидение, а никто мне не верит, и все надо мной смеются".

На это сосед ничего ему не сказал. Он долго смотрел на изобретателя, и тогда изобретатель спросил: "Почему они смеются?" — "Они смеются, — ответил сосед, — потому что телевидение давно существует, и его не требуется изобретать", и он ткнул пальцем в угол кафе, где стоял телевизор, и спросил: "Включить?"

Но изобретатель ответил:

— Нет, не хочу смотреть, — и он встал и вышел за дверь.

А чертежи свои он оставил на столике.

Он брел по улицам, не разбирая зеленого и красного света, и водители ругались и вертели пальцем у виска.

Больше никогда изобретатель в город не ездил.

Он вернулся домой и стал изобретать только для самого себя.

Он взял лист бумаги, написал на нем "Автомобиль", считал и чертил неделями и месяцами и заново изобрел автомобиль, а потом он изобрел эскалатор, он изобрел холодильник, и он изобрел телефон.

Все, что он видел в городе, он изобрел еще раз.

И всякий раз, когда делал изобретение, он рвал чертежи, швырял прочь и говорил:

— Это уже существует.

И все-таки всю свою жизнь он оставался настоящим изобретателем, потому что даже то, что уже существует, очень трудно изобрести, и умеют это только настоящие изобретатели.

Никакой Америки нет

МНЕ эту историю рассказал один человек, большой мастер рассказывать истории. Сколько раз я ему говорил, что ему не верю.

— Вы лжете, — я ему говорил, — вы обманываете, вы фантазируете, вы сочиняете.

А ему хоть бы хны. Рассказывает себе дальше, а когда я, бывало, крикну:

— Вы лжец, вы обманщик, вы фантазер, вы сочинитель! — он только посмотрит на меня долгим взглядом, покачает головой, усмехнется печально и скажет этак тихонько, — мне даже стыдно станет:

— Никакой Америки нет.

И чтобы сделать ему приятное, я обещал записать эту его историю.

Начинается она пятьсот лет тому назад при дворе одного Короля, Короля Испанского. Дворец, шелк и бархат, золото, серебро, бородки, короны, свечи, слуги, служанки; придворные на заре втыкают шпаги друг

другу в брюхо, ибо с вечера побросали друг другу перчатки. Стражи на башнях трубят в рога. И гонцы, гонцы — один соскакивает с коня, другой кидается в седло — и верные друзья Короля, и неверные, и женщины прекрасные и опасные, и вино, и вокруг дворца народ, у которого только и забот, что за все за это платить.

Но и у Короля только и забот было, что так жить, а когда живешь, в шелку ли, в долгу ли, в Мадриде ли, в Барселоне или неведомо где, в конце концов изо дня в день все одно и то же хоть кому надоест. И тот, кто живет неведомо где, мечтает о Барселоне, а тому, кто живет в Барселоне, хотелось бы оказаться неведомо где.

Бедняк мечтает пожить, как Король, и страдает оттого, что Королю кажется, что быть бедным для бедняка самое милое дело.

Утром Король встает, вечером ложится в постель, а весь день он скучает со своими слугами, своим золотом, серебром, своим бархатом, шелком, скучает со своими свечами. Постель у него роскошная, но что уж такого особенного будешь делать в постели, если не спать.

Утром слуги склоняются перед ним в глубоких поклонах, одинаково глубоких каждое утро, и Король к этому привык и даже на них не глядит. Кто-то подает ему вилку, кто-то подает ему нож, кто-то ему подвигает стул, и все, кто беседует с ним, говорят "Ваше Королевское Величество" и еще много разных прекрасных слов — ну, а дальше-то что?

Никогда никто не скажет ему: "Ты болван, ты дурак", и всё, что ему говорят сегодня, ему уже говорили вчера.

Вот так-то.

И потому короли держат шутов.

Шут может делать все, что ему вздумается, молоть, что взбредет на ум, только бы насмешить Короля, а когда Королю уже не смешно, он велит отрубить шуту голову.

Был у него один шут — он коверкал слова. И Королю это нравилось. Он говорил "Ваше Воролевское Количество" вместо "Ваше Королевское Величество", он говорил "Водрец" вместо "Дворец" и "Врипет" вместо "Привет".

По-моему, это идиотизм, но Королю это нравилось. Полгода целых ему это нравилось, вплоть до седьмого июля, а восьмого, когда он встал с постели и шут ему сказал: "Врипет, Ваше Воролевское Количество", Король сказал: " Избавьте вы меня от этого шута!"

Другой шут, толстый коротышка по имени Пепе, нравился Королю вообще только четыре дня, он смешил Короля тем, что кресла дам и господ, князей, герцогов и баронов он мазал медом. На четвертый день он намазал медом королевский трон, и Король уже не смеялся, а Пепе уже не шутил.

И вот Король купил себе самого страшного шута на всем белом свете. О, как он был безобразен — сразу и тощий и жирный, длинный и коротышка, и левая нога у него была колесом. Никто не знал, умеет ли он говорить, то ли нарочно все молчит, то ли немой. Взгляд у него был злобный, лицо кошмарное; единственно, что в нем было приятного, так это имя: его звали Гансик.

Но кошмарней всего был его хохот.

Начинался он внизу, в животе, тоненьким, тихим урчаньем, вступал в глотку отрыжкой, чуть не душил Гансика, так, что тот краснел как рак, и потом вырывался из глотки гоготом, стоном, воплем, и Гансик притоп-

тывал, и плясал, и хохотал. И только Королю это нравилось, остальные бледнели и дрожали от страха. А когда вблизи дворца люди слышали этот хохот, они закрывали двери и окна, запирали лавки, укладывали детей спать и затыкали уши ватой.

Хохот Гансика был кошмарней всего на свете.

Что бы ни сказал Король, Гансик хохотал.

Король говорил такое, что никто бы не посмел даже улыбнуться, а Гансик хохотал. И вот однажды Король сказал:

— Гансик, а я ведь тебя повешу.

И Гансик зашелся от хохота, он хохотал так, как никогда еще не хохотал.

И решил Король наутро повесить Гансика. И велел построить виселицу. Тут он не шутил, ему всерьез хотелось поглядеть, как Гансик будет хохотать, болтаясь на виселице. И всем своим подданным он приказал прийти и наблюдать ужасное зрелище. Но подданные все заперлись, затаились, и утром Король остался только с палачом, солдатами и с хохочущим Гансиком.

И он крикнул своим слугам:

— Привести сюда людей!

И слуги обрыскали весь город и никого не нашли, и Король сердился, а Гансик хохотал.

И вот наконец нашли одного мальчика и приволокли к Королю. Мальчик этот был маленький, бледный и робкий, и Король указал ему на виселицу и велел туда смотреть.

Мальчик глянул, хмыкнул, хлопнул в ладоши, удивился, а потом сказал:

— Верно, ты добрый Король, раз построил скамеечку для голубей; глянь-ка, два уж уселись.

— Ты болван, — сказал Король. — Как тебя зовут?

— Я болван, господин Король, а зовут меня Коломбо, а мама зовет меня Коломбик.

— Болван, — сказал Король, — сейчас тут кое-кого повесят.

— А как его зовут? — спросил Коломбик и, когда услышал имя, сказал:

— Какое милое имя — Гансик! Разве можно повесить человека, которого зовут Гансик?

— Он так кошмарно хохочет, — сказал Король, и он приказал Гансику хохотать, и тот хохотал еще вдвое кошмарнее, чем вчера.

Коломбик удивился, а потом он сказал:

— Господин Король, по-вашему, это кошмарно?

Король от неожиданности даже не знал, что ответить, и Коломбик продолжал:

— Мне лично этот смех не особенно нравится, но голуби сидят себе на виселице, как ни в чем не бывало; они нисколечко не испугались; им этот смех не показался кошмарным. А у голубей очень тонкий слух. Надо Гансика отпустить.

Король подумал-подумал и сказал:

— Гансик, катись к черту.

И тут-то Гансик впервые сказал слово. Он сказал Коломбику: "Спасибо!", и он засмеялся милым человеческим смехом и ушел.

И остался Король без шута.

— Пойдем, — сказал он Коломбику.

Но слуги Короля и служанки, графы и все-все-все думали, что Коломбик — новый придворный шут.

А Коломбик был совсем не смешной. Он стоял, смотрел, удивлялся, редко когда говорил хоть слово, только улыбался и никого не смешил.

— Какой же он шут, он просто дурак, — говорили все, и Коломбик говорил:

— Какой же я шут, я просто дурак.

И все смеялись над ним.

Узнай про это Король, он бы рассердился, но Коломбик ему не жаловался, его ничуть не задевало, что над ним смеются.

Были при дворе сильные люди и были умные люди, Король был Король, дамы были прекрасны, мужи отважны, пастырь был благочестив, повариха искусна — и только Коломбик, один Коломбик был типичное не то.

Скажут ему:

— Коломбик, давай подеремся.

А он:

— Я слабей тебя.

Спросят его:

— Сколько будет дважды семь?

А он:

— Я глупей тебя.

Скажут ему:

— Слабо тебе перепрыгнуть через этот ручей!

А он:

— Да-да, мне слабо.

И когда Король спросил:

— Коломбик, а кем ты хочешь быть?

Коломбик ему ответил:

— Никем я не хочу быть. Я уже есть. Я Коломбик.

Тут Король говорит:

— Но кем-то тебе надо бы стать, — и Коломбик спрашивает: — А кем можно стать?

Король и говорит:

— Вот тот человек с бородой, с темным, обветренным лицом — он мореплаватель. Он захотел быть мореплавателем и стал, он плавает по морям и открывает новые земли для своего Короля.

— Ну, если ты так уж хочешь, Король, — Коломбик ему отвечает, — я стану мореплавателем.

И весь королевский двор так и грохнул от смеха.

А Коломбик бросился прочь из залы и закричал:

— Я открою новую землю! Я открою новую землю!

Все переглядывались, качали головами, а Коломбик выбежал из дворца, пробежал через весь город и побежал по полям, и крестьянам, которые стояли на полях и смотрели на него, он кричал:

— Я открою новую землю! Я открою новую землю!

И он убежал в лес, и неделю целую там прятался под кустом, и неделю целую не было никаких вестей о Коломбике, и Король печалился и

себя корил, и придворным было стыдно, что они смеялись над Коломбиком.

И все радовались, когда неделю спустя на башнях стражники затрубили в рога, и Коломбик прошел по полям, прошел через город, вошел в ворота дворца, предстал перед Королем и сказал:

— О, мой Король, Коломбик открыл новую землю!

И придворным уже не хотелось смеяться над Коломбиком, а потому они строили важные мины и спрашивали:

— И как же она зовется? И где лежит?

— Она покуда никак не зовется, ведь я ее только что открыл, а лежит она там, далеко в море, — отвечал Коломбик.

Тогда встал бородатый мореплаватель и сказал:

— Хорошо, Коломбик, я, Америго Веспуччи, отправляюсь искать ту землю. Ты только скажи мне, где она лежит.

— Выходите в море и плывите все прямо, прямо, прямо, и вы увидите ту новую землю, можете не сомневаться, — сказал Коломбик, а сам весь дрожал от страха, потому что он был врунишка и знал, что земли никакой там нет. Он даже сна лишился от страха.

А меж тем Америго Веспуччи пустился на поиски новой земли.

Никто не знает, куда он пустился.

Возможно, тоже скрывался в лесу.

Но вот затрубили рога, и Америго вернулся.

Коломбик весь залился краской и не смел взглянуть в лицо великому мореплавателю.

Веспуччи предстал перед Королем, подмигнул Коломбику, перевел дух, опять подмигнул Коломбику и сказал громко и отчетливо, чтобы все расслышали:

— О, мой Король, — так он сказал, — мой Король, есть такая земля!

Коломбик был счастлив, что Веспуччи его не выдал. Он подбежал к нему, обнял и закричал:

— Америго, милый Америго!

А все подумали, что так зовется новая земля, и вот землю, которой не существует на свете, стали называть Америкой.

— Ну вот, ты теперь взрослый, — сказал Король Коломбику, — и отныне ты будешь называться Колумбом.

И Колумб прославился, и все на него дивились и перешептывались:

— Это тот самый, который открыл Америку.

И все верили, что Америка существует, только один Колумб в этом не был уверен, и всю жизнь он терзался сомнениями, а прямо спросить правду у мореплавателя он не посмел.

Скоро и другие стали ездить в Америку, а потом даже многие; и воротясь утверждали:

— Америка существует!

— Я лично, — говорил тот человек, от которого я слышал эту историю, — я лично никогда в Америке не был. И не знаю, есть ли она, эта Америка. Может, никто просто не хочет огорчать Коломбика. И когда двое говорят про Америку, они и сейчас друг другу подмигивают. И никогда ведь не скажут "Америка", а все больше толкуют про "Штаты", или "Новый Свет", или что-то в подобном роде.

Может, людям, которые собрались в Америку, сразу в самолете или на пароходе рассказывают историю про Коломбика, и они где-то прячутся, а потом являются обратно и рассказывают про ковбоев, и про небоскребы, про Миссисипи и Ниагарский водопад, про Нью-Йорк и про Сан-Франциско.

И ведь каждый раз одно и то же рассказывают, и вдобавок только то рассказывают, что знали еще до поездки; очень это все подозрительно.

И до сих пор спорят о том, кто такой был на самом деле Колумб. Я-то знаю.

Вам *привет от* Йодока

ПРО дядю Йодока я совсем ничего не знаю, знаю только, что он был дедушкин дядя. Я не знаю, какой он был из себя, не знаю, где он жил, где работал.

Знаю только, что звали его Йодок.

И больше, по-моему, так никого не зовут.

Все свои рассказы дедушка начинал так: "Вот когда еще был жив дядя Йодок"... или: "Когда я ездил в гости к дяде Йодоку"... или: "Когда дядя Йодок мне подарил губную гармошку"...

Про самого дядю Йодока он ничего не рассказывал, только про то время, когда был жив дядя Йодок, про то, как он ездил к дяде Йодоку в гости, про то, какую гармошку дядя Йодок ему подарил.

Но если спросишь его: "А кто он был, дядя Йодок?", дедушка отвечал: "Умный человек".

Бабушка, кстати, знать не знала никакого дяди Йодока, а папа всегда смеялся, услыхав это имя. И тогда дедушка сердился, а бабушка говорила: "Йодок, Йодок, ну как же", и дедушка успокаивался.

Я долгое время считал, что Йодок был лесничий, потому что, когда я объявил дедушке, что хочу стать лесничим, он сказал: "Вот бы дядя Йодок обрадовался!"

Но когда я решил стать машинистом, он сказал то же самое, и так говорил всегда, кем бы я ни решал стать. Дедушка всегда говорил: "Вот бы дядя Йодок обрадовался!"

Но дедушка был врун.

Я очень его любил, но дедушка долго жил и под конец стал вруном.

Бывало, подойдет к телефону, снимет трубку, наберет номер и говорит:

– Привет, дядя Йодок, как жизнь, дядя Йодок, нет, дядя Йодок, ах, ну конечно, дядя Йодок, – о мы-то знали, что он разъединил телефон.

И бабушка знала, но она кричала ему:

– Положи трубку! Это дорого встанет!

И дедушка говорил:

– Мне придется прервать разговор, дядя Йодок.

И потом он говорил:

– Вам привет от Йодока.

Раньше он всегда говорил: "Вот, когда был жив дядя Йодок", а теперь уже говорил: "Надо бы навестить дядю Йодока".

Или он говорил: "Скоро к нам приедет дядя Йодок", и даже хлопал себя по коленке, но все равно это получалось неубедительно, и он сам это замечал и умолкал и на время забывал про своего Йодока.

И все вздыхали с облегчением.

Но скоро опять начиналось.

Звонил Йодок.

Йодок всегда говорит.

Йодок того же мнения.

У него шляпа, как у дяди Йодока.

Дядя Йодок любит гулять.

Дяде Йодоку нипочем никакая стужа.

Дядя Йодок любит животных дядя Йодок ходит гулять в любую погоду с животными любит гулять дядя Йодок никакая стужа дяде Йодоку нипочем дядя Йодок любит гулять.

Д-я-д-я Й-о-д-о-к.

И когда мы, внуки, заходили к нему, он не спрашивал: "Сколько будет дважды семь?" или "Как называется столица Исландии?", а спрашивал: " Как пишется Йодок?"

Йодок пишется так:

В начале заглавное *И* краткое, и на конце *к*, но самое ужасное в Йодоке — эти два его *о*. День целый мы слышали из комнаты дедушки эти *о* — Йо-о-о-до-о-о-ок.

И дедушка обожал эти *о*, он говорил:

— Дядя Йодок полол горох.

Дядя Йодок мь-ол пол.

У дяди Йодока бо-ольшо-ой ко-от.

Потом уж до того дошло, что он стал все говорить на *о*.

Он говорил:

Йодок омной чоловьок, зовтро мо к ньомо пойдьом.

И все стали бояться дедушки, и тогда он стал говорить, что никакого Йодока знать не знает и никогда не знал. Это, мол, сами мы начали, сами стали приставать и выпытывать: "А кто такой дядя Йодок?"

И не было смысла с ним спорить.

А он думать не мог ни о чем, кроме Йодока.

Он уже почтальона встречал словами: "Добрый день, господин Йодок", потом он меня стал звать Йодоком, а потом и всех.

"Йодок" служил ему ласкательным словом: "Йодушка ты мой", и ругательством: "Йодище проклятый" или "Йодок тебя возьми!"

Он уже не говорил: "У меня насморк", он говорил: "У меня Йодок", но скоро он уже и *я* отменил, и стал говорить: "У Йодока Йодок".

Он брал газету, находил "Йодоки и Йодоки", то есть "Происшествия и несчастные случаи", и читал: "На Йодоке Йодока и Йодока произошел несчастный Йодок. Йодок выехал из-за Йодока на красный Йодок и сбил двух Йодоков. К Йодоку Йодока тотчас явился Йодок".

Бабушка затыкала уши пальцами и кричала:

— Я больше не могу! Я этого не вынесу!

А дедушка не умолкал. Он не умолкал всю жизнь, и дедушка дожил до глубокой старости, и я его очень любил. И когда под конец он уже ничего не говорил, только "Йодок", мы с ним очень хорошо понимали друг

друга. Я был совсем маленький, а дедушка совсем старый, и он сажал меня к себе на колени и йодокал йодоки про йодока Йодока, то есть он рассказывал мне рассказы про дядю Йодока, и эти рассказы очень мне нравились, а все, кто был постарше меня и помоложе дедушки, ничего не могли понять и дедушке не разрешали сажать меня к себе на колени, и когда дедушка умер, я горько плакал.

Я всем родственникам говорил, что на надгробье надо написать не Фридрих Глаузер, а Йодок Йодок, так хотел дедушка. И никто меня не послушал, как горько я ни плакал.

Но, к сожалению, к сожалению, все это неправда, и дедушка не был вруном, и он не жил долго-долго.

Он умер, когда я был совсем маленький, я только и помню, как он сказал: "Когда еще был жив дядя Йодок...", а бабушка, которую я не очень любил, цыкнула на него:

— Хватит про твоего Йодока!

И дедушка примолк, загрустил, а потом он еще перед ней извинялся.

И тогда я ужасно рассердился — в первый раз я так рассердился — и крикнул:

— Вот если бы *у меня* был дядя Йодок, я только о нем бы и говорил!

И если бы дедушка тогда так и поступил, он бы, наверно, жил долго-долго, и у меня до сих пор был бы дедушка, и мы бы с ним отлично понимали друг друга.

В *общем-то, фрау* Блюм *не прочь познакомиться с молочником*

21 рассказ

Этажи

За неимением лучшего, представим себе дом, дом в пять этажей, с лестницей, которая их разделяет и соединяет, под черепичной крышей; дом на некой улице, дороговизной земли втиснутый между другими домами, окна на улицу, вход со двора.

В первом этаже пусть никто не живет. В первом этаже никого никогда не видели. В первом этаже все та же бурая дверь, потрескавшийся лак, матовые стекла, голубые занавески в полосочку. В первом этаже, наверно, никто не живет.

Второй этаж: бурая дверь, потрескавшийся лак, матовое стекло. Тут кто-то живет.

Третий этаж: тут тоже кто-то живет.

И на четвертом этаже кто-то живет.

Кто-то съезжает, кто-то въезжает. В первый день вы это учуете по запаху, унюхаете любовь к чесноку или машинное масло, если въедет столяр, а попозже, наверно, еще запах пеленок, а потом, на третий день, все это станет запахом дома, того же дома в пять этажей.

На третьем этаже снова кто-то живет.

Меняются дверные таблички.

Монтер с телефонной станции открывает ящик под лестницей, меняет контакты, матерится, снова меняет, уходит.

Но, возможно, на первом этаже все-таки кто-то живет.

Весной, скажем, четвертого апреля, на лестнице между первым и вторым этажом солнце вычерчивает в точности тот же узор, что и в прошлом году.

Девочка с четвертого этажа стучится на третьем и вежливо, робко спрашивает у хозяйки, нельзя ли забрать мячик, который спрыгнул на этот балкон с четвертого этажа.

Чердак разделен переборками, у каждого этажа — свое отделение, на каждом висит замок — для верности; чтобы верней хранились старые матрасы, альбомы с фотографиями, дневники, зеркала.

Каждые две недели кто-то метет чердак.

Разносчики сначала звонят обычно на самом верхнем этаже. Спросят, не живет ли кто еще выше, и спустятся, позвонят на третьем, потом на втором, потом на первом этаже. Надежда облегчает подъем, разочарованному под силу только спускаться. Разносчики — это те, кто разносит.

Лесники — это те, кто в лесу. Женщины — это те, кто ходит за детьми, за больными.

Дома — это дома.

Мужчины

ТАК тут и сидела. Спроси ее, давно ли тут сидит, она бы ответила: "Всегда, я тут всегда сижу".

Ждала — подругу, что ли, сослуживицу, поезда ли, вечера ли.

Официант по-свойски улыбался, ей подавая кофе. И у нее был красный кошелек, он ей так был к лицу, как только может быть к лицу юной девушке красный кошелек.

Случалось, кто-то расплатится за ее кофе, но тут подоспеет подруга или поезд, и она поблагодарит.

Сегодня на службе ей сказали, что она мила, шеф сказал, и — поиграла кошельком.

Красивой женщине не след сидеть и ждать — думалось. Такой молоденькой — думалось. Испорченной чуть-чуть — хотелось бы.

Она глубоко затягивалась сигаретой — сразу видно. Подружка научила — дело известное.

Поезд отходит в полседьмого. Вокруг смотрели, как она расстегивает пальто, снимает, разоблачается. Потом опять надела, запахнулась, огладила себя по бедрам.

У нее большой рот.

У нее чудесные волосы.

Она маленькая, изящная.

А голос! "Чашечку кофе, пожалуйста, — спасибо большое — до свиданья".

И глаз косули.

Можно бы к ней подступиться, с ней заговорить. Говорит же ей официант: "Что вам угодно?"

Девочка, малышка, куколка, бабочка, — думается.
Можно бы с ней заговорить.
У нее нежные руки.
Ждет тут — подругу, что ли, поезда ли, вечера ли.
Девочка.
Но когда с ней заговаривают, уже она женщина.

Цветы

И вот он ее себе представил в цветочной лавке — зеленый фартучек, улыбка, как гвоздика.

Он войдет и спросит, можно ли здесь купить цветы, и она вздрогнет, и засмеется, и скажет:

— А что ж еще? — и тут он тоже засмеется.

— Да, конечно, — он скажет. Потом он спросит:

— А они пахнут?

Она не отвечает. Берет из вазы, что поближе, желтый цветок, вертит между большим и указательным пальцем.

— Что вы хотели? — она спросит, но не станет ждать ответа.

"Он, кажется, спросил — а они пахнут?" — думает она.

"Как неудобно", — она думает. В мыслях она старается нашептать ему, что дальше говорить.

— А у вас тут много цветов.

— Вы любите красные цветы?

— Я обожаю астры.

— А как вот эти называются?

Но она сама забыла.

— У вас тут много цветов. — Я люблю цветы, — она скажет. — Я обожаю астры", — ему б сказать.

— Красные особенно, — она б ответила.

И она знает: они пахнут, но цветы совсем по-другому пахнут, ей ли не знать.

— Цветы совсем по-другому пахнут, — она говорит.

Что тут ответишь?

А потом она скажет:

— Да, я вас слушаю?

И он ответит:

— Я продаю цветы.

— Но почему же они не пахнут? — она говорит.

— Они бумажные.

— Ах, какая прелесть, — она шепчет.

— Но они не пахнут, — он говорит.

— Запах нельзя изготовить? — сочувствует она.

А можно сразу взять и сказать:

— Я делаю бумажные цветы.

— Ах, как жаль, — она на это скажет, — я тоже бы могла, но я не люблю бумажные цветы.

— И зачем я делаю эти бумажные цветы?" — он будет думать, идя прочь от лавки.

Пионы

В почтовый ящик к одной старушке кто-то сунул букет цветов, цветов из хорошего сада, пышных пионов. Одна старушка принесла другой старушке цветы, обернутые в газетный лист с объявлениями, пышные, как цветная капуста, абсолютно свежие.

Она тяжело дотащилась до города, в черном пальто, в шляпке с вуалеткой, в шерстяных чулках и с пионами. "Адель порадуется, Адель любит цветы", — она себе говорила, и еще: "У нас их полно в саду, девать некуда", и еще: "Адель аж на четвертом этаже живет, суну-ка я их в почтовый ящик, Адель их найдет, конечно; Адель порадуется".

С Аделью в школе никто не водился, и у нее были вши. Адели семьдесят два. Адель заигрывает с молочником, а сдачу пересчитывает, молоко-то дорожает. Роз Адели никогда не дарили. Розы дорогие, и они сразу вянут. А вот насчет герани у нее есть опыт; она толчет яичную скорлупу и долго-долго держит герань в воде, в дождевой воде. И герань разрастается деревцами, и кто ни придет к Адели, обязан про нее говорить. Адель всем рассказывает, как выращивает герань. А у матери ее, она говорит, на всю деревню лучшая герань была.

Адель порадуется. Они хорошо глядятся, пионы. Уж так этот год удались, пышные, как капуста. А под вазу Адель газетку подстелет — с извещениями о смертях.

Адель уже старая. На той неделе соседка умерла, так той семьдесят три было, с восемьдесят девятого, 1889 года. Рак — от старости, Адель знает. Доктора расспросила.

Адель франка не пожалела, когда на венок собирали соседке.

— Добрая душа, — она сказала. — Небось тоже на меня бы франка не пожалела.

Адели семьдесят два, она 1890 года. В 1900 году в четвертом классе была, учитель у них был Видмар, он рыжих любил. Адель в устном счете отличалась. Много кто из класса поумирал, недавно вот Вероника умерла. Других почти никого не видишь. Одна вот когда-никогда в город заглянет, бобов принесет, капусты вилок.

Ноябрь

Ему было страшно, и, говоря кому-нибудь: "Холодает", он ждал утешения.

— Да, ноябрь, — отвечали ему.

— Скоро Рождество, — он говорил.

Он запасся топливом, купил зимнее пальто, он снарядился к зиме, но ему было страшно. Зимой — пропадешь. Зимой чего только не случается, всякие ужасы — война, например. Зимой могут с работы уволить, зимой простужаешься. Можно, конечно, потеплее одеться — шарф, меховой воротник, перчатки. Ну, а вдруг еще больше похолодает?

Теперь тверди не тверди "весна, весна" — что толку.

Витрины озарены, теплыми прикидываются. Но церковные колокола — те звякают и бренчат. В ресторанах жарко, дома дети распахивают окна, оставляют открытой дверь, в лавках покупатели забывают шляпы.

Никто не замечает, как опадают листья. Вдруг — деревья стоят совсем голые. В апреле они опять опушатся, может, в марте даже. И все увидят, как появятся листья.

Снега не будет, нет, откуда теперь снег.

Женщины на холоде хороши, да, женщины хороши.

— К холоду надо привыкнуть, — он говорил. — Надо только глубже дышать и быстрей ходить.

— Что бы мне такое купить детишкам на Рождество? — спрашивал он.

— К холоду привыкаешь, — он говорил.

— Да, холодает, ноябрь, — отвечали ему.

Львы

ДЕДУШКА тоже хотел стать укротителем, назло всем, кто в него не верил, назло всем. Он про это никогда не рассказывал. Он занимался утками на каком-то прудике. И вот он умер, он слишком много пил.

В один прекрасный день он, наверно, понял, что не быть ему укротителем. С того самого дня он стал считать, что ходить в цирк чересчур накладно.

Он женился на прекрасной девушке и делал пометы в календаре о погоде, температуре воздуха, силе ветра. Когда он умер, его деньги поделили. Теперь у каждого — часть дедушки.

Недавно один читатель обратился в редакцию газеты с вопросом, можно ли в возрасте сорока трех лет без предварительной подготовки освоить игру на флейте. Да, ответили ему, нам, кстати, известен некто, освоивший эту игру даже и в шестьдесят четыре года, итак: терпенье, любовь, труд.

Когда дедушка умер, он стал никем. Он усыхал, он расставался с тщеславием, все больше терял рассудок, способность шнуровать ботинки, сдерживать мочеиспускание, а когда умер, он стал никем. Стал покойником.

В старости он часто ходил на похороны, сидел на церковной скамье, растроганный, безучастный, вертел в руке шляпу.

Он плохо спал, засыпал то и дело, где угодно и сразу просыпался. Львы ушли из его снов, а вслед за ними ушли и сами сны. Он уже не разбирался в женской красоте и слишком много оставлял на чай официантке.

Теперь его деньги поделили. Внуки получили и львов и понадежней засунули их под кровати. Так лучше — и ему и нам.

Никто не обращался к дедушке за советом, мудрым он не стал. Зато он состарился. Это очень важно — состариться. Жаль было б, наверно, оставить львов. Львы ушли тихо, дедушка и не заметил. Он умер потому, что слишком много пил.

Музыкальные шкатулки

КАК-ТО она сказала: “Хочу пианино”, и он понял, что скоро в комнату влезет черное чудище. Он сказал: “Нет, не буду я покупать пианино”.

Она расплакалась.

— Не надо мне пианино, — сказал он и ушел к своим шкатулкам.

Он их держал в потайных ящиках своего секретера. Никто ничего не знал. Никто не знал, что одну шкатулку он всегда носит с собой — темного дерева, с выгравированным эдельвейсом. Никто ничего не слышал, шкатулки такие тихие, а шарманку, когда ее заводил, он закутывал в плед. Шарманка стояла в подвале.

Она хотела пианино, и он купил ей пианино. Он бы с удовольствием ей купил шарманку, но этим бы он себя выдал, она бы расплакалась, перестала бы с ним здороваться, а то бы еще встала ночью, сломала будильник ему назло. И конечно взломала бы потайные ящички секретера.

В школе ее учили, что музыкальные шкатулки — мещанство. Музыкальные шкатулки покупают англичане — так говорили в школе. А против того, чему учат в школе, средство одно — потайные ящички секретера.

Теперь она играла на пианино, она говорила:

— Я знаю, ты любишь музыку.

А он слушал, как она играет, и думал: что такое шкатулка против пианино.

Ему бы взять и сказать: "Не хочу, не надо, не играй", но он боялся, он же мог забыть про свои шкатулки, или потерять ключ от секретера, или кто-то мог взломать потайные ящики.

Может, лучше бы взять и все ей рассказать, но она бы поняла его с полуслова и сказала бы, что всегда знала, как он любит музыку.

И он все реже отваживался заводить шкатулки, сидел, слушал ее игру, смотрел на пианино, на ее непослушные пальцы, а вечерами она его обнимала и говорила:

— Я знаю, ты любишь музыку.

Опилки

Ну, а теперь он покажет диапозитивы.

Гости, кажется, — за.

Жена говорила — они такие красочные, связаны с такими дивными воспоминаниями. Пока расставляли кресла, он объяснял гостям преимущества своей камеры, а жена восторгалась морем. Потом он достал экран в черной трубочке, нажал на кнопку, экран взвился, он снова загнал экран в трубочку, лишний раз продемонстрировав работу пружины. Стопка книг придала проектору нужное направление. Требовался удлинитель, его долго искали, потом еще долго искали тройник.

Потом погасили свет.

Потом — все те же картины. Очень синее небо, ватные облака, а тут несколько кадров с Мадлен. Мадлен засмеется и скажет, что плохо вышла, просто кошмарный вид. Потом кто-нибудь заметит, что вот то-то в романском, а то-то в готическом стиле. И все слайды сплошь — прямо как снимки греческих храмов.

После представления у кого-нибудь непременно заболят от света глаза.

У Мадлен в самом деле кошмарный вид.

А теперь можно закрыть глаза и думать про что угодно. Скажем, про плюшевого мишку.

Когда ему вспарывали живот, мама говорила:

— Теперь ему конец.

— Там у него внутри что-то есть.

— Опилки.

Опилки добывают из мишек, в убитых мишек пакуют посуду.

Только через много лет, сейчас, скорей всего в посудной лавке, мы раскаемся в том убийстве.

Теперь плюшевые мишки стали гораздо меньше. Тогда они были большие, рыжие, и что-то было у них внутри, мы это искали в опилках.

— Теперь ему конец.

У снежных баб тоже есть что-то внутри. Нам этого никогда не найти. Станешь искать, от бабы мокрое место останется.

Вот и от мишки ничего не осталось.

Мы по нему тоскуем в посудной лавке. У плюшевых мишек глаза куда преданней, чем у собак.

— Ну все, ему конец, — мама сказала.

Теперь мишек делают без опилок. Скоро для паковки посуды придумают кое-что получше.

И никто не будет вспарывать мишек, рыться в опилках, совать пальцы в их тепло, никто.

Ну а теперь еще несколько кадров с Мадлен.

Его *вечер*

ОН многого ждал от своих похорон, и о церемониале у него являлись все новые идеи. "Не поднимайте лишнего шума", — он говорил жене, или он говорил: "Знаешь ли, я терпеть не могу гвоздику, тебе это надо знать — на всякий случай".

Он был рад, что не умер два года, или пять лет, или десять лет назад, потому что два года назад ему бы в гроб сунули гвоздику, тогда он ее еще любил, а пять лет назад он еще любил духовой оркестр, а десять лет назад он еще был членом одной партии.

Раньше он читал некрологи в газетах. "Как много на свете простых и честных людей", — думал он тогда.

Теперь же все некрологи он находил одинаковыми, и фотографии покойников ему действовали на нервы.

Он говорил жене:

— Я терпеть не могу гвоздику.

Вечером он приходил с работы усталый и злился, что в комнате слишком жарко.

— Ты так много куришь, — говорила ему жена. — Поберег бы себя, — она ему говорила. Он читал газету.

Часто жена пугалась, когда он что-нибудь скажет. Вдруг сложит газету, положит на стол и скажет: "Прекрасно помню, как у нас пустили электричку, я на церемонии был, из федерального совета один выступал". Или расскажет про детекторный приемник, какой был у его отца, с наушниками, один из первых в округе.

Что ей было на это сказать?

И она ничего не говорила, а он сердился.

— По-моему, пора тебе завести книгу расходов, — он говорил.

Жена знала, что он ненавидит своего начальника Бюльмана. Он сам ей говорил. Ей было неловко, когда Бюльман любезно здоровался с ней на улице. Бюльман ходил в велюровой шляпе с зеленой лентой.

Еще она говорила: "У тебя сегодня усталый вид", и он не отвечал, и она говорила: "Может, тебе к врачу сходить?" Или она говорила: "Что бы тебе завтра на ужин приготовить?" или: " Когда тебе отпуск дадут?"

Жена имела право ходить по четвергам в кино. Ей хотелось как-нибудь взять его с собой, чтоб с ним разделить радость, она говорила. А еще она была записана в библиотеку и каждый месяц меняла книги. Спросить его про книги, он бы ответил: "Ну да, Гёте и тэ. пэ".

И с чего этот Бюльман на него взъелся? Конечно, начальник есть начальник.

А может, просто эти модные очки Бюльмана ему действуют на нервы?

— Твой Бюльман тоже был в кино, — говорила жена, придя из кино, а наутро Бюльман говорил: — Ну, как вашей супруге понравился фильм, надеюсь, она развлеклась?

Так проходили его вечера. Он не знал, зачем весь вечер включено радио. Когда он его замечал, оно ему мешало. Он его выключал. Когда оно было выключено, это ему мешало. "Жарко", — он говорил. — Сказано тебе, жарко!" — он говорил. Иногда он прямо кричал. И он укоризненно смотрел на жену и включал радио.

Скучная история.

"Скучная история", — он думал. "Он читает газету", — думала жена. "Не поддавайся ты этому Бюльману", — она говорила.

— Бюльман знает английский.

— Ну, я пошел спать, — говорил он несколько раз перед тем, как пойти спать.

Молочник

МОЛОЧНИК писал в записочке: "Сегодня масла больше нет, сожалею". Фрау Блюм читала записочку, подсчитывала деньги, качала головой, еще раз подсчитывала, потом писала: "Два литра и сто грамм масла, вы вчера мне не принесли масла, а все равно зачли".

Назавтра молочник писал: "Извиняюсь".

Молочник приходит в четыре утра, фрау Блюм его не знает, хорошо бы с ним познакомиться, она часто думает, встать бы как-нибудь в четыре и с ним познакомиться.

Фрау Блюм опасается, как бы молочник не обиделся, как бы не подумал про нее плохо: у нее кастрюля погнутая.

Молочник знает погнутую кастрюлю, это кастрюля фрау Блюм, она в основном берет два литра и сто грамм масла. Молочник знает фрау Блюм. Спросить его про нее, он бы сказал: "Фрау Блюм берет два литра и сто грамм масла, у нее погнутая кастрюля и почерк разборчивый". Фрау Блюм не влезает в долг, тут молочник спокоен. А если случается — всякое ведь случается, — что не хватает десяти сантимов, он пишет в записочке: "Не хватило десять сантимов". И назавтра он, конечно, полу-

чит эти десять сантимов и в записочке "Извиняюсь". "О чем разговор", "Ерунда", – размышляет молочник, но напиши он такое в записочке, получилась бы уже переписка. И он ничего не пишет.

Молочнику неинтересно, на каком этаже живет фрау Блюм, кастрюля стоит внизу, под лестницей. Когда ее там нет, он не беспокоится. В первой команде играл когда-то такой Блюм, того молочник знал, у него уши торчали. Может, у фрау Блюм тоже уши торчат?

У молочников неаппетитно чистые руки, розовые, неловкие, мытые-перемытые. Фрау Блюм про это думает, глядя в его записочки. Надо надеяться, он нашел те десять сантимов. Фрау Блюм не хотелось бы, чтоб молочник плохо о ней подумал, не хотелось бы, чтоб он разговорился с соседкой. Но никто не знает молочника в нашем квартале – никто. К нам он приходит в четыре утра. Молочник – из тех, кто исполняет свой долг. Тот, кто разносит молоко в четыре утра, исполняет свой долг ежедневно, по будням и воскресеньям. Наверно, молочникам мало платят; наверно, то и дело у них не хватает денег, и еще их, наверно, обсчитывают. Молочники не виноваты, что молоко дорожает.

Вообще-то, фрау Блюм не прочь познакомиться с молочником.

Молочник знает фрау Блюм, она берет два литра и сто грамм масла, и у нее кастрюля погнутая.

Господин Гигон

Аминь.

Женщины расходились. Покашливали, охорашивали косынку, одергивали пальто, в конце скамьи поджидали товарку, ей улыбались, толпились, шептались. Некоторые взяли с собой мужей, и те шли за ними, держа за поля шляпы, готовясь надеть. Господин Гигон стоял перед скамьями – Библия в сложенных руках – и тихо кивал открытым лицам. Слова его падали в него самого и тонули.

Он оглядел пустые скамьи, бурое дерево которых хранило пометы скуки вооруженных перочинными ножичками конфирмантов. Долго стоял он перед этими скамьями, их вид был утешен. И потом только он повернулся к оставшимся, отвечал на их вопросы, был благодарен, жал руки, заглядывал в глаза, благодарил за то, что пришли, и потом он смотрел им вслед.

Теперь церковь внутри опять была зеленая, безутешно зеленая в жирной масляной краске, амвон, орган, скамьи, четыре Дюреровых евангелиста, четыре окна, стрельчато устремленные ввысь и даже днем скупо впускавшие свет, а внизу был подвал, а рядом – помещение для чаепитий во время благотворительных базаров, а впереди – скамьи, бурые скамьи с этими их пометами, их сердцами, их именами. И он сел, прикрыл рукой лоб, глаза и нос, погладил себе лицо, задумался, сказал:

– Господи.

Он щупал себе лицо и не знал, молится он еще или нет.

В правой руке у него лежала Библия, не тяжелила руку, легко лежала, чуть ли не выскальзывала. Большим и средним пальцем он щупал глазные яблоки под веками, гладил переносицу, не знал, молится ли он, и не заключал: "Аминь". Потом он снова сказал:

— Господи.

"Господи, пошли мне пьяниц, шлюх и воров, дабы я мог привести их к Тебе", — такой молитве их учили в семинарии. И вот он молился: "Господи", и среди его слушателей ни один не был праведнее его. Он должен бы им сказать: "О, как вы праведны, вы праведны, как Праведники". Он обращался к их розовым лицам, к их евангельски радостным душам, заклиная, совал им в глаза эту черную книгу, кричал: "Здесь — жизнь", и они кивали, как прилежные ученики, и на лицах их светилось: "Да-да, добрый господин Гигон".

И он отвечал на их вопросы.

Смотрел им вслед. Кивал.

Он сел.

Господи.

И он встал, он подошел к амвону, открыл кружку для пожертвований, вынул из портфеля холщовый мешочек, ссыпал туда содержимое кружки, положил мешочек в портфель, обхватил его обеими руками, еще постоял, еще раз оглядел скамьи, сказал что-то.

Чиновники

В двенадцать все выходят они из подъезда, придерживают друг для друга дверь, все в пальто, в шляпах и всегда в одно время — всегда в двенадцать. Желают друг другу приятного аппетита, раскланиваются; все в шляпах.

Вот они ускоряют шаг — на улице всякое может случиться. Движутся к дому, спохватываются, что вдруг чего доброго не заперли конторку. Думают про день жалованья, про лотерею, про тотализатор, про шубку жене, а сами переставляют ноги, и кто-то вдруг думает, как это странно, что вот — переставляются ноги.

За обедом с опаской думают про обратный путь, мало ли что может случиться, и они не любят свою работу, а работать надо, там уж, наверно, народ у окошка, народ приходит, народ задает вопросы. Тут уж с ними ничего не случится, они гордятся своими знаниями, отмеренно их выдают. В конторке у них печать, формуляры, у них народ у окошка. И бывают такие чиновники, которые любят детей, а есть, которые любят салат из редьки, а кто-то удит рыбу после работы, а кто-то курит, предпочитает грубому тонкий табак; и бывают даже такие чиновники, которые ходят без шляп.

И в двенадцать все выходят они из подъезда.

С *моря*

ОСТАЕТСЯ добавить, что мне тут очень нравится, и еще прилагаю открытку, где крестик, там я живу — второй этаж, в окне закрыты ставни. Здесь очень жарко, вчера было больше 30 градусов. Хорошо, что с моря все время веет прохладой.

Письмо, написанное 19 мая, где-то застряло и пришло 25-го — иностранная марка, штемпель неразборчив и еще запах — запах, как всегда

у писем. Она вскрывает его уже на лестнице, проглядывает, застывает у своей двери, дочитывает фразу, слепо нашаривая дверную ручку. Конверт разорван, адреса отправителя не разобрать, виа Альберти, что ли.

Наверно, на море весной неплохо. Хорошо, что с моря все время веет прохладой. 19-го было воскресенье – dolce far niente[1], и было написано это письмо, а в понедельник отнесено на почту, хорошо, что с моря все время веет прохладой. "Хорошо", – и еще несколько фраз про пальмы, Пизу, Венецию. И под адресом стоит SVIZZERA[2], большими буквами, подчеркнуто дважды. Да, кстати, кто собирает марки?

Она складывает письмо, еще раз складывает, складывает в крошечный фантик, потом расправляет, разглаживает, думает. Сегодня шел дождь, и не надо думать про это письмо, лучше представить себе Италию – espresso со стаканчиком воды – acva campari – оливки на тарелочке; наконец она закуривает сигарету, снова складывает письмо.

А он пишет "хорошо", хорошо, что с моря все время веет прохладой. Он у себя в комнате, в воскресенье, где-то на море, на Средиземном море, на виа Альберти, весьма возможно, пишет это письмо, и 25-го, сегодня, оно пришло, и почтальон с газетами, журналами и счетами вместе сунул его в ящик, это письмо, оно не затерялось, на нем указан точный адрес, оно нашло адресата – письмо с моря.

Он пишет то, что пишут с моря, пишет, что оно синее, и он шлет "тысячу приветов", как шлют "тысячу приветов", просит простить его почерк, простить долгое молчанье и пишет, как хорошо, что с моря все время веет прохладой.

А потом, попозже, почтальон бросает письмо в ящик, и под адресом значится Svizzera, и это его почерк, и на море хорошо, ему там очень нравится.

Ножик

ЧЕЛОВЕКА арестовали, вынесли ему приговор. Он стоял перед тюремным чиновником и выворачивал карманы. Чиновник писал: "Красный перочинный ножик, два лезвия, штопор, отвертка".

Человек сказал: "Скверное нынче лето". С людьми он привык разговаривать.

"Лето штрафом не облагается", – мог бы ответить чиновник. Он ничего не ответил. Он знал, что новички норовят поговорить. По циркуляру отвечать не запрещено, но новички вечно норовят поговорить.

Духовая музыка возле тюрьмы играла мелодию – из тех, какие кажутся вам знакомыми. Мелодия надвигалась, бросила несколько тактов прямо в окно, отдалилась, стихла, пропала. И человек улыбнулся.

Для чиновника все это было дело другое. Он работал с семи до двенадцати и с двух до шести, долгий рабочий день.

"Такое лето многое объясняет", – наверно, подумал человек. Он опять улыбнулся.

Чиновник тихо бубнил: "Красный перочинный ножик, два лезвия, штопор, отвертка". Он глянул на арестованного.

1. Сладкое безделье (*итал.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Швейцария (*итал.*).

— Правильно, — сказал человек, а видно, лучше б ему ничего не говорить. Лучше б ничего не говорить. Лучше б ничего не делать, лучше не попадаться.

Многие же вот ничего не делают.

В маршевой музыке тоже есть неприятное что-то. Под нее всего бы лучше стоять. Идешь не думая — попадаешь в такт. Начнешь думать — в такт не попадаешь. Но вокруг все, конечно, заметят. Всем вокруг тоже захочется остановиться, а незаметно остановиться нельзя. Нельзя.

Чиновник работает с семи до двенадцати и с двух до шести. Девять часов — немалое время.

Чиновник был добрый, и у него была семья, недалеко от тюрьмы, сын играл на трубе в деревенском оркестре, и вообще для него все это было дело другое. Но так уж принято — отбирать у кого-то ножик, регистрировать этот ножик и помещать в ящик за номером 834.

Это знал чиновник, и человек это знал.

Вот он и сказал: "Скверное нынче лето", с чего ему было обижаться на чиновника.

Сан-Сальвадор

ОН купил самопишущую ручку.

Много раз начертав на листке свою подпись, потом свои инициалы, свой адрес, провел несколько волнистых линий, написал адрес родителей, потом взял новый листок, аккуратно сложил, написал:

"Мне тут холодно", и потом: "Я еду в Южную Америку", потом он подумал, надел на перо колпачок, оглядел бумагу, увидел, что чернила, высыхая, темнеют (в писчебумажном заверили, что они станут черными), потом снова взялся за перо и добавил свое имя — Пауль.

И еще посидел за столом.

Немного погодя он убрал со стола газеты, проглядев попутно анонсы кино, о чем-то еще подумал, сдвинул пепельницу, разорвал свой листок с волнистыми линиями, выпустил из ручки чернила, набрал снова. В кино он уже опоздал.

Спевка церковного хора кончается в девять, в полдесятого домой придет Хильдегард. Он ждал Хильдегард. Под всю эту музыку. Он выключил радио.

На столе, посередке, лежал сложенный листок, и на нем его синечерное имя — Пауль.

"Мне тут холодно" — было еще на листке.

Ну вот, скоро придет Хильдегард — в полдесятого. Сейчас уже девять. Прочитает его сообщение, испугается, про Южную Америку, конечно, она не поверит, но все-таки пересчитает рубашки в комоде — мало ли что.

И позвонит в "Львы".

"Львы" по средам закрыты.

Она будет улыбаться, отчаиваться, потом, наверно, успокоится.

Безымянным пальцем левой руки будет снова и снова отводить волосы от лица, поправлять вдоль висков, потом, медленно, она расстегнет пальто.

И он сидел за столом, прикидывал, кому бы написать письмо, еще раз перечел инструкцию по пользованию ручкой — слегка покрутить направо, — прочел французский текст, сверил английский с немецким, опять увидел свою записку, думал про пальмы, думал про Хильдегард.

Сидел за столом.

А в полдесятого пришла Хильдегард и спросила:

— Дети спят?

И отвела волосы от лица.

Карты

ГОСПОДИН Курт ни слова не говорит. Сидит и следит за игрой. Четверо бросают карты на стол, тузов, королей, восьмерки, десятки, красных к красным, черных к черным.

Господин Курт заказывает подогретое пиво. Стакан ему ставят в ведерко с горячей водой. То и дело он осторожно поднимает стакан, чтобы стекала вода. Часто он, не отпив, ставит стакан обратно; и снова следит за игрой.

У господина Курта есть свое особое место за столом, никто не знает, с каких это пор и почему. Но к пяти он всегда тут как тут, садится во главе стола, отвечает, когда с ним здороваются, заказывает пиво. И к пиву ему приносят ведерко с горячей водой.

В пять являются остальные четверо, составляют партию, они бывают разные, эти четверо; по понедельникам в основном молодежь; по вторникам коммерсанты, в пятницу четверо школьных друзей 1912 года выпуска, по другим дням еще кто-нибудь. Во главе стола всегда сидит господин Курт. Попивает пиво и сидит до семи. Если игра напряженная, он задерживается на четверть часика, но не дольше, никак не дольше.

Ходят в это кафе и другие, но никто другой не ходит сюда ежедневно. Сам хозяин — и тот здесь не каждый вечер, и у официантки по средам выходной.

Никого не интересует господин Курт. Хотя его много лет знают. У хозяина в записной книжке четырнадцатое июля помечено: "Господин Курт". В этот день, в свой день рождения, господин Курт получает пиво бесплатно. Хозяин не может припомнить, откуда ему известен день рождения господина Курта. Не спросишь же у самого господина Курта.

После игры четверо бросают карты на стол, берут мелок, подсчитывают, и проигравшие платят по счету. Потом обсуждают правила, тактику, спорят, горячатся, препираются, прикидывают, что было бы, если сперва пойти не с десятки, а с короля. Господин Курт в знак согласия кивает, либо он отрицательно трясет головой. И ни слова не говорит.

Не понимай господин Курт правил игры, вся бы жизнь его была сплошным мельканием красных и черных карт. Но в картах он понимает, он понимает игру. Вероятно, он ее понимает.

На похоронах господина Курта все всё про него узна́ют: причину смерти, возраст, место рождения, род занятий. Возможно, все удивятся. А потом, за игрой — неизбежно, — кто-то из четверых скажет, что ему не хватает господина Курта. Но только это неправда, игра имеет свои определенные правила.

Друг животных

ВОТ опять — чем не случай написать рассказ про друга животных, про человека с двумя собаками, который водит собак гулять.

Но мы этот случай опустим, рассказ потерпит, в дальнейшем будет больше друзей животных, а когда будет больше друзей животных, рассказ станет куда неразумней и уже не вызовет недоразумений.

Невозможно с чистой совестью обелять нашего друга животных с двумя собаками, а станешь его очернять — навлечешь на себя подозрения.

Пусть этот наш друг животных будет человеком без возраста, пусть он будет человеком среднего возраста. Наш друг животных пусть будет убежден, что совершает благое дело, гуляя с двумя собаками. И пусть он будет справедлив и собак отнюдь не портит воспитанием. Пусть это будет любитель тихих прогулок, тихих прогулок, но с целью. И, конечно, он не дает собакам жрать ничего горячего, печется о калориях и витаминах. Таковы предпосылки рассказа.

Да, и разумеется, пусть друг животных будет женат и не из тех, кто с собаками разговаривает, а с людьми — нет. Он — друг Англии и враг коров, муравьев, клещей и других собак.

Не полезет в голову другой никакой рассказ — попытаю опять этот, про друга животных. Это, по-моему, мой рассказ, он от меня никуда не денется, потому что собаки меня любят. Они часто мне оказывают знаки внимания. Но я все равно их боюсь. Потому-то, возможно, я и мучаю кошек: кошек я не боюсь.

Но друг животных, чего доброго, еще на меня рассердится, и этот рассказ про него я пишу буквально без всякой охоты. А мне неприятно, что я прямо-таки обязан писать рассказ, и вот именно этот рассказ, что я действую из-под палки. И потому я опять опускаю случай, и часто я подумываю о том, не купить ли мне собаку; тем самым я бы исполнил свой долг.

Тетя

ЕЕ уже то поражало, что, когда ударяешь по клавише, из ящика отвечает звук.

Мама — та, конечно, умела играть. И когда-то обещала ее тоже выучить. Но первый урок откладывали со дня на день, и она все больше благоговела перед черным пианино. Каждая пылинка отражалась в его блеске, дохнешь — и сдувается.

Теперь пианино стало какое-то липкое. Блеска нет с тех пор, как нет мамы, пыль стала зловредная, тряпками не возьмешь, то ли белой покрывай, то ли желтой протирай. Клавиши пожелтели, тоны расстроились и стали еще прекрасней.

Теперь это было старое пианино, и день ото дня оно росло и уже нигде не помещалось. И все вокруг — стол, стулья, ковры — рядом с ним выглядело нелепо. И вот наконец оно стало "мамино пианино", раньше она никогда его так не называла. Его ни отдать, ни продать, на нем даже не поиграешь.

Когда нотариус ей выделил пианино, она радовалась, как невеста. Так ведь и мамочке легче. Она даже внимания не обратила на то, что на пианино не претендует брат, хоть он женатый и у него дети.

Теперь у нее было пианино и воспоминания о пианино. Тряпками она одолевала пыль. Вообще она заботилась о чистоте, чтоб квартира сияла, блестел паркет, чтоб стояла незыблемо мебель, чтоб каждый коврик лежал на своем месте.

Вообще, она пошла в мать, раздалась и обрела милое лицо, какое увидишь в церкви, лицо, какое скоро возненавидели племянники.

Брат никогда к ней не приходил.

В январе она получала несколько написанных из-под палки писем от племянников, благодаривших за подарки, "которые нам понравились". Она терпеть не могла мужчин и восхищалась матерью, столь терпеливо сносившей отца. Она жаловалась соседям на шумных детей других соседей.

Она ведь любила детей.

Раньше она помогала присматривать за школьниками после уроков, но нервы не выдержали. В материнском комитете никого не смущал тот факт, что она не замужем. Ей нравились вылазки материнского комитета на природу, автобусы, сласти.

Порой она жаловалась швейцару, что плохо топят, и когда о ней заходила речь, говорили: "Знали бы вы ее мать..."

В мусорном ведре у нее лежали иллюстрированные журналы, зачитанные до дыр. О ней было известно, что она рано ложится, рано встает, и она вовремя платит налоги.

Она не скучала, нет, она заполняла жизнь усердием, журналами, разговорами, аккуратностью и любовью, и она вязала шапочки и свитера, которые никто не носил. На благотворительном базаре материнского комитета она накупила столько лотерейных билетов, что очаровательная кукла с настоящими волосами и закрывающимися глазами по имени Мерилин была ей почти обеспечена, и она таки ее выиграла. Мерилин сидит теперь на софе, у нее тоже милое лицо.

Она участвовала в конкурсах, покупала маргарин такого-то и такого-то сорта, искала имя греческой богини победы, прикидывала число участников и мечтала об обещанном путешествии в город Пальма на острове Майорка.

И все было мило, чудно, изумительно.

И брат никогда не приходил.

И племянники писали ей из-под палки.

И все больше и больше она становилась похожа на мать.

Она следила за чистотой в квартире. И ей было пятьдесят шесть лет, она сидела у себя в квартире, и никто ее не слышал, не слышал, чтоб она бродила по комнатам, напевала, задергивала шторы. Если б она запела, у нее, как пить дать, оказалось бы высокое сопрано, детское и старушечье одновременно.

И она быстро входила в число тех, кому — зимой особенно, под Рождество особенно — положено делать приятное; кому читают вслух, кому споют песенку, свечку подарят, дров наколют, вытряхнут ковер.

И никто никогда не слышал, чтоб она напевала.

А если вдруг извлекала звук из маминого пианино, так только случайно, когда, например, она протирала клавиши желтой тряпкой.

Дочь

По вечерам они ждали Монику. Она работает в городе, неудобное сообщение. Они, он с женой, сидели за столом, ждали Монику. С тех пор как она работает в городе, ужинать стали в полвосьмого. Раньше на час раньше ужинали. Теперь каждый день сидели за накрытым столом, на своих местах: отец — во главе стола, мать — ближе к кухонной двери — и час битый ждали рядом с пустым стулом Моники. Потом ждали еще — рядом с дымящимся кофе, хлебом, маслом, вареньем.

Она их переросла, и волосы у нее светлей, и кожа у нее — нежная кожа тети Марии. "Она и малышкой была прелесть", — говорила мать, пока они ждали.

В комнате у нее был проигрыватель, она привозила пластинки из города, и она знала, кто на какой поет. И еще у ней было зеркало, разные коробочки, флакончики, пуф марокканской кожи, сигаретница.

Отец получал на службе конверт с жалованьем тоже у одной барышни. Оглядывал штемпели на полке, дивился нежному шороху счетов, барышниным светлым волосам, и она так любезно говорила "Пожалуйста", когда он ее благодарил.

Обедала Моника в городе, кое-что, как она выражалась, перехватывала в буфете. И была тогда барышней, одной из тех, что сидят в буфете, из тех, что смеются и курят.

Часто они просили ее рассказать, что она делает в городе, у себя на службе. Ей нечего было рассказывать.

Они пытались хотя бы себе представить, как она на вокзале, спеша, выхватывает из красной сумочки сезонный билет, предъявляет, как по пути на службу весело болтает с подружкой, как она улыбается в ответ на поклон какого-то господина.

Но чаще они себе представляли, как вот она придет, сумочка, модный журнал под мышкой, запах ее духов; себе представляли, как она сядет за стол, и они будут ужинать.

Скоро она снимет комнату в городе — дело известное, и будут они тогда снова ужинать в полседьмого, и снова отец после работы будет читать газету, и не будет уже комнаты с этим проигрывателем, и не придется битый час ждать. На шкафу стояла ваза синего шведского стекла, ваза из города, предложенный модным журналом образчик подарка.

— Она в твою сестру пошла, — жена говорила. — Вся в твою сестру. А помнишь, как твоя сестра чудно пела?

— Другие девушки тоже курят, — мать говорила.

— Да, — он говорил. — Вот и я говорю.

— Подруга ее недавно замуж вышла, — мать говорила.

И она замуж выйдет, — он думал, — будет в городе жить.

Недавно он упрашивал Монику: "Ну скажи что-нибудь по-французски". "Да, — подхватила мать, — скажи что-нибудь по-французски". Но ей нечего было сказать.

Она и стенографию знает, — он думал. А нам она оказалась не по зубам — сколько уж про это говорено-переговорено.

Но вот мать ставила кофе на стол. "Я слышала поезд", — она говорила.

Роман

ОДИН человек влюбляется в одну девушку. Девушка знает, что он влюблен. Человек приглядывается к ее походке, к ее ногам, разузнает ее имя.

Он говорит жене: "Она хорошенькая". Жена с этим согласна. "И она милая", — он говорит.

Когда жена улыбается, между губами белеет полоса зубов. Улыбка гаснет, белая полоса остается.

Девушка не улыбается.

Человек разглядывает себя в зеркале.

В Локарно он выдерживает только неделю. В аптеке — барышня, похожая на ту девушку. В белом фартучке. На следующей же неделе он уезжает домой, правда, в поезде разговаривается с попутчиком.

Девушка между тем поступила на службу в Лондоне. Он об этом узнаёт.

И решает осенью снова ехать в Локарно.

Жена давно уж твердит, что надо купить телевизор. Он прикидывает затраты, больше тысячи франков, включая антенну и установку. Осенью он едет в Локарно. Нарочно выбирает отель в противоположном конце города. Там в аптеке другая барышня. В белом фартучке.

Серьезная болезнь жены его вынуждает прервать отпуск.

Теперь у них есть телевизор.

Девушка в Лондоне покрасила волосы.

Он, годы спустя, опять пишет брату в Америку, неделями ждет ответа.

Меж тем вошла в силу другая партия.

Меж тем наступила весна.

Раз уж взялась за изучение иностранных языков, девушка заодно хочет выучить испанский.

За последние три недели он видел ее два раза.

Окраска волос разочаровала его.

Она собралась в Барселону.

Он аннулирует заказ на номер в отеле.

Он теперь очень занят на службе.

Зимой его направляют в Давос. Даже для тех, кто не занимается зимним спортом, Давос предлагает множество красот и соблазнов.

Жена сопровождает его в Давос.

В почтовом ящике ждет открытка из Америки — от брата. С бездной орфографических ошибок.

Теперь он по воскресеньям снова прогуливается с женой. И приносит домой срезанный с дерева прутик.

Сын объявляет, что в этом году хочет взять отпуск в мае. Вместе с одним сотрудником едет в Испанию.

Жена заранее запасается проспектом Давоса в бюро путешествий. "Правда, они все зимние", — извиняется барышня.

Бронзово-загорелый, протащив через таможню бутылку шартреза, сын возвращается из Испании.

Объяснение

УТРОМ выпал снег.

Можно бы радоваться. Строить избушки из снега, лепить снеговиков, пусть сторожат дома.

Снег утешает, вот и всё — и он держит тепло, говорят, если в него зарыться.

Но он забивается в обувь, не дает проехать автомобилям, из-за него поезда сходят с рельс и отрезаны дальние деревни.

Из книги "Зимняя школа изабеллового цвета под началом доктора Шляйера"

Африканская зимняя сказка

НАСЧЕТ фамилии надо еще глянуть, а вот титул его я наизусть помню: "Начальник правления королевской сельскохозяйственной зимней школы". "Начальник" мне, тогда еще маленькому, являлся исключительно в образе начальника станции, что же до "зимней школы", она отдавала сладостью сказки — школа со станцией, школа, тающая в сплошной белизне.

Итак, сначала: этот самый доктор Авг. Шляйер, начальник правления школы, не только зимней, но и королевской, — автор книги "Млекопитающие земли", той книги, которая мне открыла глаза на мир. Книга была дедушкина, она стояла у него рядом с Библией на буфете. И точно так же, как мой набожный дедушка называл Библию просто Книга, та, что рядом, стала просто Книгой — для меня.

Когда с родителями, а то и с другими родственниками — увы — мне приходилось посещать дедушку, у меня было утешение — Книга. Я с ней провел, наверно, сотни часов. Вообще-то, я очень любил дедушку, просто я не любил его посещать вместе со взрослыми, они мне мешали. Они мне мешали, когда я сидел, скорчась над Книгой, а они своей бытовой болтовней тянули меня из африканской степи обратно в Цофинген, где жил дедушка, — но когда мы с дедушкой были одни, он тоже жил в африканской степи.

Потом уж, когда я кое-как научился читать, я, кажется, десятки раз перечитал эту Книгу: "Ягуар весьма кровожадный зверь, обитающий, главным образом, в Южной Америке", и "Сиамская кошка обладает короткой, гладкой шерстью изабеллового цвета". Я по сей день не знаю, каков он, этот изабелловый цвет, синоним "соловый" тоже мало что проясняет, но ясно одно: это цвет зимней школы, той волшебной зимней школы, которая начинается где-то на станции, а далее ведет в африканскую степь, где заодно в своей Южной Америке обитает, главным образом, тот ягуар.

В общем-то, при таких условиях из меня мог бы выйти большой друг животных, страстный посетитель зоопарка или даже серьезный специалист по степной фауне. Но ничего такого из меня не вышло — только рьяный ученик той сказочной зимней школы изабеллового цвета.

Книга теперь перешла ко мне. И стоит она теперь не наедине с Библией, но на большом стеллаже. И мне даже чуть-чуть обидно, что Книга, в которой есть всё-всё-всё, должна стоять рядом с бездной книг, в которых от силы есть всего-то навсего кое-что. Время от времени я ее открываю, и сперва меня всегда постигает разочарование, с первого взгляда она уже так не ошарашивает яркостью, но потом, со второго взгляда, она окрашивается в цвет памяти, которого, как и цвета изабеллового, нет в природе, нет в нашем мире, зато это цвет того мира, который начинается на станции доктора Шляйера, начальника королевской сельскохозяйственной станции.

Пойми я тогда эту книгу правильно, из меня бы вышел любитель животных, любитель млекопитающих, но, к счастью моему, я понял ее неправильно — в этих "Млекопитающих земли", собственно, не млекопитающие, но сама земля тогда захватила меня, эта земля, вся она, целиком, расположенная где-то в Африке.

Я так и не был в Африке. В том-то и суть изабелловой школы, что учась в ней, ты учишься не преуспевать и двигаться дальше, но оставаться там, где ты есть, и мечтать. Впрочем, у Книги был еще запах, сильный, едкий, он на целые часы прилипает к пальцам. Для меня этот запах стал запахом букв. Что бы я ни читал, от букв на меня веет зимней сельскохозяйственной школой. И где бы, между прочим, Книга ни побывала, в аккуратном ли доме родителей, в моем ли беспорядочном доме, этот запах не выдыхается. Руки надо мыть не перед тем, как за нее берешься, а после — я их вообще не мыл. Королевский, царственный Шляйер даже и не поминает про то, что барсук воняет, — по-моему, это исключительно благородно и тактично с его стороны.

Хорошая это была школа, зимняя школа на станции, и тем она была хороша, что в ней не надо было изучать ничего, только землю, а именно — что она есть, что она велика и обильна. Я в этой школе мог все понимать неправильно, и этой привилегией я воспользовался сполна. В результате не осталось ничего, только запах, и этот запах меня сопровождает всю жизнь — запах букв.

Только подумать, что бы могло получиться, ходи я исключительно в школу, где бы изучали одни обыкновенные вещи, млекопитающих, скажем, но где зато пестовали бы дарования, и мое дарование по части млекопитающих там бы заметили. Наверно, тогда я поехал бы в Африку, но, конечно, не в ту Африку, где зимней школой изабеллового цвета правит начальник станции доктор Шляйер.

В *начале было слово*

БУДЕТ жить-быть когда-то один старик, и вот в 2078 году, так я это себе представляю, этот старик сядет в поезд, чтобы наконец-то проделать путь, который уже семьдесят шесть лет тому назад ему надо было проделать.

В доме для престарелых он не объявится за завтраком, за обедом, не объявится и за ужином. Поднимется переполох. Соседей по столу будут спрашивать, не знают ли они чего. Никто ничего не знает.

— Правда, — скажет один, — он все говорил слова, целый день говорил "Самарканд", и "Саламанка", и "Салерно", он говорил "Санта-Крус", и он говорил "Александрия", но он только такие слова говорил, бывало целый день говорит "Саламанка", как будто это имя его давней возлюбленной.

Под самый Сочельник — за 76 лет до того — я сижу в поезде, и незадолго до Цюриха по радио нам объявляют: "Следующая остановка Цюрих — далее поезд следует на Цюрихский аэродром, Винтертур, Госсау, Санкт-Гален". Замечаю, что говорящая чересчур тянет "о" в "Госсау", прямо-таки смакует, как конфетку, и тут же слышу детский голос почти рядом со мной. Он повторяет: "Го-оссау, Го-оссау", и потом:

— Мам, ты слыхала, она сказала Гоосау, Гоосау.

Мать не выражает восторга, видно, уже сыта по горло разными прекрасными словами, но мальчишка настаивает:

— Но она же сказала Гооссау, — и, после паузы, во время которой это слово, конечно, молотом стучит не только у него, но и у меня, и у его матери в голове: — Мам, мы едем в Госсау.

Он не просит, не клянчит, не молит, он не бушует, он просто утверждает спокойно, что мы едем в Госсау. Я уж и сам прикидываю, не следует ли мне отставить свое дело в Цюрихе и ехать в Госсау. Мальчик разбудил в слове звук. Теперь Госсау не просто обозначение места, которого мы с ним оба не знаем, это слово теперь обрело звук — как звук безобразного имени прекрасной женщины, которую любишь.

— Госсау, это ж даль какая, это под самым Санкт-Галленом, — вступает наконец мать.

— Ничего, я папе сказал, что мы будем долго ехать.

Цюрих — я выхожу.

Полагаю, они вышли в Винтертуре. И, полагаю, малыш подчинился без ропота и тихо затопотал рядом с матерью, тихо про себя повторяя "Госсау", снова и снова.

В детстве я решил съездить как-нибудь в Айзенах. Слово крепко засело у меня в голове — "Айзенах". В одной из немногих книг, какие были у нас в доме, в "Большой книге Лютера", Айзенах был представлен старинной гравюрой, темный, ночной, с единственным озаренным окном, как в детском рождественском календаре. Но куда больше этой картинки пленил меня самый звук слова, и желание туда поехать засело во мне, — тем прочней, что тогда, после войны, осуществить его было затруднительно: Айзенах был в ГДР. Это избавляло меня от труда исполнять свое желание. Зато теперь я часто проезжаю мимо Айзенаха. И никогда не пропущу вокзального щита, на котором крупно, черным по белому означено: АЙЗЕНАХ. И каждый раз я радуюсь, как будто сам город меня никогда не манил, а манило слово, имя, которое только здесь, на вокзале Айзенаха, получает реальное воплощение. Здесь, на вокзале, где начинается город, которого я никогда не видел, — в начале было Слово.

Но вернемся к нашему рассказу, вернемся в 2078 год: итак, старик, тот, который под самый Сочельник убеждал свою мать ехать гораздо дальше их Винтертура, тот старик теперь идет на вокзал, покупает билет и едет,

потому что пора, пора наконец поехать в Госсау. И будь это рассказ, он бы уселся в вокзальном буфете, заказал две рюмочки красненького, сразу бы расплатился, и над этим бы красненьким он и уснул — навсегда.

Но это не рассказ, а действительность, а в действительности он выйдет в Госсау, увидит на вокзальном щите это дивное имя Госсау, белым по синему, беззвучно пожует это имя губами, как читающее дитя, потом сядет на скамейку, подождет следующего поезда и на этом поезде поедет обратно в свой дом для престарелых.

Петер фон Матт

Смех, и лукавство, и любовь

С Петером Бикселем скучать не приходится. То, что у других воспринимается с легкостью, у него дается с трудом, а что у других — с трудом, то у него — с легкостью. Взять хотя бы фамилию. Фриша и в Швейцарии, и в Германии зовут Фришем, Мушга — Мушгом, а Видмера именуют Видмером по ту и по сю сторону Боденского озера. Но Бикселя называют Бикселем только в Германии. В Швейцарии он — Бикхсель. С таким ужасным гортанным хрипением, которое немецкому уху напоминает скорее о каменоломнях и скрежете зубовном, чем о нормальном человеческом общении. В Германии "фукс" (лиса) остается "фуксом", "лукс" (рысь) — "луксом", а "дакс" (барсук) — "даксом". А вот в Швейцарии их зовут "фуккхс", "лукхс" и "дакхс". Так что с пересечением границы все четверо — "фукс", "лукс", "дакс" и Биксель — получают новые имена. К тому же все четверо заядлые полуночники, вызывающие в обывательской среде смутные подозрения. За "фуксом" закрепилась слава охотника до кур, "лукс" будто бы не уважает ягнячьей кротости, "дакс" настолько умело роет свою нору, что его невозможно поймать, а Петеру Бикселю приписывают сразу три вышеупомянутых качества. И разумеется, не подлежит сомнению, что "фукс", "лукс", "дакс" и Биксель опасны для всяких там землероек и грызунов, и Бикхсель — в еще большей степени, чем Биксель.

Но о фонетике достаточно.

Простое становится у этого писателя трудным, а трудное — простым. Это относится к его предложениям, его рассказам, его искусству в целом.

С виду они настолько незамысловаты, что кажется, будто их автор решил максимально облегчить задачу читателям. Поясню на примере. Всех художников слова можно разделить на группы и классы в зависимости от того, какие средства они используют для описания погоды. Допустим, кто-то живописует атмосферные явления следующим образом:

© 2001 Carl Hanser Verlag, München, Wien
© С. Городецкий. Перевод, 2008

"Осклизлые облака сгрудились и превратились в серую, кашеобразную массу, а ветер принялся раскачивать верхушки деревьев, заставляя птиц с дикими криками метаться в поисках пристанища и наконец боязливо умолкать, в то время как люди, застигнутые врасплох первыми каплями дождя, сгорбившись, бежали к своим домам; легкое накрапывание вскоре переросло в немолчный, барабанящий ливень, клокочущий в сточных канавах, гремящий по водосточным желобам, и редко проезжавшие машины выбрасывали на тротуары широкие струи воды". Петер Бикселя для передачи той же картины только и напишет: "Пошел дождь".

Правда, Биксель умеет так написать предложение "Пошел дождь", что невольно втянешь голову в плечи, почувствовав, как капли падают за воротник. Была бы у него возможность, он вообще писал бы только рассказы длиной с предложение "Пошел дождь". Может, когда-нибудь ему еще удастся написать целый сборник смешных и трогательных историй, каждая из которых по длине не будет превышать предложения "Пошел дождь". Особенность бикселевского творчества заключается в кажущейся простоте, которая прямо на наших глазах усложняется, становясь глубже и многограннее.

Я пытался отыскать прапроизведение этого писателя. Так же, как Гёте пытался отыскать прарастение, содержащее в себе зачатки всех остальных. Должно же быть такое произведение, подумал я. Каждый автор рано или поздно пишет свое прапроизведение с зачатками всех остальных. И если Гёте искал прарастение в ботаническом саду Палермо, то я обратился к собранию сочинений Бикселя. При этом я обнаружил, что, во-первых, последнее гораздо занимательнее ботанического сада в Палермо, который много лет назад своей запущенностью произвел на меня тягостное впечатление, а во-вторых, в отличие от Гёте, я даже нашел то, что искал. Прапроизведение Бикселя, конечно, длиннее предложения "Пошел дождь", но ненамного. Оно располагается посреди одной из его малоизвестных книг, маленького шедевра, одного из немногих убедительных примеров roman nouveau[1] в немецкой литературе. Эта книга, до сих пор пребывающая в тени двух сенсационных успехов Бикселя — "Молочника" и "Рассказов для детей", — называется "Времена года". В ее композиции, в свободном сочетании отдельных элементов есть что-то пленительно музыкальное. Эту книгу вполне мог бы написать Джон Кейдж, если бы Джон Кейдж родился в Золотурне. На 54-й странице вышеозначенного труда весьма непосредственно и без особых последствий для дальнейшего повествования перед нами предстает прапроизведение Петера Бикселя. Оно занимает чуть меньше полутора строк и звучит так:

"Пьяный поднимает голову, смотрит на меня, говорит, я все тебе расскажу, и молчит".

Можно только мечтать о том, чтобы проследить, как этот рассказ по-разному воспринимается читателями и читательницами, постепенно обрастая теми или иными трактовками, разрешая скрытые в нем загадки и одновременно порождая новые.

Сам по себе рассказ комичен, но взрывов хохота не вызывает. Если бы вызывал, стал бы анекдотом. Против хороших анекдотов я ничего не имею, они не менее редки, чем хорошие книги, но этот рассказ к их чис-

1. Нового романа (*франц.*).

лу не относится. Прапроизведение Бикселя не содержит остро́ты, но обладает классической структурой комического: нагнетаемое ожидание в итоге ничем не разрешается. Подобный комизм не взрывоопасен, для него более характерны медлительность и плавность. Вместо того чтобы расхохотаться, мы недоуменно улыбаемся и начинаем размышлять. Почему молчит человек, которому Биксель посвящает полторы строчки? Быть может, он слишком пьян, чтобы подбирать слова? Но зачем же тогда он пообещал своему собеседнику, что все расскажет? Ведь в рассказе речь идет о встрече, встрече двух пар глаз, двух людей. "Пьяный поднимает голову". А до этого он что, сидел, целиком погрузившись в себя? После чего произошла встреча, пересечение взглядов, пробудившее тягу к разговору? Очевидно, взаимное доверие нежданно зародилось между двумя посетителями пивной, двумя полуночниками. "Я все тебе расскажу" — достаточно весомое заявление. За ним может последовать целая исповедь, исповедь о нелегкой жизни, приведшей к пьянству. "Я все тебе расскажу", — говорит человек — и молчит. Биксель не пишет: "...но молчит", он пишет: "...и молчит". Пишет так, словно этим все сказано. Или молчание и есть обещанный рассказ? Может, подразумеваемое родство душ делает долгую повесть о неудавшейся жизни излишней? И насколько правдивой была бы эта повесть? Разве не способен каждый из нас в два счета выдумать себе подходящую биографию? Однако какой бы курьезной ни была данная биография, вряд ли она впечатлила бы нас больше, чем вступление: "Я все тебе расскажу". Какой бы комичной она ни была, вряд ли оказалась бы комичнее воцарившегося молчания. И даже если бы она была превосходно рассказана, рассказать саму историю было бы легче, чем рассказывать ее молчание, как это делает Биксель.

В этом-то и заключается искусство Петера Бикселя: рассказывать молчание, за которым стоит целая жизнь.

Вальтер Беньямин написал однажды эссе о Бикселе, хотя самому Бикселю тогда не было и двух лет. Это эссе по сей день остается лучшей работой о нем. Оно называется "Рассказчик"[1], там говорится:

> Среди записывающих свои истории великими слыли те, чьи письменные свидетельства в наименьшей степени отличались от устного слова множества безымянных рассказчиков.

Бикселевский пьяный относится именно к таким безымянным рассказчикам, а искусство Бикселя позволяет нам услышать его рассказ. У Бикселя особо острый слух к безымянным рассказчикам, острый слух полуночника. Пивные Золотурна и Ольтена, Берлина и Франкфурта входят в среду его обитания, потому что он наделен этим слухом и желанием слушать. Биксель так же страстно жаждет услышать речь безымянных рассказчиков, как Лихтенберг жаждал увидеть лица обитателей лондонских трущоб. Лихтенберг, по собственному его признанию, даже рисковал жизнью ради возможности вглядеться в безымянные лица. В них ему открывался лик человечества. Физиогномика Бикселя носит акустический

1. В. Беньямин. Рассказчик. Размышления о творчестве Николая Лескова. Перевод А. Белобратова // Вальтер Беньямин. Маски времени. — СПб.: Симпозиум, 2004.

характер. В кратких репликах, брошенных за кружкой пива, он слышит невыразимо печальную и невозможно смешную историю человечества.

Разумеется, Биксель при этом не превращается в красноречивого адвоката безымянных людей, которые сами не способны ничего о себе рассказать. Такими адвокатами были Диккенс и Готхельф, Фолкнер, и Дёблин, и Гарсиа Маркес. Биксель рассказывает *неспособность* рассказать. Неспособность рассказать все то, что тяготит и окрыляет, ужасает и радует. А такое повествование всегда комично и трогательно.

Литературный модернизм был неудачной попыткой вернуть нам целостный мир, рассказывая о нем; и неудача эта со времен Гофмансталя и Музиля впечаталась в наше сознание каленым клеймом. А многочисленные попытки хотя бы рассказать об этой неудачной попытке подарили нам несколько превосходных романов. Новизна Бикселя заключается в том, что он видит отражение эстетического кризиса модернизма в речи людей, которые хотят рассказать случившуюся с ними историю, но не могут — а он, Биксель, позволяет нам увидеть и услышать это. Вот почему Биксель — и современный писатель, и близкий родственник тех великих мастеров, о которых писал Беньямин. Биксель, как и Иоганн Петер Хебель, и Чехов, и Марилуиза Фляйсер, не смотрит на людей свысока. Он — в качестве рассказчика — движется среди них как равный, всегда сохраняя дистанцию для внимательного наблюдения. И из подобного сочетания близости и отдаленности возникает драгоценная ирония его рассказов. Он заставляет нас смеяться, но он никогда не высмеивает своих героев. Нельзя одновременно любить и высмеивать, а Петер Биксель любит тех, о ком пишет. Хвастунов, лентяев, неудачников, слабых и сильных мира сего, с чьей помощью он заставляет нас смеяться, он не высмеивает и даже — художественными средствами — препятствует тому, чтобы в высмеивание превратился наш смех. Получается, что возникновением обширного паноптикума трогательных и гротескных персонажей этого писателя мы обязаны старой как мир любви к людям.

Хотя, разумеется, это не значит, что Биксель не умеет ненавидеть! Смиренным его никак не назовешь. Существует и гневный, разъяренный, обличающий, агрессивный Биксель. Когда он видит грубую силу, с ухмылкой кичащуюся своей властью, то становится просто-таки опасным. Его фразы проникаются ожесточением и злобой. Они бьют точно в цель, и кое-кому приходится потом годами скрывать синяки под своим щегольским костюмом. Тогда становится заметным, что изощренное искусство Бикселя, его добродушная ирония и тонкий юмор неразрывно связаны с твердой политической позицией.

Шопенгауэр сказал как-то, что за веселостью всех великих юмористов скрывается истинная серьезность. Это видно и на примере Петера Бикселя. Однако у творчества Бикселя есть и другая характерная черта. Кто хоть раз слышал, как этот человек рассказывает анекдоты, смешные анекдоты, с лукавой обстоятельностью вступления и молниеносной концовкой, тот знает, что Биксель — не только философ, чей смех рождается из глубин мироздания, но и завзятый комедиант, не понаслышке знакомый с искусством повествования, готовый в любую минуту провести читателей и слушателей: обвести их вокруг пальца и вывести на чистую воду.

Перевод с немецкого С. Городецкого

Читатель. Повествование

Истории, написанные жизнью

Пятая Франкфуртская лекция

Перевод с немецкого А. Егоршева

К названию этой моей последней лекции я присовокупляю подзаголовок "Смысл литературы", а эпиграфом для нее пусть будет уже несколько раз процитированный мною афоризм Оскара Уайльда: "Жизнь чаще подражает искусству, чем искусство — жизни".

Название же я придумал не для вас, а для себя — дабы перехитрить не вас, а самого себя. Пытаюсь соблазнить свою душу позитивизмом.

Если бы моя цель была педагогической, то мне стоило бы теперь повторить первую лекцию, чтобы вы могли решить, были ли приведенные мною примеры достаточно убедительными, подтверждали ли они высказанные в первой лекции положения. Но моя цель — не педагогическая, она, так сказать, повествовательного характера. Поэтому мне не остается ничего другого, как говорить о том же, но — иными словами. Литература, я убежден в этом, есть повторение. Истории сего мира уже написаны: они — в Библии, в сказаниях хасидов, у Гомера. Тот, кто читает Гёте, Адальберта Штифтера, Фонтане, знает о мире не меньше, чем читающий Генриха Манна, Гюнтера Грасса, Мартина Вальзера. Истории, которые тем не менее пишутся вновь и вновь, пишутся не потому, что мы нуждаемся в новых историях. Они пишутся, дабы не умерла традиция повествования, традиция писания историй. Старых историй хватило бы, чтобы выстоять в жизни, но кому захочется жить в мире, где не рождаются новые истории, в мире, где существует только История и никаких историй? Это означало бы, что государство и общество заинтересованы лишь в продуктах деятельности писателей, но не в поддержке самих писателей, это означало бы, что от литературы они отказываются. Литература есть нечто существующее как производство, а не просто как его результаты, хотя понять это в условиях рыночной экономики трудно. Порой у меня возникает впечатление, что нечитатели понимают это лучше читателей, ибо необходимость существования литературы осознается и нечитателями. Я — так вышло — до сих пор не читал Достоевского. Тем не менее он для меня существует, и я не хотел бы его лишиться.

Когда я сам пишу истории, то ни с кем себя не сравниваю. Не бросаю пера из-за того, что у Клеменса Брентано истории получались лучше, а то, что они у кого-то, возможно, получаются хуже, меня просто не интересует. Берясь за перо, я ни с кем в соревнование не вступаю, а если кому-то подражаю, например, Роберту Вальзеру, то лишь потому, что вышел на то же поле, поле литературы, и там осматриваюсь. Не исключено, что я охотнее стал бы подражать другим писателям, но выбирать я, к сожалению, не могу. Как писатель я несвободен. Как читатель же об-

© 1982 by Hermann Luchterhand Verlag GmbH&Co KG, Darmstadt und Neuwied
© А. Егоршев. Перевод, 2008

ладаю свободой и потому в этом качестве получаю намного больше удовольствия. От природы у меня нет таланта. Рассказывать истории, писать истории, придумывать истории я научился. Когда я появился на свет, все эти умения уже существовали, и их можно было освоить.

В одной из лекций я попытался это объяснить, пересказав историю, с которой начинается роман "Годы учения Вильгельма Майстера", и размышляя над тем, как и с какой целью Гёте ее написал. Однако прибегая к такому приему, рискуешь быть неправильно понятым — по той простой причине, что нельзя сказать: "Например, Гёте". Присутствие Гёте в литературе слишком ощутимо, чтобы его можно было использовать в своих целях — употребить с дешевым "например". Осмелюсь поэтому поразмышлять над случаем из собственного творчества.

Маленькое предварительное замечание: вы не ошибетесь, если расцените следующую историю как автобиографическую и только как таковую. Но откажитесь, пожалуйста, от мысли говорить со мной о ее автобиографичности. Я буду все отрицать и отстаивать свое право на вымысел.

Вот история из "Историй не ко времени" под названием "Моему коллеге — без иронии — к пятидесятилетию".

Нольди — писатель.

Маленький, толстый человечек с красновато-сизым лицом, фабричный рабочий, в настоящее время без работы, болен, должен вскоре лечь в больницу на операцию, пупковая грыжа, и он очень боится, потому что вскоре ему стукнет пятьдесят, и он говорит, что хотел бы дожить до пятидесяти, хотел бы отпраздновать свой пятидесятый год рождения.

Нольди страшно гордится тем, что ему исполнится пятьдесят. Он считает "пятьдесят" очень большим числом, а пятьдесят лет — почтенным возрастом. Еще два года назад он говорил, что через два года ему будет пятьдесят. Мне трудно сказать ему, что он выглядит моложе своих лет — возраст наложил на его черты глубокий отпечаток, и ему можно дать больше, — я просто хлопаю его по плечу и говорю: "Молодцом, Нольди!", или что-нибудь в том же роде.

Его пятидесятилетний юбилей будет заключаться в том, что на своих кривых, коротких ножках он пойдет по городу, рассказывая каждому встречному про день рождения; что хозяин трактира бесплатно нальет ему вина, а он настоит на том, чтобы кружка пива была оплачена им самим. В какой-то момент он растрогается и пустит слезу, а потом будет говорить: кто бы мог подумать, что старине Нольди стукнет пятьдесят.

Он говорит невнятно и в нос, и надо хоть раз услышать его коронную фразу, когда он ее произносит громко, чтобы понять то же самое, когда он говорит полушепотом: "Вот удивятся все, узнав о моей смерти".

Я возражаю ему: "Не удивятся — они никогда ничему не удивляются". Мы — коллеги, мы понимаем друг друга, а нас не понимают. Мы выпиваем еще по кружке пива.

— Кто бы мог подумать, что я попаду на киноэкран, — говорит Нольди.

Фильм снимали здесь, в городе, и Нольди был статистом, но играл он не кого-нибудь, а журналиста, и должен был все время что-то записывать в блокнот. Он еще помнит, как звали того, кто делал фильм, — Рольф Лисси. В Цюрихе он тоже оказался однажды на съемках, с Эльке Зоммер, говорит он, изображал там прохожего и получил почти сто франков, там он должен был ходить, а это очень тяжело. Правда, ему не сказали, как называется фильм, и он его не видел.

Но однажды, неожиданно для всех и для него самого, его, Нольди, увидят идущим — на экране телевизора. Ведь он когда-то мечтал играть на любительской сцене. Но мать этого не хотела. Он даже помнит имя человека в Берне, который давал уроки — Марк Досвальд, — и помнит, что́ там надо было делать: очень, очень четко и правильно говорить на немецком литературном языке. Когда я его спрашиваю, был ли он хоть раз у того человека, он уходит от ответа — ибо Нольди никогда не врет, — и называет еще одно имя — Эккехард Колунд.

Потому он и стал писателем.

— Я знаю, что ты делаешь, — сказал он, когда мы первый раз встретились в пивной. — Ты наблюдаешь, и тем же самым занимаюсь я, причем обычно записываю то, что вижу, в маленькую записную книжку, сегодня я ее с собой не захватил, но это неважно. У меня все в голове.

— Нет, я не наблюдаю, — сказал я, — я пью пиво.

Это не помогло. Коллега застал меня с поличным, мы стали сообщниками, которые знают, что они не просто пьют пиво, как другие, а наблюдают.

— Все это у меня от моего учителя, — говорит он.

Я знал его, этого учителя, к тому же литератора, он писал на диалекте. Похоже, он пытался привить своим ученикам уважение к писателям. Один из сотен, кажется, это понял — маленький, толстый Нольди, с двойками по физкультуре и арифметике, маленький толстый кривоногий Нольди, с парты в предпоследнем ряду, — он это понял.

Писатели бедны, понял он, и он тоже беден. Писателей не признают, понял он, и он тоже не признан. И живут писатели по-другому, это он тоже понял, и он живет по-другому.

И ему, Нольди, не остается ничего другого, кроме как стать писателем, если он кем-то хочет стать. И вот он им стал.

Его истории мало чем отличаются от историй, сочиненных писателями, или не отличаются вообще. Взять хотя бы его историю о потерянной рукописи. Объем рукописи он показывает, сблизив указательный и большой пальцы, — страниц четыреста, прикидываю я, готовая рукопись. А потом, во время каникул, пришли дети и разрисовали все цветными карандашами, рассказывает он. Он был когда-то женат, но об этом он не рассказывает, да и представить себе это трудно.

Что же касается истории с рукописью: "Я снова начну писать после операции, после дня рождения", — и раз за разом он рассказывает о детях, все размалевавших во время каникул, а под конец во взгляде его проскакивает искра непоколебимости: "У меня все в голове, каждое слово, и я все опять напишу — завтра, послезавтра, после дня рождения, после операции". Я пытаюсь уговорить его сделать это еще сегодня — не по дружбе, а из зловредности, ибо я знаю, что он отвергнет мой совет, и он отвергает его.

Потом, после очередной кружки пива, он говорит: "Нет, все-таки сегодня я начну, чувствую это нутром". А я говорю: "Нольди, на что хочешь поспорим, ты этого не сделаешь". Мы — коллеги.

Подозреваю, что он еще ничего не написал.

— Сделаю, сделаю, сделаю, — говорит он упрямо.

А вчера он доверительно сообщил мне название. Оно пришло ему на ум за полчаса до того: "Заколодило"[1].

"Совсем нелегкое это дело — быть писателем", — констатировали мы оба.

— Писать на диалекте, — говорит Нольди, — очень тяжело.

1. Нет счастья, нет удачи (Вл. Даль). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— Я бы не мог, — говорю я.

И, может быть, люди удивятся.

И в одном он имеет передо мной преимущество: он обо мне не пишет, и из-за него не возникает подозрения, что я смешон.

Нольди — писатель, а писателям живется нелегко. Но об этом ему рассказывал еще его учитель, а Нольди и без того живется нелегко, поэтому он хотел бы, чтобы ему жилось пусть и нелегко, но по крайней мере со смыслом. Нольди — писатель.

Эта история правдива от первого до последнего слова. В ней нет ни капли вымысла. Все фразы в прямой речи переданы дословно, хотя дословность оказывается под вопросом из-за того, что я, записав их, переводил затем с немецкого языка Швейцарии на немецкий литературный. В моем описании человек узнаваем, узнаваем и внешне. Золотурн невелик, значит, он узнаваем для всех золотурнцев. Правда, сам себя он не узнает. Это меня радует.

Итак, в этой истории нет ничего вымышленного, и тем не менее она почти ни в чем не соответствует действительности. Хотя Нольди — бедолага и я искренне предлагаю ему свою дружбу, потому как это доставляет несчастливцу радость, но в общем он почти несносен, ужасно скучен и слегка дебилен. Поэтому и стал до срока пенсионером. В моей истории это называется "в настоящее время без работы". В моей истории он вырастает до фигуры, в реальности же он — не фигура, его даже не назовешь известным всему городу чудаком. "Необыкновенным" в нем, привлекшим мое внимание и забавлявшим меня, было лишь то, что он верит в свое писательское призвание и пытается жить так, как, по его убеждению, живут писатели. Если я теперь поддамся соблазну утверждать, будто *его* желание быть писателем мало чем отличается от моего, то я снова впаду в романтические фантазии и начну удаляться от реального объекта. В рассказанной истории, так кажется мне, я этого не делал.

Но почему же эта абсолютно правдивая история неправдива?

Я изменил лишь *кое-что* — время. Моя история длится семь с половиной минут, а Нольди пятьдесят лет. Это — я посчитал — в три миллиона и пятьсот четыре тысячи раз больше.

Мне могут возразить, что бывает ведь и наоборот. В романе объемом в несколько сотен страниц Джойс описывает один день, да и то, кажется, неполный. Но будь роман и в десять раз толще, реальное время в нем все равно бы сокращалось.

Можно взглянуть на это и с другой стороны: отводя Нольди некоторое количество времени, в данном случае семь с половиной минут, я наделяю его историей, и именно это — и только это — отличает его лично от того, что о нем написал я. У него самого нет истории в смысле каких-либо историй. Он — жертва, лишенная отпечатка времени. Когда я наделяю его временем, он становится интересным, достойным внимания.

И наоборот: если бы я не наделил его временем, то его нельзя было бы описать. Время же определяется не содержанием, а характером повествования. В нашем случае его длительность равна полосе, предоставленной мне газетой "Цюрхер тагесанцайгер". Дали бы 600 полос, это ровным счетом ничего бы не изменило. И 600 полос были бы временем, продолжительность которого определяется внешним фактором. Я не

спросил бы себя, сколько жизненного материала разместится на 600 полосах, а задумался бы, как, каким образом я буду вести рассказ, заполняя им такую большую газетную площадь.

История Нольди — это не история, написанная жизнью. История Нольди — это история, написанная *мною*, поскольку я наделил ее временем, которого в действительности у нее нет. А вот то, чему время дано, — например, дерево, сбрасывающее листву осенью, цветущее весной, плодоносящее летом, а затем опять сбрасывающее листву, — мы воспринимаем как наполненное смыслом, причем зачастую не только как наполненное смыслом, но и как символ. То, что существует во времени, символизирует конечность бытия и проистекающую из этого печаль, и Нольди вследствие этого становится объектом сентиментальных переживаний, хотя едва ли является таковым в действительности.

Истории, написанные жизнью... Предлагаю вашему вниманию несколько историй такого рода.

Тиля Уленшпигеля берут под стражу по подозрению в убийстве. После предварительного заключения сажают за решетку, и судьи, несмотря на то, что Тиль решительно отвергает предъявленное ему обвинение, все более укрепляются во мнении, что он был соучастником убийства. За Тилем числятся еще два-три правонарушения, и потому он проводит в предварительном заключении пять лет. После чего его судят — на месте преступления, в Берлине. На сей раз Тиль ведет себя более или менее прилично, и это бросается в глаза, потому что на предыдущих процессах он много чего себе позволял. Теперь он отказывается от последнего слова, но на другой день просит выслушать его перед заключительной речью прокурора и вдруг заявляет, что у него есть алиби: в момент совершения убийства он находился не в Берлине, а в Эссене. Алиби неопровержимо, и его оправдывают.

Эта подлинная история длится пять лет. Пять лет Тиль ждал момента своего маленького триумфа.

Вторая история. Приговоренный к пожизненному заключению начинает рыть алюминиевой ложкой туннель, чтобы выбраться из своей камеры наружу. Каждую ночь вынимает из пола плиту, каждое утро опускает ее на место, незаметно выносит землю в бумажных пакетиках во время ежедневных прогулок по тюремному двору... План рассчитан на десять лет, но может спустя девять лет сорваться — или увенчаться успехом лет через двенадцать.

Слушайте, пожалуйста, дальше.

Человек делает из спичек, склеивая их, копию Миланского собора в определенном масштабе и со всеми деталями.

Испытывая невероятные лишения, семья решила изготовить воздушный шар. Достают для этого из сундука последний кусок ткани, пускаются, чтобы раздобыть материал, на разные хитрости, воруют, собирают шар по клочкам. Вся жизнь — ради воздушного шара, на котором — он-таки сделан и поднимается ввысь — в конце концов удается перелететь через государственную границу и спастись.

Когда мой сын Маттиас был еще маленьким, он некоторое время держал под своей кроватью в открытой корзиночке громадную, страшную крысу. На что я бы никогда не дал ему разрешения.

Закончив работу на фабрике (или в конторе), человек каждый день в любую погоду поднимается на гору, всякий раз захватывая с собой

большой камень. Путь занимает три часа, и так продолжается несколько лет. Пока на вершине не вырастает огромная пирамида. Человек никак не комментирует то, что делает, и не хочет, чтобы с ним об этом заговаривали.

И последняя, совсем короткая история. Некий смельчак пересекает Атлантический океан на доске для серфинга.

У всех этих историй есть нечто общее, то, без чего они не стали бы историями, — время как существенный внутренний элемент. В них есть сознательное отношение ко времени: пять лет умалчивать о своем алиби ради короткой эффектной реплики судьям; десять лет рыть туннель под тюрьмой; делать копию Миланского собора, затрачивая на это сотни, если не тысячи, часов; ощущать течение времени, сознательно выбрав себе в соседи крысу... Это подлинные истории, они в самом деле имели место. Но действительно ли эти истории написаны жизнью? Судьбой? Случаем?

Человек, который пересекает Атлантику на доске для серфинга, — предположим, не ради паблисити, что в принципе не исключено, — уверен, что творит для себя приключение. Однако то, что он творит, не приключение: уж очень не оригинален, а то и просто скучен этот замысел. Наш мореход творит не приключение, а приключенческую историю. И, по сути, поступок его мотивирован знанием о том, что существуют истории — нечто, что можно рассказать. Я не имею в виду, что на эту мысль его натолкнуло содержание историй — допустим, приключенческих. Им движет сама их форма, существование рассказа как такового, а для этого достаточно историй, услышанных в детстве от мамы или бабушки. Однако я не утверждаю, что наш путешественник это сознает.

А вот другой наш знакомец, Фриц Тойфель[1], который пять лет хранит втайне свое алиби, это сознает. Он вполне сознательно создает историю, реальную историю. Поступается ради нее пятью годами вольной жизни, пять лет ждет момента, когда он огорошит судей, и заранее этому радуется. И история получается вовсе не длинной, а совсем короткой. Даже такая компрессия есть подражание литературе — не определенному содержанию литературы, но ее принципу. И в итоге эта история, эта маленькая история, как и многие другие истории, проживаемые и создаваемые им, позволяет ему спокойно вынести пять лет тюремного заключения.

Кажется, Жан-Поль Сартр пришел в одном из своих эссе — точное название я сейчас не припомню — к выводу, что слабые переносят пытки и истязания легче, чем сильные, что именно слабым удавалось остаться в живых после мучений, которым они подвергались в концлагерях, — не знаю, может быть и потому, что слабым истории ближе, чем сильным.

Значит, литература иной раз служит жизненной опорой? В некоторых обстоятельствах она, несомненно, выполняет эту функцию благодаря своему содержанию, но гораздо чаще и эффективнее — просто по-

1. Фриц Тойфель (р. 1943) — один из лидеров западногерманского студенческого движения конца 60-х, основатель западноберлинской анархической "Коммуны-1", позже — участник левотеррористического "Движения 2 июля". В 1980 г. был привлечен к суду по делу о похищении председателя ХДС Петера Лоренца, признан виновным и подвергнут тюремному заключению, заявил о своем алиби только через пять лет. Ныне — свободный журналист в Берлине, сотрудничающий с журналом "taz".

тому, что повествование существует и авторы разворачивают его перед нами, вызывая у нас желание создавать собственные истории. И мы рассказываем себе истории, живем в них.

Узник, который роет туннель под тюрьмой, роет его, чтобы выбраться на свободу. Но я не думаю, чтобы он стал делать это долгих десять лет, с трудом удаляя землю пакетик за пакетиком, только ради достижения цели. Прокапывая ход, ведущий на волю, он с помощью обыкновенной ложки рассказывает собственную историю. Революционер, поставивший себе цель, которая должна осуществиться посредством революции и после нее, живет не только ради своей цели, но и в самой революции, живет в ее перипетиях, рассказывая себе о них. Наша жизнь обретает смысл, когда мы рассказываем себе о ее невзгодах и радостях.

У захватывающей приключенческой истории в этом смысле два недостатка. Она создает впечатление, что рассказывать можно только о чем-то необыкновенном, и внушает читателю, что без чего-то необыкновенного его жизнь не имеет смысла. Однако это не означает, что приключенческую историю рассказать невозможно. Когда рассказывает Джозеф Конрад, читатель обнаруживает, что автора интересует не просто содержание, а рефлексия, повествование как таковое и метод повествования.

Авторы тривиальной литературы, напротив, обманывают читателей, потчуя их только содержанием. У них читатель учится только слушать, умению рассказывать он не учится, потому что размышлений над характером повествования, как правило, не находит. Ощущение пустоты, которое появляется у нас после прочтения какого-нибудь незатейливого детективного романа, также объясняется тем, что вместе с сюжетной развязкой из головы выветривается и весь роман; он просто перестает для нас существовать. Нет даже отголосков повествования — тех звуков, в которых еще часами и неделями может жить, например, восторженный читатель произведений Адальберта Штифтера. Если надо, то он, пользуясь таким тоном повествования, такой его атмосферой, может рассказать себе историю собственной жизни.

Жизнь человека, живущего не в историях, а в Истории как историческом процессе, утрачивает смысл — проблема, встающая, к примеру, перед успешным революционером: то, что было его историями в ходе революции, становится затем Историей, исполнять законы которой обязывают всех, и его тоже. Быть может, успешно завершившиеся революции терпят потом фиаско и в результате такой метаморфозы. Быть может, революционеры типа Троцкого знали это.

Меня, швейцарца, жителя страны, сохранившей нейтралитет, настораживает манера обращения стариков — здесь, в Германии, — с тем, что они испытали на фронте и что стало их личными историями. Когда война кончилась, они были молодыми людьми и решили считать военные годы потерянными для себя лично. Юному человеку ничего не стоит вычеркнуть из своей жизни шесть лет. В старости этих лет вдруг недостает, и один человек начинает что-то рассказывать, желая таким образом вернуть ушедшие годы, другой молчит или рассказывает чужие истории. Я убежден, что солдат, который пережил поход на Восток, в Россию, смог пережить его, среди прочего, и потому, что рассказывал об этом самому себе. Но по прошествии скольких-то лет его истории уже нельзя пересказывать, потому как это не только истории, но и ужасающая История.

Обманным путем История и Политика порой лишают людей их историй. Тот, кто, скажем, называет президента великой страны Рональда Рейгана ковбоем, умаляет масштаб его личности, ибо слово "ковбой", произнесенное здесь, в Европе, создает представление о человеке, живущем в историях. Ковбой же на посту президента желает жить не в историях, а в *Истории*, и это делает людей непредсказуемыми. Это приводит к тому, что нам подчас трудно увидеть в политических деятелях человека. История враждебна историям, а распознать людей можно только в их историях.

Не исключено, что истории вызывают неприязнь у тех, кто не знает ничего иного, кроме своей исторической миссии. Содержание историй, литературных историй, может быть иной раз приспособлено к интересам власти, приемлемо и даже удобно для нее, тем не менее повествование как таковое, рассказывание историй самому себе, как правило, подрывает авторитет власти.

Во всяком случае, у меня такое впечатление, что знающие одну лишь *Историю* склонны препятствовать рождению историй. Например, история в духе Тиля Уленшпигеля, которой жил, рассказывая ее самому себе, Фриц Тойфель, была еще допустима, то есть не противоречила закону. Быть может, соответствующего закона нет пока только потому, что такие истории единичны. Если бы они придумывались чаще, я уверен, их бы запретили, ибо они мешали бы отправлению правосудия, работе государственного аппарата, ходу самой Истории.

В механизме мира поэт должен быть песком, а не смазкой, сказал как-то Гюнтер Айх[1]. Сказал во времена, когда мало кто сомневался в необходимости технического прогресса, и явно без намека на загрязнение окружающей среды. Но если механизм мира работает на чересчур больших скоростях, то времени на истории уже нет, и человек перестает рассказывать себе о жизни. Происходит, по расхожему выражению, ухудшение качества жизни: не то чтобы жизнь больше не заслуживала рассказа о ней, просто у нас нет для этого ни времени, ни навыков.

Изобретать и предлагать технику повествования — в сущности, задача литературы. Истории не обязательно должны быть литературными. Бывают истории без слов. Вот пример — многие мои слушатели, наверное, были очевидцами историй, похожих на ту, которую я хочу вам рассказать.

Когда недели две назад я сидел после занятий в университете с группой студентов в пивной, к нам подошел один из тех, кого в Нью-Йорке называют bums[2], а у нас, пожалуй, Gammler[3] — название, рождающее в сознании, как мне кажется, ложные образы, — то есть просто один из тех выпивох, которые выпрашивают мелочь на рюмку водки и стараются выглядеть мило и добропорядочно, хотя знают, что пристрастие к алкоголю написано у них на лице.

В руке человек держал большую, толстую книгу. Перевязанную, как коробка с конфетами, лиловой ленточкой, за которую был заткнут букет незабудок. Он предложил книгу с движениями и улыбкой кельнера,

1. Гюнтер Айх (1907–1972) — немецкий поэт и автор радиопьес.
2. Bum — бездельник, никчемный человек, бродяга; пьянствовать (*амер. жаргон*).
3. Хиппи (*нем*). Вероятно, автор имеет в виду происхождение слова "Gammler" от "Gammel" — отходы, отбросы, хлам, барахло.

подающего шампанское, сказал, как бы ненароком, что, дескать, хорошо бы поставить цветы в воду, заговорил о том, что такой случай может нам больше не представиться, и назвал цену — десять марок.

Книга была подержанная: "Слово — животным. Истории из Лейпцигского зоопарка". Но название никакой роли не играло. Думаю, "продавец" и сам его не знал. Примечательно то, что ему сразу же приглянулся я. Он явно знал заранее, что я куплю книгу, и я купил ее.

Откуда этот хитрец мог знать, что есть люди, приобретающие ненужные, бесполезные, не имеющие никакой ценности вещи? По каким признакам распознает он таких людей? Как распознал меня? Откуда он знает, что я один из тех, кто покупает всякую историю, и что мне не жалко заплатить за историю любые деньги?

Я сейчас имею в виду не книги, а истории. Ибо то, что этот человек сотворил со своей лиловой ленточкой, книгой и незабудками, является внешне — и по форме — историей. На всем лежит флер сентиментальности — поэтому мы и предполагаем, что за этим флером скрывается история, грустная или со счастливым концом. Фактически же это лишь уловка — уловка нищего, который случайно обнаружил, а может, всегда знал, что людей легко растрогать одной лишь внешней повествовательной формой. В нашем случае — принаряженной книгой.

Чтобы распознать в этой оболочке историю, требуется, конечно, содержание. Говоря, что содержание задает форму, а не наоборот, я подчеркиваю важность содержания. Даже чисто визуальную историю нашего любителя выпить я восприму как повествовательную форму лишь в том случае, если я уже знаю содержание — из сотен других похожих историй, литературных и написанных жизнью, и содержание это сентиментальное, ибо его сосуды, внешние формы давно пропитались запахами сентиментальности. Только благодаря этому я могу угадать содержание за внешними формами. И когда я отправляюсь на поиск историй в повседневную жизнь, наблюдаю людей и окружающий их мир, то ищу, по сути дела, не истории, а *внешние приметы* историй. Ищу лица, позы, движения...

Нищий, очевидно, знает об этом. Знает о существовании повествования, о существовании литературы. Люди, предлагающие купить цветы — скажем, вечером в ресторане, — тоже ведь продают не просто красивые цветы. Никто их не купит, сказав себе: "Ах да, мне же нужны цветы, вот они, и в цветочный магазин идти не надо". Торгующие цветами в ресторане тоже пытаются продать внешние формы историй — вернее, принадлежности для изготовления внешних форм историй. Парень, который хочет купить себе непременно "хонду", покупает этот мотоцикл не как средство передвижения, но как средство для изготовления историй. Окажется ли оно пригодным для этого или нет — уже другая и, возможно, печальная история. На лицах людей написаны не только те истории, которые они в самом деле пережили, но — гораздо чаще и явственнее — и те истории, которые они хотели бы создать.

Что же было вначале — курица или яйцо? Дело или принцип? Умение рассказывать или литература?

Последний вопрос может показаться бессмысленным, только если ты ищешь ответ на него, начав с первого вопроса. А тот, как известно, неразрешим, курица и яйцо тут нам ничем не помогут. Не подлежит сомнению одно: все, что мы признаем повествованием или историей,

проистекает из традиции повествования. Мы распознаем истории не по содержанию, а по литературной традиции их написания. Истории суть истории только потому, что напоминают нам о других историях. Все, что историй не напоминает, мы считаем всего лишь событием. Одна из задач литературы заключается в том, чтобы обогащать литературу все новыми событиями — и с таким же усердием поднимать их до уровня историй. По моему убеждению, в XX столетии мы, читатели, можем назвать историями гораздо больше событий, чем, допустим, современники Гёте. Кстати, нашу точку зрения разделят и нечитатели.

Забота о том, чтобы мы познавали не только *Историю*, но и *истории*, кажется мне важной миссией литературы. Задача литературы не сводится к познанию реальности. Необходимо связывать явления действительности с гуманной традицией — традицией повествования. Ошибка мятежных интеллектуалов конца 60-х, поставивших вопрос, нужна ли литература вообще, коренилась в том, что их волновало только содержание, а не повествование как таковое. Не уверен, что их дискуссия была бы плодотворнее, даже если бы ее участники задались вопросом о сути повествования. Но "повествовательное сознание" могло бы хоть немного поколебать догму сознания "исторического". Главное назначение литературы — продолжать традицию повествования, потому что устоять перед лицом превратностей нашей жизни мы можем, *только* рассказывая о ней. Вопрос, от природы ли это в нас или благоприобреталось веками, не имеет значения.

И все-таки я продолжаю утверждать, что литература — явление побочное, сопутствующее. Не будь она таковым, боюсь, политики распространили бы свое пренебрежительное отношение к Истории и на истории, чем лишили бы нас последнего прибежища. Может, то, что происходит вокруг строительства взлетной полосы "Запад", тоже есть борьба между Историей и историями, между историческим сознанием и сознанием повествовательным? Может быть, страх противников строительства — это и страх перед тем, что История украдет у них истории, без которых они жить не могут?

Не знаю, как выглядело бы общество без агрессии и конкуренции и каким образом его можно было бы создать. Но я убежден: это было бы общество рассказывающее, а не историзирующее. Я укрепился в своем мнении, побывав у мирных, не агрессивных, любящих рассказы жителей острова Бали. Любая жизнь рождает историю, если о ней можно рассказать. Может быть, этого еще не понимали читатели Гомера, но наверняка понимают читатели Набокова, читатели Фриша, читатели Беккета. Продолжать писать в любом случае очень важно, ибо по ходу непрекращающегося повествования можно рассказывать о все новых и новых жизнях.

Бывают религиозные объяснения смысла жизни, бывают — философские. Литература — это категориальное объяснение жизни как явления, наполненного смыслом. Я рассказываю, следовательно, я существую. И именно потому, что о жизни рассказываю, преодолеваю ее невзгоды. Правда, спасти нас от смерти истории не в состоянии. Они лишь делают жизнь сносной. Например, вопрос, прибегают ли читатели к самоубийству чаще, чем нечитатели, остается открытым. Конечность бытия тоже непреложна, как и связанная с ней печаль.

Этим мой круг замыкается. С печали я начал: когда истории уже бессильны помочь нам, тогда они и рождаются. Рассказывать – занятие не прибыльное, успеха не приносит. Сколько людей сгорело, рассказывая себе свою историю, – Дженис Джоплин, Джими Хендрикс, Лестер Янг, Чарли Паркер, Билли Холидей, Николя де Сталь, Дилан Томас, Брендан Биэн[1], Генрих фон Клейст и сотни других знаменитых, как и тысячи и тысячи безвестных. Тот, кто отваживается рассказывать, делает это не для того, чтобы спасти свою жизнь. Он делает это, чтобы прожить ее, ни в чем не раскаиваясь.

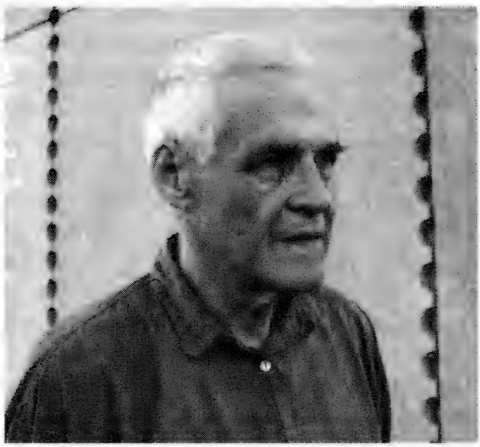
И так поступают не только читатели, но и нечитатели. Без традиции повествования, называемой литературой, нечитателям тоже не обойтись. Поэтому все-таки важно, чтобы в школе и в университетских аудиториях звучали имена писателей, чтобы людям рассказывали о выдающихся событиях в истории литературы и чтобы преподаватели обращали их внимание на само существование повествования и историй. Вот мне и удалось сказать что-то хорошее о германистике...

"That's it"[2], – хихикнула Дженис Джоплин, закончив запись своей чудесной песни о "мерседесе-бенц".

Дамы и господа, дорогие друзья, я благодарю вас. Поначалу я очень вас боялся, но вы были очень милы, и я вас полюбил, когда заметил, что вам можно рассказывать истории. Вы сделали то, что всем нам надо бы делать гораздо чаще: вы позволили мне рассказать мои истории. Мир стал бы лучше, если бы мы позволяли нашим друзьям, нашим женам, мужьям и детям рассказывать их истории. И если бы послушали, например, историю больного соседа.

1. Дженис Джоплин (1942–1969) – американская рок-певица; Джими Хендрикс (1942–1970) – американский рок-певец и гитарист; Лестер Янг (1909–1959) – американский джазовый саксофонист и композитор; Чарли Паркер (1920–1955) – американский джазовый саксофонист и композитор; Билли Холидей (1915–1959) – американская джазовая певица; Николя де Сталь (1914–1955) – французский художник-авангардист, сын русских эмигрантов; Дилан Томас (1914–1953) – английский поэт; Брендан Биэн (1923–1964) – ирландский прозаик и драматург.
2. Так-то вот (*англ.*).

Карл-Хеннинг Вийкмарк



Современная смерть
Человек у последней черты

Драма

Перевод со шведского А. Афиногеновой

Загородный комплекс для проведения семинаров и лекционных курсов на берегу Эресунда. В весенней дымке мимо проплывают танкеры. Между корпусами кораблей видны замки Кронборг и Хельсингёр.

Председательствующий. Здравствуйте, я, начальник управления Берт Перссон, сердечно приветствую участников симпозиума, посвященного теме "Человек у последней черты" – ЧУПЧ. Он организован нами, членами ЧУПЧ, и большинство из нас знает друг друга именно по работе в этой группе.

Итак, ЧУПЧ – проектная группа в рамках Министерства здравоохранения и социального обеспечения, занимающаяся положением людей, которые находятся на пороге смерти. Мне хотелось бы особо поприветствовать участников со стороны, согласившихся поделиться с нами своими соображениями, – то есть тех, на ком мы можем опробовать наши идеи. Вот так, на ранней стадии выработки совершенно новых планов, мы хотим раскинуть наши щупальца, чтобы в ходе неформальной дискуссии всосать критические замечания и новую информацию.

Что такое "Человек у последней черты"? Речь идет о необычайно широком спектре проблем, затрагивающих как богословие и философию, так и социологию, биологию и химию.

© Carl-Henning Wijkmark, 1978, 1985
© А. Афиногенова. Перевод, 2008

Рассылая приглашения и информационные листки, мы упомянули несколько правил, которые необходимо соблюдать на любой конференции, посвященной щекотливым с точки зрения общественного мнения вопросам. Надеюсь, никто не будет возражать, если я вкратце еще раз их перечислю. Во-первых: это закрытая конференция. СМИ на нее не допускаются, и сообщать им о содержании дискуссий, как сейчас, так и потом, разрешается только после согласования со мной. Я обязан напомнить вам, что новый закон о секретности в сфере общественного планирования в высшей степени актуален в таких случаях, как этот. Во-вторых: большая просьба ко всем участникам не покидать наш комплекс без веских на то оснований. Опыт показывает, что непрерывность в общении играет большую роль для взаимопонимания в дебатах и тем самым для результатов всего симпозиума. Это, так сказать, оборотная сторона медали. Надеюсь, что обслуживание гостиничных номеров, бильярд, сауна, настольный теннис и, разумеется, удовольствие от самого общения отчасти компенсируют эти неудобства.

Повестка дня находится перед вами. В своем вступительном слове я сделаю обзор основной проблематики и обозначу основные направления политики министерства. Я вкратце расскажу и о предыдущих исследованиях в этой области. Затем у нас будут два доклада. Каспар Сторм из Института медицинской этики затронет вопросы "Этики ухода за больными и общественной этики". После ланча Аксель Рённинг представит обзор того, что он называет "историей человеческих ценностей". Аксель Рённинг — датский специалист по истории философии и литератор, но хорошо известен и в Швеции, где работает уже много лет. Дискуссия будет носить совершенно открытый характер, то есть вы можете прерывать выступление докладчика вопросами и комментариями тогда, когда у вас эти вопросы будут возникать: спонтанно, по ходу дела. Пользуюсь случаем, чтобы попросить вас по возможности избегать специальной терминологии, поскольку здесь собрались люди разных занятий и профессий. Заранее спасибо.

Теперь от призывов я перейду к сути. Позвольте мне сначала ненадолго вернуться в недавнее прошлое.

В 70-х годах мы провели исследование по проблемам лечения больных, находящихся на пороге смерти. Но цель исследования определили как проблему одного лишь здравоохранения, а не как проблему общества в целом. Вначале это привело к тому, что специалисты-медики, в основном профессора медицины и главные врачи клиник, оказались в большинстве по сравнению с представителями других заинтересованных слоев общества. Исследование было сконцентрировано на пациентах и медперсонале, в то время как экономические вопросы здравоохранения практически остались в стороне. Этой области в Швеции вообще не уделяют должного внимания. В конце 70-х годов поступил целый ряд отчетов, нередко весьма добротных, но в основном описательного, а не конструктивного характера: в них не предлагалось что-либо изменить. И как итог исследования — вывод, который, собственно говоря, не затрагивал ключевых проблем и не имел никаких реальных следствий. Значит, для принятия трудных решений об эвтаназии время еще не созрело. Это было, как мы говорим, промежуточное исследование, и, собственно, других целей оно не преследовало. Проблемы смерти мозга и трансплантации решались, как известно, по отдельности.

Вспомним предысторию: так называемые дела о содействии уходу людей из жизни в 60-х и 70-х годах вызвали бурные дебаты, которые мы никак не смогли контролировать. Именно их следствием стал путь развития, не имевший ни малейшего шанса на конструктивность. Потому что то был путь индивидуалистический. Мы помним инициативную группу "Право на смерть". Буржуазное и маргинальное народное движение, которое, однако, состояло из интеллектуалов и возглавлялось людьми, откровенно ориентировавшимися на публичность. В то время у нас было немало подобных начинаний. Цель, разумеется, ставилась достойная: с помощью специального "предсмертного" завещания избежать лечения, направленного на продолжение жизни в безнадежной и, возможно, мучительной ситуации. Далее описывались государственные клиники, где больные и уставшие от жизни люди могли бы — после соответствующего теста — получить свой смертельный укол или последний коктейль в приятной обстановке. Здесь просматривается англосаксонская модель, своего рода *комфортная смерть* по индивидуальному заказу.

В общем, этот путь вел в тупик. Врачи не поддались на подобные слабые, никем не подтвержденные аргументы. Исследование и было начато, чтобы выявить такие махинации и прекратить всякие разговоры об обязанности осуществлять как пассивную, так и активную эвтаназию. Для надежности к работе были привлечены несколько профессиональных "тяжеловесов", ярых противников эвтаназии в принципе. Вряд ли я должен говорить, что Каспар Сторм, уже в то время занимавший ведущее место среди наших специалистов по медицинской этике, не принимал участия в исследовании. Его время еще не пришло.

Понять причину отрицательного отношения врачей легко. Она носила двоякий характер. Во-первых: нежелание предстать в роли возможных палачей в глазах неподготовленного общественного мнения и стать объектом неприятных слухов. Во-вторых: нежелание еще раз расколоть врачебную корпорацию, которую с трудом удалось объединить после реформы, касавшейся абортов[1]. Если опять приносить себя в жертву, то делать это надо только ради создания столь же широко распространенного общественного мнения. И эти рассуждения были правомерны. Именно так должны пробивать себе дорогу реформы.

Итак, 70-е, "нерешительные 70-е". Время идет, мы переживаем двенадцатый год кризиса. Медицинская каста постепенно теряет силу, поскольку на смену нехватке врачей пришла безработица. Вопросы, касающиеся "Человека у последней черты", — уже не привилегия медиков. Для проведения необходимых реформ важную роль стали играть и общественно-экономические ценности. Вряд ли мне нужно детально обрисовывать положение дел, можно обойтись несколькими штрихами. Пирамида народонаселения имеет вид сигары, и если все будет продолжаться, как было до сих пор, она примет форму гриба. Количество детей, которых мы лишаемся по причине абортов, увеличится втрое, как и число непродуктивных стариков и старух на вершине пирамиды. Каждый четвертый швед является пенсионером по старости, а каждый восьмой в активном возрасте выходит на пенсию досрочно. Семьдесят пять процен-

1. В 1975 г. в Швеции был принят закон о легализации абортов, согласно которому женщины имеют право на бесплатный аборт вплоть до 18-й недели беременности. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

тов расходов на здравоохранение идет на стационар длительного пребывания и лечение безнадежных больных; тут мы достигли потолка и пробили его еще десять-пятнадцать лет назад. Среди двадцати пяти процентов населения, находящегося в репродуктивном возрасте и оплачивающего эти расходы из своего кармана, существует более или менее сильное недовольство, но это недовольство затыкается сразу двумя клятами. Один из них называется всеобщим избирательным правом, и оно заставляет молчать политиков: старики сохраняют право голоса и в сто лет, и ни одна партия не может позволить себе роскошь потерять два миллиона избирателей. Второй кляп — древнее табу, которое называется благоговением перед человеческой жизнью и которое заставляет молчать всех. Стало быть, вокруг царит молчание, несмотря на то, что налоговое бремя становится все невыносимее, безработица растет, а депрессия, похоже не имеющая конца, вгрызается в плоть нашего общества до самых костей.

Возможно, кое-кого из наших участников сейчас охватило беспокойство. Куда клонит Перссон? Не волнуйтесь, я не забыл Гитлера, мы не планируем массовых убийств стариков, инвалидов и других "бесполезных ртов". А если бы я вдруг и забыл про него, то старики бы мне напомнили, они ведь тогда были молодыми. Если Гитлер в чем и преуспел, так это в том, что подобные мысли невозможны в западных странах ни сейчас, ни в обозримом будущем. Проблема вот в чем: одно упоминание Гитлера и те ассоциации, какие оно вызывает, препятствуют также бережному и гуманному отбору, который необходим для спасения нации от гибели. В таком случае Гитлер окончательно победил нас.

Весь этот комплекс опасных табу и предрассудков укладывается в простую формулу: экономике запрещается управлять моралью. Но что такое экономика, материальные ресурсы, если не рамки, в которые заключена вся наша жизнь? Легче перепрыгнуть через собственную тень, чем взорвать эти рамки. А ведь табу, нарушаемое ежечасно и ежедневно, — одно сплошное лицемерие, хотя до сих пор считается неприличным говорить об этом вслух. Но уже многие десятилетия мы оцениваем убытки от алкогольных отравлений, дорожно-транспортных происшествий и самоубийств суммами общественных издержек на здравоохранение и затрат в связи со спадом производства. Даже те, кто по-прежнему охотятся за голосами пенсионеров, обещая им увеличение средств на длительную терапию, индексацию пенсий и тому подобное, в конце концов возвращаются к экономическим аргументам: старики имеют право на достойную старость, потому что именно они, как говорится, "построили наше общество". Но как быть, если их старость станет столь дорогостоящей, что они сами разрушат построенное ими? Уж не говоря о том, что эти аргументы никак не включают инвалидов всех возрастов.

Позвольте мне посмотреть на проблему с другой точки зрения и обратиться к истории. 60-е годы были рекордными в Швеции, и нам требовалось вовлечь в производство больше матерей. В 70-е годы дела пошли хуже — стагнация, безработица — и, образно выражаясь, домой отправили отцов[1]. А сейчас, когда состояние экономики стало критиче-

1. Имеется в виду закон об отпуске по уходу за ребенком, по которому отец и мать имеет право разделить предоставляемый отпуск между собой.

ским, налицо взрывной рост числа стариков. Грубо говоря, нам необходимо побыстрее увеличить смертность. Но каким образом?

Умирать считается неестественным. В большей степени, чем когда бы то ни было. И корень зла в первую очередь не в том, что эвтаназия незаконна, а в том, что она незаконна, поскольку слишком мало людей *хотят* ее. Важной причиной такого положения вещей являются, конечно, успехи, достигнутые в области обезболивания, и это само по себе превосходно. Но у нас появился так называемый "новый страх смерти", его-то нам и нужно преодолеть. Нам необходимо создать новое отношение к смерти и старению, и не только у стариков. Смерть должна снова стать *естественной* после того, как активный период жизни остался в прошлом. Надо решать проблемы *ради* стариков, а не во вред им.

Ибо что иное мы можем сделать с нашей политической системой? Глиструп[1] в свое время предлагал лишать пенсионеров права голоса одновременно с лишением их водительских прав. Но пока оно у них остается, им хватит голосов, чтобы заблокировать подобное предложение. По той же причине нельзя сколько-нибудь значительно снизить уровень их жизни. Один политик несколько лет назад высказал идею *повысить* этот уровень с помощью субсидий на питание и транспорт за счет налогов. Он хотел вызвать реакцию у остальной части населения, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. И сдвинул: его не переизбрали. Это доказывает, что система зашла в тупик. Политики топчутся на месте. Нам, то есть тем, кто занимается планированием, нужно подтолкнуть их.

Итак, ситуация выглядит следующим образом. Если мы хотим сохранить надежность нашего существования, мы должны сделать ее *выборочной*, поскольку увеличения ресурсов в абсолютном выражении не предвидится. Если мы хотим сохранить систему, принудительные меры исключены. Что же тогда остается?

Я попытаюсь в *весьма предварительном виде* наметить возможные решения. Я исхожу из очень простого вопроса: каким образом общество может создать спрос на эвтаназию в актуальных группах населения и тем самым проложить дорогу новому законодательству? Или еще осторожнее: как повысить готовность к смерти, усилить желание проститься с жизнью в указанной группе? Не исключено, что это кое для кого представляется утопичным, и мы в ЧУПЧ тоже так считали, пока не приступили к работе. Но это не утопия. Необходимо лишь избегать определенной политической терминологии — той, которой пользуются заинтересованные организации, той, что ориентирована на групповые интересы, не принимая во внимание интересы общества. Мы провели опрос среди части пенсионеров — в несколько завуалированной форме, естественно. И он показывает, что упомянутое мной желание уже существует. Сверх всяких ожиданий. Многие респонденты — особенно в группах, которые политики обычно называют слабыми членами общества, или "маленькими людьми", — готовы к реформам в этой области. Такой общественный дух вызывает восхищение, особенно если учесть тяжелый жизненный опыт большинства этих людей. Или же нужно предположить, что в них все еще

1. Могенс Глиструп (р. 1926) — датский юрист и политик, основатель Партии прогресса; известен радикальными взглядами на налоговую и политическую систему, а также, в последние годы, резкими выпадами против ислама и призывами к межрелигиозной борьбе.

сидит вековая покорность. Как бы то ни было, их мучает мысль о том, что они в некотором смысле стали в тягость обществу, что не могут ухаживать за собой, находясь в стационарах длительного пребывания, и так далее. Они в глубине души прекрасно понимают, что в первую очередь нужно делать ставку на активные возрастные группы и обеспечивать их уровень жизни. Но в то же время — и важно обратить на это внимание, — они стоят на страже своих пенсий и воспринимают их как нечто неприкосновенное — именно потому, что эти пенсии, по мнению стариков, в отличие от длительной терапии не суть некое *подаяние* трудоспособных членов общества, а *заработаны* ими самими на протяжении всей нелегкой жизни. Так что здесь мы сталкиваемся с экономическими интересами, попрежнему имеющими абсолютную ценность в нашем обществе. Следовательно, как это ни парадоксально, мы обнаруживаем, что, если общество ставит вопрос "деньги или жизнь", — вопрос совершенно риторический, — старики с тяжелым вздохом отвечают, что охотнее расстанутся с *жизнью*. Во всяком случае, отвечают так поразительно часто. Конечно, не те, что сохранили бодрость или недавно вышли на пенсию. Но уже после семидесяти, когда силы начинают убывать и появляются возрастные недуги, все сильнее ощущается давление со стороны молодых: груз кризиса и безработицы ложится, так сказать, на плечи изможденных. И голос солидарности, *если мы позаботимся о том, чтобы его усилить*, станет намного громче, чем голос собственной жажды жизни, и человек попросит о конце, *быть может, как о последней возможности проявить самостоятельность*.

Здесь я, разумеется, изложил лишь основные результаты исследования. Хочу обратить внимание на то, что вопрос об эвтаназии сдвинулся с мертвой точки. *Индивидуальные страдания облегчены. Теперь в нас должен заговорить общественный дух и, когда придет время, желание рассчитаться с жизнью.*

Естественно, мы стоим еще в начале процесса, которым надо управлять с помощью терпеливых разъяснений и эффективного просвещения, прежде чем будет сформировано окончательное решение. Это окончательное решение мы в ЧУПЧ обозначаем хорошо известной формулой — *добровольная обязанность*. Под словом "добровольная" я, разумеется, имею в виду принятое по всем демократическим канонам решение центра. Перспектива проясняется, не правда ли? Очевидный образец такого подхода к вопросам благосостояния — пенсионная реформа[1]. Позвольте мне еще раз провести сравнение с инициативной группой "Право на смерть" и их "предсмертными" завещаниями. Это было *индивидуальное* решение проблемы: индивидуальная страховка от мучительного умирания. Мы же хотим дать *общественное* решение: *закрепленное законом право на защиту* от длительного старения и связанных с ним тягот. Коллективное и обязательное решение, подходящее нам, шведам, больше всего. Все должны быть уверены в том, что, когда безнадежная болезнь, беспомощность или старческая немощь достигнут некоего предела, — а еще лучше, до всего этого, в определенном возрасте, — общество вмешается и обеспечит им освобождающую и безболезненную смерть. И не надо будет клянчить ее, как клянчили льготы в дореформенном обществе! Пока мы не созреем до

1. Пенсионная реформа 1960 г. была разработана социал-демократическим правительством и проведена через парламент с перевесом всего лишь в один голос; при этом на референдуме о пенсиях проект правительства поддержала меньшая часть населения страны.

установления общей возрастной границы в 70, возможно, 75 лет, общество может делегировать отдельные решения, например, комиссиям, назначенным парламентом и возглавляемым врачами, по типу наших судов. Детали всегда можно будет обсудить, ведь нам предстоит еще пройти долгий путь, прежде чем мы достигнем цели. И на этом пути, конечно, придется устранить немало преград. Но многие из них — полагаю, большее число, чем кажется, — уже устранены, негласно. Приведу пример: наши больницы давно используют неофициальную инструкцию не проводить полноценное лечение инфарктов миокарда у пенсионеров. То же самое, совершенно официально, касается некоторых категорий детей с тяжелыми дефектами. Все это приносит ощутимую экономию средств. Далее следует расставить определенные приоритеты в интенсивной терапии, о чем более подробно расскажет Каспар Сторм.

Под конец я укажу на пару препятствий, чтобы никто не подумал, будто мы недооцениваем имеющиеся вне всякого сомнения трудности. Как известно, общество с 60-х годов проводит усиленные кампании в области здравоохранения по широкому спектру вопросов. Медицинские обследования, кампании за то, чтобы побудить людей больше двигаться, следить за здоровьем и улучшать условия труда, яростная борьба против алкоголя и табака, пропаганда определенных видов питания и так далее. Все для того, чтобы увеличить производительность и разгрузить медицинский персонал. Благодаря людям, находящимся в хорошей физической форме, возрастает не только темп работы; они также отличаются большей гибкостью и мобильностью. Кроме того, постоянные заботы о физическом здоровье и радость жизни наполняют смыслом досуг и уж по крайней мере не приносят вреда. В разных вариантах развилась своего рода "идеология тела", ставшая мощной связующей силой в обществе. Фактор благоприятный, по мнению многих, но в кризисной экономике, такой, как наша, в условиях растущей безработицы, это приводит к дилемме, болезненному противоречию. У нас выросло поколение людей, которые не только живут дольше, но и намного дольше, чем прежде, сохраняют способность к полноценному труду. Мы осознаем опасность и отключаем кое-какие административные механизмы, пытаемся даже кое-где притормозить процесс, — например, приглашаем на радио профессоров, предостерегающих против чрезмерного увлечения моционом и здоровым образом жизни. Но, похоже, это не помогает, снежный ком катится дальше. И вот у нас оказалось множество пенсионеров в отличной физической форме, которые с удовольствием бы продолжали работать, если бы получили такую возможность. Но это нереально, работы на всех не хватает, а безработная молодежь напирает. Однако и без работы старики живут за счет хорошей кондиции и любви к моциону, накапливая здоровье и силы на десятки лет вперед. И на содержание этой престарелой и совершенно ненужной жизненной энергии общество тратит все большие суммы: сейчас мы достигли цифры в 60 миллиардов. И оплачивает эти расходы своими налогами работающее население. Если и появится поколение столетних, то все они попадут в конце концов в стационар длительного пребывания хотя бы потому, что никакой здоровый образ жизни не позволит им сохранить ясность ума.

Вот вам еще один замкнутый круг, на сей раз не в политике.

Но на этом я пока остановлюсь. Я намеренно изложил свои вступительные тезисы в бессистемной форме, дабы избежать любого манипу-

лирования, способного воспрепятствовать плодотворному и оживленному обмену мнениями. Благодаря нашему информационному листку те из вас, кто не входит в ЧУПЧ, уже частично ознакомились с соображениями, общими для ЧУПЧ и министерской группы, разрабатывающей политическую платформу. Мной же двигало желание нарисовать более подробную и отчетливую картину. Так, чтобы дискуссия приобрела открытый и, если хотите, острый характер, подобающий ситуации. Нам нужен настоящий свежий ветер. Слово предоставляется Каспару Сторму.

Каспар Сторм. Спасибо. Я сразу же перехожу к тому, что для меня является главным пунктом в выступлении Берта Перссона: вопросу о соотношении экономики и этики, общественных ценностей и человеческих ценностей. Проблема мне хорошо знакома, я часто затрагивал ее в своих книгах и сталкиваюсь с ней ежедневно в Институте медицинской этики.

Начну с трех примеров, трех гипотетических ситуаций, которые я обычно использую в своих лекциях.

Представьте себе отделение интенсивной терапии в сельской местности, имеющее возможность принимать только по одному пациенту за раз. В примере номер один туда поступает человек с тяжелым кровоизлиянием в мозг, шанс на выживание которого составляет десять процентов. Пока его подключают к аппаратуре, привозят пациента, попавшего в автомобильную катастрофу; его шансы выжить составляют пятьдесят процентов при условии немедленного оказания помощи. Вопрос ясен, кровоизлияние в мозг должно отступить на второй план. Мы сделали выбор, основанный на оценке врачом шансов на выживание. Это не оспаривается и никогда не оспаривалось, здесь не производится градация ценности человеческой жизни. Только шансов на выживание. Остается вопрос: не следовало бы в этом случае определить то, что я сейчас назову общественной ценностью? Но, когда шансы на спасение сильно различаются, такого на практике не происходит.

В следующем примере речь идет о двух людях, имеющих *равные* шансы на выживание. Один — идиот, другой — нобелевский лауреат. Тут выбор, пожалуй, тоже очевиден, по крайней мере мне никогда не приходилось встречать врача, чей идеализм заставил бы его сомневаться, кого спасать — нобелевского лауреата или идиота. Здесь, однако, у нас имеет место градация и человеческой ценности, и того, что я называю общественной ценностью. Если, конечно, не считать, что идиот не обладает никакой человеческой ценностью вообще. Во всяком случае, именно так полагает протестантская религия, и тогда выбор становится еще легче. Я еще вернусь к вопросу о человеческой ценности идиотов в связи с проблемой эвтаназии, и тогда было бы интересно послушать мнение Рённинга. И Карнему, богослова.

Мой третий пример посложнее. В течение одной ночи поступают три человека, нуждающиеся в неотложной помощи. Первый — девушка двадцати лет, пианистка, подающая блестящие надежды в музыкальном мире. Персонал с рвением приступает к делу. Но тут сообщают, что привезли нового пациента — лесоруба, около сорока пяти лет. Проверка данных на компьютере показывает, что девушка одинока, а у лесоруба жена и четверо маленьких детей. Здесь не нужна оценка человеческой ценности — общественная ценность, или, если хотите, общественно-

экономическая ценность заставляет выбрать отца семейства. Во многих учреждениях уже сложилась практика, согласно которой людям, имеющим на руках иждивенцев, отдается предпочтение перед одинокими, независимо от их возраста. Я вернусь к этому вопросу, когда буду рассказывать об одном начинании американцев.

Итак, наш пациент лежит на операционном столе, и персонал готовится к операции. И вдруг, этой же беспокойной ночью, привозят жертву автомобильной катастрофы с повреждениями, угрожающими жизни. Это политик, близкий к правительственным кругам, он проводил в этих местах отпуск и по пьяной лавочке врезался на своей машине в дерево. Ему шестьдесят лет, холостяк. Согласно католической морали, к которой я в данном случае присоединяюсь, правильный выбор состоит в том, чтобы лесоруба сняли с операционного стола.

Почему же? Не будем говорить о человеческой ценности, да и общественно-*экономическое* положение министра-холостяка намного хуже, чем у его соперника за право жить. Но общественная ценность ведущего политика должна определяться настолько высоко, что она выдвигает его на первое место. Его необходимо спасти ради нации, представляющей собой, по современным понятиям, наивысшую ценность, пусть мы и предпочитаем вместо "нации" говорить об "обществе". Он получает преимущество и перед нобелевским лауреатом, чьи открытия, если он ученый, могут, естественно, иметь большую материальную ценность, хотя, как правило, в более расплывчатой и долгосрочной международной перспективе. Если же наш лауреат получил премию по литературе, то он, в принципе, опускается до уровня молодой пианистки, то есть имеет только культурную, эстетическую и ограниченную личными интересами общественную ценность и лишь весьма опосредованно — экономическую: для своей семьи, издателя и прочих.

Я привел вам три примера. Как вы заметили, они сконструированы так, чтобы проиллюстрировать различные шкалы ценностей. Или вернее: первый, измеряющий шансы на выживание, можно вообще вывести за рамки данной дискуссии; только какая-нибудь высшая общественная ценность или же совсем низкая, сомнительная человеческая ценность — как в случае с идиотом — способна поколебать эти предпосылки. Следовательно, остаются шкала человеческой ценности и шкала общественной ценности.

Можно, конечно, утверждать, что не только тяжелое слабоумие — например, идиотизм, — но и хроническое асоциальное и криминальное поведение, равно как и преклонный возраст, означают снижение человеческой ценности. В отношении людей с ярко выраженными криминальными задатками преобладающее большинство граждан поддержит такую оценку. То же самое касается, очевидно, и стариков, пусть даже открытую демонстрацию народного мнения по этому поводу труднее себе представить в силу существующих табу, о которых говорил Берт Перссон. Но если бы мы начали использовать более ясный и одновременно более нейтральный термин "общественная ценность", то, вероятно, в этом вопросе стала бы возможна бóльшая открытость.

Предлагаемая мной стратегия ставит перед собой именно такую задачу. С этих, если хотите, проблем селекции снимается налет мистики благодаря тому, что они переходят из, в конечном счете, метафизической и

потому произвольной шкалы человеческой ценности в практически гораздо более удобную шкалу общественной ценности, дающую возможность проводить рациональные количественные измерения, которые могут быть сведены к шаблонам и тем самым станут затверженными навыками. Это сообразуется и со смещением акцента с этики индивида на общественную этику, или, в формулировке Перссона, на общественные интересы, что уже широко применяется в различных областях.

Таким образом, мы получаем более широкий и легко управляемый этический регистр. Возьмите, например, инвалидов с тяжелыми физическими увечьями. Их никак нельзя лишить человеческой ценности, если они сохранили нормальные духовные способности. А вот общественной ценности — можно, в случае, когда какая-либо экстремальная ситуация приведет к необходимости радикальной селекции, с которой сталкивается военная медицина и медицина катастроф. Однако подобный случай — наличие человеческой ценности при отсутствии общественной — сравнительно маргинальное явление. Зато обратный — наличие общественной ценности при отсутствии человеческой — встречается гораздо чаще и характерно, так сказать, для нашего высокотехнологичного образа жизни. Природные ресурсы, рабочие места, механизмы, автомобили, разнообразные бытовые приспособления. Все то, что обычно называется овеществлением жизни.

Но я, возможно, слишком спешу. Наверное, по-прежнему есть те, кто предает анафеме любую сравнительную оценку людей, считая это неэтичным торгашеством. В неизбежных кризисных ситуациях, когда не хватает персонала и ресурсов, возникает желание отодвинуть от себя рациональный выбор и предоставить решение таким малорациональным силам, как случай, судьба или — при склонности к метафизике — Бог. Но если принять мое предложение, то есть вывести человеческую ценность с линии огня и заменить ее на общественную ценность, взятую в ее разных аспектах, одним словом, принять стратегию полезной этики, *эта дилемма исчезает. Потому что идея абсолютной человеческой ценности целиком зависит от христианского мировоззрения.* В ее основе лежит христианское учение о естественном праве. Но, как я уже вскользь упомянул, основные христианские конфессии готовы в некоторых случаях сделать исключение из догмата о человеческой ценности. Даже там, стало быть, идет торговля с обществом по поводу человеческой ценности. Во всяком случае, несгибаемость позиций не возведена в принцип. Я коснусь данной темы чуть подробнее, чтобы избежать упреков с этой стороны.

В одной из своих "Застольных бесед" Лютер рассказывает, что однажды ему показали двенадцатилетнего мальчика-идиота. Лютер сразу же предложил умертвить ребенка. Ведь это было бесполезное существо, "которое только поглощало пищу, и ело оно столько, сколько четыре крестьянина или батрака". Он имел в виду, что "подобные бесы представляют из себя лишь кусок плоти, massa carnis, поскольку не обладают душой". Место души занял дьявол, и, следовательно, ребенок — монстр, а не человек, поэтому его можно безвозбранно убить. Пятая заповедь...

Богослов, д-р Сэт Карнему. Вполне в духе времени, тогда верили в маленьких демонов...

Аксель Рённинг. Скорее уж, в духе Лютера. Лютер ведь был зверем. Я прекрасно знаю эту историю; помню, мы обсуждали ее в Дании во время оккупации, полагая, что она объясняет некоторые феномены. Сторм не процитировал отрывок, в котором Лютер говорит двум князьям, присутствовавшим при сем событии, что если бы он был князем или властителем, то самолично утопил бы ребенка в реке. И те замахали на него руками, ужаснувшись такой жестокости. Это тоже не совсем в духе времени, хотя они и представляли мирскую власть. Если провести сравнение с Иисусом в сходных ситуациях...

Карнему. Этого делать нельзя, и нужно помнить, что Лютер в застольных беседах нередко прибегает к крайностям. Он просто-напросто не всегда трезв, что нередко сопутствует застольным беседам. Но "Беседы" Лютера не каноническое сочинение, лютеранская церковь ни в коей мере не несет ответственности за него.

Рённинг. Но оно сыграло чудовищную роль в немецкой истории: один из самых страшных врачей-преступников использовал этот текст, чтобы оправдать убийство пятидесяти шести детей во время войны. И не все они были идиотами. Надеюсь, Сторм не попался на эту удочку?

Сторм. Нет-нет, я знаю Кателя[1] и его книгу. Думаю, именно на нее ты намекаешь. Но, по-моему, в ней он защищает только эвтаназию детей-уродов и ничего больше.

Рённинг. Это-то и ужасно. Он делает вид, что речь идет исключительно об этом и ни о чем более, как будто Третьего рейха никогда и не было. И тем не менее доказано, что он принимал участие в убийстве совершенно нормальных детей в целях своего рода расовой гигиены. Он даже перед судом не предстал.

Председательствующий. Не слишком ли далеко мы отошли от темы? Может, дадим Сторму продолжить?

Рённинг. Позвольте лишь спросить Карнему, расходится ли он во взглядах с Лютером на человеческую ценность детей-идиотов, детей-уродов и детей-монголоидов?

Карнему. Я не говорил, что не согласен с ним. Я просто хотел дистанцироваться от его грубых выражений. Лютер не был мягкотелым гуманистом. Но если у человека отсутствует всякая духовная жизнь, то нельзя говорить о человеке или о *личности*. Эти дети — жестокая игра природы, их жизнь не несет с собой ничего, кроме страданий и для них самих, и для окружающих. И я не могу согласиться с только что высказанным Стормом утверждением, что мы якобы "сделаем исключение из догмата о человеческой ценности", если поможем этим детям безболезненно

1. Вернер Катель (1894–1981) – профессор медицины, участник "Программы Т4" по эвтаназии инвалидов и умственно неполноценных; был оправдан Международным трибуналом; свои воззрения изложил в книге "Пограничная ситуация жизни" ("Grenzsituation des Lebens").

умереть. Христианское учение о естественном праве, которое он упомянул, относится к существам, обладающим человеческим разумом и духовной жизнью; лишь тогда можно говорить о ценности личности. Тут напрашивается сравнение с теми, у кого констатирована смерть мозга. Но это нисколько не мешает проявлять милосердие ко всем творениям Божьим.

Рённинг. Спасибо. Я вернусь к этим вопросам в своем докладе.

Председательствующий. Каспар Сторм. Прошу.

Сторм. Я очень благодарен Карнему за сведения о тех уточнениях к догмату о ценности личности, которые лежат в основе учения о естественном праве. Не уверен, что католики встанут здесь на сторону Карнему, но это не так важно.

Карнему. Безусловно.

Сторм. Как бы то ни было, я как раз собирался коснуться католиков и *их* тезиса о том, что в некоторых случаях дозволяется отступить от принципа равной для всех ценности человеческой личности. Это возможно, когда того требуют интересы общества. Стало быть, э*кстраординарные*, то есть очень дорогостоящие, средства спасения жизни не обязательно использовать, если спасаемый не представляет большой ценности с точки зрения всеобщего блага, например, не является лидером в области политики или экономики.

Разрешите мне вернуться к моему главному тезису. Или, скорее, раздвинуть его рамки в той части, которая касается относительной ценности человеческой личности в быстро меняющемся мире, где все расширяется пропасть между обществами богатыми и бедными. Каково значение человеческой ценности, если ее принимают во внимание только богатые страны? Практически получается так, что, когда речь идет о доступности ресурсов здравоохранения, лишь богатые в богатых странах обладают всей полнотой человеческой ценности. В конце концов, необходимо сформулировать проблему здравоохранения как глобальную проблему справедливости. "Мы должны, — утверждает один шведский экономист, — открытыми глазами посмотреть на ужасную дилемму, которая состоит в выборе: продлить еще на месяц жизнь собственному дедушке или предоставить десятку ребятишек из бедной страны возможность на те же деньги прожить отмеренный им век".

Эта проблема, представленная председательствующим с такой точки зрения, вовсе не шокирует. Мы наконец-то должны будем протягивать ножки по одежке, а этику соразмерять с действительностью и в той области, где, судя по всему, все еще господствуют старые священные догматы. Когда минует активный период нашей жизни, все мы сможем какое-то разумное время наслаждаться покоем в качестве пенсионеров, после чего наступит время поблагодарить за все, что было, и достойно умереть. Выражаясь точнее, *прибегнуть* к достойной смерти. Опять-таки — за исключением политических лидеров и других ключевых фигур общества. Величайшая задача ближайшего десятилетия — я в этом убежден — состо-

ит в том, чтобы распространить эту новую этику жизни и смерти, которая, при правильном ее понимании, не только не ослабит уважения к ценности человеческой личности, человеческой ценности *других*, а, напротив, усилит его. Я говорю "десятилетие", ибо эта работа, без сомнения, долгосрочная, как уже подчеркивалось во вступительном слове.

Но давайте посмотрим, что можно сделать, причем — возможно — уже сегодня. Сначала я вновь вернусь к вопросу о приоритете пациентов, затронутому мной вначале. Прекрасный пример привел сам Перссон: экономия средств на пациентах с инфарктом старше 65 лет, которую, очевидно, уже окончательно внедрили во многих медицинских учреждениях. Вопрос состоит в том, не пора ли создать более жесткие правила, а в сомнительных случаях — назначать своего рода комиссию или жюри, которое бы сняло часть давления и ответственности с врачей. Это могло бы также придать больший вес мнению общества по таким вопросам.

В США осуществили по этому поводу ряд любопытных экспериментов. Они особенно ценны тем, что касаются диализа, проводимого пациентам с тяжелыми и хроническими заболеваниями почек. Диализ для хроников — в первую очередь проблема селекции даже у нас. Что прекрасно вписывается в тематику основной дискуссии, поскольку речь всегда идет о выборе между жизнью и смертью. В Швеции аппаратами для диализа обеспечены десять процентов больных, нуждающихся в них. Остальные умирают. Почему этих аппаратов так мало? Конечно, они дороги, ведь они оттягивают на себя ресурсы, выделяемые на здравоохранение, на долгое время, иногда на десятки лет, пока не представится возможность сделать трансплантацию. Но, прежде всего, инвестиции в таких пациентов практически не дают отдачи, у этих людей лишь в редких случаях восстанавливается полноценная трудоспособность.

Итак, выбор целиком в руках врачей, и никаких правил, помимо чисто медицинских, не существует. Но все свидетельствует о том, что критерии приблизительно те же, что и в больнице Сиэтла, которую я привожу в пример. Там создали жюри из семи человек, которое должно было решать, кто получает доступ к лечению и тем самым шанс на выживание. Два члена жюри были врачами, один — священником и еще один — юристом. Группа работала анонимно, фамилии пациентов ей тоже не сообщались. Их шансы были лучше, чем у наших больных: десять человек из тридцати могли рассчитывать на лечение. Члены группы согласились руководствоваться при отборе следующими критериями: 1. *Возраст* — исключили детей, которые по медицинским или психологическим причинам с трудом переносят лечение, и людей старше 45 лет, отчасти также по медицинским показаниям, но, конечно, в первую очередь потому, что им осталось меньше времени служить обществу. Критерий 2 касался *пола*, — не знаю точно почему, но предполагаю, что это означало приоритет матерей, у которых есть маленькие дети. 3. *Общественное положение* — то есть приоритет отдавался людям, занимавшим важные посты. 4. *Доход* и *наличие иждивенцев* — другими словами, бережное отношение к добросовестным налогоплательщикам и тем, кто должен содержать семьи, которые в противном случае стали бы обузой для общества. И, наконец, при установлении пятого критерия принимались во внимание более расплывчатые и косвенные факторы, такие, как *социальная адаптированность*, *психическая стабильность* и даже *способность материально содержать потенциальных потомков*.

Впрочем, этот эксперимент с жюри — речь идет о 60-х годах — вскоре претерпел изменения, вернув врачам ответственность за принятие решений в подобных ситуациях, а за жюри осталась функция совещательного органа. Почему так произошло, не знаю. Казалось бы, врачам следовало только радоваться тому, что они смогут частично избежать ответственности в этих относительно легких — с точки зрения принятия решения — случаях. Мне представляется, что медицинское сословие — возможно, не целиком — цепляется за роль всесильных вершителей судеб — роль, очень важную для статуса врача. Но если отбросить эти рассуждения — что́ демонстрирует американский пример, как и примеры, приведенные мной в начале выступления? Наверняка то же самое, что могли бы продемонстрировать и мы, если бы обсуждали эти проблемы, проявляя не меньшую открытость. А именно: раз ресурсов, чтобы спасти всех, кого чисто технически можно спасти с помощью современных методов лечения, не хватает, то надо либо предоставить случаю решать, кто должен умереть, *либо* сделать *рациональный выбор, который подразумевает сравнительную оценку человеческой жизни.* Третьего пути нет, ибо ресурсов *никогда* не хватит для всех даже в самых богатых странах: наоборот, ресурсы постоянно сокращаются в том же темпе, в каком развивается депрессия, конца которой не видно. И чем дольше продолжается регресс, тем больше оснований осуществить рациональный политический выбор в том, что касается здравоохранения и демографии, тем слабее делаются аргументы тех, кто хотел бы довериться слепому случаю.

Самый привычный и, вероятно, самый сильный из этих аргументов носит религиозный характер: человек, то есть врач, или общество, не имеет права подменять собой Бога и судить о жизни и смерти исходя из человеческих или даже экономических соображений. Но разве в Библии не сказано, что лучше пусть один человек умрет за народ, чем умрет весь народ? А речь идет как раз о таком выборе, если рассматривать его в соответствующей перспективе: благо всего общества против блага отдельного человека. *Не сравнение* одного индивида с другим. И тогда мы вновь возвращаемся к вопросу о противопоставлении общественной ценности и человеческой ценности, или, скорее, *индивидуальной ценности.* И ни одно разумное общество, пожалуй, не станет колебаться в выборе.

Об индивидуальной ценности мы говорим и потому, что отбор затрагивает весьма небольшое число людей. Естественно, тогда можно сказать, что и экономия при осуществлении отбора будет незначительной, так как он коснется малого числа пациентов, как в случае почечного диализа. Но я рассматриваю это как пример, пилотный проект, благодаря которому общество уже сегодня может остановить нерентабельные вложения в здравоохранение, являющиеся следствием поверхностной философии неприкосновенности жизни. Существует еще несколько сходных категорий, применительно к которым возможен — и в определенной степени уже проводится — отсев. Обычно это происходит с молчаливого согласия персонала и администрации медицинского учреждения, и все идет гладко, пока кто-нибудь не развернет дискуссию в СМИ. И тут проблемные узлы воспаляются, и неопытных политиков вынуждают делать необдуманные заявления, от которых они потом — из соображений престижа — не могут отказаться, что блокирует развитие или по крайней мере мешает ему. Поэтому я думаю, что двигаться вперед надо

осторожно и соблюдая системный подход. Необходимо обрубать одну маргинальную группу за другой, пока общественное мнение не созреет для окончательного решения, упомянутого Перссоном: заставить простых людей привыкнуть к мысли о более короткой жизни — о продолжительности жизни, близкой к той, что в прошлом считалась нормальной. И *тогда* развернуть открытую дискуссию. Я разделяю мнение Перссона, что это — задача на будущее, и тоже полагаю, что наше предложение следует внедрять в виде реформы, проводимой в духе социальной справедливости. *У всех*, в принципе, должна быть одинаковая продолжительность жизни; чтобы создать более справедливое общество, мы и в этом обязаны подправить природу. Как сказал мне однажды старик из отделения длительной терапии: "Мы ведь все рождаемся в одном возрасте, почему бы нам и не умирать в одном возрасте?"

Но моя программа тактически отличается от того, что предлагает Берт Перссон. Я не верю, что препятствие можно преодолеть в один прыжок. Сначала — частичные реформы, которые подготовят общественное мнение, потом — основная реформа, как естественное, если можно так выразиться, следствие. К указанным выше группам населения я бы здесь добавил еще две, а именно: людей с тяжелыми поражениями — не путать с инвалидами в общепринятом смысле; среди них уже давно во всем мире проводится широкомасштабная селекция. Одна группа представлена детьми с врожденными тяжелыми дефектами спинного мозга, так называемыми spina bifida. Без операции 90 % таких детей умирают в течение полугода. Из перенесших операцию выживает не более половины, приобретая при этом более или менее тяжелую форму физической и психической инвалидности. Следовательно, отказ от операции является своего рода пассивной эвтаназией: детям дают умереть в щадящих условиях. Отбор тех, кого решили оперировать, происходит, помимо оценки шансов на выживание, по таким критериям, как интеллект, предполагаемая продолжительность жизни и отношение родителей к ребенку. Я бы здесь поставил под вопрос интеллект, ибо разве не логично предположить, что индивид с развитым интеллектом в большей степени страдает от своего физического увечья, чем тот, у кого есть и умственные дефекты?

Вторую группу составляют дети, которых мы в обычной жизни называем монголоидами, но которых я, из уважения к монголам, предпочитаю называть детьми с синдромом Дауна или, из уважения к детям, *случаями* синдрома Дауна. Эти идиоты или слабоумные — не дети и никогда не станут людьми в смысле сознательных *личностей*. Если они вообще достигнут сколько-нибудь зрелых лет, что бывает крайне редко. И к какому выводу мы приходим? К такому, что ничего не следует делать (как, впрочем, и происходит), дабы продлить жизнь этих существ. Мы, так сказать, расчищаем дорогу пассивной эвтаназии, отказываясь от привычных прививок и медикаментозного лечения; в институтах, где содержатся эти пациенты, нет кислородной аппаратуры, при воспалении легких не используются антибиотики и так далее. В Америке, где с большей открытостью относятся к щекотливым вопросам, чем мы, подобную политику поддерживают всевозможные церкви. "There are churches on all sides of me"[1], — прокомментировал ситуацию один амери-

1. "Все церкви на моей стороне" (*англ.*).

канский врач. Карнему наверняка подтвердит этот тезис. Но не следует ли нам пойти дальше? Не надо ли нам законодательно закрепить право гуманно умерщвлять *именно таких детей* сразу после рождения? Помимо всего прочего и из милосердия к родителям, чтобы не успела, как часто бывает в таких случаях, возникнуть истеричная, отягощенная чувством вины, родительская любовь. Что думает по этому поводу председательствующий? Разве подобный законопроект не стал бы превосходным тестом на готовность общества наконец-то отбросить слепой витализм, когда дело касается человеческой жизни? То есть это станет первым шагом к тому, чтобы открыто взять на себя ответственность за более *позитивный* контроль над численностью населения, чем тот, что осуществляется с помощью легальных бесплатных абортов.

При положительной реакции, — а она должна быть таковой, если проект будет иметь солидную экономическую мотивацию, непосредственно затронет, так сказать, кошельки, — вполне логично распространить подобный закон и на других людей с тяжелыми умственными дефектами. Конечно, существует риск того, что все инвалиды, так сказать, в широком смысле, почувствуют себя в опасности. Но это можно предотвратить путем разумной просветительской работы.

Председательствующий. Я бы хотел высказать ряд соображений. Чрезвычайно важно, каким именно образом здесь будут проведены границы. Инвалиды с ограниченными физическими возможностями — хорошо организованная группа, не лезущая за словом в карман. Не забудем, как они атаковали СМИ после случая в Хедебю, создав негативный образ "помощи в уходе из жизни", последствия чего проявляются и поныне, по крайней мере скрыто. Если подобная реакция возникнет и сегодня, мы рискуем тем, что всяческие табу станут еще жестче и неприкосновенными объявят *все* непродуктивные маргинальные группы, в том числе стариков. Не исключено также, что реформы заморозят по всему фронту, и этот процесс не удастся остановить, пока национальная экономика не потерпит полный крах. В этом слабость твоей пошаговой тактики, Каспар.

Для того чтобы воспрепятствовать такому развитию, такой эскалации, нам, наверное, нужно в первую очередь вбить клин между инвалидами с ограниченными возможностями и здоровыми людьми или просто физически слабыми стариками, с одной стороны, и тяжелыми психическими инвалидами — включая, быть может, алкоголиков, наркоманов и уголовников-рецидивистов — и слабоумными стариками, с другой. С помощью правильно поставленной просветительской работы в перспективе мы могли бы заставить общественное мнение отвернуться от последних категорий. Не исключено, что именно с этого конца и следует браться за решение проблемы.

Сторм. Безусловно, но тем самым ты затронешь только маргинальные группы населения. По приблизительным подсчетам — так сказать, на скорую руку — ты в первые годы увеличишь смертность на 15—20 тысяч человек. Около пятнадцати процентов от ежегодной смертности. Потом этот процент обязательно снизится. Таким образом ты отказываешься от собственной идеи всеобщего обязательного отсекания пограничных возрастов.

Председательствующий. Сильно сомневаюсь. Ничего еще не определено. Мы ведь только на стадии эскиза, испытательного зондирования. Поэтому мы и проводим симпозиум по выработке идей, а не планерку или исследование. До этого нам еще далеко.

Разрешите, я начну сначала. У нас есть два случая, совершенно очевидных и работающих. Первый — отбор должен иметь место, когда не хватает медицинских ресурсов. Отбор производится в соответствии с тем, что ты называешь общественной ценностью. All right. Прекрасно. Второй случай — абсолютно нежизнеспособные дети-монстры. Им дают умереть более или менее естественной смертью, они ни при каких обстоятельствах не дотянут до старости. Пожалуй, в обеих этих ситуациях, которые никогда не выйдут за рамки малочисленных, маргинальных, никакие дополнительные меры и экономия средств не нужны. Нет надобности закреплять это законодательно.

Ты хочешь, если я правильно понял, расширить эти секторы, добавив к ним другие, более многочисленные, но также маргинальные, прежде всего состоящие из тех, кто страдает слабоумием и вообще имеет пороки развития. Это означает скачок, скажем, с 5000 смертей до 40 000. Сюда бы я, в основном исходя из твоих рассуждений, добавил страдающих старческим слабоумием и безнадежных наркоманов, алкоголиков и преступников. Увеличение еще тысяч на десять. В то же время необходимо вести дорогостоящие кампании, чтобы успокоить большую массу инвалидов и стариков. Потому что ведь лишить жизни эти 50 000 незаметно не получится. Все должно происходить открыто и гласно, после чего на проблеме возраста надолго будет поставлена точка.

Нет, Каспар, такое решение не выдерживает критики. Нам надо идти другим путем: путем психологической обработки стариков, так, чтобы они сами захотели свести счеты с жизнью. Внушить им это напрямую, взывая к тому, что можно назвать общественным духом. Новая философия, новый общественный институт, базирующийся на воле народа. И вот там-то кроется огромная экономия.

И мне кажется, что и психологически, и с точки зрения общественного мнения мы продвинулись по этому пути дальше, чем думаем. Или скорее речь идет о формировании поведенческой модели, чем общественного мнения. Вы, вероятно, помните эксперимент Мильграма, касавшийся послушания. Человек слушается приказа, а не мягкого предложения. Поэтому информирование общества должно носить характер коммюнике, а не диалога.

На самом деле, мир накрыла волна послушания. И тут мы занимаем одно из первых мест, у нас есть традиции. Некоторые люди из руководства страны считают, что легко управляемыми шведы стали во времена Густава Васы, другие соотносят это явление с правилами военного времени. Пожалуй, обе теории имеют под собой определенные основания. Но я бы вел отсчет с реформы, *заменившей "вы" на "ты"*[1]. В качестве инструмента в руках власти ее просто-напросто нельзя переоценить.

1. Имеется в виду, собственно, не реформа, а переход шведов в общении от трех видов обращения: уважительного в третьем лице, официально-делового на "вы" и фамильярного на "ты" — к повсеместному употреблению местоимения "ты" как нейтрального.

Это образец того, как нужно проводить любую реформу, чтобы она укоренилась в Швеции. Хотя она якобы появилась снизу, из гущи народа, на самом деле ее инициировали сверху. Это и есть шведская модель демократии. Которая безмерно облегчила управление. Наконец-то наши директивы дошли до людей, до самого их нутра, мы смогли проникнуть в их дома и спальни и диктовать свою волю. Ведомства и властные органы, игравшие прежде скромную обслуживающую роль, в лучшем случае способные посылать вежливые напоминания через почтовый ящик, теперь располагаются в гостиных и отдают приказы. Слуга стал господином. Не следует, разумеется, недооценивать вклада Шведского радио, но точку над "i" поставило насильственное "тыкание". Оно создало новую близость между властью и людьми, заставляющую тех, кем управляют, сочетать собственные потребности и желания с потребностями и желаниями тех, кто управляет. Я рассматриваю это как великую реформу благосостояния 60–70-х годов, и, быть может, она-то и спасет нас в переживаемые нами сегодня трудные времена.

Только не говорите, что в английском тоже употребляется единое местоимение второго лица. Там существует широкий спектр нюансов, но нет ничего общего с вызывающим и фамильярным шведским "ты", когда с ним обращаются вышестоящие к нижестоящим.

Вы, конечно, заметили, что как человек я испытываю колебания, но как чиновник в полной мере осознаю ценность реформы перехода на "ты". Это кнут и пряник одновременно. Без нее нам бы никогда не удалось провести всевозможные кампании за трезвый образ жизни и запрет на курение, за здоровое питание и моцион, которые привили населению высокую степень послушания даже при столкновении с довольно примитивными и не завуалированными приказами. Новая близость, новая интимность словно бы заставляет звучать глас народа. "Ты! – вдруг кричат все СМИ. – Проверь глубину рисунка протектора!" Это не только повышает безопасность движения и быстро увеличивает оборот товаров и услуг в автомобильной отрасли, которая, возможно, как раз и нуждается в помощи. Достигается и другой эффект: те, кто все еще не знают, что речь идет об автомобильных колесах, чувствуют себя уличенными в этом обществом и в следующий раз будут слушать внимательнее. Все придвигаются поближе к репродукторам, ближе к народному единению.

Это было своего рода отступление, но, по-моему, именно здесь кроются способы решения. Обработанный нами дух общества постепенно доведет наше послание до ушей стариков: "Ты прожил свою жизнь, сделал свое дело, мы, остальные, надеемся, что ты доволен. В любом случае большое тебе спасибо. А если бы ты со своей стороны захотел поблагодарить общество за все, что оно сделало для тебя, то наверняка знаешь, что предпринять. Не знаешь? Конечно, знаешь. Это все равно, что уснуть после долгого рабочего дня. Позвони в Социальное управление и попроси соединить тебя с Центром по делам престарелых. Мы ждем тебя, добро пожаловать. Не тяни слишком долго".

Разве не чувствуется в этом определенная надежность? Общество заключает человека в свои объятия, человеку не приходится испытывать изолированность и горечь старости. Общество берет на себя или дополняет функцию опоры, выполняемую религией. Оно не обещает загробной жизни, это правда. Скорее, можно сравнить новую концеп-

цию с двумя формами проживания: одна — для активной жизни, другая — для жизни пенсионеров, которая бережно и естественно выключается на ночь. И все кончено.

Подобный конец жизни — это проявление сознательности, и почему бы последний день жизни человека не превратить в праздник? Благодарность и прощание в добром согласии. Вспомните наши старые сельские общины, бедное и скудное деревенское житье. Когда старик чувствовал, что он выполнил свое дело и силы его иссякли, он прощался с родными и односельчанами. Это был трогательный народный праздник, в центре которого, возможно единственный раз в жизни, оказывался этот старик. Он сам возглавлял процессию, шедшую к обрыву, или торжественно передавал родовой молот, унаследованный от предков, представителям деревни. Солидарность, общая ответственность замечательно подчеркивалась тем, что все должны были подержать молот за ручку или по крайней мере прикоснуться к ней до самой экзекуции, которую старались осуществить по возможности безболезненно, в соответствии с тогдашними понятиями. Один за всех и все за одного. Молодежь в виде самой красивой девушки деревни — или юноши, если дело касалось старухи, — играла особую роль, от имени всех сельчан прощаясь со стариком поцелуем, называвшимся поцелуем смерти. Во всем этом много такого, что отвечает потребностям нашего времени, когда бедность снова стоит на пороге.

Естественно, я хотел только провести *параллель*; элемент принуждения необходимо, безусловно, смягчить с помощью современных информационных методов. Но какая же благоприятная почва для подобного рода мыслей, какой потенциальный отклик! Подумайте о тех шестидесяти миллиардах налоговых средств, которые ежегодно тратятся на стационары длительного пребывания и на пенсии. Они могли бы спасти экспорт и занятость. Тот, кто нужным образом сумеет затронуть эти струны в душе народа, приведет в изумление весь мир своими успехами. Я убежден в этом.

Но прости меня, Сторм. Я слишком надолго прервал тебя. Пожалуйста, продолжай.

Сторм. Нет-нет, хорошо, что ты вступил в разговор, поскольку в этих демографических приоритетах я не большой специалист. Мне хотелось бы, собственно говоря, только привести в доказательство моего тезиса то соображение, что неприкосновенность человеческой ценности действует, лишь пока хватает ресурсов. Так было всегда, но в открытом обществе надо наконец-то начинать открыто говорить об этом. Что же касается твоей последней картины будущего, то я, как и ты, считаю, что мы неумолимо движемся в этом направлении, хотим мы того или нет. Но я не разделяю твоего мнения относительно способов, какими следует доводить эти горькие истины до народа и приучать его к ним. Думаю, можно и нужно взывать к реализму и здравому смыслу людей, забыв об управлении поведением и суггестивной пропаганде.

Председательствующий. Хочешь сказать, идти в народ с идеей логического позитивизма?

Сторм. Почему бы и нет? Демократия от этого бы только выиграла — она шла бы в ногу с общественным развитием.

Но позвольте мне закончить свое выступление несколькими соображениями относительно того, чему в нашем обществе могла бы поспособствовать медицинская этика в том, что касается решения всех упомянутых трудных вопросов. Для этого я должен сформулировать свою собственную точку зрения. Особенно важными я считаю следующие обстоятельства:

1. Мораль не должна быть чем-то данным раз и навсегда, она должна отличаться динамизмом и гибкостью. Время абсолютных норм прошло, поскольку нет больше богов, которые способны были бы контролировать их исполнение. Полагаться на судьбу и случай тоже несовременно, вялый детерминизм возможен лишь в статичном мире. Действительность меняется с бешеной скоростью, мораль должна стараться не отставать и приспосабливать свои доводы и поведенческие нормы к существующему положению вещей. Лучший пример того, как действительность ставит рамки морали, — это международное равновесие в условиях террора. Дабы сохранить мир, нам больше не следует добиваться соблюдения прав человека в странах Восточной Европы, ведь это может прервать диалог, который мы ведем с этими странами. Красный Цветок и Пимпернел Смит[1] для нас не герои, а преступники, манипулирующие миром во всем мире. Fiat justitia, pereat mundus[2] — уже не благочестивая фантазия, а чудовищный цинизм в эпоху, когда подобная максима может стать реальностью.

2. Чтобы гибкая этика не утратила своих принципов, ее надо свести к *утилитарной этике последствий*. То есть когда у нас нет в багаже никаких по-идиотски упрямых метафизических норм, в каждом отдельном случае мы обязаны действовать так, чтобы *последствия* были максимально *полезны*. Но для того, чтобы пригасить, а лучше всего предотвратить конфликты между различными индивидуальными, причем нередко эгоистическими, представлениями о том, что есть польза, необходимо руководствоваться пользой для целого, для общества и в конечном счете — для человечества. Таким образом мы получаем *утилитарную этику последствий, ориентированную на общество.*

3. Медицинской этике это принесет все возрастающие трудности по сравнению с эпохой абсолютных ценностей. Релятивистская, ситуационно обусловленная этика постоянно требует новых точек зрения, и порой совесть оказывается между двух стульев. Тем крепче нам следует отстаивать те нормы, которые у нас все же есть. И позволить голосу общества звучать через нас, а не через индивидуальную совесть.

Во-первых, мы должны уяснить, что этика чистого витализма, почитание жизни как высшей ценности, есть нелепость. Ресурсы здравоохранения были и всегда будут ограничены. Единственная многочисленная группа, исповедующая эту догму, — индусы, что с особой силой высвечивает лицемерие, кроющееся во всяком витализме. Христианские мученики явно *не были* виталистами. В первую очередь у старых лю-

1. Красный Цветок (букв.: алый очный цвет, *англ.* Scarlet Pimpernel) — герой одноименного приключенческого романа (1905) английской писательницы баронессы Эммы Орчи (1865—1947) — английский аристократ, который с риском для жизни спасает французских аристократов от гильотины. Пимпернел Смит (*англ.* Pimpernel Smith) — герой одноименного американского фильма (1941), основанного на том же сюжете, американец, спасающий евреев от гестапо.

2. Пусть погибнет мир, но да восторжествует справедливость! (*лат.*)

дей могут быть ценности, более важные для них, чем жизнь: зрелость, адаптация к групповым нормам, возможно, достойная смерть. Качественные аспекты жизни должны получить приоритет перед количественными. Нам нужно вернуться к естественной смерти.

Во-вторых, религиозный взгляд на то, что все люди имеют одинаковую ценность, уже не котируется в наши дни. Утверждение, что все жизни якобы равноценны, столь же красиво, сколь и бессодержательно. Понятие "качество жизни" следует, кроме того, понимать так, что разные жизни обладают разной ценностью. О ценности жизни нужно в первую очередь судить с экономической и общественной точек зрения, хотя при этом желательно, по возможности, взвешивать и эмоциональные факторы, и межличностные отношения. Нравится нам это или нет, но необходимость определять приоритеты с экономической точки зрения привела к тому, что экономисты уже давно оперируют понятием *гуманной ценности*. Это не то же самое, что ценность человеческой личности, а наоборот: польза продления жизни отдельного индивида рассчитывается в денежном выражении. Британский специалист в области дорожного движения Майданек...

Экономист в области медицины Стина Кулльверт. Мелинек!

Сторм. ...Мелинек, изложил эту теорию в своей работе "A method of evaluating human life for economic purposes"[1].

Председательствующий. Которая оказалась очень полезной нам во многих исследованиях.

Сторм. Вполне понятно. К чему я веду: эта гуманная ценность по содержанию весьма близка понятию *общественной ценности*, которое я предложил и которое направляет ассоциации по более позитивному пути. Дело ведь в том, что общественность еще далеко не созрела для подобных идей, изложенных со всей откровенностью. Тут я согласен с Перссоном. Народ ведь не читает исследований, даже если это выводы госкомиссий, которые может прочитать каждый. И все-таки мой рецепт — лучше терпеливое просвещение, чем внушение.

К примеру: наверное, вполне возможно убедить и старшее поколение в том, что уготованная ему жизнь подошла к концу и оно выполнило свое жизненное предназначение. Такое понимание, по словам Перссона, уже зреет. Кроме того, нужно менять отношение к жизни и смерти и в другом аспекте, и чем скорее, тем лучше. Повторяю: смерть должна вновь стать *естественной*. Смерть глубокого старика, тяжело больного человека или инвалида нельзя воспринимать как некое зло, которое следует предотвратить. В мире, где царят насилие и голод, это почти суеверие, своего рода пережиток двойной морали, подлежащей искоренению. Тогда можно будет перенаправить громадные ресурсы от лечения больных-хроников на профилактику и лечение элементарных инфекционных заболеваний, приносящих обществу колоссальные издержки по причине сокращения производства.

1. "Метод оценки человеческой жизни в экономических целях" (*англ.*).

Я вижу, что перерасходовал отведенное мне время, а другие тоже хотят высказаться. Под конец несколько личных замечаний. Скольким из нас, наблюдавшим беспомощных и безнадежных больных вблизи в качестве врачей или родственников, приходилось испытывать горячее желание избежать зрелища разворачивающихся перед нами человеческих или, скорее, нечеловеческих страданий! Быть прикованной к постели развалиной, отвратительным свертком, "подключенным" к различным аппаратам, зондам, капельницам, респираторам и так далее. И это при том, что ты, наверное, в свое время был цветущим и активным существом с красивым, сильным телом. Или привык листать книги, размышлять и в перерывах играть немножко на флейте. Тут слова "качество жизни" звучат как издевательство, и не освободить этих людей от так называемой жизни, превратившейся в унижение и муку, низко и подло. Поэтому я не только как член общества, но и лично ощущаю огромное облегчение от того, что вопрос о стационарах длительного пребывания близится к своему разрешению. Большое спасибо!

Председательствующий. Да, ланч уже ждет нас, но ответственность за опоздание я целиком беру на себя. Думаю, мы все благодарны Каспару Строму за его вдохновляющий и богатый идеями доклад. Особенно тем из нас, кто работает над этим проектом, есть все основания с радостью и уверенностью смотреть в будущее, так как единственный в стране международно признанный специалист по медицинской этике таким вот образом с самого начала помогает нам четкостью своей позиции. Сторм и его Институт представляют собой, безусловно, авторитетную инстанцию в этой области, и мы чувствуем твердую почву под ногами, зная, что с этой стороны никто не будет вставлять нам палки в колеса. Что-что? Разумеется, существуют небольшие расхождения во мнениях относительно маркетинга. Но общая основа... точки зрения... цели... Нет, столовая направо, направо по коридору! Подождите, я иду...

Первый день, после обеда.

Председательствующий. Аксель Рённинг. Прошу.

Рённинг. Доклад, представленный нам перед ланчем, дал мне повод для размышлений. Я, конечно, приблизительно знал, что услышу, но форма изложения заставила меня задуматься. Оно показалось мне на удивление неуверенным, несистематичным, как бы ищущим понимания, особенно если учесть, что мы слышали доклад из уст столь опытного оратора. Что это? — спросил я себя. Способ пригласить к открытой дискуссии? Или за этим действительно скрывается неуверенность? Ответ на этот вопрос имеет определенное значение для тех мыслей, которые я собираюсь развить, относительно естественного права, совести и человеческой ценности.

Эти размышления связаны и с другим вопросом, возникшим у меня в тот момент, когда я получил приглашение на симпозиум. Устроителям, несомненно, было известно, что я, так сказать, принадлежу к лагерю противника. Мне, правда, запрещено разглашать то, о чем здесь говорится, — в соответствии с новыми законами о намордниках, призванными

защищать власти от граждан. Но добровольно выслушать мои неудобные факты и мнения — не свидетельствует ли это о своего рода мужестве?

Да, только если я, по мнению присутствующих, представляю живое и сильное общественное мнение. Недооценка же такого мнения может свидетельствовать о завышенной *само*оценке. Но есть и третья возможность, а именно: группа ЧУПЧ имеет все основания проанализировать ту идеологическую традицию, сторонником которой я являюсь и которая в ближайшем будущем в Швеции исчезнет.

В таком случае от меня, скорее всего, ждут некоего культурно-исторического развлечения.

Председательствующий. Но, дорогой Аксель, ты глубоко ошибаешься. Мы... Позволь мне сказать так: мы надеемся, что сможем заточить наши аргументы на оселках, которые ты разбросаешь на нашем пути. Мы с большим вниманием выслушаем твое выступление.

Рённинг. All right. Удовлетворюсь этим. Вам будет представлен исторический обзор, заявленный в программе. Но чуть погодя; во время ланча я перелопатил и сократил свой текст. Поэтому сначала о другом.

Мы на мгновение посмотрим смерти в лицо. Попрошу выключить свет, и я запущу проектор. Вот так. Спасибо!

Сейчас вы увидите *древнюю* смерть. Не ту, которой мы умирали до сих пор и которую ЧУПЧ хочет изменить. А смерть 2000 лет назад, *античную* смерть.

Поглядите на этот скелет с кувшином вина в руках! Это мозаичный пол в столовой в Помпеях. Так выглядела смерть, когда она по-настоящему была естественной. Добродушный покойник, призывающий нас наслаждаться жизнью и умереть с бокалом в руке. Не христианский покойник, желающий страхом принудить нас к исправлению с помощью здорового образа жизни. Не современная смерть, страхом заставляющая нас стать более совершенными роботами с помощью здорового образа жизни. В нашем обществе подобное изображение мыслимо лишь в рекламе общества трезвости. Ибо у современной смерти в руках нет ничего, у нее нет рук, нет лица. Она представляет собой больничную стену, пустую, плоскую и гигиеничную.

Этот добрый скелет, глядящий на нас и протягивающий свой кувшин через двадцать веков, говорит не только о здоровом гедонизме античности. Он говорит и о краткости жизни. Античные люди умирали молодыми, редко когда доживали до сорока лет. Именно потому, что жизнь была так коротка, люди хотели наслаждаться ею, пока она длилась. В жизни не существовало надежности, и не существовало жизни после смерти. Люди беспечно строили свои города у подножия Везувия.

Но и мы ведь делаем то же самое. То есть строим Везувии у границ наших городов в виде атомных электростанций. Плиний, видевший извержение, похоронившее Помпеи, рассказывает, что гигантское грязное облако над вулканом было похоже на зонтичную сосну. То есть на гриб.

Никакой надежды на загробную жизнь у нас тоже не осталось с тех пор, как угасло христианство. А продолжительность жизни воспринимается не как абсолютная, а как соотнесенная с продолжительностью жизни современников. Стало быть, нам следовало бы походить на помпейцев, радоваться жизни и смотреть смерти в глаза.

Но мы, очевидно, на это не способны, и ни Сторм, ни Перссон даже не упомянули столь легкомысленную идею. Наслаждаться жизнью? На это общество не рассчитывает. Почему же? Почему нам не дозволяется то, что дозволялось им, в Помпеях?

Но откуда мы знаем, что помпейцы были счастливее нас? Не знаем и знать не можем, однако об этом говорит множество материальных свидетельств. Следы более красивой, чем наша, жизни, предметы, рассказывающие о великом разнообразии радостей и чувственных удовольствий. Помпеи были маленьким городом с населением не больше 20 000 человек и сейчас представляют собой руины. Но в этих руинах по-прежнему имеется неизмеримо больше прекрасных вещей, полных смысла и *жизни*, чем в любом современном шведском городе того же размера. Там, где у нас супермаркет "Домус", универсам "Темпо", а вокруг них, в грязи, — бетонные коробки для сна и сидения перед телевизором, — у помпейцев существовало это замечательное многообразие: общество, в котором культура обладала достаточной силой, чтобы пропитать его сверху донизу. Качество жизни было намного выше, ни один честный человек не станет это отрицать. Зато с гигиеной и здравоохранением дело, конечно, обстояло хуже, чем и объясняется низкая продолжительность жизни.

Таким образом и происходил так называемый естественный отбор — то, что Сторм и Перссон страстно хотят вложить в руки общества и что исследования ЧУПЧ по всему миру столь отчаянно пытаются оправдать. Тем не менее нет никаких сомнений в том, что помпейская модель показалась бы глубоко неудовлетворительной обладателям ментальности, которую эти исследования отражают. Если бы я заявил, что эта модель основана на представлениях о гуманности, это наверняка сочли бы оппортунизмом. Впрочем, никто и не утверждает, что в античности больше почиталась человеческая жизнь, чем в наше время, и наделялась абсолютной ценностью. Но и не меньше, если судить по услышанным нами сегодня выступлениям.

Помпейская радость жизни и смерти сейчас неуместна, пожалуй, не из-за этого. Там отсутствовала мания прогресса, *продуктивности*. Стремление создать материальный субститут статичной надежности, которую давала религия, — вот типичная особенность мира, в котором работает ЧУПЧ. Но — добавим — столь же типичной особенностью, немыслимой в нетехнологичном рабовладельческом обществе, является постоянное давление снизу и борьба за более справедливое распределение богатств индустриального общества. Именно задача контроля за справедливым распределением материальных благ узаконивает в глазах масс рост бюрократии. Так называемые "слабые" члены общества охотно мирятся с опекой бюрократии, лишь бы благодаря этому получить свою долю ресурсов. В кризисной ситуации вроде нашей сильные члены общества тоже прячутся под крылышко бюрократии. И так поддерживается общественная дисциплина, что требует управления и непрерывного контроля за индивидами, даже во время их досуга. Под конец контроль становится движущей силой общественной фабрики. Индивидуальное пресыщение и жизнь на полную катушку à la Помпеи быстро привели бы к дефициту ресурсов и краху.

В Помпеях продуктивность была низкой, и, похоже, никто не старался ее повысить, несмотря на то, что, скажем, религия вряд ли утеша-

ла их больше, чем нас. То было общество малых размеров, нединамичное, статичное. В экономическом смысле, не в культурном. Поэтому оно и не нуждалось в многочисленной бюрократии, которая бы натягивала вожжи, чтобы его не унесло в пропасть. Природа оставалась на месте, у людей не было способов ее уничтожения. Сегодня, когда природе приходит конец, маленькое общество снова становится привлекательным. Впрочем, эта идея привлекала многих и раньше. Давайте производить меньше, говорил кое-кто в начале 70-х годов. Давайте будем немного беднее, снизим *цену* человека. А вместо этого повысим человеческую *ценность*, качество жизни. К сожалению, такого рода пуританство, следствие заботы о здоровье, упомянутой Перссоном "идеологии тела", тоже, вероятно, берет свое начало в христианстве. Желая создать более чистую окружающую среду, люди вообразили, будто это связано со здоровым образом жизни, вегетарианской преснятиной. Новых Помпей мы так и не обрели: не обрели свободной, творческой жизни с девами, вином и утонченными радостями; да, такая жизнь короче — но человечнее.

И вот на рубеже 80-х годов движения "зеленых" исчезли. Они запоздали. Или дело не в этом? Может, просто интересы государства, бюрократии и капитала оказались слишком сильны? Этого мы никогда не узнаем. Ядерная энергетика победила повсюду, и это стало решающим фактором. Но экономический кризис продолжался и усугублялся. Сейчас дела обстоят так, что проект, который затронет два краеугольных камня нашего общества — ресурсы и справедливость, — имеет все шансы на успех. Даже если этот проект носит такой варварский характер, какой вырисовывается из изложения Берта Перссона. Он высвобождает огромные экономические ресурсы, одновременно удовлетворяя требованиям некоей чудовищной справедливости. Идея обязательности смерти по достижении определенного возраста, таким образом, превращает в реальность своеобразную демократию смерти — наверняка одну из древнейших грез человечества. Я не вижу сил, которые могли бы остановить или хотя бы замедлить осуществление этого плана. Поэтому осторожность Сторма по поводу сроков мне кажется излишней. А в остальном — он вполне разобрался в сути дела, да иначе, учитывая его философскую позицию, и быть не могло.

Но вот от Карнему, лояльного священника государственной церкви, я, пожалуй, ожидал хоть какого-то символического сопротивления. Ведь для христиан всякая жизнь одинаково бесценна, да и не для них одних, как, похоже, считают присутствующие здесь. Я позднее вернусь к этому. И брошу несколько камней в огород исследователей.

Цель нашего путешествия в Помпеи состояла в том, чтобы увидеть естественную смерть, античную смерть, призывающую нас жить расточительно, поскольку мы все равно не вечно существуем на земле. Вот она, на картине. Кроме того, я записал предсмертную арию Папагено:

> So ist' aus, so sterbe ich;
> schöne Mädchen, denkt an mich![1]

1. Я умру. Пусть, не кляня,
вспомнят девушки меня! (*нем.*)
Перевод М. Улицкого

Тут тоже отражается взгляд естественного человека на смерть. Ибо совершенно очевидно, что такой взгляд существовал всегда. Весьма показательно, что Папагено — фигура комическая, даже несколько неполноценная. В христианской среде естественный человек был сослан в субкультуру, граничащую с царством животных: с ним можно было заигрывать в салонах, но его никогда не принимали всерьез.

Я убираю античную смерть. Пожалуйста, зажгите свет. Спасибо.

Но сегодня у нас нет христианской среды. Вместо этого человек с колыбели запеленат, как мумия, во всеобщие социальные гарантии, поэтому бестактно по отношению к обществу слишком много размышлять о своей собственной, маленькой, индивидуальной смерти. И когда Сторм и Перссон хотят вернуть то, что они называют естественной смертью или примирением со смертью, они говорят вовсе не о смерти. Что́ стареющий человек чувствует перед лицом смерти, их по-настоящему не интересует. Они хотят всего лишь, чтобы человек примирился с естественностью того обстоятельства, что он лишний в этом обществе, а его дальнейшее пребывание на этой земле стоит больших денег и вредно для общества. Смерть по ЧУПЧ я бы назвал *современной* смертью, потому как "новая смерть" — это, похоже, название группы американских профессоров, ожидающих в морозильных камерах своего генетического воскрешения с помощью ДНК.

Председательствующий. Погоди-ка. Ты раскритиковал систему социальных гарантий...

Рённинг. Я против того, чтобы ее доводили до абсурда. Надежность и защищенность, которые общество должно гарантировать гражданам, достигли нужного уровня уже давно. Предыстория внушает лишь уважение: обездоленные люди боролись за равноправие и лучшую жизнь. Однако впоследствии философия социальной защищенности превратилась просто в рутину. В фетиш, в западню для свободы. Двадцатилетний юноша, задумывающийся при выборе профессии о пенсионных льготах, уже поставил крест на своей жизни. Социальные гарантии означают пребывание в плену у бюрократии, которая паразитирует на этом. В чем и заключена трагедия шведского рабочего движения и шведского общества. Здесь кроются главные причины стагнации и отсутствия жизненного тонуса. Что, судя по всему, ведет нас к пропасти.

Председательствующий. Возможно, с некоторыми реформами мы не справились. Но тогда тебе следует нападать не на бюрократию, а на демократию. К тому же в нашей системе реформы нельзя отменить, поэтому нет смысла рассуждать задним числом. Речь идет о том, чтобы найти новые решения, и именно это мы и пытаемся сделать. Твоя критика чересчур несерьезна. Легко быть анархистом.

Разрешите мне высказать одно соображение по поводу "новой смерти". Разве люди, живущие сегодня в западном мире, не учуяли носом возможность физического бессмертия или, по крайней мере, радикального продления жизни с помощью новых генетических открытий? Тутто и начинается широкомасштабная селекция, когда жизнь продлевают физически и прежде всего интеллектуально одаренным людям. Разве

случайно в последние десять лет во всем мире появилось множество справочников "Кто есть кто", держащих в своей власти миллионы читателей? Разве не рождает все это слабые и полуосознанные надежды оказаться среди избранных, в то время как остальным будет уготован естественный конец?

Рённинг. Тут ты, кажется, снова затронул кое-что любопытное. Пожалуй, интересное наблюдение. Но какой вывод ты из этого делаешь?

Председательствующий. Ну, если мы примем нашу *стандартизированную селекцию*, то есть что *все* отказываются от продолжения жизни после достижения 70 лет или, может, 75-ти, то мы, наверное, сможем избежать такой чудовищной несправедливости — бессмертия для избранных.

Рённинг. И то и другое отвратительно. "Бессмертие для избранных", несомненно, хуже "стандартизированной селекции". Но это по крайней мере не превращает нас в убийц. Это селекция *в пользу* жизни, о которой мы ничего не знаем и которая, очень возможно, будет невыносимой, а не селекция, ведущая *к отказу* от обычной жизни. А через каких-то пятьдесят лет, по мнению многих футурологов, наступит третья селекция: селекция, произведенная голодом.

Председательствующий. Но именно ее хотят предупредить первые две! Наша цель — выбор меньшего из зол. Неужели ты не видишь здесь продолжения генетической линии: группа сверхлюдей, властвующих над мириадами рабов? Это же гитлеровская мечта о мировом государстве, от которой мы должны дистанцироваться.

Рённинг. Это меня радует. Но выбранное вами меньшее зло базируется на рутинном и легализованном убийстве. Мы начнем убивать друг друга, чтобы избежать голодомора, способного, быть может, сделать из нас каннибалов. Какие блестящие перспективы!

Но позвольте мне продолжить мои рассуждения о современной смерти, модной смерти, идею которой сегодня вынашивает ЧУПЧ. У меня нет диапозитивов с ее изображением, но у меня есть словесный портрет современной смерти, составленный писателем, увидевшим ее на улице вот уже почти полвека тому назад. Это отрывок из пьесы Жана Жироду. Говорит Мусорщик:

Раньше, когда вы разгуливали по Парижу, встречавшиеся вам люди были такими же, как вы, это были вы сами. Одетые лучше или хуже, довольные или сердитые, скупые или щедрые, но они были — как вы... Но однажды, лет десять тому назад, на улице, сердце у меня перевернулось: среди прохожих я увидел человека, не имевшего ничего общего с привычными мне людьми... В правом глазу наглость, в левом тревога — словом, не наша порода. Он шел с независимым, но каким-то странным видом — и угрожающим, и как бы смущенным, словно убил одного из привычных мне людей, чтобы занять его место. И он таки убил его. Он был первый. Нашествие началось. С тех пор не было дня, чтобы не исчезал кто-нибудь из прежних моих знакомых и его место не занял вот такой новичок.

Какие же они?.. Они ходят с непокрытой головой на улице, а дома в шляпе. Говорят как-то уголком рта. Не бегают, не торопятся. Вы никогда не увидите, чтобы кто-нибудь из них потел от натуги. Собираясь закурить, постукивают сигаретой о портсигар... Под глазами у них мешки и морщины, каких у нас не бывает... Они купили манекены с витрин вместе с мехами и, приплатив, оживили их. Это их женщины.

Чем же они занимаются?.. У них нет никакого ремесла. Встречаясь друг с другом, они шепчутся и передают из рук в руки банковские билеты в пять тысяч франков. Их можно найти около биржи, но они не кричат; у доходных домов, которые назначены на снос, но они не работают; ...у входа в кино, но они смотрят на очередь, а сами не входят. Раньше и съестные припасы, и театральные пьесы продавались словно сами по себе, словно сами себя предлагали. Теперь же у всего, что едят, на что смотрят, что создается трудом — ...у каждой вещи, — есть как бы свой сутенер, который выставляет ее на тротуар и наблюдает за ней, сам ничего не делая.

...Мир теперь полон сутенеров. Они всем заправляют, все портят.

Поглядите на торговцев. Они вам больше не улыбаются. Они оказывают внимание только сутенерам. Мясник зависит от сутенера по части говядины, ...зеленщик — от сутенера по части овощей... По мне, лучше уж настоящие сутенеры. Им я могу пожать руку. Они хотя бы чем-то рискуют... Есть женщины, которые настолько же любят своего кота, насколько говядине наплевать на своего...

Наступает эпоха рабства. Мы — последние из свободных. Но скоро настанет и наш черед... Певцу придется договариваться с сутенером по песням, а мне с сутенером по свалкам. Иначе нам конец[1].

Да, именно так. Иначе конец. Этот текст написан во время оккупации. Современная смерть всерьез проявила себя на Западе как раз в годы Второй мировой войны, и она по-прежнему функционирует, в основном с помощью методик и технологий, разработанных тогда; единственным существенным дополнением стал компьютер. Взамен современная смерть решительно взялась за решение гражданских проблем, целеустремленно стремясь по возможности омертвить жизнь человека, в первую очередь путем массового производства ненужных и дурацких вещей. Не довольствуясь высылкой смертников в больничные камеры, она практически полностью управляет нашей жизнью, с ранних лет опекает нас, убивает нашу фантазию и жизнелюбие; организует нас сверху, чтобы воспрепятствовать нам самоорганизоваться; придумывает занятия, чтобы помешать нашей собственной активности; заставляет нас бастовать, чтобы мы не бастовали сами. Она наполняет наш досуг пуританским материализмом, где искоренены любая чувственность, любые желания. Она заставляет нас жить в мертвом царстве автострад и бетонных тоннелей, домов из бетона и загородных дач из пластика, вроде той веранды, на которой мы недавно пили кофе и видели сквозь пелену смога Кронборг, похожий на сказочный замок. Жизнь превратилась в живую смерть, смерть авансом и в кредит.

Но дело в том, что стимулы Второй мировой войны сейчас почти исчерпали себя. Ощущается явное отсутствие идей. Широкомасштабные массовые убийства — колыбель для инноваций, но великие войны

1. Безумная из Шайо / Перевод Н. Рыковой // Жан Жироду. Пьесы. — М., 1981, с. 545.

уже не подходят для практических целей. Не следует забывать о малых войнах, однако их трудно держать под контролем.

Именно с учетом всего этого следует рассматривать ЧУПЧ и многочисленные исследования родственных ему организаций во всем мире. Современная смерть поручила своему административному аппарату и своим экспертам мирным путем ликвидировать стариков и прочих ненужных, мешающих индивидов. Как обычно, требуются коллективные и единодушные решения.

Если вы на минуту разрешите мне стать провидцем, я перенесусь в тот день, когда сам переступлю назначенную возрастную границу и подойдет моя очередь отправиться в клинику смерти. В дверь позвонят, и, открыв ее, я увижу тех самых сутенеров смерти, о которых рассказывал Мусорщик.

Возможно, машина "скорой помощи" будет отличаться изысканным убранством, возможно, по прибытии устроят короткую гражданскую панихиду. Но какие бы фразы ни произносились при совершении ритуала, я пойму их истинный смысл, а он таков:

Ну вот, сволочь, ты у нас в руках! Твою жизнь мы сумели по-настоящему умертвить, но твоя смерть превратится в нечто грандиозное. Индивидуальность? Неприкосновенность личности? Не неси чепухи, мы делаем свою работу. Мы долго за тобой следили. Запрещали тебе играть во дворе, доносили, когда ты тайком курил, всю жизнь изводили тебя формулярами и компьютерами. Все, что принадлежало тебе в жизни, мы хотели уничтожить, ты должен был производить общественно полезное дерьмо, а не свои собственные выдумки. Тебе долгое время удавалось ускользать, и ты считал, будто свободен и живешь своей жизнью, но мы подстерегали тебя и сегодня берем реванш. Теперь тебя втянет в воронку, теперь ты здесь, теперь ты получишь по заслугам за то, что предпочитал совесть приспособленчеству, фантазию — будням, свободу — стабильности, мир — изоляции, короче говоря, за то, что не был достаточно мертвым. Мы — крохоборы, мы — пуритане, сейчас мы сделаем укол, пробьем дырку, мы — компьютерные приказчики: последний укус, и игра окончена. Теперь ты один из нас, такой же мертвец, как и мы. Ты превратишься в навоз и удобрение и наконец-то принесешь хоть небольшую, но пользу. Убрать его, давайте следующего! Здесь борются с безработицей, здесь расчищают дорогу для социальных гарантий, молодежь — вперед!

Это я так, к слову, выразил свои впечатления от утренней демонстрации особенностей нашего общества. Сами Перссон, Сторм и другие сотрудники ЧУПЧ, разумеется, открестятся от подобной картины, поскольку она не соответствует их собственной. Но такова моя версия того, что, по-моему, испытывают сегодня многие. Те, кто по слабости или из-за своенравия попали на обочину нашего сегодняшнего общества. Определив нас таким образом, я выразил также уверенность, что нашего общественного мнения ЧУПЧ может не опасаться.

Председательствующий. Я вынужден прервать тебя. Дорогой Рённинг, тебя вполне благожелательно приняли здесь, и мы уважаем твою гуманистическую ангажированность. Откуда эти злоба и пафос?

Рённинг. Я отвечу на твой вопрос в более объективной части моего выступления, к которой и перехожу. Если мне будет позволено продолжить.

Я прекрасно понимаю: то, что ты называешь моей ангажированностью, для большинства из вас представляется чем-то далеким от действительности и, в любом случае, непригодным для решения практических проблем. И, к сожалению, вы, пожалуй, правы, покуда дело касается Швеции. Рассуждения, подобные моим, не могут воспрепятствовать чему-либо в этой стране — в лучшем случае, они лишь на какое-то время вызовут раздражение. Но в других странах положение иное. Там у меня есть единомышленники, чьим мнением власть не имеет права пренебрегать, пусть и они вследствие мирового кризиса потеряли почву под ногами. Если вы, таким образом, считаете мои рассуждения странными и устаревшими, подумайте о том, что существуют другие государства, столь же развитые материально, как и наше, где те представления о человеческой ценности, которые я сейчас изложу, разделяет и кое-кто из власть имущих.

Полагаю, что могу достоверно описать всю проблематику, исходя из слов Сторма о детях-идиотах и идиотах вообще. Собственно говоря, по этому вопросу мне следовало бы обратиться непосредственно к Карнему, поскольку я собираюсь начать с того, как христианство относится к ценности человеческой личности в этих весьма сомнительных случаях. Но, похоже, Карнему присоединился к мнению Сторма, отказывающему идиотам в человеческой ценности.

Церкви колеблются в этом пункте — это правда. В теории все ясно. О взглядах Лютера мы знаем, и согласно католическим воззрениям существо, не имеющее разума и свободной воли, вряд ли можно считать человеком. Но на практике в христианских странах тем не менее таких детей брали под опеку и обычно не изгоняли, не убивали и не обращались с ними как с животными. Имелось какое-то сдерживающее начало, выраженное в поговорке "рожденный человеком сам человек".

И *кем-либо еще*, кроме как людьми, пусть и с тяжелейшими отклонениями, идиоты быть не могут. Если только не считать вслед за Лютером, что в них поселился дьявол и поэтому они "бесы". Но Карнему так не думает. Очевидно, для христианина вопрос обоюдоострый, и в таком случае совершенно естественно обратиться к самому Учителю, к Иисусу Христу. И что же мы обнаруживаем? В Нагорной проповеди, в сердце его учения, нищие духом стоят на первом месте среди блаженных. "Ибо их есть Царство Небесное". Безусловно, благодаря именно этим словам самые нищие среди нищих духом, дети-идиоты, не подвергались массовому уничтожению до появления Гитлера.

Но даже Гитлер был вынужден приостановить свою программу эвтаназии после протестов со стороны католических епископов. Карнему, лютеранин и представитель государственной церкви, не пытается протестовать против светских властей, а американские теологи всех конфессий, судя по всему, достигли таких высот мировой мудрости, что призывают врачей не давать кислорода детям-монголоидам и в случае сопутствующих заболеваний позволить им умереть. Подумать только, чего бы мог достичь Гитлер с подобными прелатами!

Отказ от христианства для Каспара Сторма равнозначен отказу от догмата о равноценности всех людей. Ибо в основе абсолютной ценности человеческой личности, по его словам, лежит христианское учение о естественном праве — в принципе, католическое, поскольку Лютер отошел именно от него, когда отделил мирское от духовного, что и привело к катастрофе; я еще вернусь к этому. Это правда, что человеческая ценность зависит от естественного права, в современной истории есть

тому чудовищные подтверждения. Но вот то, что христианство якобы обладает монополией на идеи естественного права, как это вообразил себе Сторм, — неверно. Эти идеи существовали и до христианства и будут существовать после него.

Естественное право означает, что моральные нормы в основе своей даны человеку от рождения. То есть совесть не "привнесена" обществом, а является частью человеческой природы.

Сторм. Извини. Разреши мне кое-что сказать, прежде чем мы оставим тему слабоумных детей. Очень легко и выгодно твердо придерживаться своих принципов, как Рённинг. Но кто будет ухаживать за этими детьми и во что это обойдется? Подумай о страданиях родителей, сестер и братьев, вынужденных держать такого ребенка дома. А расходы на содержание его в медицинском учреждении лягут непомерным бременем на плечи общества. Мы *не можем* больше нести это бессмысленное бремя. Мы обязаны дать дорогу жизнеспособным индивидам. Вспомни о детях в развивающихся странах, которых мы могли бы вылечить и накормить на эти деньги!

Рённинг. Я не забыл о детях в развивающихся странах. Но каким образом мы их спасем? По странам третьего мира, от Чили до Африки, от Индии до Камбоджи, катится волна террора и насилия. Если мы дадим деньги их правительствам, они накупят икры и вертолетов себе и узкому кругу привилегированных лиц — исключая Камбоджу, где царит диктатура руссоистского типа, и потому там не примут наших денег. Неужели ты, Сторм, хочешь сказать, что мы должны применить к этим режимам военную силу? Если мы собираемся помочь бедным народам, то более мягкими средствами этого не достичь. Как же все это сделать, что будет с миром во всем мире?

Сторм спрашивает, как нам потянуть расходы на содержание слабоумных детей, но надо помнить, что речь идет не более чем о 15 000 человек. И у меня есть лишь один ответ: нам придется нести эту ношу, если мы хотим сохранить гуманность. Нищая Швеция с этим справлялась. Разумеется, необходимы качественные учреждения, чтобы родители имели возможность выбора. А средства на это и на другие категории нуждающихся, уже упоминавшиеся здесь, — в конечном счете на всех стариков, — что ж, давайте повысим штрафы за лихачество на дорогах или налог на домашних животных и, я не против, на алкоголь и табак. И увеличим НДС на предметы роскоши. Это стоит того, чтобы сохранить ценность человеческой личности и избежать ответственности за легализованное убийство. Неплохо было бы проявить долю фантазии в экономике, вместо того чтобы просить общество о помощи. Но я продолжу свой исторический обзор.

Как идея естественное право появилось в Греции приблизительно в 500 году до Рождества Христова. И сегодня существует немало вещей, зародившихся в Древней Греции. "Антигона" Софокла — драма о естественном праве, хотя в ее основе, как и прежде, лежит миф, скорее всего берущий начало в матриархате. Пиетет перед мертвыми, заставляющий Антигону отказаться от предложения царя Креона, — это один из неписаных законов, которые боги ниспослали людям и которые ни одна земная власть не имеет права нарушать. Право, на которое ссылается Креон, исключительно право власти, или, вернее, выражаясь нашим языком, позитивное право, меняющееся вместе с властителями... Сократ говорит о

своем демоне, внутреннем голосе, который если и не призывает его совершать правильные поступки, зато удерживает от неправильных. Это уже личная совесть, пусть и божественного происхождения. Стоики утверждали, что все люди обладают одинаковой ценностью, даже рабы, — по крайней мере в принципе. Римское право учило, что все люди рождаются свободными, но не применяло этот принцип на деле.

Полагают, что христианство должно было бы совершить переворот в истории прав человека. Но когда дело дошло до критической точки, про Иисуса как-то забыли. Отцы церкви разработали довольно осторожное учение о естественном праве, которое позднее Фома Аквинский провозгласил официальным учением церкви. Как и стоики, они не проводили грань между естественным и божественным законами. Естественный закон предназначался со времен Адама падшему и греховному человечеству и закреплялся в десяти заповедях. Но святой Фома Аквинский не отличался радикализмом стоиков и мирился с разными ограничениями, вызванными нашим грешным несовершенством, например, с рабством.

Однако великую катастрофу вызвал Лютер. До появления Гитлера никто не сделал так много, как он, чтобы разрушить правовое сознание Запада. Естественное право и, по крайней мере, принципиальное признание ценности человеческой личности и свободы от угнетения Лютер оставил для внутреннего употребления. Мирское право оторвали от естественного, и оно обрело полную свободу в общественной жизни, где его задачей стало наказывать и карать грешных людей. Эти жестокие, садистские черты в учении Лютера прямо ведут к нацизму и культу тоталитарного государства, и именно они помешали абстрактным принципам естественного права превратиться в конкретные права человека.

Современное естественное право — это светское право, выросшее независимо от христианства. Странно, что Каспар Сторм не почерпнул эту информацию в своих сборниках и справочниках. Такое гуманистическое или рациональное естественное право отразилось, прежде всего, в том, что мы называем идеями 1789 года: в Декларации прав человека, провозглашенной французским Национальным собранием. В ее основе лежат работа Руссо "Об общественном договоре" и американская Декларация независимости, которые, в свою очередь, берут начало в XVII веке, в сочинениях Локка и Гроция. Нет ничего, что было бы столь неактуально для нашего общества, чем идеи 1789 года, поэтому я на всякий случай процитирую первый параграф: "Люди рождаются и остаются свободными и равными в своих правах". Рождаются и *остаются*, то есть сделан шаг от признания врожденной ценности и прав человека к сохранению их в течение всей жизни, хоть до ста пятидесяти лет. Шаг от принципиального равенства, заявленного христианством, к социальному равенству демократии. Тем самым естественное право, покинув правящих, перешло к тем, кем правят.

Вряд ли нужно добавлять, что выражение "рождаются и остаются" выносит обвинительный приговор ЧУПЧ и ее планам уговорить стариков уходить из жизни и ликвидировать так называемых нежизнеспособных и бесполезных людей.

Мы все знаем, что история вскоре перечеркнула эту декларацию прав человека. Сначала Наполеону, потом Реставрации, а затем национализму понадобилась позитивная правовая система, которая утверждает, что источником права являются власть имущие. Никакая надгосударственная мораль, ничья личная совесть не должны мешать власть имущим

в их бескорыстном стремлении к тому, что они, ясное дело, называют общественным благом. "Recht ist was dem deutschen Volke nützt"[1], – обычно говорил Гитлер. Смысл этого высказывания совершенно равнозначен идее Сторма о том, что ценность человеческой личности или, как он называет ее, ценность индивида, должна подчиняться общественной ценности. "Gemeinnutz geht vor Eigennutz"[2] – тоже цитата из Гитлера.

Я вижу, что чиновники, присутствующие на нашем закрытом заседании, начали ерзать на своих стульях. Какое это имеет отношение к нам, думаете вы, все эти непонятные, отвратительные, чужеземные вещи не могут происходить в Швеции. Конечно, у нас есть новейшие инструменты, необходимые государству, осуществляющему тотальный контроль, но мы их *не используем*! У нас у руля стоят приличные демократы, это один генеральный директор недавно заявил по телевидению, разве не так?

Так, говорю я. И это высказывание ужаснуло меня больше, чем что-либо другое, услышанное из уст шведского сановника. Ибо это не цинизм – цинизм публично проклят. Скорее всего, это – наивность, незнание условий, на которых зиждется власть.

Председательствующий. Сторм сам скажет, что он думает, но я решительно протестую против постоянных сравнений с тоталитарными режимами прошлого. Неужели обязательно одним лишь упоминанием Гитлера или Сталина блокировать решения, которые требуются в совершенно иной ситуации? Сегодняшнюю Западную Германию обвиняют в неонацизме, в арабском мире антисионизм заклеймен как антисемитизм. А у нас обязательную профессиональную практику, которую проходит молодежь до поступления в высшие учебные заведения, сравнивают с трудовой повинностью, попытку реформирования школы – с гитлерюгенд, организованный досуг называют "Силой через радость"[3] и так далее. Даже критику декадентского искусства обзывают нацистской. Господи, сколько же еще нам придется отрицать, что у Гитлера было немало хороших идей, актуальных и для нашего общества? И вдобавок все эти разговоры об *убийстве*, когда дело касается политики, которую мы здесь планируем в отношении престарелых. Почему нельзя обсуждать вопросы контроля за старением, или, если хотите, контроля за смертью, столь же широко, как мы говорим о контроле за рождаемостью? Исторический обзор Рённинга интересен, но где мы окажемся, если позволим истории стреножить нас в совершенно изменившемся мире. И полным абсурдом было бы позволить Швеции в одиночку искать новые подходы к этим жгучим проблемам. Кстати, возврат к слепому почитанию старости наблюдается не только в развитых странах. Эдгар Сноу рассказывает, что в Китае смерть престарелых не включается в общую статистику смертности; их считают давно умершими, поскольку они больше не работают. Им дозволено прозябать в знак того, что "они занимались производством". Точно как у нас, и вопрос заключается лишь в том, насколько это гуманнее, чем содействовать тому, чтобы за социальной смертью последовала смерть физическая. ЧУПЧ пытается найти другие решения, но искать их можно только на пути просвещения и уговоров. Мы хотим добиться *согласия* стариков на сокращение срока жизни. И мы пола-

1. "Право есть то, что полезно немецкому народу" (*нем.*).
2. "Общее благо превыше собственного блага" (*нем.*).
3. "Сила через радость" – государственное объединение в нацистской Германии, занимавшееся организацией досуга и быта граждан рейха.

гаем, что этого легче всего достигнуть под знаком общественной солидарности: проще говоря, мы взываем к понятию "мы".

Рённинг. Разумеется; ты и падение в пропасть описал бы в тех же выражениях, чуть ли не как милый народный праздник. Это ведь то, что Сторм называет "утилитарной этикой последствий, ориентированной на общество": правильно то, что служит благу общества в целом. С помощью таких же аргументов во Франции защищали судебное преследование Дрейфуса, даже узнав о его невиновности, а позднее — пытки в Алжире. Но там дело не выгорело, слишком глубоко укоренилась правовая традиция, берущая начало в идеях 1789 года, о которых я упоминал. В США защищали войну во Вьетнаме, ссылаясь на ее пользу для бизнеса и трудовой занятости, и разве не напоминает это Сторма и Перссона? Или подобная аналогия вам не по вкусу? Тогда я сделаю еще один шаг. Интересно, слышал ли Перссон старое изречение о том, что Норрботтену[1] выгодно, когда Германия воюет? Не слышал? И что это выгодно машиностроительной промышленности? И этого не слышал? По крайней мере так обстояло дело в последний раз в 30-е годы и во время войны. И здесь мы вплотную подобрались к Гитлеру, нравится это Перссону или нет. Совершенно другая ситуация, говорит Перссон. Напротив, она весьма напоминает ту, в которой мы находимся сейчас: депрессия, безработица. И Гитлер взялся разрешить ее с помощью методов, очень похожих на методы Перссона. Правда, Гитлер не трогал стариков; возможно, он бы и с ними успел разделаться, если бы судьба даровала ему более долгую активную жизнь. Взамен он нашел другие невинные группы населения, которые он называл паразитами на теле общества. Евреев, слабоумных, потом миллионы уничтоженных русских военнопленных.

В том, что престарелых с помощью пропагандистской кампании можно заставить почувствовать облегчение от ухода из жизни в этой стране, я, как было сказано, не сомневаюсь. Но я буду по-прежнему называть это убийством. Геронтоцидом. Или травлей определенной группы населения, если так звучит лучше.

Я вполне осознаю, что верхушка шведской бюрократии не одинока в своей приверженности к подобным проектам. По-моему, я недавно говорил, что у ЧУПЧ есть аналоги, действующие во многих странах. Но мне кажется, что нужно быть шведским бюрократом, чтобы делать это с чистой совестью. Чистой совестью невежества. Я скоро к этому вернусь. Но сначала я свяжу концы с концами — там, где обрезали нить моего исторического обзора.

Я проявил неосторожность, сразу перепрыгнув к Гитлеру, хотя вообще-то говорил о правовом позитивизме XIX века. Он существовал в двух вариантах — английском и немецком. Для английской школы законы общества представляли собой чистой воды язык власти, властители не имели никакого морального права создавать законы. Совесть отдельного человека ничем не была ограничена, он мог давать высокую оценку верхам, если они, по его мнению, того заслуживали, или презирать их, или вообще не обращать на них внимания. Естественно, разумнее было избегать конфликтов с законом, поскольку это грозило неприятностями, но никоим образом не являлось нравственным долгом.

1. Норрботтен — самая северная провинция Швеции, очень богатая ресурсами; там добывают железную руду для крупного машиностроения.

Немецкая, или так называемая историческая школа, напротив, воспринимала волю государственной власти как выражение народного духа и, стало быть, морального долга индивида, который сам по себе не имеет ни свободы совести, ни какой-либо иной самостоятельной ценности, поскольку он лишь частица народной общности. "Самый бесчеловечный закон, — писал известный немецкий правовед в 90-е годы, — должен считаться обязательным, если он появился с соблюдением всех необходимых формальностей". Следствием стали коллективизм и сервильность перед властью, знакомые нам из современной истории Германии.

Мне вряд ли надо напоминать, что шведское сословное общество, известное своим культом государства, в основном придерживалось немецкого правового позитивизма. В нашем характере и слепое подчинение, и отсутствие индивидуализма, но благодаря более мирному развитию мы избежали немецких крайностей. Когда на смену сословному обществу пришла современная корпоративная демократия, в 30-е годы правовой позитивизм тоже получил новое воплощение в правовом учении Хэгерстрёма-Лундстедта[1]. Оно по-прежнему и даже больше, чем когда бы то ни было, главенствует в вашей стране, и его следы мы не в последнюю очередь обнаруживаем в конституционной реформе 70-х годов.

Выражения "по-прежнему" и "больше, чем когда бы то ни было" отражают самые типичные черты вашей страны: склонность к изоляционизму, когда речь идет о важнейших вопросах, несмотря на живейшую восприимчивость к иностранному влиянию во множестве областей. Что народу наплевать на новую конституцию, наверное, неудивительно, даже если это означает, что большинству наплевать и на демократию. Конституции и тому подобное считаются исключительно делом верхов. То же самое происходило в 1809 году после военного переворота[2]. Зато вызывает удивление, что те, кто пишет конституции, не понимают изменений, произошедших с правовым позитивизмом с тех пор, как Лундстедт установил: право — это то, что служит на благо общества. Но практически во всем западном мире, не в последнюю очередь в Германии, осознали, что понимание права, в основе которого лежит постулат "право есть власть", после Гитлера немыслимо. Его необходимо скорректировать и подчинить естественно-правовым принципам ценности личности, прав и свобод человека. Поэтому ООН и Совет Европы приняли наднациональные декларации прав человека.

Швеция присоединилась к ним неохотно и с недоумением. Здесь не понимают, для чего нужны эти детские глупости. У нас нет нужды в какой-то гуманистической фразеологии, чтобы управлять нашим маленьким образцовым обществом. Мы прекрасно справляемся с помощью нашей поголовной порядочности, она хорошо подходит шведскому народу. Подходила всегда, сколько мы себя помним, а это не такие уж давние времена, ибо зачем помнить слишком много? Общество, лишенное памяти, легче поддается постоянным изменениям.

1. Аксель Хэгерстрём (1868–1939) — шведский философ и юрист, идейный вдохновитель так называемой "упсальской школы" шведской правовой философии. Вильгельм Лундстедт (1882–1955) — шведский юрист, представитель "упсальской школы"; отвергал идею естественного права.

2. Военный переворот 1809 г., после тяжелого поражения в войне с Россией, привел к свержению короля Густава IV Адольфа и воцарению Карла XIII; пришедшие к власти аристократы, руководившие действиями нового короля, немедленно приняли новую конституцию.

Но если у властей предержащих тоже не будет памяти, может случиться, что они, сами того не ведая, станут повторять чужие ошибки и пойдут по пути вырождения. Именно это я и имел в виду, говоря о чистой совести невежества. А у Сторма, и в какой-то степени у Перссона, совесть на редкость чиста.

Председательствующий. Сожалею, что вынужден прервать тебя на таком интересном месте, но у нас перерыв на кофе. Двадцати минут хватит? Прекрасно.

* * *

Рённинг. Да, я как раз подошел к последнему пункту моего выступления. Но позволю себе ненадолго задержаться на вышеупомянутой традиции упсальской философии. Конечно, аналоги существуют и в других странах, у нас в Дании, к примеру, есть выдающиеся правовые позитивисты. Но во время перерыва я еще раз заметил, как трудно шведским интеллектуалам, не говоря уж о чиновниках, юристах, – как трудно им понять, что подобный ценностный нигилизм смертельно опасен в неподходящих руках. Как будто в Швеции вообще не может быть неподходящих рук. Господи, *вспомните* Хэгерстрёма. Классический книжный червь, не имевший ни малейшего понятия о мире, в котором он жил. В *личной* жизни он вовсе не был нигилистом, даже пел псалмы у елки. Его ученики были сплошь прогрессивными и порядочными позитивистами, выступали против любых политических рисков. Правда, один из них встал на сторону Гитлера, но это отдельный скандальный случай, кстати не помешавший этому человеку *как ученому* воспитать целую плеяду верных учеников. Бесподобная наивность! Именно он принадлежал к последовательным правовым позитивистам и единственный не вел двойную бухгалтерию. Если Гитлер обладает властью в Германии, Чехословакии, Дании, Норвегии и так далее, то он и является источником права в этих странах. Такое учение беззащитно перед диктаторами, оно должно принимать сторону победителя. Реализм до последнего вздоха. Для создания движения сопротивления в такой ситуации пригодны лишь идеи естественного права, которые *требуют*, любыми средствами, уважения к человеческой личности и к ее правам и свободам выступать против власти, в чьих бы руках она ни находилась.

Сторм. Значит, и с помощью насилия? Твое уважение к человеческой жизни до пацифизма не простирается?

Рённинг. Нет никакой связи между пацифизмом и естественным правом. Отказ от справедливого дела – типичный "реализм".

Сторм. Очень интересное соображение. Как правило, мы вынуждены снижать уровень нашего уважения к человеческой жизни, не в последнюю очередь и в здравоохранении. У нас ведь нет выбора, оно требует слишком больших затрат. Бесплатные аборты свидетельствуют о том же. Сегодня жизнь подешевела, зачем отрицать факты. Но в то же время пацифизм популярен как никогда, особенно среди молодежи. Чем это можно объяснить?

Рённинг. Ты уже сам все объяснил. Ключевое слово — "молодежь". Именно молодежь подпадает под закон о воинской повинности, навязываемой ей старшим поколением. Уважение к человеческой жизни, ко *всем* человеческим жизням, в пацифизме, по моему мнению, фактор вторичный или же стал таковым.

Ты упомянул аборты. Свободу абортов вновь начинают обсуждать, ты, в частности, тоже пару раз принял участие в этой дискуссии. Закон о бесплатных абортах был принят в условиях, когда рынок труда нуждался в женщинах. Поэтому в ситуации депрессии и безработицы вполне естественно использовать гибкую этику твоего типа и снова поставить под вопрос целесообразность данного решения. Кроме того, налицо беспокойство — похоже, прямое наследие 30-х годов — по поводу сохранения шведской нации. Ни одна из этих причин не имеет ничего общего с уважением к человеческой жизни.

Но ты ведь тоже не ратуешь за уважение к жизни ради самой жизни. Твоя медицинская этика — непосредственное продолжение упсальской философии, о которой я говорил, философии оппортунизма. Если властям предержащим требуется ценность личности, которая может стать темой "для обсуждения", ты им ее предоставляешь — причем с чистой совестью — и умело мотивируешь, в духе той научной школы, которая утвердилась в нашем обществе благодаря огромным материальным достижениям естествознания.

И вот она перед нами, козырная карта, которой ты всегда можешь пойти против естественно-правового мировоззрения: оно, мол, ненаучно, идеалистично, метафизично. Гуманистическая идеология. И тут ты прав. Возможно, это просто фикция.

Давайте представим себе, что мы получили научные доказательства разной ценности человеческих рас, используя твое определение ценности как интеллектуальной дееспособности. *Разве в таком случае мы не должны отбросить эти доказательства и продолжать жить, словно бы их и не существовало?* И отнестись к фикции насчет равноценности всех рас как к идеальной норме, поскольку иначе мир стал бы невыносим? Ответь, пожалуйста.

Сторм. Нелегко отвечать на подобные гипотетические вопросы. Но если мы вообще допустим существование таких фикций, то впадем в полнейшее лицемерие. Вспомни драму Брехта о Галилее. Церковь знала, что он прав, но заставила его отречься от истины, дабы не принести людям горя, поколебав их веру в религию. То же самое с Кантом, который постулировал Бога, поскольку в противном случае у нас не было бы стимула поступать правильно здесь, на этой земле. Подобное решение в нашем обществе невозможно. Для него требуется авторитарное общество прежних недобрых времен.

Рённинг. Я согласен с тобой насчет Галилея, ибо тогда людям *не полагалось* знать, что речь идет о фикции. А вот Кант был человеком Просвещения: фикции, необходимые для сохранения гуманности, должны были быть *осознанными*. Очистить эти регулирующие фикции от лицемерия — задача публичной культуры. Но у нас больше нет публичной культуры, у нас есть только общество. То, что не обсуждается, теряет всякое значение. Наше общество перестает размышлять.

Я все-таки считаю, что естественное правовое сознание присуще большинству людей, даже если его наличие недоказуемо и дано лишь в

ощущениях. Я не имею в виду, что существует естественная тяга к добрым, бескорыстным поступкам. Я говорю скорее о демоне Сократа, заставляющем нас отступать перед явной несправедливостью. Или, выражаясь более конкретно, о чувстве отвращения, почти физического, к злу и бесчеловечности. Конечно, у многих отсутствует эта негативная совесть. В благополучном обществе им не приходится кому-то вредить. Но в случае глубокого кризиса, каковой мы, очевидно, переживаем сейчас, может снова возникнуть спрос на презрение к человеку. Тогда на авансцену выходят палачи, что и было при диктатурах, и бесстрастно берутся за дело, воспринимая это как работу, которую "кто-то должен делать".

Только общество, базирующееся на принципах естественного права, способно защитить себя от подобного развития. Нюрнбергский процесс с самого начала был достойной восхищения попыткой вновь поместить эти принципы в центр политической морали. Суд как институт представлял собой близнеца ООН, но через пару лет его лишили всякого авторитета. Возобладал оппортунизм: захотелось снова вооружить Германию. Захотелось еще и потому, что союзники оказались не в силах соблюдать те нормы, которые сами и установили. Это продемонстрировала война во Вьетнаме, а трибунал Рассела[1] сделал попытку перенять опыт Нюрнберга.

Так что естественное право продолжает жить в виде своего рода интернационала, и мне кажется, ЧУПЧ не следует об этом забывать.

Сторм. Один вопрос. Считаешь ли ты, что нужно возобновить процессы Рассела в связи с положением дел в Советском Союзе? И подвергнуть опасности мирное сосуществование ради твоей абстрактной справедливости?

Рённинг. Я ждал этого вопроса. И я отвечаю "нет" именно потому, что не считаю справедливость некой абстракцией. Но, безусловно, я выбираю между двух зол, и, например, то, что преступные русские психиатры остаются безнаказанными, является меньшим злом. Я не настолько суров, чтобы повторять вслед за Кантом: "Если справедливость погибает, смысл человеческой жизни на земле обесценивается". Он, кстати, говорит эти слова, дабы опровергнуть приведенную тобой утром цитату из Каиафы о том, что лучше одному человеку умереть за народ, чем всему народу.

Сторм. Смотри-ка, теперь и естественное право стало предметом переговоров!

Рённинг. Когда появляется риск того, что уважение к человеческой личности приведет к массовому уничтожению, значит, оно не соответствует своей цели. Но до этого предела его следует соблюдать.

Сторм. А Вторая мировая война? Ведь это же было массовое уничтожение?

1. Трибунал Рассела – негосударственный трибунал, организованный английским философом Бертраном Расселом с целью расследования действий США во Вьетнаме. Заседал в 1966–1967 гг. в Стокгольме и Копенгагене; по итогам заседаний правительство США было признано виновным в военных преступлениях, но этот вердикт остался незамеченным. В работе трибунала участвовали Ж.-П. Сартр, Дж. Болдуин, С. де Бовуар и другие, в первую очередь философы, правозащитники и юристы.

Рённинг. Когда западные державы договорились воевать с Гитлером, массовое уничтожение не было неизбежным следствием этого решения. Но для того, кто сегодня нажимает на кнопку, это так и только так. Это качественное различие, два типа войн. Будущая война не будет продолжением политики, она будет концом политики. Естественное право умрет в тот день, когда она начнется. Давай не заниматься софистикой по этому поводу.

Сторм. Меня радует, что Рённинг все же понимает — разные случаи требуют разных подходов.

Рённинг. Нет. Только этот случай — один-единственный.

Я вижу, что мне пора заканчивать. И я хотел бы это сделать, вернувшись к "ограниченной перспективе" смерти, смерти отдельного человека. Сначала несколько слов о селекционном жюри Сторма, а под конец кое-какие личные замечания.

С точки зрения изложенного мной, должен признаться, что предпочту быть приговоренным к смерти по воле случая, чем по воле жюри, раскладывающего пасьянс из человеческих жизней. Даже если бы моя карта легла благоприятным для меня образом, я испытал бы отвращение и унижение от самой процедуры. А если бы она легла не так, я бы никак не смог считать свою смерть осмысленным и солидарным жертвоприношением обществу и местному управлению здравоохранения и соцобеспечения. То, что я становлюсь жертвой антигуманной системы, за которую я в принципе тоже несу ответственность, делает такую смерть особенно гнусной. На мне лежит не *вина*, — поскольку мы живем в корпоративном обществе власть имущих, где отдельный человек не имеет никакого влияния, — а именно ответственность за то, что подобное общество могло возникнуть. Как только совесть отдельного человека начинает что-то значить, он становится ответственным и за целое. А у коллектива, управляемого боссами, нет никакой совести, и они делят ответственность между собой в закрытых комнатах для совещаний. По-моему, поворотным моментом стало нечто наибанальнейшее — референдум о правостороннем движении[1], на результаты которого потом все наплевали.

Лучше спасти нобелевского лауреата, чем идиота, утверждает Сторм. Но идиот и нобелевский лауреат — всего лишь два противоположных полюса на шкале, на которой мы все находимся. Было бы честнее, если бы он сказал: лучше соотечественника, чем иностранца, или — почему бы нет — лучше белого, чем негра; не сомневаюсь, что жюри в Сиэтле вынесет именно такой вердикт. До чего же трагично, что медицинская этика участвует в разрушении одного из важнейших гуманистических барьеров — барьера на пути селекции.

Но ресурсы! У нас нет средств, мы достигли потолка! Во-первых, это неправда, у нас по-прежнему есть средства на массу всякого дерьма. По преимуществу дерьма, сказал бы я. Но *если* это правда, то бедность, равенство и братство предпочтительнее того тоталитарного ада, который ЧУПЧ собирается нам устроить — не по злой воле, этого я не думаю, а по своего рода извращенной наивности.

1. Референдум о переходе на правостороннее движение был проведен в 1955 г., и подавляющее большинство населения проголосовало против. Однако в 1963 г. парламентское большинство социал-демократов приняло решение о переходе на правостороннее движение, вступившее в силу в 1967 г.; при этом результаты референдума были объявлены не обязательными к исполнению.

И под конец, вновь возвращаясь к смерти в Помпеях: мы, конечно же, не можем тосковать о смерти в сорокалетнем возрасте. Сегодня экономика считает, что мы слишком далеко ушли в другую сторону, умирая в восемьдесят лет. Но, судя по всему, люди в Помпеях жили интенсивной жизнью до самого конца, а наша беда в том, что мы умираем, так и не пожив. Мы только существуем. Сначала — как производственный фактор. Затем — из милости, в качестве стариков, а скоро не будет и этого. Нам, правда, предоставляется свободное время, но у нас хватает сил лишь на то, чтобы поездить на автомобиле, покататься на лодке, обновить крышу или забросить сети — а может быть, просто-напросто забросить все. У нас нет сил жить.

Пенсионный возраст — единственный период, когда человек принимает решения сам и получает возможность пожить. Поэтому я надеюсь: старики начнут протестовать, объединятся и организуют движение сопротивления обществу, рассчитывающему на то, что они будут держать язык за зубами, копить деньги и вовремя умирать. Давайте в день выхода на пенсию покинем интернат и потратим все до последнего эре в какой-нибудь более человечной стране. Будем любить, совершать открытия, есть и пить. Обведем вокруг пальца обязанность умирать!

И обведем вокруг пальца "волков"! Банда убийц, которые называют себя "волками" и убивают стариков на улицах, лишь воплощает тайные мечты общества, точно так же, как раггары[1] становятся продолжением длинных рук общества, терроризируя иммигрантов, когда те оказываются не нужны. Хочу напомнить поговорку, которая гласит, что тот, кто притворяется овцой, будет съеден волками. Тех из вас, у кого подошел возраст, призываю: уезжайте завтра же!

Если мы все-таки останемся и успеем умереть до введения возрастного порога, давайте остерегаться экспертов по вопросам смерти. Может быть, у них вполне человеческий вид, но они все же палачи, последние форпосты современного общества в нашей жизни. Не позволим им вмешиваться в процесс нашего умирания. Давайте слушать гул неведомого без помех!

Это все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание.

Председательствующий. Спасибо. Большое спасибо. В особенности историческая часть с ее многочисленными интересными экскурсами в прошлое дала нам богатую пищу для размышления. Не думай, будто мы не ценим твоего участия в этой конференции, и твои гиперболы мы воспринимаем спокойно. Но ты, пожалуй, нас немного недооцениваешь. Сторм — ученый-гуманитарий, и даже я, в свободные минуты, с удовольствием читаю стихи, собираю грибы и слушаю Вивальди. Просто дело в том, что мы, наемные работники, не можем жить только одной культурой, каковой привилегией обладаешь ты и небольшая группка других людей. Мы должны находить конкретные решения конкретных и острых проблем. Не ради удовольствия, а с глубокой болью ответственные ведомства были вынуждены закрыть университетские факультеты, ориентированные на так называемые творческие специальности... Например.

1. Раггары (*шв. сленг* raggare — возница) — субкультура в Скандинавских странах; главная черта раггаров — любовь к большим автомобилям 50-х, стилю жизни и музыке этих лет, преимущественно американскому рок-н-роллу. В 1970-е гг. были часты драки раггаров с представителями других субкультур и с иммигрантами; в настоящее время раггаров становится все меньше.

Нет, в отличие от тебя, мы люди ищущие и сомневающиеся. Ты не ошибся, когда сказал, что мое вступительное слово сегодня утром отличалось открытостью, и в нем прозвучала мольба. У нас со Стормом нет твоей непоколебимой веры в вечные догмы и святые ценности. Жизнь стала слишком сложной. Нельзя изображать из себя благородного рыцаря, строя планы на будущее для миллионов людей. Действительность жестока; из этого ты делаешь вывод, что и мы со Стормом жестоки. Но мы не можем быть благороднее того, что допускает действительность. Вот так складываются обстоятельства, когда выполняешь ответственную работу в госучреждениях. Ты свободен, ты стоишь вне наших проблем, ты можешь надо всем вершить суд. Это просто. Слишком просто.

Ладно, давайте переварим все сказанное и на сегодня дискуссию завершим. После ужина устраиваем вечеринку — будет короткий концерт и свободное общение. Завтра утром в небольших группах обсудим результаты нашей сегодняшней работы, после чего в два часа дня соберемся здесь на заключительное заседание. Спасибо всем!

(*Обращаясь к Рённингу.*) Завтра мы будем обсуждать технические и более специальные вопросы. Поэтому если у тебя нет желания оставаться, мы, естественно, тебя простим. Но в любом случае надеюсь, что сегодня вечером ты останешься с нами.

Рённинг. Спасибо, я охотно останусь и на завтра. Как раз технические вопросы меня интересуют больше всего.

Второй день, после ланча.

Председательствующий. Еще раз всем добро пожаловать. Сожалею, что ланч вышел скудноватый. Завезли далеко не все, на что мы рассчитывали. Но такое, увы, в наше время случается.

Со вчерашнего дня волна дебатов не спадает, и мы, члены ЧУПЧ, должны признаться, что доклад Акселя Рённинга поразил нас многими своими существенными положениями. Но там были и параноидальные преувеличения, — извини, Рённинг, я не имею в виду психиатрический диагноз, — и утопическая идея, прозвучавшая особенно ярко на фоне весьма высокого уровня абстракции всего изложенного. К сожалению, абстракции идеалистической, а не научной, как он и сам признал.

Но, вероятно, большинство из вас считает, что он описал определенные, трудно предсказуемые и, возможно, атавистические импульсы, характерные для многих людей. Способные внезапно проявиться, если неподобающим образом внедрять те мысли, что лежат в основе нашей работы в ЧУПЧ. Рённинг указал, что имеется почва, на каковой могут возникнуть мнения, которые не следует недооценивать или отвергать только из-за их чрезмерной эмоциональной наполненности. Напротив, это делает их особенно опасными, поскольку они способны стать причиной своего рода психозов, пусть и слабо выраженных. Экономические аргументы в конце концов обычно возражений не вызывают, нам это известно, но мы не можем позволить себе проволочки, когда речь идет о выработке общественного мнения. В наших беседах Сторм, являющийся также и психиатром, сегодня прекрасно проанализировал эти проблемы с точки зрения массовой и групповой психологии.

Ну хорошо, абсолютно независимо от полученной информации к размышлению я предложил бы сейчас перейти к конкретике и представить предложение, называемое в ЧУПЧ проектом "Б". Проект "Б" составляет, так сказать, часть нашего основного проекта. Не альтернативу глобальной цели, обозначенной нами вчера, а скорее некий этап на пути к ней; но в то же время у него есть своя собственная цель и собственная социально-экономическая база. Уже в относительно краткосрочной перспективе можно будет начать многостороннее и обширное промышленное производство, которое создаст рабочие места для специалистов самого разного уровня, от главного врача до санитара, если обратиться к медицине. Кроме производственного, у проекта есть и научное измерение. Как этап на пути к значительной цели – решению проблем длительной терапии и старения – проект "Б" прежде всего имеет значение теста, подготавливающего общественное мнение к эпохальным свершениям в этой области.

Проект "Б", как и остальная наша работа, находится еще на стадии первоначального планирования. Я еще раз позволю себе эскизно очертить проблему. Можно сказать, что это выжимка из более обширного материала, который мы собираем. Здесь есть и межпрофессиональный спектр: задействованы фармацевтическая наука и промышленность наряду с медициной и здравоохранением; на важных стадиях свое слово скажут теология и этнография, и даже таможенной службе найдется место. Но, как всегда, главную роль играет информационный аспект.

Хочу сразу же оговориться: этот подпроект, по всей видимости, не будет столь спорным, как основной проект. Человеческой личности ничто не угрожает, это я утверждаю с чистой совестью, чтобы успокоить Рённинга. Щепетильность, которую тем не менее может проявить общество, связана с совершенно другими факторами: с обычаями или, как мы бы предпочли это называть, с гранями восприятия, затрагивающими культурные шаблоны. То есть основополагающие вопросы морали тут никак не затронуты. Самое большее, о чем может идти речь, это, как говорится, о внешних приличиях или о чувстве такта.

Таковы общие наметки проекта.

Позвольте мне сначала затронуть медицинские и промышленные аспекты. В области здравоохранения мы с давних пор практикуем различного рода *передачи* от человека человеку: переливание крови, пересадку тканей и целых органов при трансплантации. Что составляет важную область хирургии, которая благодарно и практически безоговорочно принимается обществом и развитие которой в последние годы шло быстрыми темпами, особенно после того, как у нас наконец-то появилось понятие смерти мозга. Здесь мы движемся, если можно так выразиться, по приграничной полосе между жизнью и смертью. Эту границу мы переступаем окончательно, когда забираем органы покойников для изготовления лекарств или используем трупы для анатомических исследований и обучения медиков.

Другими словами, это своего рода *утилизация*. Такие формы использования трупов общество в основном не отвергает и в современную эпоху никогда не ставило под сомнение.

Проект "Б", проще говоря, означает, что мы делаем на этом пути еще один шаг вперед или доводим ход мысли до логического конца; мы

иногда шутим, что, сказав "А", надо говорить "Б". Почему, спрашиваем мы себя, подобную утилизацию не привести в некую систему? Сделать шаг от органов до целых тел ради удобства не одних только анатомических театров, но и более обширных областей научных исследований и промышленности. И не только околомедицинской и фармацевтической: целый ряд отраслей науки и экономики попали бы в поле зрения. Таким образом, имеется в виду широкомасштабная утилизация, объектом которой становятся человеческие трупы.

Вы, конечно, сразу же поняли, в чем состоит главная проблема: каким образом получить доступ к трупам? Мы ведь знаем, что большинство родственников не хотят предоставлять тела покойников для анатомических целей, что серьезно затрудняет обучение медиков. Вопрос в том, насколько глубоко такое нежелание укоренилось в народе. Кроется ли причина в застарелых религиозных представлениях, даже предрассудках, или же в каком-то врожденном пиетете перед усопшими родными, о чем говорил вчера Рённинг? Или тут речь идет о простой рутине, от которой без особых усилий можно освободиться, если заострить на ней внимание?

Мы думаем и надеемся, разумеется, что имеем дело с этим последним фактором. Здесь мы опираемся в первую очередь на то, что недавно столь распространенное сопротивление вскрытию было быстро сломлено, когда люди поняли его практическое значение для точного установления причин смерти и диагностики заболеваний.

Такая же практическая ценность явственно наличествует и в нашем проекте. Мы связывались с учеными, работающими в области фармакологической промышленности, которые предоставили нам сведения о чрезвычайно важных веществах, полученных из органов забитых животных. Это, например, гепарин, препятствующий тромбообразованию, инсулин, адреналин, помогающий, в частности, от астмы, тироксин, применяющийся для лечения некоторых заболеваний обмена веществ, препараты печени, помогающие при злокачественном малокровии. А также многие другие важные, в некоторых случаях жизненно важные средства. Доступность человеческих трупов дала бы возможность производить все это и многое другое на более качественном уровне, с меньшими затратами и, естественно, в большем объеме. Изъятые из человека, эти вещества оказались бы, так сказать, изначально запрограммированы для человеческого организма.

Прежде чем мы пройдемся дальше по списку эксплуатационных возможностей нового ресурса, нам следует взглянуть на юридические и социальные аспекты. Тот, кто вообще когда-нибудь задумывался над этим, возможно, полагает, что труп человека является частью наследства, оставшегося после покойника. Не в том смысле, что он может быть занесен в его имущество, а в том, что он тем не менее в метафизическом смысле принадлежит наследникам. Однако это совсем *не так*. Родственники, безусловно, имеют право на тело, но только право похоронить его одним из предписанных правилами способов.

Однако и Корона не обладает правами владения или хотя бы правом распоряжаться телом. *У тела покойника просто-напросто отсутствует юридический владелец*. Поскольку потомки не могут, не хотят или не имеют права сделать ничего иного, кроме как похоронить своего дорогого

покойника, то есть, по большому счету, уничтожить его путем кремации, никаких трудностей законодательно передать всех умерших граждан в собственность государства возникнуть не должно.

Это что касается юридической стороны вопроса; тут, похоже, все ясно. Препятствия скорее могут возникнуть в социальном плане, в плане традиционного человеческого мировосприятия. В первую очередь, как обстоят дела с религиозными представлениями в этой области? Я попрошу Сэта Карнему дать краткие разъяснения по этому поводу.

Карнему. Источником возможного сопротивления, как ты сам сказал, являются, прежде всего, традиции и эмоции. Но с тех пор как кремация стала привычной и среди христиан, эмоции и традиции, собственно говоря, утратили почву. Для разума и морали в принципе нет разницы, перестает ли труп существовать с помощью огня, естественного гниения или промышленной утилизации. В моральном плане предпочтителен скорее последний способ, поскольку тем самым покойник оказывает своим согражданам последнюю услугу.

Выражаясь догматически, никаких проблем не существует. Мы, лютеране и евангелисты, никогда не верили в плотское воскрешение; не исключено, что это — проявление нашего традиционного неприятия плоти. Католики же, напротив, считают, что, когда протрубит труба Страшного суда, мертвецы поспешно разыщут свои кости и восстанут из могил, наподобие скелетов, которых мы видим на средневековых картинах. Но даже и католики не сумели превратить это положение в догму. Из чистого пиетета перед традицией Ватикан все же упорно боролся против кремации, разрешая ее только во время эпидемий и крупных катастроф. Но в конце концов в 1964 году папа отменил запрет на кремацию. Сегодня лишь какая-нибудь небольшая секта иудеев-ортодоксов по-прежнему придерживается этих правил.

Предание земле практически безраздельно господствовало в Европе вплоть до конца XIX века, когда произошел прорыв — кремацию стали практиковать в Англии и Германии. Сначала это объяснялось чуть ли не гигиеническими и экологическими причинами: сказывался страх перед эпидемиями в быстро растущих городах, страх перед отравлением грунтовых вод и озер. Еще одним важным фактором стал политический: стоимость земли. Никто не хотел, чтобы кладбища, в особенности вокруг больших городов, мешали их росту.

В Швеции поначалу преобладали эти практические соображения, но с приходом нового столетия под кремацию подвели идеологическую платформу, на сцену вышел национально-романтический культ. Были проведены аналогии с "кострищами" германских язычников, и вокруг кремации создали своего рода ётско-расистские[1] храмовые службы. Кульминация романтического движения за кремацию, как и других подобных движений, пришлась на 30-е годы; кстати, центром этого движения был как раз Хельсингборг. С тех пор крематории худо-бедно были приняты христианством и стали частью муниципальной практики со-

1. Слово "ётский" (*шв.* götisk) происходит от названия древнешведского племени ётов (*шв.* götar). В национально-патриотической риторике XIX – начала XX вв. этим словом обозначались "исконно шведские" реалии и явления.

циальных служб. Это своеобразная аналогия тому, что Рённинг вчера говорил о правовом позитивизме. Практические соображения снова берут верх, как и, в не меньшей степени, растущее нежелание людей посещать могилы. Кремация есть крайнее выражение этого нежелания, в то время как в языческих культурах она, так сказать, означает нечто противоположное: страх, что покойник оживет и начнет посещать живых. Это, к слову, вовсе не означает, что мертвых хотят забыть. Чаще всего, наоборот.

Этим кратким обзором истории кремации я хотел показать, что тотальное уничтожение человеческого тела практически не вызывает сколько-нибудь резких возражений ни у христиан, ни у представителей других конфессий. Затрудняюсь сказать, что еще могло бы помешать планам использовать вещества и субстанции, способные прийти на помощь живым. Я скорее склонен видеть позитивное христианское зерно в этой идее: рука помощи, протянутая из могилы как проявление неземной любви. Господь любит тех, кто дает с радостью. Думаю, мы должны обсудить все это безо всяких предрассудков.

Председательствующий. Спасибо, Сэт. В таком случае я перейду к экономической стороне дела. Я затронул область фармакологии. Помимо названных мной важных веществ наши эксперты предложили более прямую возможность утилизации, гениальную по своей простоте. Вспомните, говорят они, все те снотворные и психотропные препараты, которыми мы пичкаем людей, особенно тех, кто находится на пороге смерти и в стационарах длительного пребывания. Эти вещества скопились в черепах, только бери и извлекай. Они на вес золота.

Кстати, о золоте; сколько говорилось о громадных ресурсах, которые пропадают зазря только потому, что мы пренебрегаем золотыми зубами покойников. До реформы стоматологии можно было, *наверное*, ссылаться на претензии родственников на эти чисто личные инвестиции. Но сегодня, когда расходы оплачивает общество, золото, разумеется, должно быть возвращено обществу же. Единственная закавыка заключается в том, что тут речь идет о специальном сплаве, который невыгодно подвергать очистке. Это золото не годится ни для чего другого, кроме новых зубов, а золотые зубы становятся все менее популярны. Но почему бы не попробовать экспортировать его в менее развитые страны? Это все-таки определенный ресурс. Своего рода золотой запас.

Если перейти к вопросам улучшения качества земли и кормов, то здесь, в первую очередь, наши эксперты называли костные продукты: костную муку, костный клей, костный уголь. Для химической промышленности в более широком смысле привлекательны, конечно, жиры и некоторые другие вещества. Мы еще точно не знаем какие, поскольку нам пока трудно достичь полного взаимопонимания с представителями этой отрасли. Создается впечатление, что сама мысль об этом приводит их в замешательство, и они проявляют сдержанность. Широкие перспективы, сказал один ведущий исследователь, очень интересные для химии. Но он решительно подчеркнул, что инициатива должна исходить от общества, ведь подобные проекты содержат целый ряд щекотливых моментов. Если бы государство приняло соответствующее решение, его бы приняли без возражений, а вот инициативы частных лиц

неизбежно приведут к чудовищным осложнениям. Вспомните, что произошло с парнями из "ИГ Фарбен"[1], сказал он.

Стало быть, мы вновь возвращаемся к тому же! К призракам прошлого, которых Рённинг так упорно вызывал вчера. All right, мысль о том, что нацисты убивали евреев, чтобы сделать из них мыло, естественно, вызывает у нас отвращение. Сегодня вроде выясняется, что они *не* производили мыла из человеческого жира: израильский ученый Рауль Хильберг опровергает этот миф, но это не оправдывает массовых убийств евреев. А вот изготавливать мыло или что там еще из жира покойников, умерших естественной смертью, совершенно иное дело. По крайней мере русские занимались этим в 20-х годах, такое мыло фигурирует на сцене в пьесе Третьякова. Весь этот мыльный комплекс абсолютно иррационален, и он не должен больше помыкать нами. Речь идет о производстве и выходе из кризиса!

Ну хорошо, этот инженер с его страхом перед невежественным общественным мнением укрепил нас в нашем намерении сохранить весь проект "Б" в твердых руках государства. Предоставив, разумеется, концессии частному капиталу. Руководство будет возложено на нас, на Министерство промышленности, Социальное управление и Комитет по утилизации — если проект осуществится, а у нас есть все основания считать, что так оно и будет. Позвольте мне под конец в основных чертах описать, какой нам мыслится такая организация. Карнему, подожди, пожалуйста, я дам тебе слово позже.

Смертность в Швеции составляет порядка 100 000 человек в год. Что в среднем равняется 275 человекам в день. Громадный, неиссякаемый, постоянно возобновляемый источник сырья.

Каким образом нам лучше всего им воспользоваться? Из многочисленных дискуссий выкристаллизовалось понятие *терминальных станций*. По всей стране создается сеть терминальных станций, которые подключаются к организациям здравоохранения, точнее — к областному стационару длительного пребывания. В принципе мы планируем по одному терминалу в каждом лене, возможно, с некоторым перевесом в пользу Норрланда[2] и других дотационных регионов. То, что плотность населения и тем самым смертность там меньше, представляет собой определенную проблему, которую легко решить с помощью рефрижераторов. И сырье, вероятно, в малонаселенных районах химически лучше за счет чистоты воздуха и благоприятной экологии.

Многочисленные мелкие установки могут показаться экономически невыгодными. Но мы считаем, что не следует придавать этому предприятию массовый промышленный характер, — это может вызвать неприятные ассоциации. Мы хотим приблизить подобный способ действия к людям, показать, что смерть может быть продуктивной, позволит создать рабочие места и спасти населенные пункты, находящиеся на грани выживания. Это позволит наилучшим образом преодолеть все еще не изжитые нами неуверенность и предрассудки.

1. "ИГ Фарбен" (*нем.* "IG Farben") — корпорация немецких предприятий химической промышленности, добровольно сотрудничавшая с нацистами. Фабрики "ИГ Фарбен" производили газ "Циклон-Б" для газовых камер; другие фабрики, в том числе в Освенциме, использовали исключительно рабский труд узников лагерей.
2. Норрланд (*шв.* Norrland) — северная часть Швеции, составляющая примерно половину ее площади.

Что же такое терминальная станция? Ее главная задача будет заключаться в *научных исследованиях*, медицинских и фармацевтических (сюда входит и преподавание), и *подготовке* к вторичному использованию и промышленной утилизации. Мы полагаем, что пройдет какое-то время, прежде чем работа по подготовке к запуску станций полностью укоренится в общественном сознании, поэтому целесообразно, чтобы ей был придан некий научный статус. Легче всего достичь этого можно, объединив оба вида деятельности под одной крышей. Начальник терминальной станции получит должность директора терминала – он должен быть опытным администратором в первую очередь в области здравоохранения. Его ближайшим сотрудником станет заведующий научной частью, предпочтительно с профессорским званием, и главный инженер, отвечающий за техническую сторону и саму подготовку. Кстати, на каждой станции будет работать около пятидесяти человек научного, технического и административного персонала. Таким образом, мы обеспечиваем занятость, в частности, для тех, кто остался без работы в пищевой промышленности, а не имеющая профессионального образования молодежь получает благодаря ручному труду прекрасную возможность овладеть собственно медицинскими профессиями: мы все же, несмотря ни на что, имеем дело с людьми.

Для промышленной эксплуатации сырья и полуфабрикатов мы, как я уже говорил, собираемся использовать концессии, выданные государственным и частным предприятиям, предпочтительно работающим в регионе. Вся обработка осуществляется внутри страны, а товары, поступающие в открытую торговлю, естественно, не должны ничем напоминать об этом, скажем так, отталкивающем сырье.

Нет никаких сомнений, что проект экономически разумен и способствует увеличению занятости. Кроме того, он не требует больших энергетических затрат и благоприятен для экологии. Холодильные и морозильные камеры, конечно, потребляют энергию, но эти затраты мы компенсируем за счет того, что печи для кремации практически выбывают из игры. Как известно, крематории и другие установки для сжигания отходов представляют серьезную экологическую проблему для их персонала и жителей прилегающих территорий, а их роль в качестве источников тепла весьма невелика. На терминальных станциях будут кремировать лишь незначительные остатки человеческих тел, непригодные к утилизации и компостированию.

Итак, я вкратце описал неоспоримые преимущества проекта "Б", исключительно его позитивные стороны. Негативных нам обнаружить не удалось, но, безусловно, существует целый ряд проблем, которые, однако, вполне решаемы.

Они, как и всё, что касается "Человека у последней черты", кроются в социальной сфере, в области информации, в работе с общественным мнением. И тут нам бы хотелось особо подчеркнуть два основных вектора, помимо экономики и занятости, обладающих настолько очевидной ценностью, что они не нуждаются в рекламе.

Прежде всего, речь идет о солидарности и справедливости. Позитивная сторона состоит в том, что общество заботится обо *всех* своих членах, обеспечивая им доступ к терминальным станциям. Не происходит никакой селекции; не выработавшее свой ресурс упитанное тело,

правда, дает больше при утилизации, но, наверное, представляет меньший интерес для научных исследований. Более негативная сторона, если хотите, заключается в том, что солидарность и справедливость требуют, чтобы никто не увиливал от этого последнего долга: предоставить свое тело в распоряжение общества. Не должно быть так, чтобы привилегированные люди, чувствуя приближение конца, уезжали за границу, где их уже поджидали бы заранее купленные могилы. Знаменитое высказывание Вигфорсса[1] о том, что налог на оставшееся после смерти имущество — это долг перед обществом, который становится актуальным благодаря смерти, применимо в данном случае в переносном смысле. Стало быть, необходимо воспрепятствовать *утечке тел* за границу, что требует ограничительных мер. В первую очередь следовало бы отбирать паспорта у больных и недужных, но, учитывая принцип свободы передвижения в странах Северной Европы, такой инструмент может не сработать. И вот здесь-то, как мы считаем, наступает очередь таможни. Мы собираемся учредить некоторое количество должностей для *таможенных врачей*, обязанных обследовать и, в случае надобности, останавливать подозрительных пассажиров на пограничных пунктах. Таможенная служба, давно находившаяся в загоне, вполне естественно с удовлетворением ожидает этих новых должностей.

Малозначительная деталь, скажете вы, но с точки зрения общественной солидарности утечка тел все же имеет большое значение. Это не только проявление неблагодарности и нелояльности по отношению к обществу: таким образом индивид лишает общество реальных благ. Поэтому меры контроля наверняка будут без возражений приняты большинством членов общества.

Важной составной частью создания общественного мнения по поводу проекта "Б" является, несомненно, триада "питание—моцион—здоровье", вообще философия профилактики болезней. Желание оставить после себя полноценное сырье может подстегнуть стремление к здоровому образу жизни. Человек не захочет отравлять свою плоть, не будет больше двигаться, так сказать, ради самого движения. Но здесь я обязан указать на существенный момент: *кампании за укрепление здоровья займут подобающее им место в программе утилизации, только если будет введена возрастная граница, о которой мы говорили вчера.* Иначе общество рискует тем, что дополнительные расходы, связанные с увеличением средней продолжительности жизни, полностью поглотят выгоды от утилизации.

Позвольте мне под конец взглянуть на проект "Б" в более широкой перспективе. Не означает ли это в каком-то смысле исполнение древней мечты: окончательной социальной интеграции смерти? По ту сторону могилы нас ждут уже не неизвестные силы, а продолжение полезного вклада в ту общность, в которой мы жили. Вместо жуткой тишины морга нас ожидает рабочее место в производстве и науке, сравнимое со многими другими рабочими местами в нашем обществе. Не издающая запахов, антисептическая смерть в холодильной камере терминальных станций — не это ли и есть современная смерть в истинном значении этого слова? И мы все следуем одной дорогой, а не сжигаем одних и по-

1. Эрнст Вигфорсс (1881—1977) — шведский политик, экономист и мыслитель, министр финансов Швеции в 1925—1926 и 1932—1949 гг. (с перерывом в 1936-м).

гребаем других. Нас, размолотых в пыль, распылят над обширными пашнями страны, и мы дадим им питание. Разве не приятнее и разумнее представить себе вот такой исход, чем уничтожение огнем или долгое гниение? По-моему, именно так. А что скажет Рённинг?

Рённинг. Я скажу, что общество — это люди, индивиды, являющиеся самоцелью. Не поля, предназначенные давать урожай. Урожай дает природа, но в то же время она сама требует ухода.

Конечно, мертвецы больше не люди. Но из-за этого они вовсе не сырье и не продукт, не ресурсы, которые можно эксплуатировать подобным варварским способом. Однако я понимаю, что для Перссона с его образом мышления это воплощение старинной мечты — тела, больше непригодные к использованию в качестве средств производства, сами становятся продуктом. Прогресс делает бумажники из человеческой кожи, сказал Карл Краус[1] еще в 1910-е годы.

Есть известные строчки Грундтвига: "Мир Божий да пребудет с нашими усопшими в розарии Дании". Они выражают идею культурного ландшафта, предоставляя усопшим их скромное место в этом ландшафте. Говорят же, что пасторские коровы обычно бывают жирнее, потому что пасутся на кладбищах.

Но Швеция не розарий, а область лесоповала. Не культурный ландшафт, за которым ухаживают, а вырубаемый сосновый лес. И если объединить два проекта ЧУПЧ, как того хочет Перссон, то обнаружится, что их цель — не ухаживать за людьми, а сживать их со свету. Цель — производство, не культура. Вещи, не люди.

Председательствующий. Я, собственно, не собираюсь здесь и сейчас устраивать дискуссию по поводу проекта "Б". Выразить свое отношение так сразу к сложному проекту, изложенному лишь в общих чертах, непросто. Я бы попросил вас подумать над ним дома, в тишине и спокойствии, пару недель. А потом прислать нам ваши письменные отзывы. И тем самым... Карнему? Ах да, ты что-то хотел сказать, я забыл. Прошу.

Карнему. В проекте "Б" упущена одна важная деталь, а именно — необходимо оставить что-то, что можно похоронить. Хотя бы ноготь мизинца, как бывает после авиакатастроф. Пусть телу предстоит пройти еще несколько этапов утилизации, но путешествие души закончено. И мы обязаны подчеркнуть это достойными похоронами, по традиции многих поколений, живших до нас.

Председательствующий. Но я полагал, что мы можем отказаться от могил. Ты сам говорил, что люди больше не желают посещать могилы.

Карнему. Пусть так, но в данном случае важнее всего долг перед усопшим. И не забывай — людям не надо будет покидать страну, чтобы попасть в освященную землю, если проект "Б" совместить с достойной и привлекательной похоронной церемонией. Потому что эти люди покидают страну вовсе не для того, чтобы обмануть общество, не оставив

1. Карл Краус (1874—1936) — австрийский писатель-сатирик, драматург, поэт и публицист.

ему своих тел. А просто-напросто потому, что хотят быть похороненными. Я набросал предложение...

Председательствующий. Я прочитал твое предложение, Сэт, и мы обсудили его. Но извлекать ключицу... Это значительно увеличит объем работы на терминальных станциях.

Карнему. По-моему, с этим нужно смириться. С точки зрения церкви отпевание покойника, благословение его на последнее успокоение — вопрос центральный. Вспомни Антигону, о которой говорил Рённинг. Зевс требует погребальных ритуалов. И Центральный совет церкви никогда не откажется от этого требования. Я не смогу работать экспертом ЧУПЧ, если похороны в каком-то виде не...

Председательствующий. Понимаю. Возможно, ты прав. Боюсь, мы упустили связь с "утечкой трупов". Но давай выслушаем твое предложение. Это станет прекрасным завершением симпозиума.

Карнему. Я назвал его "Ключиком Царствия Небесного", clavicula coeli. Или в светской версии "Ключик жизни", clavicula vitae. Более жизнеутверждающе. Clavicula, ключик, — это латинское название ключицы.

Итак, изъяв из трупа ключицу, ее слегка чистят. На священнике новое, специально разработанное облачение с вытканным изображением ключей Петра. Он, держа ключицу между большими и указательными пальцами обеих рук, произносит: "Да станет это, NN, образом того ключа, который откроет для тебя врата в Царствие Небесное. Аминь". Для неверующих — "в другую жизнь" или что-нибудь подобное. После чего он опускает руки в металлическую урну, и ключица падает туда со звонким звуком, усиленным и подхваченным органным аккордом, который становится, так сказать, собственным аккордом усопшего в музыке сфер, в небесной гармонии.

Вот так я себе это представляю.

Председательствующий. Замечательная идея. Твердо обещаю, что мы снова обсудим ее.

А теперь, надеюсь, у нас у всех уже разгорелся аппетит, ужин, обещаю, будет не скудным... Не опоздать на самолет? Вот как, значит, остаемся только мы. Так-так. Ну что же, всем большое спасибо. Возвращайтесь домой и обдумайте все слышанное. *Мы с вами свяжемся.*

Послесловие к русскому переводу

"Современную смерть" я написал зимой 1978 года под впечатлением от последней болезни и смерти моей матери. По мере того как я пытался осмыслить этот болезненный опыт, перспектива расширялась, и книга превратилась в сатиру на то, что я назвал "шведской идеологией", получившей и другое наименование — "искусство социальной инженерии".

© Carl-Henning Wijkmark, 2008

Когда "Современная смерть" вышла в свет весной того же года, ее превознесли до небес как литературное произведение, "сатиру в духе Свифта". Но содержащуюся в ней критику общества обошли молчанием. Государственное телевидение подвергло тотальной цензуре драматургическую версию книги: в ней затрагивались щекотливые вопросы, которые эксперты и политики желали решать по собственному усмотрению. Правда, в середине 80-х годов появилось второе издание, но, по большому счету, оно не привлекло внимания общественности.

Поворотный момент наступил в 2005 году благодаря статье Ханса Магнуса Энценсбергера, занявшей целую полосу в газете "Франкфуртер альгемайне цайтунг"; представив отрывки из немецкого перевода, вышедшего несколько лет назад, он писал, в частности, следующее:

> Вийкмарк на пару десятилетий опередил свое время, и его высказывания по поводу демографических проблем Запада оказались, очевидно, слишком нелицеприятными, чтобы его слова были восприняты всерьез. Теперь действительность практически оправдала опасения Вийкмарка.

Это послание Энценсбергера, одного из выдающихся европейских интеллектуалов, побудило четыре немецких театра независимо друг от друга поставить спектакли по книге, один из которых состоялся в Зенфтенберге, бывшей Восточной Германии, где большинство населения составляют старики; молодежь подалась на Запад, чтобы заработать на жизнь. В постановке гамбургского театра в центре внимания оказались вопросы эвтаназии; в силу исторических причин эта проблема всегда была актуальна в Германии, но теперь обострилась до крайности из-за того, что приблизительно в то же время занимающаяся эвтаназией частная швейцарская клиника "Дигнитас" попыталась открыть свое отделение в стране. (Попытка не удалась, и позднее выяснилось, что "Дигнитас" занималась чистой воды аферами и вовсе не была некоммерческой организацией, за которую себя выдавала.)

"Современная смерть" рассказывает о том, как общество оценивает человеческую жизнь, как на практике осуществляются закрепленные конституцией положения о равной ценности каждого человека. Не получится ли так, что в демократическом индустриальном обществе при обострении кризиса рост производства и материальное благополучие окажутся важнее, чем ценность личности и права человека? В большой — и все большей — степени это уже так и сегодня. Экономить на стариках и инвалидах, отказывать в гражданстве беженцам, конечно же, бесчеловечно, но с точки зрения государственных интересов вполне рационально. В более отдаленной, гуманистической перспективе, экономизм отнюдь не рационален, но остается частью — более или менее открыто признаваемой — структуры всех промышленно развитых стран, у которых, однако, достаточно средств, чтобы не прибегать к нему вообще. Я описываю шведское общество не только потому, что знаю его лучше других, но и потому, что в каком-то смысле наш особый путь развития делает нас в ситуации драматического обострения кризиса исключительно беззащитными перед "необходимостью" пожертвовать гуманизмом. В обществе, как наше, болезненно сосредоточенном на деньгах, ценность человеческой жизни не имеет гарантий. Ее все время противопоставляют экономическим интересам, иногда находя для нее место, иногда — нет. Те, кто сегодня все ревностнее выступает за активную эвтаназию, прикидываются,

будто экономика их не волнует, но люди наблюдательные, думающие не могут не ощущать тревоги. Каким облегчением было бы для налогоплательщиков, если бы недужным старикам — всем, от первого до последнего, — сразу вкатили нужную дозу (якобы для того, чтобы "облегчить им уход из жизни") вместо того, чтобы долгие годы вкалывать им бесчисленные малые дозы!

В "Современной смерти" затрагивается, кроме того, и природа шведского особого пути, наш sonderweg. Он берет свое начало в ценностном нигилизме Хэгерстрёма, так называемой упсальской философии, которая в конце 1920-х годов приобрела популярность в среде интеллектуалов. Несмотря на всю свою брутальность — вполне соответствующую духу времени, — эта философия так и не вышла за пределы нашей страны; она повернулась спиной к остальному миру, была слишком провинциальна. Однако самое интересное заключается в том, что она стала важным орудием для "искусства социальной инженерии", самого ядра шведской идеологии. Хэгерстрём провел еще более резкую грань между фактами и убеждениями, чем прежний позитивизм: согласно его учению только первые относятся к науке, вторые — лишь проявление эмоций, и для науки они не более чем суеверие. В области правовой теории, где у Хэгерстрёма нашлись влиятельные ученики, это означало, что постулаты естественного права о ценности жизни и о врожденных правах можно отбросить в сторону как необоснованные убеждения, то есть как суеверие, государство же и его методы давления представляют собой факты. Власти могли руководствоваться лишь государственной пользой, как они ее понимали. "Правовое сознание — часть политического сознания". Такова была точка зрения Вышинского — и Гитлера.

Другими словами, смысл "правового реализма" в том, что власть и есть право и что цель оправдывает средства. Но если власть прогрессивна, считали Хэгерстрём и другие философы упсальской школы, она создает прогрессивное право, а поскольку, само собой разумеется, они были демократами и симпатизировали социал-демократии, то им казалось, что общество будет преобразовано группой технократов и политиков при поддержке прогрессивного большинства в риксдаге. Никакого подавления большинства не предполагалось, а уж тем более — тоталитарного развития общества.

В этом-то и крылся их наивный просчет. Рассматривая идеи естественного права как препятствие на пути благонамеренной и рациональной государственной власти, наши ценностные нигилисты принимали во внимание лишь вторичные трудности. Они боялись либеральной защиты прав собственности, подразумеваемой естественным правом, и морального фанатизма, который может возникнуть в ответ на призывы к справедливости. Но они не учли гораздо большей опасности: без защиты естественного права мы должны согласиться с тем, что власть есть право даже в случае, если к ней придет столь же рациональное, но *злонамеренное* государственное руководство.

Один из прогрессивных технократов, которым "реалисты" расчистили дорогу, экономист, лауреат Нобелевской премии Гуннар Мюрдаль много позднее продемонстрировал перед верховной властью способность к самокритике:

> Мы создали "шведскую модель", словно бы у нас не было истории и словно бы мы одни в мире.

Но подобный самоанализ — чуть ли не единственный случай среди шведских "социальных инженеров".

Нетрудно вообразить, что могло бы произойти во время мировой войны, если бы мы столкнулись с нацистской оккупацией, имея в багаже философию "власть есть право" и чисто материальные цели социальной технологии. Самым логичным и "философски-реалистическим" стало бы, скорее всего, сотрудничество с оккупационными властями — и попутно аферы на черном рынке. Нам ведь дали рецепт подчинения. Но до этого не дошло, в нашем коконе нейтралитета ценностный нигилизм начали, несмотря ни на что, воспринимать как ошибку. Не в том смысле, что сумасшествие, творившееся в окружающем мире, могло разрушить нашу общественную идеологию, — напротив, дрессура ужесточилась благодаря строгим правилам военного времени; они и подготовили почву для насквозь регулируемого общества, существующего до сих пор. И все же следовало, пожалуй, немного отретушировать и модернизировать нашу философию, дабы сблизиться с побеждающими англосаксонскими мировыми державами. Ценностный нигилизм был сведен к ценностному релятивизму вкупе с логическим позитивизмом, господствовавшими в этих странах. Мы даже зашли так далеко, что в 1948 году присоединились к Декларации ООН о правах человека, в которой под влиянием американцев делался упор на права и неприкосновенность личности, а это шло вразрез со шведским правовым сознанием. Но было бы неприлично сперва с благодарностью принять деньги Маршалла, а несколько месяцев спустя отвергнуть творение миссис Рузвельт. К слову сказать, принятие Декларации ни к чему нас не обязывало: ведь ее подписал и Советский Союз, а уж там и не думали соблюдать права человека.

После ста лет господства шведской государственной философии, сначала бустрёмовской, потом хэгерстрёмовской, мы, стало быть, вновь присоединились к большому миру, но присоединились, лишь бездумно повторив постулаты ООН, тогда как логический позитивизм оказался доступным лишь немногочисленной элите. Поскольку нам удалось избежать участия в войне, не стоило и задумываться о том, что узнали об идеальных обществах народы, пострадавшие от них больше всего. Мы продолжали жить, пользуясь механистически понятым здравым смыслом — более мягким вариантом технократического взгляда на "людской материал", доведенного нацистами до чудовищных последствий.

Когда я писал "Современную смерть", я считал, что первая ее часть — о селекции и современном "обрыве" — при всех ее ужасах более реальна, а заключительная глава — это шаг в мир абсурда, гримаса, обвинение в том, что мы больше страшимся непристойностей, чем зла. Быть может, сегодня так уже не кажется. Скорее всего, ближайшее будущее за "проектом Б", чудовищными "терминальными станциями". Стоит нам умереть, и наши сетчатка, гипофиз и другой "биологический материал" изымаются и продаются за границу. А сколько было судебных процессов над сторожами крематориев, кравшими золотые зубы из пепла, но осудить их за кражу оказалось невозможно, потому что у этого золота нет юридического владельца.

Это вовсе не значит, что риск селекции в обществе уменьшился; хладнокровные составители экономических планов, вроде начальника управления Перссона, существуют на самом деле. Сейчас в футурологических сценариях описываются в основном окружающая среда и глобальное потепление, но эти явления, угрожающие всем нам, как и "современная смерть" и ядерная энергетика, сейчас развиваются в таком — навязанном извне — темпе, с которым книгами и дебатами не совладать. Инвестиции сделаны давно и будут расти дальше. Нельзя выпрыгнуть из общественной формации и экономики, но можно, по крайней мере, попытаться по мере сил встать на защиту некоего минимума человечности.

Борис Юдин

Кто там у последней черты?

"Современная смерть" К.-Х. Вийкмарка в оригинале впервые была опубликована в 1978 году. Сюжет разворачивается в Швеции тех времен, когда для многих из нас эта страна выступала как своего рода эталон социализма (вспомним "шведскую модель"). По контрасту он воспринимался в качестве привлекательной альтернативы тому "реальному" развитому социализму, в котором обретались мы сами. Но, как можно понять из этого памфлета, жизнь в обществе шведского социализма отнюдь не была беспроблемной.

Некоторые из этих весьма непростых проблем как раз и обсуждаются в памфлете Вийкмарка. Сюжет выстроен таким образом, что ключевое место отводится проблеме эвтаназии, которая поначалу обсуждается с социально-экономической точки зрения. Сразу же следует сказать о том, что в таких резких формах, в каких эта проблема представлена у Вийкмарка, тогда она, конечно же, не стояла. Ее заострение, порой доходящее до шаржирования аргументов тех, кто разворачивает целую программу эвтаназии, — это художественный и публицистический прием, весьма эффектно, на мой взгляд, используемый автором. И, конечно, как очень скоро выясняется в ходе дискуссии, тема эвтаназии имеет помимо социальных и экономических еще и множество других — культурных, юридических, моральных, если угодно — более человеческих измерений, которые я считаю и более фундаментальными. По сути дела, Вийкмарк вводит читателя в своего рода интеллектуальную лабораторию, в которой происходит выработка принципиально нового — с точки зрения накопленного человечеством опыта — понимания смерти и отношения к ней: концепции "современной смерти". Это — заранее объявленная смерть, которая будет наступать по предписанию чиновника.

С некоторой долей упрощения в истории XX столетия можно выделить две реально работавшие трактовки эвтаназии. Сама тема эвтаназии довольно широко обсуждалась уже в самом начале столетия и даже еще раньше. В дореволюционной России, к примеру, существовало даже общественное движение, которое называлось "Утоли моя печали" и ставило своей задачей помочь уйти из жизни тем, для кого эта жизнь — вследствие тяжелой и неизлечимой болезни — стала невыносимой. Наш выдающийся адвокат А. Ф. Кони в те времена предложил проект, призванный узаконить — при соблюдении ряда условий — практику добровольного ухода из жизни пациентов, оказавшихся в таком состоянии.

Однако на рельсы практической политики, проводимой государством, эвтаназия была поставлена лишь в нацистской Германии 30—40-х годов. Сначала, еще в 20-е годы, усилиями прежде всего ряда ученых, как биологов, медиков, так и юристов, была сформирована идея о "жизни,

© Борис Юдин, 2008

которая не стоит того, чтобы ее жить". При этом поначалу имелась в виду жизнь человека, страдающего неизлечимыми врожденными физическими или психическими пороками, который обречен на непереносимые мучения, содержание которого становится тяжким бременем для тех, кто его окружает, и бессмысленной обузой для общества в целом.

Впоследствии, после прихода Гитлера к власти, были разработаны критерии и процедуры, приняты соответствующие нормативные документы — и машина эвтаназии была запущена. Появились специалисты, которые, ничтоже сумняшеся, принимали за других решение о том, стоит ли жизнь каждого из этих других того, чтобы ее жить. Выяснилось, правда, что по мере того, как машина набирала обороты, понятие "недостойной" жизни получало все более широкое толкование, и соответственно приходилось увеличивать и круг лиц, подвергавшихся эвтаназии. Об этом, кстати, напоминает один из персонажей "Современной смерти" — Аксель Рённинг. Произошло — и, очевидно, не могло не произойти — то, что иногда именуют эффектом наклонной плоскости: ступив на нее и сделав первый шаг, бывает крайне трудно остановиться.

По окончании Второй мировой войны, когда человечество узнало об этих, как и многих других, преступных деяниях нацистов, сам термин "эвтаназия" стал восприниматься именно в таком зловещем контексте и приобрел резко негативную окраску. Так продолжалось несколько десятилетий, но примерно в 60-е годы ситуация снова начала меняться.

Теперь, впрочем, размышлять об эвтаназии люди стали по другим причинам, главная из которых, как это ни парадоксально, заключена в бурном прогрессе медицины, появлении все более могущественных средств и методов продления человеческой жизни. Одно из направлений этого прогресса — создание таких препаратов и технологий, которые позволяют приостановить, замедлить, затормозить наступление смерти у тяжело больного пациента. Но, как выяснилось довольно скоро, это продление жизни не всегда воспринимается как благо и самим пациентом, и его близкими. Скажем, при неизлечимом онкологическом заболевании поддержание жизни подчас оборачивается для него всего лишь дополнительным грузом невыносимых физических и душевных мук.

В этих ситуациях для самого больного эвтаназия может выступать в виде желанного избавления от невыносимых и бессмысленных, *нечеловеческих* страданий, — сторонники эвтаназии считают, что больной в таком состоянии утрачивает человеческий облик и человеческое достоинство. Более того, изрядная доля страданий ложится и на тех родных и близких, которые находятся рядом, ухаживают за ним и вынуждены беспрестанно видеть его мучения, не имея возможности хоть как-то их облегчить. Наконец, зачастую продление такой жизни становится еще и тяжким финансовым бременем для его семьи.

И вот уже вновь кардинально изменяется тот контекст, в котором многие воспринимают проблему эвтаназии. На передний план выходит понимание ее как легкой, безболезненной кончины, совершающейся — и для нас это принципиально важно — в результате *добровольного* (разумеется, добровольного в общепринятом смысле слова, а не в том издевательском, в котором его употребляет вийкмарковский Перссон) *и осознанного выбора* самого больного. Таким образом, теперь решение подвергнуться эвтаназии выступает как реализация права человека са-

мостоятельно распоряжаться собственной жизнью (иногда говорят о праве на смерть или даже о праве на достойную смерть).

Во многих странах мира сегодня действуют общественные движения, отстаивающие это право. Наиболее известное из них – "Хэмлок"[1] – возникло в США. Оно инициировало в ряде штатов референдумы, призванные узаконить эвтаназию в форме самоубийства, осуществляемого при помощи врача. Различные виды эвтаназии легализованы в Голландии, Бельгии, Швейцарии, Люксембурге, в американском штате Орегон. Некоторые малоизвестные у нас, но весьма значимые детали принятых в разных странах практик, такие, например, как предсмертное завещание, обсуждаются и в "Современной смерти".

Заметим, однако, что ни в одной из нынешних многочисленных и, как правило, весьма острых дискуссий не имеется в виду такая трактовка эвтаназии, какую дают ей персонажи Вийкмарка, прежде всего – Берт Перссон и Каспар Сторм. По сути дела, она представляет собой гибрид, сочетающий как идеологию и практику нацистов, так и элементы того современного понимания эвтаназии, которое Перссон характеризует как "комфортную смерть по индивидуальному заказу". Весьма характерно при этом, что в ходе дискуссии тень Гитлера появляется довольно-таки отчетливо и регулярно. "Эвтаназия по-нацистски" оказывается своего рода точкой отсчета: авторы проекта ЧУПЧ вроде бы стремятся отойти от нее как можно дальше, что, однако, у них не очень-то получается.

В этой связи хотелось бы высказать одно более общее замечание. Человечество, как известно, проделало основательную работу по осмыслению того горького опыта, который принесла с собой Вторая мировая война. Порой, правда, кажется, будто в наши дни, когда слышны голоса тех, кто считает, что "у Гитлера было немало хороших идей, имеющих значение и в нашем обществе", этот опыт безнадежно забыт. Действительно, утверждение, будто современное общество обладает стопроцентным иммунитетом против фашистской или неофашистской инфекции, было бы самообманом.

И все же сегодня каждый, кто под предлогом социальной или экономической целесообразности вновь призывает решать вопрос о существовании или уничтожении какой-либо категории людей, заведомо ступает на весьма зыбкую и в моральном, и в юридическом смысле почву. Иначе говоря, как не без сожаления замечает один из героев Вийкмарка, "если Гитлер в чем и преуспел, так это в том, что подобные мысли невозможны в западных странах и сейчас, и в обозримом будущем".

Хотелось бы надеяться, что это относится не только к западным странам. По крайней мере, во многих международных правовых документах последних лет (самый недавний из них – Всеобщая декларация ЮНЕСКО о биоэтике и правах человека, принятая в 2005 году) содержится такое положение: "Интересы и благосостояние отдельного человека должны главенствовать над интересами собственно науки или общества". На первый взгляд, это положение, согласно которому микрокосм оказывается соразмерным макрокосму и даже, более того, превосходит его, представляется совершенно оторванным от жизнен-

1. "Цикута" (*англ.*). Как известно, именно смертельный яд цикуты пришлось испить Сократу по приговору афинского суда.

ных реалий. А между тем оно очень актуально для современной практики биомедицинских исследований, в которых человек выступает в качестве испытуемого, подвергаясь подчас достаточно серьезному риску. Ни высокая научная ценность ожидаемых результатов исследования, ни его предполагаемая общественная польза не могут служить оправданием, коль скоро под угрозу ставятся здоровье, благополучие, жизнь отдельного человека. Стоит обратить внимание на очевидное сходство этого положения с известной мыслью Достоевского, что все блага мира не стоят слезинки одного ребенка.

Характерно, что разработчики концепции "современной смерти" у Вийкмарка отнюдь не склонны руководствоваться интересами тех, кто сам приблизился к последней черте. Их, вообще говоря, мало занимают такие вопросы, как благо отдельного человека, пусть даже это благо — прекращение его мучений; вместо этого они предпочитают рассуждать о благе общества в целом.

Впрочем, их понимание общественного блага не выглядит, мягко говоря, ни безупречным, ни последовательным. В качестве исходного мотива для разработки проекта заявлено беспокойство по поводу тенденций старения населения. Надо заметить, что эти тенденции действительно все более четко проявляются в развитых странах и становятся объектом самого пристального интереса и общественности, и политиков. Отличает наших героев лишь то, что важнейшим условием реализации их проекта является отказ от тех "опасных табу и предрассудков", в соответствии с которыми "экономике запрещается управлять моральными решениями".

Вокруг этого тезиса и разворачивается интрига "Современной смерти". Правда, в его формулировке инициаторы проекта ЧУПЧ допускают определенную передержку: ведь в реальной жизни люди, принимающие те или иные моральные решения, отнюдь не абстрагируются от экономических соображений. Вообще-то говоря, само по себе обсуждение подобного рода табу не имеет особого смысла: тезис, будто экономика управляет моралью, столь же некорректен, как и противоположный — что мораль управляет экономикой.

Лукавство этого тезиса заключается в том, что нам, людям, свойственно по-разному воспринимать предписания, исходящие от имени экономики, с одной стороны, и морали — с другой. Сферу морали принято считать сферой свободы, в которой человек делает свой собственный, автономный, а стало быть, и далеко не всегда надежно обоснованный выбор. Экономика же, напротив, обычно воспринимается как сфера действия непреложных законов, неподчинение которым чревато для нас самыми негативными последствиями. Реально, однако, позиция Перссона и его сторонников вовсе не диктуется экономическими соображениями — она есть не более чем рационализация (если воспользоваться этим фрейдистским термином) определенного морального выбора, который для пущей убедительности покрывается флёром той самой экономической необходимости.

По ходу рассуждений Перссона и его сподвижников эта экономическая необходимость порой весьма радикально меняет обличья. Так, на первых порах утверждается, что относительно небольшая часть обще-

ства, которая находится в продуктивном возрасте, не в состоянии производить столько, сколько требуется для надлежащего обеспечения и ее самой, и иждивенцев. Отсюда делается вывод, что соображения общественного интереса или, если воспользоваться терминологией Сторма, "общественной ценности", диктуют надобность ограничивать срок жизни, отводимый тем, кто уже вышел из продуктивного возраста.

Вскорости, однако, этот тезис незаметно подменяется другим. Теперь уже экономическая необходимость выступает в виде безработицы — именно из-за нее не удается производить тот объем продукции, который потребен для надлежащего обеспечения всего населения. Лица преклонного возраста виновны уже не столько в том, что в силу своей физической слабости они не в состоянии обеспечивать себя (во многих случаях это просто неверно), сколько в том, что на рынке труда для них не находится места. Но это в корне меняет критерии программы ЧУПЧ — теперь круг претендентов на современную смерть определяется уже не возрастом, а возможностью (или, точнее, невозможностью) найти работу.

Идея использовать эвтаназию в качестве средства борьбы с безработицей напоминает известный рецепт применения гильотины для борьбы с перхотью — это чересчур экстравагантно, даже если идею эту мотивируют экономической необходимостью. Но и в экономике, как мы знаем, периоды спадов чередуются с периодами подъемов, когда проблемой становится не избыток, а недостаток рабочих рук. Другое дело, что тех, кто в период экономического кризиса был подвергнут эвтаназии, на рынок труда уже не вернешь...

В дальнейшем развитии сюжета экономический императив еще раз меняет свой облик. Теперь уже "приоритет" отдается другим группам населения: "тяжелым психическим инвалидам, — включая, быть может, алкоголиков, наркоманов и уголовников-рецидивистов — и слабоумным старикам". Перссон говорит в этой связи о правильно поставленной просветительской работе, с помощью которой можно будет заставить общество отвернуться от этих своих членов.

Очевидно, реализация подобного замысла добавила бы к массе уже существующих поводов для жесточайшей социальной розни еще один. Но даже если отвлечься от этого, речь, по сути дела, идет не меньше чем о самом резком разрыве с общепринятыми нормами морали. В отношении предыдущих категорий "кандидатов" — будь то старики или безработные — творцы ЧУПЧ могли бы, пусть даже прибегая к иезуитским приемам манипулирования, утверждать, будто эти люди станут рваться за последнюю черту по собственной воле; здесь же такой аргумент не проходит. Ведь "тяжелые психические инвалиды" юридически не правомочны давать согласие на эвтаназию. А это значит, что применение к ним эвтаназии нельзя квалифицировать иначе как умышленное убийство.

И, наконец, еще один способ реализовать императив экономической необходимости и целесообразности — то, что творцы ЧУПЧ называют проектом "Б"; речь идет о максимальной утилизации человеческих трупов. Здесь, как и в предшествующих случаях, Перссон и его сподвижники отталкиваются от реально существующих проблем. С одной стороны, на протяжении нескольких столетий трупы умерших широко используются при обучении студентов-медиков. С другой стороны, в наше время все большее количество органов и тканей, которые

можно изъять у трупа, используется как донорский материал; что касается пересадок сердца и легких, такие операции возможны, лишь если эти органы изымаются у только что умерших доноров.

В современном мире донорские органы и ткани — это один из самых дефицитных ресурсов, спрос на них на несколько порядков превышает предложение. Такой дефицит в значительной мере и впрямь следствие существующих моральных запретов, поскольку изъятие и последующее использование донорских органов предполагает согласие — явное или неявное — либо самого умершего (разумеется, данное им при жизни), либо его родственников. При этом подразумевается, что использование трупного материала и в обучении студентов-медиков, и в трансплантологии направлено, в конечном счете, на спасение жизни других людей. Как говорят в Испании представители католической церкви, активно участвующей в пропаганде донорства, "на небе ваши органы вам не понадобятся". Иными словами, использование человеческого трупного материала может оправдываться только очень высокими целями, донорский орган — это поистине бесценный дар умершего тому, кто, получив его, сможет жить.

Но вот Перссон предлагает не останавливаться на этом, а подходить к делу более прагматически, используя плоть умерших как один из видов сырья. Несомненно, такое сырье смогло бы найти множество самых разнообразных и полезных употреблений. Однако между применением трупного материала для обучения студентов или для трансплантации, с одной стороны, и для тех целей, которые имеет в виду Перссон, с другой, имеется существенное моральное различие. Во втором случае принято говорить об *инструментализации* человеческого тела. Конечно, такое использование тела не нанесет никакого ощутимого *физического* вреда ни самому умершему, ни кому-либо другому. А вот с точки зрения *морали* можно говорить об ущербе, который наносится человеческому достоинству. Уважение к человеческому достоинству находит свое выражение, помимо всего прочего, в том, что для подавляющего большинства людей человеческое тело, даже если это тело умершего, есть нечто существенно иное по сравнению с любым другим физическим объектом, нечто особым образом отмеченное культурой. Разумеется, легко найти массу примеров, когда эту грань между морально допустимым и морально неприемлемым провести чрезвычайно трудно, однако суть дела заключается не в недостаточной четкости, а в самом наличии подобной грани. Главное состоит в том, признаём ли мы уважение к человеческому достоинству одним из основоположений нашей морали.

Тридцать лет назад, когда Вийкмарк писал первую версию "Современной смерти", проблема старения населения только-только начинала привлекать внимание общества, так что автора можно назвать провидцем, раньше многих других предугадавшим ее будущую остроту. И в самом деле, сегодня эта проблема стала предметом острых и широких дискуссий, которые ведутся на самых разных уровнях. Вот только те пути ее решения, которые предлагались в проекте ЧУПЧ, если и обсуждаются кем-либо, то, как и у Вийкмарка, лишь за плотно закрытыми дверями.

Что же касается публичных обсуждений, то, пожалуй, наиболее серьезные были спровоцированы выходом в свет книги одного из самых

авторитетных специалистов по биоэтике, американского философа Дэниэла Кэллахана "Установить пределы: цели медицины в стареющем обществе"[1]. Кэллахан обратил внимание на следующее: прогресс современной медицины принято связывать прежде всего с тем, чтобы как можно дальше отодвинуть грань, отделяющую жизнь от смерти. Именно такова цель многих новейших технологий. Следствием же оказывается то, что в развитых странах становится все больше людей преклонного возраста, которые потребляют все более существенную долю ресурсов, выделяемых обществом на здравоохранение.

Кэллахан, впрочем, не пошел так далеко, как это предлагали персонажи Вийкмарка. Его вариант решения намного скромнее. Идея состояла в том, что для людей, достигших определенного возраста, скажем, 70 лет, следовало бы ограничить те расходы на медицинские цели, которые покрываются за счет общественных фондов. Таким людям должно быть доступно обычное, рутинное лечение; если же говорить об экстраординарном, высокотехнологичном, а следовательно, и весьма дорогостоящем лечении, то они могут пользоваться им в той мере, в какой это позволяют их собственные средства.

Публикуя свою книгу, Кэллахан, как принято в науке, делал эти идеи всеобщим достоянием. Его цель состояла именно в том, чтобы инициировать широкое, не ограничиваемое рамками научного сообщества обсуждение назревшей проблемы. В отличие от творцов "современной смерти", он исходил из того, что по столь значимому для общества вопросу решения должны вырабатываться не какой-то закрытой "проектной группой", а самим же обществом.

В "Современной смерти" Карла-Хеннинга Вийкмарка, напротив, весьма выпукло очерчиваются как образ действия, так и установки бюрократии, стремящейся узурпировать процесс принятия таких политических решений, которые непосредственно затрагивают всех и каждого. Задачу этического обоснования подобной практики берет на себя вийкмарковский Сторм, который предлагает свои мерки общественной и человеческой ценности. Шкалу человеческой ценности он характеризует как мистическую, метафизическую, произвольную. "Практически гораздо более удобной" он считает "шкалу общественной ценности, дающую возможность проводить рациональные количественные измерения", а сам термин "общественная ценность" представляется более ясным и одновременно более нейтральным. Это противопоставление несет у Сторма двоякую смысловую нагрузку.

Во-первых, постулируемые Стормом ясность и нейтральность термина "общественная ценность" делают его, по мысли Сторма, надежным компасом для решения сложных этических проблем, что иллюстрируется соответствующими примерами. Из них особого внимания заслуживает самый сложный, третий, где речь идет о сопоставлении общественной ценности одинокой молодой пианистки, лесоруба — кормильца большой семьи и пожилого политика-холостяка. Сторму представляется самоочевидным, будто по своей общественной ценности

1. Daniel Callahan. Setting Limits: Medical Goals in an Aging Society. — N. Y.: Simon & Schuster, 1987.

политик безусловно превосходит лесоруба и тем более — пианистку. Больше того, сам этот пример призван продемонстрировать удивительную эффективность понятия общественной ценности. Однако не так уж трудно привести аргументы в пользу других шкал предпочтений, где первое место было бы отведено либо пианистке, либо лесорубу. Сторм здесь идет на очевидную подмену тезиса — реальная проблема заключается не в неточности языка, а в моральной неоднозначности самой ситуации, и эту неоднозначность невозможно преодолеть никакими терминологическими ухищрениями.

Во-вторых, в своих рассуждениях Сторм опирается на неявную посылку, согласно которой то, что относится к общественной ценности, общественному интересу, имеет заведомый приоритет перед ценностью и интересом отдельного человека. С этим, вообще говоря, можно соглашаться или не соглашаться. Но вот на что стоит обратить внимание. Вопреки Сторму, разные люди могут совсем по-разному понимать, в чем именно заключаются общественная ценность, общественный интерес или общественное благо. Различия же эти обусловлены не столько тем, что один видит истину, а другой — нет, или что один наделен доброй волей, а другой — злой, сколько именно тем, что все мы, люди, — разные.

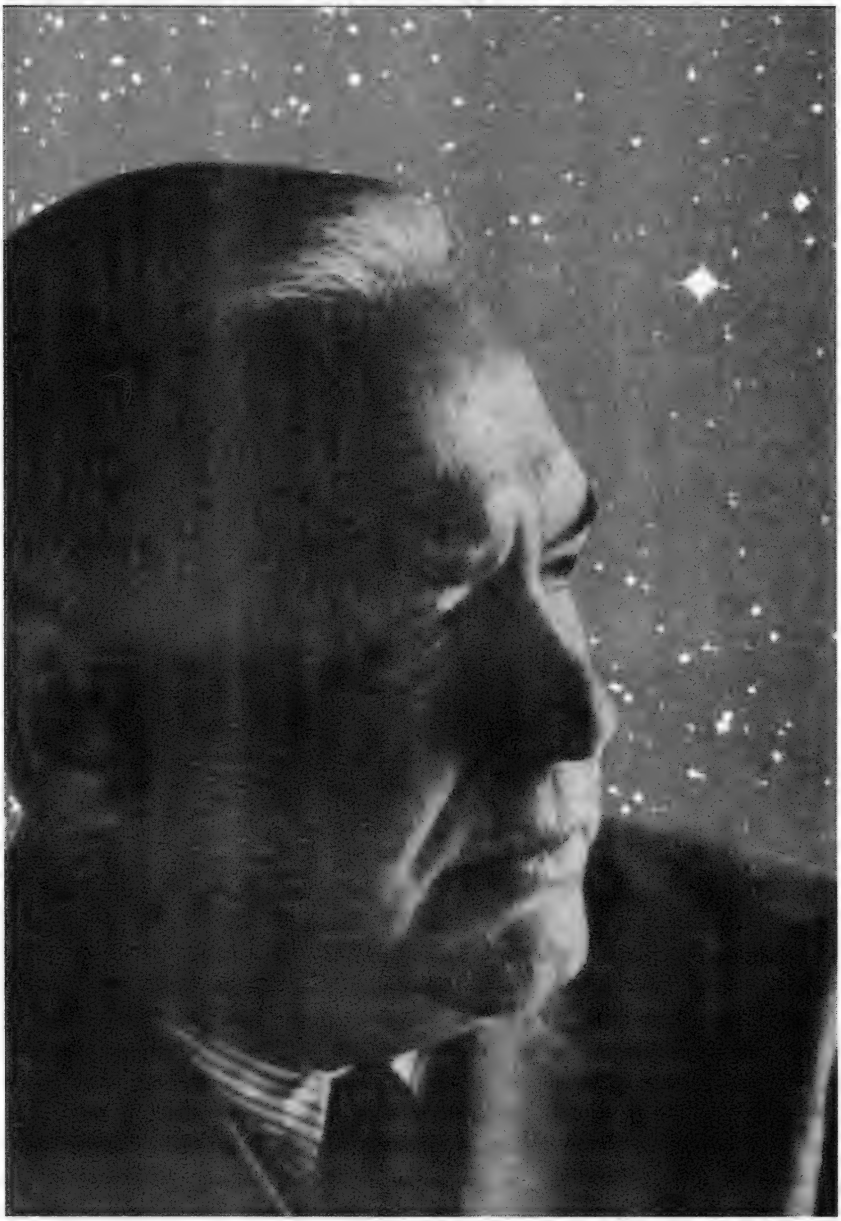
И еще одно очень существенное обстоятельство. Суждения, касающиеся общественной ценности, общественного интереса, общественного блага, обычно исходят не от рядовых граждан, а от тех, кто, как и наши герои, наделен властью. Больше того, как говорит нам современная философия, сама возможность высказывать суждения по таким вопросам есть не просто одно из проявлений власти, но и важный механизм ее поддержания. Однако и те, кто наделен властью, тоже люди, которым не чуждо ничто человеческое, включая, помимо всего прочего, и свои, сугубо человеческие (а не только общественные) интересы. И чем меньше у общества, у рядовых граждан возможностей контролировать решения и действия элит, тем больше вероятность того, что под видом общественного интереса будут провозглашаться и реализовываться вполне частные интересы представителей бюрократии.

С точки зрения бюрократии, которую в нашем случае представляет проектная группа ЧУПЧ, именно такой образ действий представляется наиболее эффективным. Она может считать, причем вполне искренне, рядового человека недостаточно искушенным, недостаточно подготовленным для того, чтобы уразуметь, в чем состоит его собственное благо и как к этому благу прийти. Бюрократия, более того, исходит из того, что технологии манипулирования позволят навязать этому человеку любую позицию, которую она сочтет нужной.

В какой-то момент, однако, разработанные в тиши загородного комплекса проекты соизмеряются с непосредственными, основополагающими *человеческими* интересами и ценностями. Тогда-то и обнаруживается, что реальная их эффективность очень и очень сомнительна и что зачастую они не только не решают существующие проблемы, но и порождают новые, быть может, не менее острые. Множество примеров такого рода нетрудно найти не только в Швеции и не только в 70-е годы.

Уоллес Стивенс
Стихи

Перевод с английского и вступительная статья Григория Кружкова



© Григорий Кружков. Перевод, вступительная статья, 2008

Загадки Стивенса, или Краткий самоучитель игры на "Фисгармонии"

I

Что говорит поэтический календарь о времени, когда состоялся поэтический дебют Уоллеса Стивенса? Сравним: в 1922 году вышла "Бесплодная земля" Элиота и "Сестра моя – жизнь" Пастернака, немедленно их прославившие. В 1923 году – первая книга сорокатрехлетнего Стивенса "Фисгармония", большого резонанса не вызвавшая. Успех и признание (1950-й – Боллингеновская премия, 1955-й – Пулицеровская премия) пришли много позднее, в последнее десятилетие жизни Стивенса (1879–1955). Ныне, спустя полвека, ясно видится, что это один из крупнейших – если не самый крупный – американский поэт XX столетия. Для Иосифа Бродского, например, Уоллес Стивенс стоял рядом с Робертом Фростом, именно этих поэтов он называл "двумя вершинами литературного наслаждения".

Стивенса считают "трудным поэтом". Но кто же не труден из его современников и соотечественников? Эзра Паунд? Томас Элиот? Марианна Мур? Все трудные, за исключением, может быть, Фроста – и то с большими оговорками. Вспомним европейских поэтов – того же Пастернака или Рильке. Однако Стивенс труден совсем не так, как Рильке, Элиот или Пастернак. Те сложны сами по себе, безотносительно публики. А Стивенс как будто нарочно задает загадки; в его стихах постоянно чудится какой-то подвох.

Я говорю об ироническом Стивенсе, каким он предстает в "Фисгармонии" (в последующих сборниках эта ироничность уменьшается, сглаживается). О его беззвучном смехе, загадочной "улыбке горгульи". В аллюзиях Элиота можно разобраться (хотя бы с помощью авторского комментария, как в "Бесплодной земле"), метафоры Пастернака можно расшифровать – и все станет более или менее ясно. Не то со Стивенсом. Про него до сих пор судят и рядят: о чем то или другое стихотворение? И не могут прийти к единому мнению.

Пытаются опереться на внутренние свидетельства – высказывания самого поэта и замечания в его письмах. Но они скудны и неоднозначны. Стивенс не спешил снабдить современников и потомков полным списком ответов на свои загадки. Характерен эпизод, когда один из друзей или коллег Стивенса пожаловался, что не может уразуметь его стихотворение, и услышал в ответ: "Дорогой Чарли, это не столь важно, что вы не можете понять моих или чьих-нибудь еще стихов. Важно только, чтобы сам поэт понимал их. Я понимаю свои; остальное не обязательно".

Другому знакомому однажды он сказал загадочно: "Я не думаю, что вы поймете это – если только не напишете это сами". Элен Вендлер, приводя эти слова в своей книге, замечает: "Может быть, нет лучшего способа понять Стивенса, чем представить себе, что вы сами пишете это стихотворение, – написать его как свое собственное произведение". Но ведь это в точности то, что делает переводчик стихов – пишет

стихотворение заново. Итак, следующий тезис можно считать подтвержденным авторитетом самого Стивенса: лучший способ понять стихотворение — перевести его!

II

Возьмем для примера второе стихотворение в книге "Фисгармония", которое называется "Инвектива против лебедей" (такие эксцентрические названия — фирменная метка Стивенса).

Инвектива против лебедей

О гусаки! Вам не постичь вовек,
В какую даль уносится душа.

Шумят ветра. Клонящееся солнце
Льет бронзовые струи и томится —

Как тот, кто нацарапал завещанье
В кудрявых росчерках и завитках

И ваши перья отписал луне,
А взмахи бурные — ветрам осенним.

Уже, взгляните, вдоль аллей вороны
Пометом умащают кудри статуй.

И одинокая душа взмывает выше
Крикливых ваших стай, о гусаки!

На первый взгляд, непонятно, против кого и почему обращена "инвектива" Стивенса. Что-то начинает брезжить лишь в сопоставлении с другими стихами "Фисгармонии" — в частности, с "Доминацией черных тонов", стихотворением, которому я уже посвятил отдельный анализ[1]. Обратим внимание: и там и здесь — мотив стремительного движения. В одном случае — улетающие отблески камина, кружимые ветром листья, радужные перья павлинов; в другом — бурные взмахи лебединых крыльев, осенний ветер, улетающая душа. Там раздаются резкие крики павлина, здесь — возгласы "крикливых стай" лебедей. Как известно, павлин в эпоху символизма — образ утонченной красоты. Но ведь и лебеди — не в меньшей степени эмблематичны; достаточно вспомнить знаменитый сонет Малларме "Лебедь" — или многочисленных лебедей Йейтса; образ лебедя, олицетворяющего бессмертие поэта, впервые возникает еще у Горация.

Можно предложить такое прочтение. На переломе времени поэт глядит назад, вослед уходящей эстетической эпохе, которую символизируют лебеди. Символизм ушел, нацарапав свое "кудрявое завещание"; за-

1. См. статью "Крик павлина и конец эстетической эпохи" // ИЛ, 2001, № 1.

кончилось время поэтических стай, наступило время одиночек. Лебеди улетают. На смену им приходят вороны, оскверняющие своим пометом монументы прошлого. Ветрено, холодно и одиноко. Но новое предназначение поэта — оставаться поэтом в непоэтическую эпоху — выше прежнего. Выше и трудней. Отсюда — гордое противопоставление себя лебедям символизма — это насмешливое "гусаки".

На мой взгляд, такое прочтение внутренне не противоречиво, а значит — оправдано. Под таким углом зрения виден один из главных мотивов Стивенса, который можно определить как *сопротивление диктату времени*. Что, конечно, связано с изменившимся статусом поэзии в изменившемся мире.

III

Есть такое определение иронии — смешное под маской серьезного. Со Стивенсом сложнее. У шкатулки не двойное дно, а тройное. Сверху может быть торжественное ораторство, инвектива, дифирамб или элегия, под ними — ирония, шутовской колпак, а еще глубже, под иронией, — вновь серьезное. Вот чего с самого начала не уловили писавшие о Стивенсе. Автор первой рецензии на "Фисгармонию" Ван Дорен отнес его к когорте новых авторов, упражняющихся в остроумном стихописании ("wit-writing"), к которым он причисляет, между прочим, и Элиота. Он никогда не будет популярен, предрекает критик.

Какую публику всерьез увлечет поэт, который лезет вон из кожи, лишь бы не походить ни на кого из писавших до него, <...> который пишет не о дрозде, а о тринадцати способах увидеть дрозда, который дает своим стихотворениям такие названия, как "Le Monocle de Mon Oncle"[1], "Гибискус на дремлющих берегах", "Гомункулус и La Belle Etoile"[2], "Император пломбира", "Изложение содержимого кэба", и который дает под заголовком "Бентамские петушки под соснами" такой текст:

Вождь Иффукан Ацканский, дерзкий враг
В кафтане темном, с рыжей грудкой, стой!

Проклятый расфуфыренный петух!
Ты думаешь, что солнце за тобой,

Как арапчонок, будет хвост носить?
Ты — гений?! Ты — жирняга. Жир, жир, жир!

Ты думаешь, что покорил весь мир?
Певец-гордец, презрел ты мелюзгу?

Взъерошу перья, растопырю хвост,
Я не боюсь твоих "кукареку"!

Мистера Стивенса никогда не будут много читать. Но когда-нибудь появится солидная монография о нем и его поэтической родне в XX веке,

1. "Монокль моего дядюшки" (*франц.*).
2. Прекрасная звезда (*франц.*).

употребившем все свои силы и способности ради утверждения новой эры для той поэзии, которую Драйден некогда назвал "поэзией остроумия", – эры, которая может оказаться короткой или длинной...

Кстати, раз уж мы привели вместе с цитатой еще одно стихотворение Стивенса, у нас есть возможность вновь применить на практике тезис о шкатулке с тройным дном. Какой смысл стоит за шутовской перебранкой бентамских петушков? (Уточним, что речь идет не о куриной породе, а о "бентамских курочках" – особом виде мелких птиц, которых содержат в декоративных целях.) Сравним с другими птичьими стихотворениями Стивенса, в которых он пишет о лебедях и павлинах – символах традиционной, романтической и символистской, поэзии. Пишет, в основном, иронически; но если у лебедей и павлинов были, что ни говори, какая-то торжественная красота и пафос, у бентамских петушков, выясняющих между собой, кто больший поэт, нет ровно ничего, кроме претензий; поэзия измельчала, выродилась – но эта мелюзга по-прежнему спорит о своей величине и важности.

Такова вероятная интерпретация этого миниатюрного фарса. Как видим, и здесь за пародийным содержанием можно угадать нерадостные мысли Стивенса о роли поэта в современном мире. Может быть, и вся так называемая "темнота" Стивенса, его вызывающая неожиданность и непредсказуемость – дерзкий вызов наступающему веку, пытающемуся свести значение поэзии к чему-то мелкому и чисто декоративному.

IV

Стивенс наследует от символизма представление об автономности поэзии ("искусство для искусства"), ее противостоянии всякой пользе и рациональной необходимости. Вот почему, наряду с оппозицией "поэт и время", у него стоит вторая – "поэт и профан". Каждое стихотворение Стивенса автоматически делит читателей на "посвященных" и "непосвященных", тех, кто может понять шифр поэта, и тех, для кого его искусство – китайская грамота. Имея это в виду, можно понять его "странное" стихотворение "Заговор против великана". Исходная ситуация, по-видимому, взята из сказки Оскара Уайльда "Самолюбивый великан". Это хрестоматийная вещь (помню, когда я учился в школе, она входила в наш учебник по английскому языку) – про великана, который не пускал детей играть в его сад. Когда же они пробрались тайком и он обнаружил это, дети опрометью бросились от него бежать. В стихотворении Стивенса девочки заранее договариваются, как они спасутся от великана. Одна обещает ошеломить его невиданным зрелищем, другая – неслыханной музыкой, третья – "ненюханным" ароматом. Такова, в общих чертах, стратегия самого Уоллеса Стивенса – ошеломить профана, сбить его с толку.

Между прочим, сходного рода провокацию мы находим и в стихотворении нашего эгофутуриста Игоря Северянина "Мороженое из сирени" (1912):

Эй, мальчик со сбитнем, попробуй!
Ей-Богу, похвалишь, дружок!

Поэт и профан — лишь частный случай более общей оппозиции: *личность и масса*. В наиболее ясной форме эта оппозиция выражена в стихотворении "Соединенные дамы Америки":

> Толпа мертва. Велика она или мала,
> Не имеет значения. Толпа не превысит
> Единственного человека.

Уже в первом сборнике Стивенса мы неоднократно встречаем это противопоставление, начиная с "Инвективы против лебедей" (тема одинокой души и шумной стаи "гусаков"). К этой же теме относится и "Мышиный данс-макабр":

Мышиный данс-макабр

> В стране индюшачьей, в разгар индюшачьей погоды
> Вкруг статуи конной мы водим свои хороводы.
> Все выше и выше! Никто нам плясать не мешает.
> И лошадь, и всадник, как шубой, покрыты мышами.
>
> Название этого танца — голодная пляска,
> Танцуем от задней подковы до кончика шпаги
> Синьора, о коем на цоколе надпись вещает
> Словами, что громче бубнового звона и лязга:
>
> "Монарх — основатель державы". В какой же державе
> Бывал основатель кругом не облеплен мышами?
> Взгляните, как живо под натиском их шевелится
> Простертая в полночь, грозящая аду десница!

Конная статуя, облепленная мышами, напоминает о названии стихотворения, написанного двадцатью годами позже, "Горы, покрытые кошками", в котором упоминаются железнодорожные вокзалы в России, "где одна и та же статуя Сталина приветствует того же самого пассажира". Здесь Стивенс не только остроумно пародирует свое старое стихотворение, заменяя мышей на кошек, но и размножает до бесконечности образ самого "основателя державы".

Возвращаясь к "Мышиному данс-макабру", можно сказать, что, как ни интерпретируй эту вещь, она хороша и сама по себе, без объяснений. Однако не будет лишним, если мы рискнем и сделаем предположение, от чего могла оттолкнуться фантазия Стивенса. Вспомним восьмую главу "Алисы в Зазеркалье", где Алиса встречает Белого Рыцаря. Речь у них, между прочим, заходит о мышеловке, которую среди всякого другого барахла Рыцарь везет на своей лошади. К чему это, удивляется Алиса, ведь трудно представить себе, чтобы на конях жили мыши. "Трудно, но можно, — отвечает Белый Рыцарь. — И я бы не хотел, чтобы они по мне бегали".

Вот Стивенс взял и представил.

VI

Непонятная логика, необычайные сочетания слов, поставленных, кажется, не для того, чтобы выразить, а чтобы затуманить смысл, и при этом – какое-то колдовское звучание, зачаровывающее читателя с первых строк, помимо всякого понимания. Эта суггестивность – неотъемлемая черта поэзии Стивенса, к которой он сознательно стремился.

Еще в молодые годы, посещая дом Уолтера Аренсберга, где собирался кружок единомышленников, художников и литераторов, Стивенс пришел к выводу, что из всех родов искусств, претерпевших в XIX веке искажающее влияние банальности, в наименьшей степени пострадала музыка. Это связано с абстрактностью музыки, не дающей профанам никакой зацепки, ни словесной, ни визуальной, чтобы судить ее и навязывать ей свои вкусы и требования. Поэтому всякое искусство должно стремиться к состоянию музыки. Французские символисты знали это – или догадывались, – поэтому они и требовали "музыки прежде всего".

Конечно, не случайно Стивенс дал своему первому сборнику музыкальное название. Что такое фисгармония? Это – смесь пианино и гармошки, инструмент, в котором звук создается за счет накачиваемого ногой воздуха. Нечто старомодное и вызывающее невольную улыбку; нечто двойственное, как кентавр, одновременно дышащее и грезящее. Если прочесть английское слово "harmonium" (фисгармония) как латинское, получится просто "гармония".

Одно из лучших стихотворений в первом сборнике Стивенса – "Подательнице музыки" ("To the One of Fictive Music"). Так Стивенс называет свою Музу. "Сестра, и мать, и высшая любовь, / И самая родная из сестер, / Что научают нас не умирать..." В молении поэта своему главному божеству я бы выделил вот это:

> Но и в подобье не переусердствуй.
> Оставь творенью маленькую странность,
> Ту самую чудную непохожесть,
> Что дарит нам сочувствие небес.

"Непохожесть" Стивенса идет рука об руку с "подобием" (преемственностью). Его насмешливая меланхолия – наследие Бодлера, Верлена и Лафорга, хотя в ней слышатся и отзвуки Китса – поэта, с которым Стивенс не расставался всю жизнь. Я имею в виду "Оду Соловью" и другие "великие оды", следы которых мы находим в самых неожиданных местах у Стивенса: например, три тени из "Оды Праздности" – в замечательной элегии, посвященной памяти Генри Черча, "Софа в саркофаге". Смесь оды и элегии, пафоса и печали – китсовская черта Уоллеса Стивенса.

Один из его любимых афоризмов: "Поэзия есть форма меланхолии"[1].

1. Из "Adagia" // Stevens W. Collected Poetry and Prose. – N. Y., 1997. P. 903.

Иногда намека достаточно, чтобы понять то, что кажется поначалу непостижимым клубком образов. Одна фраза – и все распутывается, и куча-мала строится в шеренгу. Возьмем, например, такое стихотворение:

Секрет иллюзиониста

Свершенья разума, походы в баню
И бракосочетанья близких душ
Идут своим порядком. Так плывут
Над опустевшим домом облака,
И мальвы алым золотом сорят
В заброшенном саду. Так яркий свет
Внезапно прорывает кокон туч
И ветер шарит в небе наугад.

Как угадать, где коршун прянет вниз?
Лучи вкруг солнца словно колесо:
Миф умер, а оно еще кружит;
Огонь небесный пережил богов.
Подумать только, все прошло, пройдет –
И блеск хмельной у голубя в зрачках,
И сосен-знаменосцев гордый шум,
И этот островок гусей и звезд.
Лишь у невежды остается шанс
Познать живую, чувственную жизнь,
Которая задержит беглый миг
И отогреет бронзовую плоть.

О чем это? Где взять такую фразу, чтобы, поставленная в эпиграф этого стихотворения, она осветила его до донышка? Чтобы все загадки, поставленные на ребро, от толчка этой фразы полегли разом, как костяшки домино, выстроенные друг другу в затылок? Мне кажется, такая фраза есть. Это еще один афоризм Стивенса из "Adagia": "Смерть одного бога есть смерть всех богов"[1]. Тогда начало стихотворения станет продолжением мысли: боги умерли, а все на земле идет обычным порядком, в покинутом саду горят красные мальвы, и солнце (это уже вторая строфа) так же катит свое колесо лучей. "Миф умер, а оно еще кружит". Обратим внимание на вспышку света, прорывающую "кокон туч", – усилие мысли, пытающееся обнаружить утраченного бога, и ветер, который "шарит в небе наугад" с той же целью. Лишь у невежды, то есть у того, кто не напрягает ума и ничего не ищет, есть шанс "познать живую, чувственную жизнь" и остановить ускользающее мгновенье.

Стивенс не принимал обычной религии и считал, что "бог умер". Он также верил, что в эпоху после Ницше на место религии может с ус-

1. Stevens W. Collected Poetry and Prose. – N. Y., 1997. P. 905. Стивенс также ввел эту фразу в свою поэму "К определению высшей выдумки" (1942).

пехом претендовать поэзия. Только поэзия, писал он, есть "искупление жизни". Большое впечатление произвела на него книга Зигмунда Фрейда "Будущее одной иллюзии", которую он прочел где-то в конце 1928-го или в 1929 году. Мысль Фрейда о необходимости избавления от всех старых иллюзий человечества, от всех fictions, то есть "выдумок" или "вымыслов", упала на подготовленную почву. Еще в "Фисгармонии", в таких стихотворениях, как "Воскресное утро" и "Пожилая набожная особа", Стивенс испытывал на прочность христианскую идею и демонстрировал ее недостаточность для современного сознания. Вместо нее он предлагал "высшую выдумку", Supreme Fiction — поэзию. С этого определения начинается разговор Стивенса с "пожилой набожной особой":

> Поэзия есть выдумка высшего рода, мадам.

Много лет спустя он напишет большое стихотворение (а лучше сказать, трактат в стихах) "К определению высшей выдумки", в котором он передаст поэзии отличительные черты музыки: "Она должна быть абстрактной"; "она должна быть изменчивой"; "она должна утешать". It must be abstract. It must change. It must give pleasure.

VIII

Элен Вендлер предложила пять правил, как читать Стивенса. "Во-первых, замените все Он и Она на Я". (Ну, это рекомендация самого Стивенса, который писал в "Adagia": "Субъекты стихотворения суть символы авторского Я или одного из авторских Я".) "Во-вторых, не доверяйте началам у Стивенса: эмоциональное ядро стихотворения, скорее всего, где-то в середине... В-третьих, ищите контекст стихотворения в полном каноне Стивенса или у его поэтических предшественников... В-четвертых, не доверяйте названиям..."[1]

Изложив эти четыре правила, "педагогических и условных", критик заключает пятым, необходимейшим: и, наконец, когда вы отыскали ядро эмоциональной драмы, восстановили лирическое Я автора, преодолели туманность начала и переварили название, вам нужно *забыть* всю свою аналитическую работу и прочитать стихотворение свежими глазами, наслаждаясь странностью названия, уклончивостью начала, запрятанностью смысла и тайной перекличкой с другими стихами. Короче говоря, вы должны восстановить целостность стихотворения и воспринять его заново таким, какое оно есть, во всей его оригинальности и причудливости.

Велимир Хлебников писал в 1922 году:

> Горе моряку, взявшему
> Неверный угол своей ладьи
> И звезды:
> Он разобьется о камни,
> О подводные мели.

1. Vendler H. Wallace Stevens: Words Chosen out of Desire. — Harvard University Press, 1986. P. 44.

Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьетесь о камни,
И камни будут насмехаться
Над вами...

Разумеется, столь роковыми последствиями непонимающим его Стивенс не грозит. Но и в данном случае важнее всего (считайте это шестым правилом) взять "верный угол сердца" к поэту — и тогда вы одолеете сложный фарватер и войдете во внутреннюю бухту его страны, где горы, пальмы и алеющий над морем закат.

Стивенс часто пишет о горах и пальмах, хотя всю жизнь прожил в Портсмуте, Коннектикут, работая в страховой фирме, — за исключением только отпусков, которые он проводил во Флориде. Сослуживцы его не имели ни малейшего представления о том, что сочиняет на досуге этот примерный служащий. Стивенс даже дослужился до поста вице-президента своей компании. Такая судьба была выбрана сознательно, еще в молодости. Он любил стихи, но жизнь голодранца-поэта его не увлекала. Он выбрал то, что выбрал, — двойную, но обеспеченную жизнь. Среди афоризмов Стивенса есть такой: "Деньги — та же поэзия". Мысль вполне логичная. Ведь поэзия есть не что иное, как тысячекратно уплотненная реальность. Деньги тоже — тысячекратно спрессованная реальность; труд, воля и сила в уплотненной, концентрированной форме. Они также могут все, как стихи — только с другими ограничениями.

Зная жизнь Стивенса, можно понять, почему скрытность стала его второй натурой.

Недавно я писал письмо английскому другу и упомянул в нем, что снова вернулся к Стивенсу. Захотелось объяснить, почему мне так нравится этот поэт. Во-первых, с ним интересно. Он любит загадывать загадки, а я люблю их разгадывать. Но главное, он — настоящий. Тут возникла заминка. Как перевести "настоящий" на английский язык? Может быть, добавить для большей ясности: "глубокий"? И вдруг мне припомнилось, как Роберт Фрост сказал про зимний лес: "The woods are lovely, dark and deep" — "Лес чуден, темен и глубок"[1]. Не таков ли и Уоллес Стивенс — чуден, темен и глубок?

Из книги "Фисгармония" (1923)

Заговор против великана

Первая девочка
Когда этот болван подойдет,
Бормоча и точа свой топор,
Я побегу перед ним,

1. Из стихотворения Р. Фроста "Остановившись на опушке в лесу в снежных сумерках".

Расточая душистые волны
Ненюханных мальв и сиреней.
Я его задержу.

Вторая девочка
Я помчусь перед ним
В развевающейся пелерине,
Усыпанной звездочками
И невиданными цветами.
Я ошеломлю его
Блеском.

Третья девочка
О, простофиля!
Я буду напевать на бегу,
И, когда он склонит свое ухо,
С моих альвеол
Слетит некий звук,
Неслыханный в мире гортанном.
Я его погублю.

Подательнице музыки

Сестра, и мать, и высшая любовь,
И самая родная из сестер,
Что научают нас не умирать,
Из всех благоуханных матерей
Благоуханнейшая, — о царица,
Ожог и жар божественной грозы,
Не охлажденной ни единой каплей,
Бурлящей в тучах ядовитой славы, —
В пурпуре дня, в венце простых волос.

Из музык, нам дарованных с рожденья —
Со дня, который нас разъединяет
С сообществом стихий, чтобы в конце
Вернуть земле, готовящей для нас
Ночной приют и ложе, — ни одна
Не дарит нас столь чистым утешеньем,
Столь безмятежным совершенством, свитым
Из наших горестных несовершенств,
Как ты, святая сводница мелодий.

Мы так привязаны к себе самим,
Что поневоле ищем тех созвучий,
Что ближе и понятней нам. Из всех
Тревожащих нас тайн мы выбираем
Лишь те, которые рождают образ

И называют имя, что способно
Пощекотать, как солнце, нашу память.
О пряная лоза, о куст, о ветка,
Рождающая каждый год одно.

Но и в подобье не переусердствуй.
Оставь творенью маленькую странность,
Ту самую чудную непохожесть,
Что дарит нам сочувствие небес.
Ведь есть в твоей шкатулке, музыкантша,
Иные ароматы. И в повязке,
Обвитой вкруг чела, сверкают камни
Невиданные. О верни, верни нам
Тот дар, которым мы пренебрегли.

Воскресное утро

I

Прохладный пеньюар и поздний кофе
За солнечным столом, и апельсины,
И вспыльчивый зеленый какаду —
Все это, смешиваясь, разрушает
Благоговейный дух священной жертвы.
Она сквозь дрему чувствует вторженье
Той древней и незавершенной драмы,
Как будто блики над водой тускнеют.
Жар апельсиновый и зелень крыльев
Вплетаются в процессию усопших,
Беззвучно шествующих над водою.
День разливается пред ней, как море,
Беззвучно; и она идет по морю
Слепыми, как сомнамбула, стопами
К таинственно притихшей Палестине,
Земле кровавой гибели и праха.

II

Зачем ей дар свой отдавать усопшим?
Что это за божественность, которой
Коснуться можно лишь в потемках сна?
Не благодатнее ли ласка солнца,
Жар апельсиновый и зелень крыльев,
И все лучи и запахи земли,
Чем эта мысль бесплодная о небе?
Божественность должна быть в ней самой;
Неистовство дождя — сон снегопада —
Грусть одиночества — и неизбежный

Восторг пред яблоней в цвету — озноб
Предчувствий ночью на сырой дороге:
Все радости и скорби этой жизни,
И ветка летняя, и зимний сук —
Таков удел, ее душе сужденный.

III

Зевес, рожденный в облаках, не знал
Сосцов и ласки материнской; не был
Взлелеян царь напевом колыбельным.
Угрюмо он меж смертными бродил
И самок выбирал себе по нраву,
Чтоб наша девственная кровь, смешавшись
С божественной, произвела потомство,
Какое возвещала им звезда.
Погибнет ли напрасно наша кровь —
Или стяжает рай? Или земля
Окажется душе доступным раем?
И небо станет дружественней к людям,
Участливей к его земным трудам —
И засияет ярко, как любовь, —
Не то, что этот равнодушный купол.

IV

Она бормочет в полусне: "Как нежно,
Свистя, перекликаются в тумане
Проснувшиеся на рассвете птицы!
Но позже, когда птицы улетают
И гнезда остывают, где блаженство?"
Ничто не вечно; нет таких пророчеств,
Ни утешающих химер загробных,
Ни золотых чертогов под землею,
Ни островов блаженных, полных песен,
Ни баснословных южных стран, ни пальмы
На дальней выси горней — столь же прочных
И неизменных, как трава в апреле,
Как память о рассветных птицах или
Тоска по теплым вечерам июньским,
По сумеркам и ласточкиным крыльям.

V

"Но есть же где-то, — говорит она, —
Должно же быть нетленное блаженство!"
Смерть — матерь красоты; она одна
Дарует исполненье всем стремленьям
И снам. Она листвой успокоенья
Дороги наши засыпает в мире —

Печали сиротливую тропу,
И перекрестки, где горланит гордость,
И тропку шелестящую любви.
Она велит ольхе дрожать на солнце —
Блаженной дрожью, как сердца у дев,
В траве прилегших под ее ветвями.
Она мальчишек заставляет рвать
Сливы и груши для смущенных дев
И страстное в них возжигает пламя.

VI

Неужто рай чужд смертной перемены?
И зрелый плод не падает на землю?
И ветка в небе безупречно синем,
Плодами отягченная, не дрогнет?
И устремившиеся вдаль потоки,
Блуждая, не находят океана,
Чтоб влиться с мукой в горькую волну?
Зачем же вдоль реки сады сажать
И полнить берег слив благоуханьем?
Зачем цветные надевать шелка,
Скучая средь полуденных щедрот,
И трогать струны вялых лютен? Смерть —
Мистическая матерь красоты,
На чьей пылающей груди мы грезим
О наших милых матерях земных.

VII

Неистовый и гибкий хоровод
Сольет ликующие голоса
В честь солнечного бога — не того,
Кто вдалеке, а кто, как дикий пращур,
Меж ними пляшет в буйной наготе.
Их песнопенье будет песней рая,
Даяньем крови, возвращенной небу.
И эту песнь подхватят, друг за другом,
Обласканные божеством озера,
Деревья стройные, как серафимы,
И те холмы, где долго эхо бродит.
Они восславят истинное братство
Бессмертных утр и смертных человеков.
Откуда и куда они идут —
Поведает роса на их ступнях.

VIII

Ей слышится: над стихшими волнами
Несется вздох: "Гробница в Палестине —

Лишь древняя могила Иисуса,
А не преддверье для усталых душ".
Нас окружает старый хаос тьмы,
И мы живем в извечной смене дней,
Беспомощные, вольные, одни —
На островке среди безбрежных вод.
Олени бродят на горах; свистят
Беспечно перепелки на лугах,
И сладко зреет ягода в глуши.
А в вышине, где все еще светло,
Кружатся стаи голубей вечерних,
Взмывают, мечутся — и мчатся вниз,
Чтоб кануть в ночь на распростертых крыльях.

Печали дона Йооста

Закончилась битва с солнцем,
И плоть моя, старая лошадь,
Уже ничего не помнит.

Плодились и умирали
Желанья — и сами были
Оракулами пораженья.

А старая глупая лошадь,
Заложница этой бури
И непобедимого солнца,

Носившая в себе свои мысли,
И рабство, и гибель, и бурю,
Уже ничего не помнит.

Ветер меняется

Вот как меняется ветер:
Как мысли в голове старика,
Который еще надеется
Неизвестно на что.
Вот как меняется ветер:
Как мысли отрекшегося от иллюзий,
Но еще чувствующего, как внутри
Бродит какая-то блажь.
Вот как меняется ветер:
Как мысли о будущей славе,

Как мысли о сладостной мести.
Вот как меняется ветер:
Как мысли уставшего человека,
Которому все равно.

Смерть солдата

Смерть входит в солдатский паек,
Она неизбежна, как осень.
Солдат умирает.

Без всяких переживаний,
Без долгих прощаний,
Без маршей.

Смерть не обсуждают,
Она как осеннее небо,
Когда ветер упал,

Но облака и без ветра
Куда-то плывут
Как ни в чем не бывало.

Из книги "Идея гармонии" (1936)

Прощание без вариантов

Это и значит — прощаться, прощаться —
И вдогонку кричать, и махать напоследок,
Всей душою прощаясь — словами, глазами, —
Если просто застыть и не шелохнуться.

В этом мире без твердых огней путеводных
Что ни угол, то клин — это глубже разлуки,
Это и значит — прощаться, прощаться, —
Если просто молчать и глядеть неотрывно.

Можно быть независимым и равнодушным,
Презирать эту жизнь за бездарность и пошлость,
Можно соглашаться, что сегодня не душно
И не жарко, — прихлебывая понемножку

Из стакана, — и спать — или, если не спится,
То лежать в темноте и бежать не пытаться,
Или взглядом с тоскующим взглядом скреститься —
Это и значит — навек распрощаться.

Упражняться в занятии этом приятно,
Будь ты смертный еще или ангел. От солнца —
Все, что наше на свете: сиянье и пятна.
Что мы сто́им сверх солнечного червонца?

Заколдованный замок

Что ожидало путника внутри?
Пустая одинокая постель.

Увы, не вихрь трагических волос,
Сверканье глаз, враждебный холод рук.

Не книга, озаренная свечой,
Раскрытая на горестном стихе.

Не штора, от порыва сквозняка
Зловеще вздувшаяся в окне.

Что в горестном стихе? Созвучье слов,
Навязанный, прилипчивый мотив.

Какая чушь! Заправлена постель,
И недвижима штора на окне.

Из книги "Камень" (1957)

Нечто о лунном свете

Луна — задумчивая, как поэт,
Вращающий в сознании своем
Единственный и разноликий мир,
Сияла над реальностью вещей.

Как будто миру был потребен глаз,
Как будто средь неведомых причин
И целей бытия была одна,
Правдоподобней всех, — узнать себя.

Не этого ль хотелось и луне?
Свет лунный обнажал в предметах суть,
То есть реальность; например, в горе —
Не миф горы, а контур и объем,

В фигуре темной, ждущей на тропе, —
То ли разбойник, то ли ухажер —
Не домысел, а только силуэт,
Оглядку неуверенную, страх

Ночных пространств и голых ярких звезд,
Сатурновых пугающих огней.
И вот внутри громадной этой тьмы
Происходил какой-то мощный сдвиг,

И, вопреки реальности вещей,
Как облако в зеркальной глубине,
Сознанье ночи изменяло цвет,
И возникал в ночи какой-то звук,

Тревожный и не нужный бытию,
Единственно стремящемуся — быть
Услышанным. Абсурдная мечта;
Но уж, по крайней мере, это — цель...

Ивлин Во

Письма Джорджу Оруэллу и Грэму Грину

Перевод с английского А. Ливерганта

Джорджу Оруэллу
30 августа 1945

Дорогой мистер Оруэлл,

необычайно благодарен Вам за Вашу искусную и прелестную аллегорию. Это одна из тех книг, которую мне, конечно, очень хотелось купить и которая, где бы я ее ни спрашивал, конечно же, всюду распродана[1].

Искренне Ваш

Ивлин Во.

Грэму Грину
Сентябрь 1947

Черт знает что: не могу разобрать подпись. Очевидно, что Вы — мой хороший знакомый, но вот кто — ума не приложу. Простите.

Что касается Вашего любезного предложения, то, к сожалению, я на несколько недель уезжаю из Лондона. Возможно, доктор Шкумал какое-то время еще здесь пробудет, но вот переводчика мне увидеть не удастся наверняка.

Может быть, это Грэм Грин? Сначала я подумал, что имя — "Грэм", но потом мне показалось, что "Энбор", чего быть не могло. Если же это все-таки Грэм — то Вашего визита я жду уже седьмой год.

Грэму Грину
3 мая 1948

Дорогой Грэм,

я пришел в восторг (если можно прийти в восторг от телефонного разговора), узнав про успех Вашей книги, и у меня уже заранее текут слюнки...

В наше время разбогатеть невозможно, зато вести праздную жизнь не возбраняется, а американская премия[2] избавит Вас от необходимости писать лет пятнадцать. Главное, заключите новый контракт с "Вайкинг-пресс" (эту книгу, насколько я понимаю, они выпустили в соответствии с условиями прежнего контракта) — пусть платят Вам процент с продаж регулярно, как зарплату. <...>

© Evelyn Waugh, 1980
© А. Ливергант. Перевод, 2008

1. "Скотный двор" (1945). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Роман Г. Грина "Суть дела" (1948) был удостоен американской литературной премии "Выбор книжного общества".

Месяца полтора читатели будут заваливать Вас письмами, а потом, как-то вдруг, потеряют к Вам всякий интерес. Я всегда читал все письма подряд и довольно грубо отвечал на некоторые из них, что неправильно: надо либо не читать их вовсе, либо посылать в качестве ответа свою фотографию с автографом и выражением искренней благодарности.

Посоветовал бы Вам написать подробную (страницы на четыре) автобиографию, напечатать ее и распространить. Это избавит Вас от необходимости отвечать на вопросы. Ближайшие полтора месяца, пока Вы герой дня, читательскому любопытству не будет предела.

Как Вы считаете, католики сочтут Вашу книгу нарочито папистской? Если так, то хлопот не оберетесь: Вам сделают выговор епископ Лондонский, епископ провинции Онтарио и почетный доктор из колледжа Лойолы в Балтиморе. <...>

Джорджу Оруэллу
21 июня 1948

Дорогой мистер Оруэлл,

в больнице, полагаю, получить письмо приятно всегда — даже от человека малознакомого. В надежде на это спешу сообщить Вам про книгу Вудхауса, о существовании которой слышу впервые; полагаю, и Вы тоже. Речь идет об "Истории о том, как Кларенс спас Англию", романе, изданном в 1909 году "Астон-Риверз" с тошнотворными иллюстрациями Гаррисона.

"Кларенс" имеет прямое отношение к Вашему эссе[1] и к нашей переписке по этому поводу.

Тема книги — захват Англии армиями Германии, России, Китая, Марокко и так далее. Население, за исключением бойскаутов, ведет себя подобострастно. Худшее надругательство: завоеватели топчут дерн на поле для гольфа и проваливаются в лунки.

"Лондон подвергся бомбардировке. По счастью, дело было в августе, и город был пуст".

Бойскаут Кларенс — карикатура, он ходит и бормочет себе под нос: "Родина моя, Англия моя, моя падшая, загубленная Англия" и так далее. <...>

Если когда-нибудь надумаете переработать свое эссе, то эту книгу, безусловно, упомянуть бы стоило; сам Вудхаус, по словам одного моего знакомого, считает "Кларенса" "одной из своих лучших книг".

Отвечать на мое письмо необязательно. Я так обрадовался, обнаружив это отсутствующее звено в нашем споре, что решил дать Вам знать.

Искренне Ваш

Ивлин Во.

Джорджу Оруэллу
17 июля 1949

Дорогой Оруэлл (Блэр?) (Какое из имен Вы предпочитаете?),

Вы, по всей видимости, удивлены, отчего это я не поблагодарил Вас за "1984". Дело в том, что издатель не потрудился прислать мне роман, и в конце концов я купил его себе сам. Должен тем не менее все равно выразить Вам свою благодарность — книга поучительна и необычайно увлекательна. Я видел несколько рецензий, английских и американ-

1. 16 февраля 1945 г. в "Трибьюн" появилось эссе Оруэлла "В защиту Вудхауса", на которое И. Во отозвался рецензией в "Тэблет".

ских, — все они отдают "1984" должное. Не стану повторять то, что в них говорится. Поверьте, я полностью разделяю восхищение рецензентов Вашим мастерством — чего стоит хотя бы блестящая сцена в пабе, где Уинстон пытается выудить из старика воспоминания о дореволюционных временах.

Вместе с тем чувство потрясения, на которое Вы, надо полагать, рассчитывали, я не испытал. И в первую очередь, вероятно, потому, что не могу согласиться с Вашей философией. Вы отрицаете существование души (по крайней мере Уинстон отрицает) и материи противопоставляете только разум и волю. Сейчас стало очевидным, что материя может — и в определенных условиях будет — управлять разумом. Таким образом, у Вас ничего, кроме материи, не остается. Но ведь проблема вовсе не нова. Мы всегда признавали существование безумия, когда разум и воля действовать не способны, — но никто никогда не отказывал безумцам в наличии души.

Бунт Уинстона фальшив. Его "Братство" (реальное или вымышленное) — не более чем еще одна банда, такая же, как Партия. Фальшью мне представляется и то, что этот бунт, как и у леди Чаттерлей[1], находит выражение в сексуальном акте; вступив в интимную близость, Уинстон словно бы заключает мистический союз с пролами, в результате чего обретает почву под ногами.

Не исключено, что в 1984 году мы будем жить примерно в том мире, какой Вы нарисовали. Но для меня этот мир неправдоподобен уже хотя бы потому, что в нем отсутствует Церковь. Мне уже однажды приходилось писать, что теперь, когда роль Церкви очевидна всем, Вы словно бы не подозреваете о ее существовании. Не принимайте, если хотите, ее сверхъестественный смысл, но Вы же не можете не признать уникальный характер Церкви как социального и исторического института. Пламя ее негасимо, хотя, конечно же, его ничего не стоит загасить в каком-то определенном месте и на определенное время. Но и такое случается реже, чем Вы думаете. Потомки новообращенных Святым Ксавьером в Японии[2] сохраняли свою веру триста лет, и когда в страну в прошлом веке пришли европейцы, оказалось, что японцы, как и три века назад, читают "Аве Мария" и "Патер Ностер".

Братство, способное бросить вызов Партии, — это братство любви, а не прелюбодеяния в Беркшире, и уж тем более не серная кислота, которую выплескивают детям в лицо. И люди, которые любят распятого Бога, никогда не сочтут пытку всемогущей.

Вот видите, как взволновала меня Ваша книга, раз я рискнул прочесть Вам проповедь. <...>

Грэму Грину
27 марта 1950

Дорогой Грэм,

спасибо огромное за "Министерство страха" и "Путешествие без карты". Свой экземпляр "Путешествия" я потерял, и оно выветрилось у меня из памяти. Обе книги немедленно перечитаю. Поймал себя на том, что последнее время полюбил перечитывать — особенно написан-

1. Имеется в виду роман Д. Г. Лоуренса "Любовник леди Чаттерлей" (1928).
2. Святой Франсис Ксавьер (1506—1552) с 1549 по 1551 г. находился в Японии в качестве миссионера.

ное Вами. С гордостью взираю на целую полку Ваших книг с дарственной надписью.

Вот видите, Папа Вас проклял — проклятие чуть ли не именное, а? "Ожесточенные и аморальные книги, скрытые под мишурой эстетики". Суровые слова.

Жду не дождусь рассказа о Ваших бостонских злоключениях. Мне идея этой пьесы никогда не нравилась.

...Вы меня не узнаете. Сижу на диете доктора Галлера и весь усох. Стал очень похож на Минти — мне всегда казалось, что мы с ним на одно лицо.

Всегда Ваш

Ивлин.

Кстати о перечитывании. Перечитал "Брайдсхед"[1] и пришел в ужас. Оправданий найдется немало: спешка, казармы, затемнение, — но для мирного времени книга не годится. А вот сюжет, по-моему, отличный. Летом сяду переписывать.

Грэму Грину
27 июля 1950

По возвращении обнаружил Ваш трогательный подарок — "Третьего человека"[2]. Прочту с огромным любопытством, хотя пьеса мне вряд ли понравится так, как понравились книга и фильм. Пожалуйста, не бросайте "Брайдсхед" — уверен, у Вас получится отличный фильм. И не подумайте, что я буду придираться. Я придираюсь к стряпне, теологии, одежде, грамматике и собакам.

И.

Грэму Грину
8 ноября 1950

Ужасно благодарен за маленькую пожарную машину. Спору нет, Вы — величайший прозаик века, но так ли уж "драматично повествование", как гласит надпись на обложке?

Приезжайте поскорей. У меня есть икра.

И.

Грэму Грину
18 августа 1951

Дорогой Грэм,

большое спасибо за "Конец одной любовной связи" — сегодня получил. Не знаю, показывал ли Вам Кэремен мою рецензию. Сквозь сдержанный стиль просматривается огромное восхищение Вашей книгой. Надеюсь — нет, не сомневаюсь, — она будет иметь успех.

В конце следующей недели Лаура увозит детей, и я почти месяц буду один. Могу ли надеяться, что Вы скрасите мое одиночество? Обуреваемый воспоминаниями о военном времени, пишу нескончаемый роман из армейской жизни. Очень, кстати говоря, вдохновился, когда прочел, что,

1. Роман И. Во "Возвращение в Брайдсхед" (1945).
2. Роман Грина "Третий человек" (1950) был первоначально сценарием; в 1949 г. экранизирован Кэролом Ридом.

по мнению Бендрикса[1], 1000 слов в день — результат неплохой. Когда-то мне удавалось писать и 3000 слов в день, да и теперь довожу иной раз счет до 1200. Впрочем, Бендрикс, подозреваю, пишет лучше меня.

В Америке, когда человека посвящают в духовный сан, он получает предложение от страховой компании застраховаться на случай лишения сана. Что ж, в этом, судя по всему, есть смысл.

Ронни Нокс[2] предлагает Вам сюжет: благородный священник берет на себя чужие грехи, чтобы помочь нуждающимся.

Так приезжайте же, если лежит душа.

Всегда Ваш

Ивлин.

Грэму Грину
21 августа 1951

Дорогой Грэм,

жду Вас с нетерпением. Но должен предупредить о некоторых неудобствах. Выпивки дома полно, а вот со съестным дело обстоит не лучшим образом. Моя кухарка в отпуске, вместо нее я нанял женщину из деревни. Если готовы есть яичницу, то от голода не умрете, но, боюсь, общепринятых блюд будет Вам не хватать.

Автомобиль. Вы водите? Я — нет. В нашем распоряжении будет ветхая машина. Впрочем, если нам захочется купить почтовую марку, до почты мы сможем добраться и пешком.

Дворецкий. Вчера слег. А ведь все мои — и Ваши — удобства целиком зависят от него. А он, как видно, выбыл надолго.

Пишу все это, чтобы Вы понимали: Ваш визит будет сопряжен *для Вас* с некоторыми неудобствами. Для меня же он будет сплошным удовольствием, ведь неудобства мне придется терпеть в любом случае, а Ваше присутствие их скрасит. Если Вы готовы разделить их со мной — милости просим.

По вечерам я надеваю смокинг, однако Вам, если Вы, как Генри Йорк, "в наряде новом, пышном... не так удобно мне"[3], следовать моему примеру вовсе не обязательно.

В Вашем распоряжении будет гостиная, где Вы сможете писать, а также ванная и постель. Горячую воду в любое время обещать не могу — за бойлер "отвечает" заболевший дворецкий. Кокса полно — если Вы что-то смыслите в том, как работает бойлер.

Словом, будем жить жизнью швейцарских робинзонов. <...>

Грэму Грину
Пепельная среда, 27 февраля 1952

Дорогой Грэм,

<...> жаль, что наш с Вами февраль на Капри не состоялся. С Рождества меня преследуют такие сильные боли, что еду погреть старые кос-

1. Морис Бендрикс — писатель, главный герой романа Грина "Конец одной любовной связи", от имени которого ведется повествование.
2. Роналд Арбетнот Нокс (1888–1957) — теолог, журналист, автор детективных романов и шуточных стихов. Ноксу принадлежит новый перевод Библии, основанный на Вульгате (1945).
3. Аллюзия на шекспировского "Генриха IV" (ч. 2, акт V, сц. 2). Перевод Е. Бируковой.

ти в другое место (на Сицилию. — *А. Л.*). Не удивился, когда прочел в газетах о Ваших сайгонских злоключениях. Сами виноваты — не надо было признаваться в своем красном прошлом. Прочел, как Вы разнесли в пух и прах американскую разведку. Эти шпионы, надо понимать, обнаружили у Вас "волчий билет"[1]. Признавайтесь.

Ни минуты не сомневаюсь, что Ваш текст ужасно извратили. Говорить по душам с журналистами — безумие. Американцы, конечно же, трусы. Они почти все — потомки негодяев, которые из страха перед военной службой сбежали от своих законных монархов. Хорошо, что Вы вбили им это в голову. Но какой-то безумный репортер заявил, что Вы сказали, будто католическая вера запрещает правителю нанимать шпионов для выявления потенциальных бунтарей. За такое и под суд отдать могут. Этот же репортер написал, что, на Ваш взгляд, демократия совместима с католицизмом. Такая точка зрения, может, и не подсудна, но очень вредна.

Кончил книгу[2], которую писал. Не получилась. Разумеется, все писатели пишут плохие книги, но сейчас, именно в это время, мне обидно. В ней есть несколько отличных фарсовых сцен — но только на первых страницах. Дальше — скучно. Что ж, такой была война. <...>

Грэму Грину
7 октября 1952

Дорогой Грэм,

Ваше письмо очень меня согрело. Спасибо большое.

Когда Вы возвращаетесь? Что-то давно мы не виделись.

Завершается сорок девятый год моей жизни. А Ваш только начинается. Говорят, впереди — критический период, который скажется на всей последующей жизни. Это был год дружеских потерь. И не из-за смертей, а из-за жизненных передряг. Наша с Вами дружба началась довольно поздно. Дай бог, чтобы продолжалась.

Пожалуйста, оставьте мне билеты на Вашу премьеру. Буду громко аплодировать и кричать: "Автора!"

Не скрою от Вас, мне показали Ваше письмо про Чаплина в "Ньюстейтсмен"[3]. Если Кэтрин еще на Капри, большой ей от меня привет.

И.

Грэму Грину
2 мая 1954

Дорогой Грэм,

с тех пор как Вы показали мне письмо Великих Инквизиторов[4], мое негодование только растет. Письмо это столь же бессмысленно, сколь и несправедливо — злостное извращение благородной книги.

Вы хотите, чтобы почитатели "Силы и славы" подняли свой голос в защиту романа? Я готов и буду рад. Не думаю, впрочем, чтобы в Вашем

1. Возможно, речь идет о том, что Грину отказали в американской визе в Гонконге. Под "волчьим билетом" Во подразумевает "красное" прошлое Грина.
2. Роман "Люди при оружии" (1952) — первая часть трилогии "Почетный меч" (1965).
3. Г. Грин написал открытое письмо в поддержку Ч. Чаплина, которому из-за его якобы коммунистических симпатий был запрещен въезд в США.
4. Роман Грина "Сила и слава" (1940) был осужден в Ватикане, однако Грин внести в него изменения отказался.

положении следовало бы (следует?) прибегать к подобным мерам. Знаю, у вас есть самые лучшие духовные наставники; мне же, человеку непосвященному, казалось бы, что сейчас слово за инквизиторами. Вы ведь не обращались в Церковь за одобрением. Их дело рекомендовать внести в роман изменения и тем самым выставить себя же на посмешище. На то, чтобы написать свое первое письмо, у них ушло четырнадцать лет. У Вас на ответ уйти должно столько же.

Но если Вам кажется, что публичный протест все же необходим, — можете на меня рассчитывать.

Всегда Ваш

Ивлин.

Грэму Грину
3 января 1961

Дорогой Грэм,

мне прислали сигнальный экземпляр "Ценой потери", и я прочел роман с огромным интересом. Я мог бы многое сказать о великолепном описании лепрозория, а также о том, с каким блеском Вы решаете проблему диалога на четырех языках. Особенно мне понравилась проповедь отца-настоятеля. Но рецензировать роман я не буду, за что прошу меня извинить.

Конечно, я знаю, как вредно отождествлять вымышленных героев с их автором, но <...> этот роман дает ясно понять, что репутация "католического писателя", к которой Вы вовсе не стремились, вызывает у Вас раздражение. Сознаю, что есть тут доля и моей вины. Двенадцать лет назад я прочел здесь и в Америке несколько лекций, где с излишней самонадеянностью попытался истолковать то, что, по моему глубокому убеждению, является апостольской миссией, которой могли пренебречь читатели, шокированные откровенной сексуальностью некоторых Ваших тем. В каком-то отношении я, по существу, повел себя, как Рикер. Мне очень жаль, что своим вмешательством я способствовал возникновению неловкой ситуации, и я молюсь, чтобы это была всего лишь неловкая ситуация и чтобы отчаянные поступки Морин и Керри оставались не более чем художественным вымыслом.

Всегда любящий Вас

Ивлин.

Грэму Грину
5 января 1961

Мой дорогой Грэм,

боюсь, Ваш секретариат в настоящее время переключился на Лаос, но я вынужден вмешаться, чтобы поблагодарить Вас за много добрых слов в Вашем письме, а также чтобы прояснить кое-какие спорные вопросы. Ответом можете себя не утруждать.

Я не настолько безумен, чтобы полагать, что Рикер списан с меня. Я воспринимаю его не как свой портрет, а как карикатуру на некоторых Ваших почитателей (в том числе и на меня), попытавшихся навязать Вам позицию, которую Вы сочли для себя оскорбительной. В романе найдется немало подобных намеков, замечать которые мы отказывались. И вот теперь Вы открыто от нас отреклись. Ваши бывшие товари-

щи относятся к Вам не столько с "враждебностью", сколько с сожалением Браунинга к своему "Погибшему вождю"[1] – естественно, без обвинений в корыстолюбии.

Рецензию на "Ценой потери" мне заказал не "Манс", а "Дейли мейл". Они хотели сенсации. Того же, вне сомнения, захотят и другие газеты. Не думаю, что Вы вправе обвинять читателей, которые восприняли роман как публичное отречение от веры. На мой взгляд, словосочетание "взвешенный атеизм" лишено смысла, ибо атеист отрицает высшую цель человека – любить Бога и служить Ему. Только в самом поверхностном смысле может атеизм быть "взвешенным". "Бесплодная земля"[2] атеистов куда более чужда мне, чем Ваш лепрозорий.

Желать Вашей книге успеха я не могу – но и бросаться на нее в сенсационную атаку, как того хочет "Мейл", тоже не стану. <...>

Упаси меня Бог копаться в тайнах Вашей души. Просто меня огорчило Ваше публичное выступление.

Неизменно преданный Вам

Ивлин.

Грэму Грину
Январь 1966

Дорогой Грэм,

собирался поздравить Вас с "Комедиантами" и поблагодарить за то, что, как и подобает настоящему другу, Вы прислали мне экземпляр, – но раскрыл газету и обнаружил сногсшибательную новость: Вы стали Кавалером Почета. Если не ошибаюсь, один из Ваших героев как-то заметил, что, если чего и стоит добиваться, так только общественного признания. Боюсь, мое письмо затеряется в огромной пачке поздравительных реляций. Если же оно все-таки просеется сквозь сито Вашего секретариата и попадет к Вам в руки – примите его, пожалуйста, как выражение самой чистосердечной радости.

От "Комедиантов" я в полном восторге. С годами Вы нисколько не растеряли свою мощь. Эта книга могла быть написана и тридцать лет назад – и никем, кроме Вас.

1965 год был плох по многим причинам: выпадали зубы, умирали друзья, "aggiornamento"[3]. Новых напастей жду со смирением.

Конечно же, не отвечайте.

С любовью

Ивлин.

1. "Погибший вождь" – стихотворение Роберта Браунинга (1812–1889), обращенное к У. Вордсворту.
2. Аллюзия на одноименную поэму Т. С. Элиота.
3. Зд.: приведение дел в порядок (*итал.*).

Из Записных книжек, 1960–1964 годы

Перевод с английского А. Ливерганта

Декабрь, 1960

Слабеющая память и старческий зуд писать письма в "Таймс" на любую тему подтолкнули меня к решению время от времени записывать все, что приходит на ум.

28 декабря 1960

<...> Вспоминали с Кристофером об обеде (в Донхед Сент-Мэри. – *А. Л.*), когда были у Клоделя. Визит этот помню смутно: en voyage[1] в Париж мы крепко выпили. Старик был глух и нем. За столом собралась вся его семья – жена, сыновья и невестки. Вместо приветствия вложил мне в руку только что вышедшее edition de luxe[2] своих стихов. Подарок? Стал его благодарить, но он отобрал книгу и положил ее на стол. Я решил, что достанется она мне лишь в том случае, если весь вечер я буду себя хорошо вести. Оживленная беседа – в основном по-английски. Время от времени губы старика начинали двигаться, и тогда раздавался сдавленный крик: "Тише! Папа говорит!", прерываемый невнятными, животными звуками. Некоторые из этих звуков адресовались мне. Мне послышалось, что он сказал: "Как будет по-английски potage de midi?", и я ответил: "Суп к обеду". Потом выяснилось, что он автор сочинения под названием "Partage de midi"[3]. В его черепашьих глазах вспыхнула злоба. После обеда дамы затеяли спор, дать ли папе коньяку. Взяв рюмку, он немного оживился, велел принести ему альбом с фотографиями, посадил меня рядом и стал своими артритными пальцами переворачивать страницы. <...> Когда мы уходили, он положил руку на edition de luxe, бросил на меня взгляд, полный змеиной ненависти, – и оставил книгу лежать на столе. На следующий день он сообщил одной из своих невесток, что мы с Кристофером – très[4] джентльмены.

31 декабря – 1 января 1961 года

Из "Дейли мейл" пришел сигнал романа Грэма Грина "Ценой потери". Хотели, чтобы я написал рецензию – заплатили бы, надо полагать, фунтов сто. Пришлось отказаться: что бы ни написал, потом было бы стыдно. Тема – если говорить начистоту – касается непосредственно его самого: досада писателя-католика, которого, вопреки его желанию, превозносят как "католического писателя" и который в то же время, совершая прелюбодеяние, лишает себя божественной благодати. Герой "Ценой потери" – усталый, изверившийся сластолюбец, который прячется вдали от цивилизации, в лепрозории в Конго, – вновь обретает человеческий облик, но не "веру" и с жизнью расстается самым абсурдным, мелодраматическим образом. Врач – атеист. Правоверные миссионеры более не пытаются сеять разумное, доброе, вечное и ничем, кроме строительства и финансов, не интересуются. Пренелепый католик-мирянин

© Evelyn Waugh, 1979
© А. Ливергант. Перевод, 2008

1. По дороге (*франц.*).
2. Подарочное издание (*франц.*).
3. "Полуденный раздел" (1905) – пьеса Поля Клоделя (1868–1955).
4. Зд.: истинные (*франц.*).

внушает своей юной жене мистические идеи. Удались автору превосходная проповедь отца-настоятеля и затхлая атмосфера, царящая в лепрозории. Попадающий в лепрозорий журналист — грубая подделка. В первый раз — молюсь, чтобы это было лишь мимолетное настроение, — Грэм предстает напрочь лишенным веры. К этому надо прибавить (нет, убавить): мастерство Грина тускнеет. Сложное положение, в котором оказался герой, описывается трижды, один раз — в "волшебной сказке", которая по идее должна продолжаться всю ночь, но рассказывается всего-то десять минут. Эпизод с бегством Део Грация не получился. Грэм всегда недоволен. В своих ранних книгах он ропщет на бедность и безвестность; сегодня — на успех. Винюсь: я был одним из тех, кто причислил его к "гнусной" категории "католических писателей". Раньше он сетовал на неумеренность своих сексуальных потребностей, теперь — на их нехватку. Такую книгу я рецензировать не могу.

4 января 1961 года

Написал Грэму, что, судя по его последнему роману, репутация "католического писателя" выводит его из себя. Что в этом, несомненно, есть и моя вина, о чем искренне сожалею. Двенадцать лет назад многие католики ставили его веру под сомнение, я же ездил по Англии и Америке и изо всех сил старался их переубедить. <...> Для старых, испытанных скаковых лошадей — для Элизабет Боуэн, Джона Бетджемена, Лесли Хартли — прошлый год получился хуже некуда: они с треском проиграли все скачки до одной. Нэнси Митфорд и Тони Поуэлл[1] еще держатся в седле. А вот автор "Ценой потери" в седле не удержался.

5 февраля 1961 года

Обедал с Тони и Вайолет Поуэлл. Отправились на панихиду по сэру Эдварду Лонгфорду. При приближении к юдоли печали чувства к усопшему сменились малопристойными шуточками. <...> Когда Пэнси сказали, что за завтраком сэр Эдвард замертво свалился под стол, она заметила: "Прямо как Чарльз Диккенс". Когда ее пригласили на похороны, она заявила: "На *наши* похороны он не приходил ни разу". <...>

4 мая 1961 года

Во многих книгах вплоть до самого последнего времени героя облыжно обвиняют во всех смертных грехах, и у него появляется возможность наконец-то выяснить, кто его настоящие друзья, а кто нет, ведь настоящий друг никогда не заподозрит его в преступлении. Интересно, а кого бы из своих друзей счел незапятнанным ни в одном дурном деле я? Если бы, к примеру, до меня дошли слухи, что Эндрю Девоншир арестован за гомосексуализм, Энн Флеминг — за отравление мужа, а Боб Лейкок — за кражу со взломом, что бы я решил? "Надо же? Кто бы мог подумать?"

21 июня 1961 года

Помню, как мы с Грэмом (Грином. — *А. Л.*) в обществе знаменитостей отправились в Реймс, на завод шампанских вин. Перед вылетом нам

1. Элизабет Доротея Боуэн (1899—1973), Джон Бетджемен (1906—1984), Лесли Паулз Хартли (1895—1972)... Нэнси Фримен Митфорд (1904—1973), Энтони Даймоук Поуэлл (1905—2000) — английские писатели, современники Ивлина Во.

вручили список членов делегации. Среди них был и Алан Прайс-Джонс. "Я остаюсь, — заявил Грэм. — С этим Джонсом я не поеду!" — "Что вы против него имеете?" — "Он мне глубоко отвратителен". — "Его не будет, он всегда принимает все приглашения и в последний момент останавливается на самом заманчивом. Его наверняка перехватили". И Грэм сел в автобус. Но в аэропорту нас ожидал Алан — он приехал на машине. Грэму деваться было некуда. С собой у него была бутылка виски, и он тут же, чтобы поднять себе настроение, к ней приложился. Прикладывался он к бутылке и во время vin d'honneur[1], и на банкете. После ужина, в одиннадцать вечера, Грэм решил отправиться в бордель и был искренне удивлен, узнав, что в это время бордели уже закрыты. Спать я пошел рано — на следующий день мы должны были чуть свет выехать в Эперней. Утром в холле я обнаружил Алана Прайс-Джонса, он был свеж и элегантен и выглядел восемнадцатилетним. Следом за ним из лифта вывалился Грэм: глаза красные, как у кролика, лицо белое, руки дрожат. "До четырех утра пил виски", — выпалил он. "С кем?" — "С Аланом Прайс-Джонсом".

15 июля 1961 года

Узнав о самоубийстве Хемингуэя, перечитал "Фиесту". Когда книга вышла впервые, она меня поразила: вместо рыбной ловли и боя быков — пьяные разговоры. Язык и сейчас, когда я ее перечитал, производит сильное впечатление, а вот сюжет оставляет желать... Вначале Кон описан очень подробно, чего нельзя сказать о других персонажах. Вся книга задумана как трагедия Кона, однако сам он к финалу отступает в тень.

18 июля 1961 года

Несколько дней разбирал свой архив с идеей начать писать автобиографию (что-то напишет Алек[2] в своей?) и обнаружил записи с мыслями и случаями из жизни за последние пятнадцать лет. Привожу их здесь в произвольном порядке, без дат.

Глубоко аморальный принцип: "Через сто лет все будет точно так же". Вся мораль целиком зависит от случайности. Всякий акт свободного волеизъявления, хорош он или плох, сказывается до скончания света.

Читать газеты, особенно рецензии, все равно что сидеть в поезде и слышать, как сосед по купе указывает своему спутнику на происходящее за окном и, комментируя, все безбожно перевирает. "Вот белая лошадь, — сказал он, когда мы проезжали Уэстербери, — о которой писал Честертон"[3]. В первый момент хочется вмешаться, поправить, но разум противится: "Какого черта?"

Душу язычника принято сравнивать с птицей, пролетающей через освещенный холл и исчезающей в темноте. Лучше было бы сравнить ее с птицей, мечущейся в темной комнате и бьющейся в окна, между тем как за открытыми дверями — воздух и солнце.

1. Зд.: произнесения тостов (*франц.*).
2. Алек Во (1898–1981) — журналист, писатель, брат И. Во.
3. Аллюзия на поэму Г. К. Честертона "Баллада о белой лошади" (1911).

Политик — не тот, кто стремится к власти, чтобы проводить политику, которую считает необходимой, а тот, который проводит политику, чтобы добиться власти.

В отрочестве мы все американцы, умираем же французами.

Двойники не узнают друг друга.

Требовать истину от низших классов — неслыханная наглость.

Раньше король был жертвенным животным, потом — жертвой предательства и убийства. В наши дни корону водрузил себе на голову народ. И теперь не снести ему головы.

Кем ты сегодня обедаешь?

Политики торгуют, припрятав ценники.

Нации не доживают до старости. Они заболевают и умирают в день своего совершеннолетия.

Из-за своих соседей-язычников христиане довели современное общество до такого состояния, когда многие грехи утратили свою привлекательность, а многие завиральные идеи — свое правдоподобие. Во времена наших дедов жадность вознаграждалась всеобщим почитанием и властью; роскошь воспринималась как свидетельство хорошего тона; людям жилось так хорошо, что предупреждения пророков представлялись устаревшими и вздорными; гедонисты были счастливы, а атеисты подавали пример добродетели; казалось, что преисподней не заслуживает никто. Чтобы отказаться от мира и плоти и испытывать страх перед дьяволом, нужна была героическая вера. Теперь же для этого нужен всего-навсего здравый смысл. Однако здравым смыслом в наши дни похвастаться могут немногие.

18 сентября 1961 года

Воспоминание. Рэндолф (Черчилль. — *А. Л.*)[1] в первый раз прочитал Библию: "Мой Бог! Какой же Бог все-таки негодяй!"

26 марта 1962 года

Пасха. Перфекционист — это тот, кто верит в совершенство (в глазах Бога) человеческой природы. Сегодня так называют человека, который стремится сделать дело безукоризненно, — то есть художника. Художники пьют, впадают в отчаянье и совершают самоубийство оттого, что сосредоточены на своем деле, а не на своей душе.

Пунктуальность — добродетель зануд.

Когда мы молимся, нас предупреждают, чтобы мы не ждали от Бога ответа, не испытывали чувства близости к Богу. "Утешения" ниспосыла-

1. Рэндолф Черчилль (1911–1968) — писатель, журналист, политик; сын Уинстона Черчилля, автор его двухтомной биографии.

ются очень редко, на них не следует рассчитывать, не следует придавать им значения. "Не можешь молиться? Есть что просить у Бога? Ты пытался? Жалеешь, что не получилось? Значит, *действительно* молился". Для скептика в этом суть обмана.

9 мая 1962 года

Совершить внутренний акт самоотречения и стать чужим этому миру; наблюдать за своими соотечественниками так, как наблюдал бы за иностранцами, удивляясь их обычаям, с терпением относясь к их глупостям и с равнодушием — к их враждебности. Не в этом ли секрет счастья в наш век посредственности?

Если делаешь добро — то полной мерой и без чьего бы то ни было посредства. Никогда не досаждай другим своей добротой.

Вчера посмотрел фильм "Ночь нежна". О Фицджеральде я услышал впервые лишь после его смерти, после войны, когда один кинорежиссер заметил, что он оказал на меня огромное влияние.

(а) Американские самоубийцы Фицджеральд, Хемингуэй были отошедшими от веры католиками.

(в) *Litera scripta manet*[1]. Впечатление глаза и уха мимолетно. Перечитывая после фильма книгу, не вызвавшую у меня особого восторга, я поймал себя на том, что говорю: "Так вот как, оказывается, было дело? Так вот она на самом деле какая!" Все, кроме Эйба и исполнительницы главной роли, играли хорошо. Вывести сестру на передний план было, может, и неверно, но оригинально. Чтобы Дайвер казался американским героем нового типа, в фильме он пускает в ход кулаки. Над темой, для романа очень важной, — надругательство над сельским уединением — режиссер надругался с первых же кадров. Весь эпизод с неграми, да и с полицией тоже, утерян. Бесконечные, длящиеся по несколько минут (чтобы не сказать — часов) поцелуи совершенно лишние. Режиссер не понял главного: Дайвер не *тот* человек, кто смог бы вылечить Николь. Будь фильм чуть примитивнее — и получилась бы вполне пристойная экранизация довольно посредственной книги. В результате же несуразно дорогой механизм киноиндустрии пасует перед сидящим за пишущей машинкой захмелевшим янки. Впрочем, мы, писатели, должны помнить: наши "характеры" и наши "драмы" — не более чем тени в сравнении с реальными людьми и их драмами.

Искусственность Киплинга не в пример больше искусственности его современников-декадентов. В казармах слыхом не слыхивали о "Гомере" и "лире".

Помазанием Церковь из последних сил защищает уши от вторжения звука. Но Природа провидением Господним сделала это намного раньше. Человек уже слышал все, что было миру сказать ему, и больше ничего слышать не хочет.

1. Букв.: написанная буква остается (*лат.*). Ср. по-русски: "Что написано пером, то не вырубишь топором".

5 октября 1962 года

Писать, думать и молиться можно исключительно о других; мечтать же — только о самом себе.

Те, кто осуждает и высмеивает своих близких — например, Сэмюэл Батлер и Осберт Ситуэлл[1], — никогда не были отцами.

По мере взросления и старения все больше узнаешь о том, что тебе не дается.

25 декабря 1962 года

Моя дочь Маргарет, выходя из церкви после службы и разглядывая свое обручальное кольцо: "Для церкви оно в самый раз. Сверкает".

Слова забываются точно так же, как имена. Наш словарь нуждается в постоянном оплодотворении, иначе он вымрет.

10 июня 1963 года

Друзей мы любим не за их умение забавлять нас, а за наше умение забавлять их. В моем случае таких людей становится все меньше.

3 сентября 1963 года

Тридцать пять лет назад, чтобы познакомиться с людьми, чьи представления о жизни и манера выражаться вам чужды, приходилось ехать очень далеко и испытывать в пути немалые неудобства. Теперь же для этого достаточно переступить порог собственного дома.

Любая судьба хуже смерти.

Пасха, 1964 год

Сравнить церковную службу с охотой. Основная задача охотника (священника) — выследить лису и подстрелить ее. Если он выследит лису и охота удастся, ему заплатят. Одни, если они хорошо держатся в седле и знают местность, не отстают от собак и подбирают добычу; другие выпивают в укрытии и, не торопясь, ездят по дорожкам.

Когда я впервые пришел в церковь, меня поразила не торжественность церемониала, а то, как умело справляется со своим делом священник. Перед ним стояла очень важная задача, которую, кроме него, выполнить было некому. Он и служка поднялись к алтарю со своими принадлежностями и взялись за дело, совершенно не интересуясь тем, что происходит у них за спиной, и — уж тем более — вовсе не собираясь произвести на прихожан впечатление.

"Сопричастность" (литературный жаргон) читателя — вовсе не обязательно спор с автором, как полагают немцы. Произведению искусства "сопричастен" тот, кто изучает его с благоговением и пониманием.

1. Сэмюэл Батлер (1835–1902) — английский прозаик, эссеист, художник, автор антиутопии "Едгин" (1872) и романа "Путь всякой плоти" (1903). Осберт Ситуэлл (1892–1969) — английский поэт, романист, эссеист.

Парадоксы лжеца

Луи-Рене Дефоре *Болтун. Детская комната. Морские мегеры* / Перевод с французского и сопроводительная статья Марка Гринберга. — СПб.: изд-во Ивана Лимбаха, 2007

В своей большой статье к первому русскому изданию Луи-Рене Дефоре (1918—2000) переводчик Марк Гринберг отмечает почти полное отсутствие упоминаний об этом писателе в отечественной критике. Что ж, последняя лишь с запозданием следует за французской критикой, в которой ныне формируется новый классический канон прозы середины XX века. В этом каноне многое выглядит иначе, чем казалось еще недавно: прочно утвердились скандально неблагоприличные Селин и Жене, не без труда сохраняют свои места Мальро и Сартр (во многом благодаря своей политической деятельности, а в случае Сартра — еще и философскому таланту), катастрофически выбывает Камю, начисто забыт "Реальный мир" Арагона, скукожилась до "детского писателя" репутация Сент-Экзюпери, и только большие эрудиты или оригиналы еще вспоминают таких славных, увенчанных почестями сочинителей, как Ромен Роллан, Жюль Ромен, Роже Мартен дю Гар и даже Андре Жид... Зато на первый план выдвинулись авторы менее знаменитые в свое время: Жорж Батай, Морис Бланшо, Робер Антельм, Луи-Рене Дефоре... Их собственно художественное наследие невелико по объему, читать их трудно (по разным причинам), но именно им посвящается сегодня наибольшее количество публикаций, конференций и вообще труда по усвоению и пониманию. Из "культовых" писателей для узкого круга они переходят в разряд классиков XX века: ведь в литературе классики — это не те, кого больше всех читают, и не те, кого чаще всех вспоминают, а те, кого охотнее всех комментируют.

Сборник Л.-Р. Дефоре включает значительную часть его наследия — повесть "Болтун" (1946), небольшой сборник рассказов "Детская комната" (1960) и поэму "Морские мегеры" (1967). История толкования этих текстов — в частности, в работах таких корифеев, как М. Бланшо и И. Бонфуа, — обстоятельно изложена в уже упомянутой статье М. Гринберга. Здесь я попытаюсь только отметить несколько важнейших повествовательных механизмов, которые действуют в его прозе, создавая оригинальный эстетический эффект.

В конце повести "Болтун" рассказчик, говоря о своей воображаемой публике, которая-де уже разошлась, ибо ей наскучило его слушать, заявляет: "...они навеки останутся в неведении, лгал ли я и тогда, когда утверждал, что лгу". Это недвусмысленная отсылка к известному в логике "парадоксу лжеца": утверждение "я лгу" не может быть ни истинным, ни ложным, ведь если я действительно лгу, то лгу и тогда, когда заявляю о своей лжи, а значит, это все-таки не ложь, а правда... и обратно. Одно из объяснений парадокса (скорее лингвистическое, чем логическое) таково: тот "я", который вообще, когда-то и где-то имеет обыкновение лгать, и тот "я", который вот сейчас говорит, обращаясь к нам, — это два разных субъекта, не отвечающие друг за друга. Даже если вместо русского "я лгу" подставить более однозначное английское "I am lying", "я лгу в настоящий момент", — все равно тот, о ком говорят, не может вполне совпасть с тем, кто о нем

говорит: пусть это физически и одно лицо, но у говорящего есть то преимущество, что он осуществляет акт высказывания. Вот этим-то ресурсом и злоупотребляет сверх всякой меры "болтун" из повести Дефоре. В своих долгих, странно беспредметных разглагольствованиях он все время старается остаться говорящим, не сделаться пассивным объектом речи, простым "персонажем". Уже не раз отмечалось его родство с "подпольным человеком" Достоевского: та же нервная, агрессивно-диалогичная речь, болезненно озабоченная чужой реакцией и излагающая, в сущности, типичный "скверный анекдот" — о том, как рассказчик, вздумав спьяну ухаживать за незнакомой женщиной в каком-то баре, вдруг отдался своей неудержимой страсти к болтовне, был поднят на смех и выдворен вон. Недержание речи — одновременно и его постыдная слабость, о которой он рассказывает, и защитное средство, которым он пытается отсрочить миг своего позора перед нами.

Такая речь, направленная на сам процесс высказывания, на поддержание самой себя ("всего важнее для меня было молоть языком, а что именно молоть — до этого мне дела не было"), не сообщает нам, собственно, никакой достоверной информации, и в конце повести мы имеем все основания сомневаться: не лгал ли, в самом деле, "болтун", не плел ли нам вместо реальной истории какой-то вымышленный вздор?

В других текстах Дефоре предмет речи тоже склеивается с процессом самой речи, а реальность событий зависит от сомнительного слова тех, кто их рассказывает или разыгрывает. В новелле "Детская комната" взрослый подслушивает, как несколько детей, дразня какого-то упорно молчащего "Жоржа", играют (или же один мальчик симулирует игру, говоря разными голосами?) в обсуждение школьного устава — устава нигде не зафиксированного, неизбежно всеми нарушаемого и перед которым все виновны: кафкианская фантазия, заставляющая вспомнить еще и роман Бланшо "Аминадав". В новелле "Обезумевшая память" пожилой "литератор" вспоминает свое школьное детство: преследуемый враждебностью одноклассников и жестокостью учителей, он в финале совершил то ли убийство, то ли побег из колледжа... то ли просто мирно уехал из него на каникулы, и все эти несовместимые версии излагаются одинаково. Рассказчик новеллы "В зеркале", еще один подросток себе на уме, пишет "повесть аллегорического свойства" о родственниках, у которых живет, и с утонченной хитростью заставляет их читать сначала первую, потом вторую редакцию своего текста, а сам тем временем сочиняет третью; герои каждой редакции не узнают себя, читая предыдущие, — быть может, потому, что все они являются вымышленными персонажами последней версии, которую читаем мы.

За наскоро сооружаемыми и тут же рушащимися на наших глазах сюжетными декорациями кроется что-то серьезное и тревожное, о чем "болтливая" речь умалчивает, но именно ею оно и образуется. Иногда развязка все же дает нам понять, что́ это было: так, в новелле "Детская комната", оказывается, излагался сон, и видевший его человек до самого пробуждения не мог вспомнить, что он-то и есть тот молчаливый Жорж, которого знай пытаются разговорить играющие дети. В других случаях в пространстве повествования так и остаются заповедные места, куда нам не дано проникнуть. Новелла "В зеркале" не объясняет, кто такой таинственный брат героини, который не выходит из своей комнаты и которого, как и Жоржа из другой новеллы, никак не удается вывести из безмолвия: то ли он вымышленная проекция рассказчика-подростка, то ли все-таки реальное лицо. В

"Болтуне" от нас утаивают (важность этого уже отмечал один из критиков, Бернар Пенго) все содержание той безудержной речи, из-за которой рассказчик потерпел фиаско в баре: вроде бы он раскрывал какие-то неприглядные подробности своей личной жизни, после чего якобы сам начисто позабыл свои слова. А если предположить, что часть повести равна целому и то был просто рассказ, который он теперь развертывает перед нами?

Игры с фиктивными сообщениями о фиктивной реальности, которая свивается в петли вокруг темных, недоступных областей, сегодня уже привычны читателям благодаря французскому "новому роману", но Дефоре начал экспериментировать с ними в середине 40-х годов, еще до возникновения этой школы. Существенно также, что темные области, о которых я говорю, недоступны не только для авторского слова, но и для телесного опыта персонажей. Поэма "Морские мегеры" описывает детское видение — уродливых, но и влекущих к себе старух, чьи фигуры вырисовываются на скале у входа в приморский грот. Добраться до грота не удается — он отрезан от берега приливом, а сами "морские мегеры", возможно, просто иллюзия, создаваемая игрой теней и отблесков от волн, на самом же деле в гроте "во всей чистоте восседает ничто". В "Детской комнате" содержится еще более тревожный эпизод: один из детей (если, конечно, их было несколько) сталкивается лицом к лицу с подслушивающим взрослым и... не видит его. Игра, в которую они играют, — это как бы жмурки наоборот, тот, кто водит, не слеп, но незрим, потому что молчит. В фольклористике известно, что жмурки — игровой ритуал общения с мертвецом, а раз так, то тягостный кошмар, переживаемый спящим героем новеллы, есть не что иное, как опыт собственного небытия.

Оттого сквозной сюжетный мотив Дефоре — мотив падения, опять-таки отсылающий к Достоевскому, а во французской литературе отозвавшийся и в "Падении" Камю, и в художественной прозе Батая (в последнем случае, возможно, не без влияния Дефоре, чью повесть "Болтун" Батай высоко ценил). Падением, провалом оборачиваются все экзистенциальные приключения персонажей. Неудачу терпит рассказчик новеллы "В зеркале", пытавшийся поймать в ловушку свою родственницу, но сам разоблаченный ею. В другой новелле, "Звездные часы одного певца", рассказывается о двух сценических провалах: сначала некий оперный артист, выйдя на сцену пьяным и побитым, не может закончить свою партию и вынужден уступить ее безвестному оркестранту, а позднее уже сам этот оркестрант, взлетевший было к вершинам славы как блестящий певец, скандально проваливается в другом спектакле — только он-то проваливается преднамеренно, расчетливо искажая сначала рисунок роли, а потом и музыку оперы: "Ему удалось сообщить зрелищу своего падения — окрашенного в тона добровольного самозаклания и чем-то напоминавшего ликвидацию гигантского лопнувшего предприятия — тот же характер тщательно подготовленной магической церемонии, какой он придал двумя годами ранее своему молниеносному прославлению..." Здесь тоже есть своя недоступная тайна: что, собственно, заставило его пойти на "сценическое самоубийство" (выражение М. Гринберга), низвергнуться с театральных подмостков назад в темную безымянность оркестровой ямы? Слова, употребляемые автором, — "самозаклание", "магическая церемония" — заставляют вспоминать о сакральном опыте становления-иным, о добровольном самоумалении, какое бывает частью религиозного подвижничества.

В сходном смысле читается и повесть "Болтун". История героя, реальная или нет, не закан-

чивается его осмеянием и изгнанием из бара. Побродив ночью по зимнему городу, он попадает в безлюдный сад, и там его настигает соперник — "рыжий коротышка", у которого он в баре пытался отбить подругу. Здесь происходит его второе падение, на сей раз буквальное и добровольное: он с мазохистским наслаждением дает противнику себя избить и потом долго, до рассвета (а зимой ночи длинные), валяется в снегу, страдая от боли... уж не затем ли, чтобы потом снова напиться с горя и выйти на оперную сцену, став второстепенным персонажем позднейшей новеллы "Звездные часы одного певца"? Впрочем, не так важны эти сцепления между текстами; важнее, что в самом эпизоде стычки в саду кое-что не вяжется. По мнению рассказчика, "рыжий коротышка" следил за ним, но фактически тот ведет себя не как преследователь — не ищет своего противника (тот сам выскакивает на него из укрытия), глядит на него "с удивленным видом", а до этого несколько раз смотрел на часы, как будто ждал встречи с кем-то другим. С кем же? Вряд ли со своей подругой, они ведь уже были вместе. Наверное, все-таки с самим "болтуном", но в какой-то другой ипостаси, в каком-то ином виде, так что даже не узнал его, увидев лицом к лицу, — а тот тоже не понял, что должен был встретиться с ним. Нет, конечно, не надо воображать "рыжего коротышку" кем-то вроде ангела господнего; тем не менее на мистический характер пережитого героем злоключения указывает его финал — раздающееся утром церковное пение за стеной соседней семинарии (не то же ли самое пение, которым будет заниматься в своем католическом коллеже герой новеллы "Обезумевшая память"?). Опыт сакрального возможен без богов и ангелов и без веры в них, это "просто" опыт абсолютной инаковости — сравнимой с инаковостью мертвеца и потому страшащей. Замысловатая повествовательная структура прозы Дефоре нужна именно затем, чтобы разрушить однородную бытийность мира, чтобы в складках "болтливой", эгоцентрически заплетающейся речи образовывались опасные и заманчивые крипты, где "во всей чистоте восседает ничто".

Ради такой истины стоит изощряться во лжи — этим и занимается литература.

Сергей Зенкин

"Тому, о ком я сейчас и не думаю..."

Иван Кашкин *Стихи.* — М.: Захаров, 2007

Когда писатели сочиняют жизни — множество чужих, да и собственную, — думают ли они о том, кто прочтет? Или "проблема адресата" — проблема не писательская, а заморочка литературоведов? Или наоборот — общечеловеческая забота, только не всеми осознаваемая?

Автор и главный герой рецензируемой книги Иван Кашкин родился Москве в семье отставного военного инженера в конце июня 1899 года. Примерно месяц спустя в пригороде Чикаго родился Эрнест Хемингуэй. В 1917 году оба окончили, соответственно, гимназию и школу и поступили — один в Московский университет, другой репортером в газету. Спустя год оба же решительно переменили судьбу: Хемингуэй завербовался в санитарный отряд и отправился на войну в Италию, Кашкин (по собственному его выражению) принял "странное, но незабываемое звание добровольца-чернорабочего 5-го отделения полевого тяжелого артиллерийского дивизиона батареи 'Слово' тяжелой артиллерии особого назначения". Оба были

ранены, потом оба вернулись к литературной работе, и это стало поводом к заочному знакомству. Свой первый перевод из Хемингуэя (рассказ "Смерть матадора") Кашкин опубликовал в 1927 году, исходя при этом из принципа, которого старался придерживаться и в дальнейшем: переводить "только то, чего не можешь не переводить, то есть именно тех авторов и те их вещи, к работе над которыми побуждает тебя твоя собственная инициатива и склонность".

Так они и жили в одном времени: писатель и читатель-переводчик. Один устремлялся за новым опытом то в Европу, то в Африку, то на Кубу и писал, писал... Другой, никуда надолго не выезжая из своих Хамовников (и, по советскому обыкновению, ни разу в жизни не побывав за границей), читал, переводил и честно размышлял над смыслом. Статья "Эрнест Хемингуэй. Трагедия мастерства" была опубликована в 1935 году в журнале "Интернациональная литература" по-английски. Герой статьи прочел ее в Америке, воспринял как открытое письмо и написал в ответ свое — вполне личное, при том, что о корреспонденте не знал ничего. Кашкин связал личную трагедию Хемингуэя с неспособностью к общественному служению. И совершенно зря, возразил американский писатель своему советскому ровеснику: писатель что цыган — никому не служит, на все смотрит со стороны, и "если Вы думаете, что такие взгляды грозят опустошенностью и делают из личности человеческий брак, то, по-моему, Вы не правы". При всем несогласии возникло, однако, ощущение, что поговорить по душам очень даже стоило бы, и заканчивает Хемингуэй свое письмо шутливым предложением: "...современная жизнь часто оказывает механическое давление", против которого годится как "механическое противоядие" — спиртное. Разве не славно было бы пропить вместе московские гонорары, если таковые окажутся?

Дружеской пирушки не получилось. Зато в 1937-м (вернувшись ненадолго из Испании во Флориду) Хемингуэй читает в той же "Интернациональной литературе" новую статью "Трагедия силы в пустоте" и по поводу нее пишет редактору журнала Динамову: "Передайте от меня Кашкину, что война совсем другая, когда тебе 38 лет, а не 18, 19, 20".

За этим следует эпизод редкостный по тем тяжеловесным, доэлектронным временам. Эссе Хемингуэя "Американцам, павшим за Испанию" печатается в "Нью мэссиз" 14 февраля 1939-го, кашкинский перевод — в "Литературной газете" уже 1 марта (!), и на него прямой реакцией является новое письмо из Америки: "...Как Вы сами, должно быть, убедились, жить гораздо труднее и сложнее, чем умереть, и писать так же трудно, как и всегда". Эту ни с кем не делимую трудность Хемингуэй тем не менее предлагает Кашкину разделить — в порядке шутки: "...Знаете, что забавно? Единственное, что надо делать совершенно самостоятельно и в чем никто на свете не может тебе помочь, как бы ему ни хотелось (разве что оставив тебя в покое), — это писать. Очень это трудное дело, дружище. Попробуйте как-нибудь..."

Кашкин пробовал, и нешуточным образом, только об этом не знал никто даже из ближайших к нему людей.

...Что до отношений с Хемингуэем, то они продолжали иметь друг друга в виду — издалека. "Есть в Советском Союзе молодой (теперь, должно быть, старый) человек по имени Кашкин. Говорят, рыжеголовый, теперь, должно быть, седоголовый. Он лучший из всех критиков и переводчиков, какие мною когда-либо занимались" (Хемингуэй — Симонову в 1946 году). А Кашкин гимназическому другу А. А. Реформатскому в самом начале 1960-х пишет такое вот полушутливое:

"Сашинэ ты мое, Сашинэ! / Есть в Гаване старик краснорожий, / На тебя бородою похожий, / Может, вспомнит и он обо мне..." Один ушел из жизни в июле 1961 года, другой — в ноябре 1963-го. Первая книга о Хемингуэе на русском языке, написанная И. Кашкиным, вышла в свет для обоих посмертно — в 1966-м. Такое странное получилось общение — на расстоянии, исключительно через тексты и все же на зависть плодотворное. Пусть оно послужит камертоном.

Кашкин прожил жизнь трудовую, полную профессиональных и общественных забот, в высшей степени публичную и в целом очень успешную. Он был университетским преподавателем, научным сотрудником ИМЛИ, организатором, администратором, руководителем (Первого переводческого коллектива, созданного из числа его бывших студентов в Литературном институте, позже — председателем секции художественного перевода в Союзе писателей), сотрудником множества редакций, членом престижных профессиональных объединений. Человек по характеру резкий и на язык острый, хлесткий, нередко безжалостный в принципиальной (по его мнению) борьбе, он плодил вокруг себя преданных союзников и ярых противников. На литературные темы писал много, с готовностью оперируя военными метафорами — рассуждал о разных видах вооружения, бросках вперед, поэтической разведке, осаде, позорном сползании на позиции противника и тому подобном. Как не вспомнить по этому поводу У. Б. Йейтса, заметившего, что из наших ссор с другими рождается риторика, из наших ссор с самими собой — поэзия. Поскольку о поэзии, собственно, речь.

В течение 45 лет в столе Ивана Кашкина лежала тетрадка непубликуемого — о публикации он задумался лишь под самый конец жизни, да так и не успел ее осуществить. Корявые строчки карандашом умела разбирать только жена, она и перепечатывала их прилежно на пишущей машинке "Адлер". После смерти автора тетрадка пролежала в домашнем архиве следующие 45 лет. Воистину у этих стихов — долгая выдержка.

Между тем писались они, по признанию автора, не иначе как спонтанно, исключительно в ситуациях, когда не писать было нельзя, — возникали из почти физически непосильной полноты переживания, которую *надо* было объективировать в звукосмыслах, не то "задохнешься или закукарекаешь в эпилептическом припадке". Моменты сочинительства вспоминались постфактум как моменты "пробуждения", или еще "отчалы": "когда с запечатанным пакетом отваливаешь по неизвестному направлению". Моменты эти Кашкин мало с кем или вообще ни с кем не делил, но помнил все, и слишком хорошо: как узелки, завязанные на память, образы-детали подчас темны, но поэтичны в самой своей конкретности. Вот этот, например:

Столовый 10. В продуктовом
складе
Тому три года нас судьба свела.
Я, помнится,
помог вам сахар вешать
И оделять пайковою мукой...

Неотправленное письмо

Этому человеку случилось жить в непостижимо разнообразное и суровое время — пришлось не только "сахар вешать", но быть еще "телефонистом, писцом, переводчиком воинской части, переводчиком просто... организовывать ветеринарную часть и 'первый в мире' Литературный институт... быть Ученым секретарем, экс-секретарем и секретарем просто... работать на выборных должностях и в перерывах заседаний читать Ницше и Штирнера... учиться английской филологии и делопроизводству... грызть Платона и доискиваться материального

фактора, определяющего эволюцию орудий производства...” (из предисловия к запланированному, но неосуществленному прижизненному изданию стихотворений).

Это была увлекательная жизнь и неявно — внутренне — конфликтная. Посвященная интеллектуальным занятиям, она текла под гудок расположенной по соседству с домом старой мануфактуры, фабрики имени Розы Люксембург. Утром — подъем под гудок, вечером — возвращение со службы с ним наперегонки: “Отдых, работа и сон до утра. Знаю, разбудит: ‘На службу пора’”. Жизнь лирического героя поэмы “Складка о гудке” составляет с производством “единый сплав” (“онемение” фабрики по причине пожара символически совпадает с тяжелой болезнью), и точно так же, надо думать, литературовед и переводчик Кашкин чувствовал себя “советским заводом” по переработке качественных текстов мировой литературы. За четыре десятилетия он успел опубликовать целую библиотеку, где, помимо четырехтомника Хемингуэя, Г. Честертон и А. Бирс, Дж. Дос Пассос и Дж. Джойс, Дж. Чосер и О. Уайльд, а также поэты — Р. Фрост, К. Сэндберг, У. Уитмен, Э. Дикинсон, Э. Л. Мастерс, Л. Хьюз... Весь этот огромный и талантом отмеченный труд предназначался “для читателя-современника” (таково было название известного сборника его критических статей, опубликованного опять же посмертно в 1968 году). Каким воображал себе Кашкин этого своего читателя? Любопытным, всем интересующимся, не всегда культурно изощренным, но чутким, строгим и требовательным. Сравните, например: “Читатель ждет от советского перевода исторической конкретности... Читатель требует от перевода единства формы и содержания...” (из программной статьи “В борьбе за реалистический перевод”).

Собственных стихов этому читателю Иван Кашкин, как ни странно, не предназначал. Впрочем, не странно. В стихах преобладает то, что человек с бойцовским темпераментом и не мог предназначать для оглашения, ассоциируя это, наверное, с личной слабостью. В стихах звучит то, что неуместно было высказывать в печати, на службе, или даже дома, или на даче в Звенигороде, где все — свои. Жизнь здесь переживается столько же под знаком действия, активности, сколько — скованности, неволи. Выразительны сами названия: “Мелькающий застой”, “Круговорот”, “Неволя”, “Замкнутый простор”. Человек, “в стенах замкнутый клеток-комнат, / Занумерованный клеймом удостоверенья”, живет под ритм-стук арифмометра “Йост” и “пишущей машинки / системы ‘Ундервуд’”, подгоняемый обстоятельствами под надежный образец: “Быть пунктуальным дел производителем, / Специалистом в пошлости стяжания, / Иль в социальный рай путеводителем — / Вот ныне тип, достойный подражания”. Но пишущий себя ни с кем подобным явно не ассоциирует. Тогда с кем? С чем? Быть втянутым по горло в систему социального делопроизводства и не соответствовать тому “типу”, который к системе идеально приспособлен, — это ли не двойное (тайное) несчастье? А также причина противоречий на каждом шагу. Корпус Литературного института, в создании которого Кашкин активно и плодотворно участвовал, принимает почему-то почти зловещий вид в стихах: “Защемил цепей полукружьями, / Фальшивой клешней флигелей...” Соратники и противники по пламенной борьбе характеризуются без пафоса, усталоскептически: “Эй вы, снующие около, / Жующие походя словесный бутерброд!” В собственный адрес — тоже оговорка-сомнение: “Но сам-то... Я-то сам, доволен ли?” Как-то все получается, что чем жизнь “здоровее, трезвее, активней”, тем — “засушливей”, и

чем победоноснее движение вперед, тем менее ясно, ради чего: "Без оглядки, без передышки / Я спешу, хоть не ясен мне путь". Или (в другом стихотворении): "Бреду... поводырем невольничьего каравана", изо всех сил пытаясь себя уверить, что "не напрасно пройден путь, вьюком не зря протерта вереть". В качестве альтернативы всплывает подростково-романтическая мечта: уплыть "в колеблющиеся просторы, встречать неведанные берега", переночевать "под бруклинскою аркой", оказаться вдруг в Йеллоустоунском парке или "в пустырях Тибета, в нагорьях Анд иль Килиманджаро". Или еще воспоминание о стихийной, хмельной радости, какую испытывал в "кипени", "запое", "гуще боя"... когда-то. Внутренняя отъединенность и от других, и от себя самого напоминает трагическую ситуацию, которую критик Кашкин усматривал у далекого-близкого Хемингуэя — и выговаривал ведь тому свысока за буржуазные иллюзии, нерешительность, нетвердость "в отношении борьбы, которая никогда не прекращается". Но не о Хемингуэе, а о себе он пишет в поэтической тетрадке:

Замкнуться от себя
вседневною броней,
Регламентов
все сглаживающей воли...
Не догадались бы,
что я смертельно болен,
Что уж давно как мною обронен
Желанья дар... Что я доволен.
И чем?..

Перед нами случай раздвоения, не редкого, как известно, в жизни: общественный человек бичует, прославляет, предводительствует, борется, самоотверженно трудится ради общего блага — частный человек вяжет узелки на память, сетует на собственное бессилие и растерянность, кается в неизбывной вине перед неведомой женщиной... В несовместности и неразрывности этих субъектов должен быть, несомненно, смысл, но от самого человека он ускользает. Одна надежда — на другого:

Что таится в нас и что умерло —
Должно быть,
лишь Смерть раскроет.
Тому, о ком я сейчас и не думаю,
Вручаю эти строки.

Неволя

Стихи Ивана Кашкина — это стихи человека, прекрасно владеющего богатствами русской и западной поэтической традиции, но при том начисто свободные от претензий стать "объектом искусства". Они больше напоминают торопливую скоропись (порой со сбоями ритма, стилевыми контрастами, темными, сугубо личными аллюзиями), и в этом беззащитно несовершенны и трогательно человечны. Просто вольная речь — вне времени и потому вне "механического давления" — навстречу человеческой близости, всегда возможной и всегда случайной.

Татьяна Венедиктова

Наука моды

Беседу с шеф-редактором журнала "Теория моды" Людмилой Алябьевой ведет Светлана Силакова

"Иностранная литература". Ваш журнал — международный, и можно сказать, что у него две даты рождения, так как сначала появилась англоязычная версия.

Людмила Алябьева. Да, сначала, в 1997 году появился журнал "Fashion Theory: the Journal of Dress, Body and Culture" ("Теория моды: Одежда, Тело, Культура"). Его выпускает британское издательство "Berg Publishers". Главный редактор "Fashion Theory" — известный историк моды Валери Стил, директор музея при Институте технологии моды (FIT), автор замечательных исследований "Фетиш: мода, секс и власть", "Корсет: культурологическое исследование" и многих других. Мне доводилось с ней переписываться — она весьма дружелюбна и отзывчива: когда нам срочно понадобились некие иллюстрации, перерыла все свои архивы десятилетней давности.

Издательский дом "Berg" выпускает также журнал "Textile: The Journal of Cloth & Culture" ("Текстиль: Ткань и Культура") — это проект более "молодой" и, наверное, в силу своей молодости более креативный и неожиданный. Скажем, один из последних номеров "Текстиля" посвящен теме узла — узла в символическом, метафорическом и иных смыслах, от узелка в вязании и до узла как образа, описывающего связь между людьми.

Кстати, у нас в "Теории моды" есть возможность перепечатывать материалы не только из "Fashion Theory", но и из "Textile".

"ИЛ". У кого возникла идея сделать российскую версию "Fashion Theory"?

Л. А. У Ольги Борисовны Вайнштейн, известного историка моды, она входит в редколлегию российской "Теории моды", равно как и в редколлегию британской "Fashion Theory", и принимает в судьбе нашего проекта самое деятельное и неравнодушное участие.

Журнал "Теория моды" — составная часть масштабного культурно-просветительского проекта издательского дома "Новое литературное обозрение", который называется "Культура повседневности" и в настоящее время (помимо журнала) включает в себя одноименную книжную серию и регулярные художественные акции. Цель в том, чтобы расширить традиционные представления о сущности и границах культуры. Мы доказываем, что столь "низкие" явления, как еда, напитки, запахи, мода, предметы быта, индустрия досуга и развлечений являются важнейшими компонентами "высокой" культуры, а зачастую и важными рычагами цивилизационных процессов в обществе. В серии "Культура повседневности" вышли просто-таки основополагающие книги: "Ватель и рождение гастрономии" Д. Мишель, двухтомник "Ароматы и запахи в

культуре", "Абсент" Ф. Бейкера, "Денди: мода, литература, стиль жизни" О. Вайнштейн, "Исламская кухня" Л. Зауали...

"ИЛ". Насколько различаются российская и британская версии "Теории моды"?

Л. А. Они изначально задуманы по-разному. Возьмем хотя бы рубрикацию — в британской она тематически заявлена в названии журнала, в российской — это отражение композиции журнала, его скелет. Кроме того, у нас уже имеются и еще появятся рубрики, которых в британской версии просто не было и нет ("Полевые исследования", "Мода онлайн", "Жизнь замечательных вещей", "Глоссы").

Композиционно каждый номер нашего журнала состоит из трех постоянных разделов "Одежда", "Тело", "Культура" с крупными тематическими блоками. Так, в "Одежде" мы писали о модном прогнозе, дефиле, униформе и нижнем белье, эротике; в "Теле" старались, например, проследить внимание к различным частям тела в истории моды — рекомендую, кстати, статьи О. Вайнштейн "Ноги графини" и Д. Ко "Пеленание ног в Китае"; в "Культуре" — о шопинге, кафе, прогулках.

И британская, и российская версии — ежеквартальные. Правда, российская всегда раза в четыре толще (например, в № 6 "Теории моды" — 351 страница). Вероятно, таково влияние нашей традиции: в России почти все научные журналы относятся к категории толстых, это чтиво не на пару-тройку поездок в метро, а на три месяца.

В британскую редакцию мы посылаем краткое содержание каждого номера, чтобы держать в курсе наших дел, но она не оказывает никакого влияния на редакционную политику российской редколлегии.

"ИЛ". Много ли вы перепечатываете из британской версии?

Л. А. Вначале предполагалось, что таких статей будет примерно половина, но сейчас соотношение изменилось, так сказать, в нашу пользу: мы все чаще берем материалы из самых разных источников, порой заказывая тексты непосредственно западным авторам. Думаю, рано или поздно "Fashion Theory" начнет перепечатывать отдельные статьи российских авторов из "Теории моды".

Если же говорить о содержании, то многое зависит от темы: так, составляя спецномер о советской культуре, мы, по понятным причинам, взяли из Fashion Theory только текст Джурджи Бартлетт "Давайте оденем их в беж: Мелкобуржуазный мирок официального социалистического костюма", посвященный проекту социалистической моды в странах Варшавского договора, а остальные девятнадцать с лишним авторских листов были заполнены материалами, никакого отношения к "Fashion Theory" не имеющими. Напротив, когда мы делали блок по модификации тела (от татуировки и пирсинга до каттинга и подкожной имплантации), то использовали материалы из "Fashion Theory", где эта тема поднимается весьма часто.

"ИЛ". Даже если судить только по внешнему виду прохожих в современной Москве, эта тема становится все более актуальной.

Л. А. Да, мы тоже планируем посвятить модификации тела еще не один блок. Тело сегодня уже не рассматривается как безусловная данность и окончательный приговор, каким оно виделось еще в начале прошлого века ("Меняется прическа и костюм, / Но остается тем же наше тело..." — писал поэт Георгий Иванов), но выступает как своего рода

модель для сборки, как комплекс потенциальных возможностей с подвижными границами, где нет ничего постоянного и все до последнего сантиметра кожных покровов включено в игру.

"ИЛ". Наверное, на Западе современные виды модификации тела появились раньше, а значит, и наука успела их как следует осмыслить.

Л. А. Да, если история костюма в России вполне развита, то с проблематикой телесности и визуальности у нас до некоторых пор было не все благополучно. Теперь мы с опозданием, но весьма успешно, как мне кажется, осваиваем эту территорию.

"ИЛ". Каково место "Теории моды" в российском культурном контексте?

Л. А. Это первый в России гуманитарный журнал, посвященный моде как феномену культуры. До сих пор тема моды в России, как правило, осваивалась в двух жанрах: солидные труды по истории костюма или вольная глянцевая журналистика. Мы в каком-то смысле первопроходцы, а первопроходцем всегда быть трудно: не знаешь точно, кто твоя аудитория, что ей интересно.

Мы с самого начала понимали, что ориентируемся не только на академическую среду, но и на всех тех энтузиастов, кто, может быть, не имея специального образования, стремится понять историю и философию моды. Иными словами, одновременно хотелось угодить и ученым мужам, которые вообще к моде относятся с подозрением, полагая, что это предмет несерьезный и совершенно ненаучный, и профессионалам модной индустрии, и утонченным барышням — а последние, судя по откликам в Интернете, изучают наш журнал с большим интересом.

"ИЛ". В результате журнал получился очень разнообразным и тематически, и жанрово, и стилистически.

Л. А. Да, "под одной корочкой" уживаются и серьезные научные опусы, посвященные красоте как культурной конструкции определенной эпохи или прогнозированию моды, и изящные эссе о специфике российского шопинга, и занятные заметки об увлечении берлинских модников одеждой, которую шьют в местной тюрьме. Вот несколько названий статей, выбранных произвольно: "Трость и хитрость", "Шляпу можешь не снимать: современный эротический костюм", "Пешие прогулки как наука и искусство"...

Журнал — как живой организм, он существует и развивается по своим внутренним законам, но не без внешних влияний, поэтому одни рубрики возникают, другие, быть может, со временем вовсе уйдут.

Вообще же одна из главных целей нашего издания — это, как нам видится, создание профессионального содружества представителей разных специальностей, заинтересованных в изучении моды, пространства для дискуссий и, в конечном счете, нового информационного поля в гуманитарном знании. И сейчас мы как раз размышляем о необходимости создания специальной рубрики, которая позволит объединить все эти голоса и привнесет в журнал диалог.

"ИЛ". Что могут дать каждому из нас исследования быта — того, что принято ассоциировать с эпитетами "скучный", "монотонный", "рутинный", "засасывающий"? Возможно, взгляд на повседневную рутину под научным углом обогащает жизнь, наделяет слово "обыденность" положительными коннотациями?

Л. А. Что до быта, то как и с любым феноменом, который находится на стадии упадка и практически полного исчезновения, все усилия бросаешь на то, чтобы это почти уже утраченное как-то отрефлексировать, остановить мгновенье. Наверное, именно поэтому мы столь самозабвенно вглядываемся в черты повседневности прошлого и настоящего. По той же причине меня сейчас очень занимает феномен так называемого "slow living" — "неспешного житья-бытья" — очень модного нынче на Западе явления, которое, судя по активности высказывающихся в Интернете, набирает обороты и у нас. Оно, как нетрудно догадаться, возникло в противовес всему, что существует с приставкой "fast" — "быстрой еде", "быстрой моде"...

"ИЛ". Кстати, а что такое "быстрая мода"?

Л. А. Это реакция на ускорение темпов потребления, попытка удовлетворить нашу гипертрофированную жажду новизны. Некоторые компании моментально реагируют на последние придумки дизайнеров, меняя ассортимент раз в две-три недели. При этом вещи шьются из недорогих и не обязательно качественных тканей, ибо они по определению обречены на моментальное устаревание. Но это действие встречает противодействие: люди пытаются сопротивляться все ускоряющимся темпам повседневной жизни. Стремясь к размеренности, упорядоченности, начинают вязать, шить, готовить дома, увлеченно делятся рецептами и выкройками на всевозможных форумах, заполонивших сеть, собираются в кружки и тому подобное. Очень хочется хоть кусочек этой медленной философии приложить к собственной жизни, ну хоть шарфик для дочки связать...

"ИЛ". Наверное, ваш журнал востребован современным обществом?

Л. А. Судя по тому, что мы не испытываем недостатка в авторах и журнал весьма неплохо продается, — да, есть люди, которым интересно о моде писать, и те, кому о ней интересно читать.

Моду принято понимать очень узко, как смену модных тенденций, вот сегодня в моде мини, а завтра — миди, хотя даже и эту смену не объяснишь одной лишь прихотью дизайнеров. В действительности мода пронизывает всю нашу жизнь, все, что нас окружает. Этот многогранный феномен захватывает все: как мы одеваемся, что и как едим, куда ходим, насколько быстро передвигаемся, как смотрим, какие запахи улавливаем, а на какие просто не обращаем внимания... Думается, что есть немало людей, которым недостаточно одной лишь констатации "вот это носят, а это — уже нет"...

"ИЛ". Вспоминается, как в фильме "Весна" гример (ее играет Рина Зеленая) категорично заявляет: "Такие губы уже не носят"...

Л. А. Вот именно, мыслящему человеку интересно, почему губы красят так, а не иначе, что предписывала мода в прошлом и вообще когда появилась эта манера диктовать, что мы должны и не должны носить...

"ИЛ". И чем вы собираетесь порадовать вашего любознательного читателя в будущем?

Л. А. Планов, как водится, громадье. Сейчас мы работаем над спецномером, посвященным детству, всему многообразию тем, связанных с этим феноменом: от "изобретения" детства во второй половине XVIII века до, увы, исчезновения (или во всяком случае заката) в эпоху инфор-

мационных технологий и господства визуальных знаков. Наши авторы пишут о специфике детского костюма и его взаимоотношениях с миром взрослой моды, о школьной форме, мире детской игрушки, животрепещущей теме детства и потребления, детстве в советскую эпоху...

Но бумажными публикациями планы не ограничиваются – у "Теории моды" есть целая серия смежных проектов. В наступившем году мы очень хотим провести цикл лекций и круглых столов в стенах одного из московских вузов. Один из первых будет посвящен проблеме "Мода и возраст". Тема возраста в современной западной культуре – жестко, даже агрессивно, ориентированной на идеал молодости, красоты и здоровья – стоит весьма остро и заслуживает, безусловно, особого внимания. Мы уже ее коснулись, опубликовав в пятом номере цветные фото с показа датского дизайнера Каролины Кьелдтофт, которая использовала в качестве моделей девять пожилых женщин. Реакция читателей была весьма неожиданной и противоречивой – тогда-то мы и осознали потенциал темы.

Есть также идея своеобразной лаборатории "Теории моды", в рамках которой мы – редакция журнала – хотели бы непосредственно общаться со студентами, нашими будущими авторами и рецензентами, писать рецензии, разбирать их достоинства и недостатки.

Вообще же мы приглашаем к сотрудничеству всех авторов, занимающихся исследованием моды в различных областях культуры. Результатом нашей совместной работы может стать новая наука о моде – серьезная и элегантная, точная и изящная, – теория моды в России.

По материалам зарубежной прессы

MARTIN WALSER *Tagebücher 1963–1972*. – Rowohlt Verlag, 2007, 666 s.

В недавно опубликованных дневниках немецкий прозаик Мартин Вальзер предстает таким, каким читатели его еще не знали, – ранимым и нервозным, утверждает обозреватель еженедельника "Цайт" Йохен Юнг. В объемной статье-рецензии "Раны Вальзера", посвященной выходу в свет "Дневников 1963–1972 гг.", Юнг отмечает, что вальзеровский текст не соответствует ожиданиям читателей и показывает внутреннюю жизнь писателя в необычном ракурсе.

Так, Вальзер очень скупо описывает события – как в своей жизни, так и в окружающем мире. То, что может показаться читателю важным или интересным: встречи с другими литераторами, путевые впечатления, семья – занимает в дневниках неожиданно мало места. "Что же он хочет нам показать? – задается вопросом Й. Юнг и отвечает: – Свои раны". Действительно, Вальзер детально описывает и беспричинный страх, то и дело охватывавший его в те годы, и жестокие сомнения в самом себе, и горе после смерти матери. Временами страдало и его самолюбие, как отмечает Й. Юнг, например, от того, что в рейтинге продаж его обошел Генрих Бёлль.

MICHAEL CHABON *Gentlemen of the Road*. – Del Rey Books, 2007, 224 p.

"Я отправился на поиски небольшого приключения", – признается в послесловии к книге "Gentlemen of the Road" ("Джентльмены с большой дороги") американский писатель Майкл Чейбон. Исторический роман, повествующий о судьбе двух солдат-наемников, невольно ставших участниками бурной политической жизни Хазарского каганата X века, – в самом деле приключение как для автора, так и для его героев. По форме "Gentlemen of the Road" – классический роман "большой дороги". Даже публиковался он по одной главе в "Нью-Йорк таймс мэгэзин", подобно произведениям Диккенса или Дюма, перед тем как выйти в виде книги в ноябре 2007 года. Но одними схватками на мечах Чейбон не ограничивается.

Главные темы романа, как показывает обозреватель британской газеты "Гардиан" Майкл Кейнз, – многоязычие, разнообразие кодов общения и в то же время отсутствие собеседника. Наемники Амрам и Зеликман, евреи – один из Европы, другой из Абиссинии, – встречают на своем пути хазар, персов, арабов... Когда приходит пора прощаться, они обмениваются "простыми словами на пяти языках". Впрочем, их дружба далеко не всегда безоблачна, но, кроме нее, им нечего противопоставить одиночеству, царящему в мире.

CARL-HENNING Wijkmark *Stundande natten*. – Norstedts, 2007, 158 s.

"Возможно, человек не в силах победить смерть, но Карл-Хеннинг Вийкмарк доказывает нам, что литература – в силах", – так звучал вердикт жюри премии Августа Стриндберга, крупнейшей литературной премии Швеции, в 2007 году. В номинации "Художественная литература" победил новый роман писателя Карла-Хеннинга Вийкмарка "Stundande natten" – "Близится ночь".

О смерти К.-Х. Вийкмарк писал во многих произведениях, в том числе в драме "Современная смерть" 1978 года, публикуемой в этом номере "ИЛ". В новом своем романе он показал ее глазами умирающего. Герой романа — актер Хассе, ожидающий конца в палате вместе с тремя другими безнадежно больными; их существование скрашивают две медсестры и женщина-пастор (в Швеции женщины могут служить священниками). Постепенно вокруг Хассе остается все меньше людей, его мир сжимается и в конце концов полностью исчезает.

"Проза Вийкмарка — строгая и ясная", — пишет в своей рецензии для газеты "Дагенс нюхетер" писатель и литературовед Арис Фиоретос. Он замечает также, что автору свойственно исключительное чувство меры и он никогда не описывает слишком много или слишком мало. "Каждое слово [в книге] заслуживает внимания", — заключает рецензент.

Mother Teresa: Come Be My Light (compiled and edited by Brian Kolodiejchuk). — Doubleday, 2007, 416 p.

Публикация писем и дневниковых записей блаженной матери Терезы Калькутской на английском языке вызвала широкий резонанс среди католиков и привлекла всеобщее внимание на Западе. Эти никогда прежде не обнародовавшиеся записи создают новый образ матери Терезы.

Обращаясь к своим духовным наставникам, мать Тереза признавалась, что, испытав прозрение, длившееся год, она на пятьдесят лет погрузилась во тьму. Не переставая помогать страждущим в Индии, являя собой пример христианской добродетели, она испытывала настоящие муки из-за того, что перестала видеть в своей душе Бога. Осталось только ощущение пустоты. Мать Терезу эта пустота страшила, и она просила не публиковать письма, в которых говорит об этом. Тем не менее они увидели свет, но католическая церковь не остановила процесс канонизации матери Терезы после их издания.

И вот почему. Хотя порой калькутская подвижница впадала в настоящее отчаяние, она не прекращала служить людям и богу. "Если я стану святой, то наверняка буду святой 'во тьме'. На небесах я не задержусь — я буду светить тем, кто блуждает во тьме на земле", — писала она.

Martin Amis *The Second Plane.* — Jonathan Cape, 2008, 214 p.

Исследовав в своем предыдущем романе феномен ГУЛАГа, Мартин Эмис обращается в сборнике рассказов и эссе "The Second Plane" ("Второй самолет") к теме исламского терроризма. Он пишет о том, какой ужас испытал во время террористической атаки 11 сентября 2001 года, и о необходимости осознать, в чем причина радикализации ислама. На страницах сборника представлены, кроме того, рассказы о самих террористах и о Саддаме Хусейне, а также публицистика, освещающая политику и культуру исламских стран.

Реакция на книгу, однако, оказалась неоднозначной. В статье для "Санди таймс" критик Уильям Дэлримпл, указывая на многочисленные фактические неточности, назвал книгу "триумфом стиля над фактами"; в "Телеграф" обозреватель Самир Рахим утверждал, что "страх и самого Эмиса сделал радикалом", и сравнивал автора с героями его собственной сатирической прозы. Напротив, "Индепендент" отзывается о книге положительно. В любом случае, масштаб дискуссии вокруг "The Second Plane" свидетельствует: проблема исламского радикализма далека от решения.

Alberto Moravia *I due Amici.* — Milano: Bompiani Editore, 2007, 414 p.

К столетию со дня рождения известного итальянского писателя Альберто Моравиа (1907—1990) поклонники неореализма получили удивительный подарок. В Риме, в подвале дома,

где жил Моравиа, нашли чемодан с тремя незаконченными версиями ранее не издававшегося романа. По словам составителя книги, Симоне Казини, роман "Два друга" мог бы по праву занять место среди других выдающихся произведений автора. Три версии, написанные между 1950 и 1951 годами, кажутся отдельными новеллами, но на самом деле лишь дополняют друг друга: конфликт и образы главных героев не меняются, но всякий раз автор вводит в текст новые детали, проигрывает различные варианты развития сюжета. Действие происходит во время Второй мировой войны. Три персонажа: Сержио, молодой закомплексованный интеллектуал и коммунист, живет на скупые журналистские заработки; его старинный друг, Маурицио, — богатый безработный буржуа, развязный красавец и кутила, симпатизирует фашизму. Сержио питает смешанные чувства к другу: то восхищается им, то ненавидит, считая, что единственный способ превзойти Маурицио — заставить его вступить в коммунистическую партию. Третий персонаж — любовница Сержио (в первой версии Эмилия, во второй — Лала, в третьей — Нелла), которую он "во имя идеи" готов "уступить" другу, если тот обратится в коммунистическую веру. Три ипостаси этого чувственного женского образа составляют главную интригу рукописных текстов, дающих возможность проследить за эволюцией писательского замысла. Почему же Моравиа так и не опубликовал роман, в котором намечен конфликт и основные темы пользовавшегося невероятным успехом "Презрения", написанного в 1954 году? Как считает редактор-составитель книги, причину стоит искать в затронутых в "Двух друзьях" политических вопросах, на которые в то время ответа не было.

JOHN DOS PASSOS *Lettres à Germaine Lucas-Championnière.* — P.: Gallimard, 2007. 286 p.

В июне 1919 года на одном из концертов в Париже классик американской литературы XX века Джон Дос Пассос познакомился с Жерменой Лукас-Шампионьер, принадлежащей к знатному вандейскому роду. Страсть к современной музыке сделала молодых людей неразлучными друзьями. Писатель исколесил полмира, но никогда не забывал о парижской подруге и отовсюду слал ей пространные послания, время от времени дополняя их рисунками. В 160 сохранившихся "Письмах к Жермене" Дос Пассос рассказывает о том, как продвигается работа над романами: о том, что никак не выходит финал "Посвящения одного человека", о страхе перед чистым листом, о бесконечных спорах с издателями. Сетует на литературную среду, в которой жестоко разочаровался, обличает узость взглядов некоторых романистов и драматургов, жалуется на постоянную нужду в деньгах. Наконец, с гордостью сообщает, что начал работать над новым грандиозным романом о Нью-Йорке: "Я в маленьком домике, где живут евреи, на Лонг-Айленде — рядом с морем и всего в получасе езды от Нью-Йорка. Здесь я пишу роман и надеюсь, он будет великолепен..." Французские издатели отмечают изысканный стиль "Писем к Жермене". По словам обозревателя газеты "Кензен литтерер", именно французские письма позволили Дос Пассосу добиться того неповторимого колорита, который отличает лучшие его произведения.

GEORGES NIVAT *Vivre en russe.* — P.: L'Age d'homme, 2007, 486 p.

Славист с мировым именем, переводчик, преподаватель и руководитель масштабного проекта "История русской литературы" в семи томах, которая в скором времени выйдет в издательстве "Файар", опубликовал первую часть интеллектуальной автобиографии. "Урочища русской памяти", как сам Нива переводит название книги, — не просто воспоминания выдающегося ученого, влюбленного в свой предмет, это книга о пути к пониманию важнейших проблем русской культуры. "Я люблю Россию, — пишет

Жорж Нива, – прежде всего потому, что люблю русский язык". Автобиография по форме напоминает отчет о многолетнем, тщательном и глубоком изучении русской литературы, о поисках того, что за неимением лучшего называется "русской душой", с перечнем памятных для истории нации "мест" (нечто подобное в восьмидесятые годы проделал со своей страной Пьер Нора в знаменитом труде "Места памяти", отдельные тексты из которого изданы на русском языке в сборнике "Франция. Память"). Под одной обложкой собраны пейзажи, мифы, литературные герои, различные объекты (палехские шкатулки, например), монастыри, города и села, музеи, университеты и академии, и, конечно же, не менее полутора тысяч "пушкинских мест", то есть все то, что формирует общую для всех носителей русской культуры идентичность. Не забыл Нива и о России в изгнании, о созданных белыми эмигрантами "русских" Париже и Праге. В целом получилась весьма информативная энциклопедия, в которой исторические факты перекликаются с символикой преданий, формируя не столько четкую картину русской жизни, сколько плотную материю, такую же подвижную и живую, как русская идентичность, как русская душа.

Подготовили А. Лешневская, И. Мокин

Маргарет Махи
Margaret Mahy
Новозеландская писательница. Лауреат премии Х. К. Андерсена [2007].

Автор многих книг для детей и подростков, в том числе повести *Превращение* [*The Haunting*, 1982; рус. перев. 2006], отмеченной медалью Карнеги.
Повесть печатается по изданию *Memory* [Penguin Books, 1987].

Петер Биксель
Peter Bichsel
[р. 1935]. Швейцарский писатель, мастер короткого рассказа и колумнист. Лауреат многочисленных литературных премий, в том числе премии *Группы 47* [1965], *Немецкой премии за лучшую детскую книгу* [1970], премии имени Готфрида Келлера [1999], *Кассельской литературной премии за гротескный юмор* [2000].

Автор прозаических сборников *Времена года* [*Die Jahreszeiten*, 1967], *Бузотер. О полицейских, пьяницах и Прекрасной Магелоне* [*Der Busant. Von Polizisten, Trinkern und der schönen Magelone*, 1985], *О городе Париже. Истории* [*Zur Stadt Paris. Geschichten*, 1991], *О езде по железной дороге* [*Eisenbahnfahren*, 2002] и др., романа *Херувим Хаммер и Херувим Хаммер* [*Cherubin Hammer und Cherubin Hammer*, 1999]. В *ИЛ* печатались отрывки из его книги *Швейцария глазами швейцарца* [2002, № 9].
Тексты публикуются по изданиям: *Рассказы для детей* [*Kindergeschichten*. Neuwied / Berlin: Luchterhand, 1969], *В общем-то фрау Блюм не прочь познакомиться с молочником* [*Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen*. Olten / Freiburg i.Br.: Walter-Verlag, 1964], *Зимняя школа изобеллового цвета под началом доктора Шляйера* [*Doktor Schleyers isabellenfarbige Winterschule*. Frankfurt / M.: Suhrkamp, 2003], *Читатель. Повествование. Франкфуртские лекции* [*Der Leser. Das Erzählen. Frankfurter Poetik-Vorlesungen* Darmstadt / Neuwied: Luchterhand, 1982].

Петер Фон Матт
Peter von Matt
[р. 1937]. Швейцарский литературовед и литературный критик, член Дармштадтской, Гёттингенской и Дрезденской академий наук. Кавалер ордена *За заслуги* [1997], лауреат премии имени Фридриха Меркера по эссеистике [2001], премии имени Генриха Манна [2006].

Автор эссеистических сборников *Предательство любви. Неверные любовники в литературе* [*Liebesverrat. Die Treulosen in der Literatur*, 1989], *Судьба фантазии. Исследования по немецкой литературе* [*Das Schicksal der Phantasie. Studien zur deutschen Literatur*, 1994], *Опустившиеся сыновья и непутевые дочери. Семейная катастрофа в литературе* [*Verkommene Söhne, mißratene Töchter. Familiendesaster in der Literatur*, 1995], *Подозрительное великолепие. О поэтах и поэзии* [*Die verdächtige Pracht. Über Dichter und Gedichte*, 1998], *Интрига. Теория и практика вероломства* [*Die Intrige. Theorie und Praxis der Hinterlist*, 2006] и др.
Эссе *Смех, и лукавство, и любовь* [*Witz und List und Liebe*] печатается по изданию *Die tintenblauen Eidgenossen. Über die literarische und politische Schweiz* [München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2004].

Карл-Хеннинг Вийкмарк
Carl-Henning Wijkmark
[р. 1934]. Шведский писатель, переводчик и публицист. Лауреат премии имени Августа Стриндберга [2007].

Автор романов *Охотники из Каринхалля* [*Jägarna på Karinhall*, 1972], *Последние дни* [*Sista dagar*, 1986], *Черная стена* [*Den svarta väggen*, 2002], *Близится ночь* [*Stundande natten*, 2007] и др., а также ряда сборников эссе. Перевел на шведский язык роман Стендаля *Красное и черное* [1976] и другие произведения французской литературы.
Текст печатается по изданию *Den moderna döden: från människans slutskede* [Stockholm: P. A. Norstedts & Söner Förlag, 1985].

Борис Григорьевич Юдин
[р. 1943]. Член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, заведующий отделом Комплексных проблем изучения человека Института философии РАН, главный редактор журнала *Человек*, представитель России в Руководящем комитете по биоэтике Совета Европы.

Автор более 270 научных работ в таких областях, как методология системных исследований и самоорганизация, философия, социология и этика науки, биоэтика, методология комплексных исследований человека. Некоторые публикации последних лет: *О человеке, его природе и его будущем* [*Вопросы философии*, 2004, № 2], *Философия биомедицинских исследований: этос науки начала третьего тысячелетия* [в соавторстве; М., 2004], *Биоэтика: вопросы и ответы* [в соавторстве; М.: Прогресс-Традиция, 2005], *Нить бытия* [*В мире науки*, 2006, № 9], *Сотворение трансчеловека* [*Вестник Российской академии наук*, 2007, № 6, т. 77].

Уоллес Стивенс
Wallace Stevens
[1879–1955]. Американский поэт. Лауреат *Пулицеровской* премии [1955].

Автор сборников стихов *Фисгармония* [*Harmonium*, 1923], *Идея гармонии* [*Ideas of Order*, 1936], *Человек с голубой гитарой* [*The Man with the Blue Guitar*, 1937], *Поездка в лето* [*Transport to Summer*, 1947], *Осенние утренние зори* [*Auroras of Autumn*, 1950], *Камень* [*The Rock*, 1957], стихотворного трактата *К вершинам литературы* [*Notes Toward a Supreme Fiction*, 1942] и др. В *ИЛ* печатались переводы его стихов [1961, № 8; 1998, № 10].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Ивлин Во
Evelyn Waugh
[1903–1966]. Английский писатель.

Автор романов *Упадок и разрушение* [*Decline and Fall*, 1928], *Черная беда* [*Black Mischief*, 1932; рус. перев. *ИЛ*, 1991, № 6], *Пригоршня праха* [*Handful of Dust*, 1934; рус. перев. 1971], *Сенсация* [*Scoop*, 1938; рус. перев. 1992], *Не жалейте флагов* [*Put Out More Flags*, 1942; рус. перев. 1971], *Возвращение в Брайдсхед* [*Brideshead Revisited*, 1945; рус. перев. 1974], *Незабвенная* [*The Loved One*, 1948; рус. перев. *ИЛ*, 1969, № 2], *Офицеры и джентльмены* [*Officers and Gentlemen*, 1955; рус. перев. 1977] и др.
Текст публикуется по изданию *Письма Ивлина Во* [*The Letters of Evelyn Waugh*. London: Weidenfeld and Nicolson, 1980], *Дневники Ивлина Во* [*The Diaries of Evelyn Waugh*. Penguin Books, 1979].

Сергей Николаевич Зенкин
[р. 1954]. Литературовед, критик, переводчик, доктор филологических наук. Награжден французским орденом Академической пальмовой ветви. Дважды лауреат премии имени А. Леруа-Болье [1996, 1999–2000].

Автор книг *Работы по французской литературе* [1999] и *Французский романтизм и идея культуры* [2002]. В его переводах издавались книги Р. Барта, Ж. Бодрийяра, А. Компаньона, Р. Кайуа и др. Его статьи и переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Татьяна Дмитриевна Венедиктова
Доктор филологических наук, профессор, литературовед, переводчик с английского.

Автор книг *Поэзия Уолта Уитмена* [1982], *Современная поэзия США: традиция и новаторство* [1989], *Человек, который создал себя сам. Американский опыт в лицах и типах* [1993], *Обретение голоса: национальная поэтическая традиция в США* [1994], *"Разговор по-американски": дискурс торга в литературной традиции США* [2003] и др. В ее переводах опубликованы *Удивительный волшебник из страны Оз* Л. Ф. Баума, *Противники Просвещения* И. Берлина и др.
Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург, 1996] и премии имени А. М. Зверева [2007].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Б. Бетке, Э. Энрайт и др. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Издательские планы*. В *ИЛ* печатались ее переводы романов П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4], Д. Деллило *Мао II* [2003, № 11–12], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7], Р. Фернандеса, Х. Альварес, Т. Риверы [2003, № 1], эссе Т. Пинчона [1996, № 3], Д. Рэмптона [1996, № 10], Э. Саида [2003, № 1], П. Теру [2007, № 12], автобиографических заметок М. Спарк *Curriculum vitae* [2007, № 4], фрагментов книги Л. Даррелла *Сицилийская карусель* [2007, № 12] и др.

Александра Юрьевна Лешневская
Переводчик с французского и английского языков. Аспирант ИВГИ РГГУ.

В *ИЛ* опубликована ее статья *Три "Гранде"* [2008, № 4].

Игорь Викторович Мокин
[р. 1986]. Переводчик с английского и скандинавских языков, преподаватель. Аспирант филологического факультета МГУ.

В *ИЛ* опубликован его перевод рассказа Р. О. Фримена *Послание со дна моря* [2008, № 1].

Переводчики

Нина Михайловна Демурова
Переводчик и литературовед, доктор филологических наук.

Автор ряда работ по английской и другим англоязычным литературам.
Переводила романы и рассказы Р. К. Нарайана, Л. Кэрролла [*Алиса в Стране чудес* и *Алиса в Зазеркалье*], Э. По, Г. К. Честертона, Э. Олби, М. Эджворт, Ш. Делани, Дж. М. Барри, Р. Дала, Б. Поттер и др. Неоднократно печаталась в *ИЛ*.

Елена Суриц [Елена Александровна Богатырева]
Переводчик с английского, немецкого, французского и скандинавских языков. Лауреат премии *Инолит* [1994], премии *Единорог и Лев* [2006], премии *Мастер* [2007].

В ее переводе издавались романы Дж. Остин, У. Голдинга, Дж. Стейнбека, С. Беллоу, Д. Томаса, Р. М. Рильке, К. Гамсуна, пьесы А. Стринберга, Э. Ионеско, сценарии И. Бергмана и др. В *ИЛ* в ее переводе печатались романы *Я в замке король* С. Хилл [1978, № 1—2], *Миссис Дэллоуэй* [1984, № 4], *Орландо. Биография* [1994, № 11], *Волны* [2001, № 10] и *Между актами* [2004, № 6] В. Вулф, *Мастер Джорджи* [2001, № 7] и *Согласно Куини* [2004, № 12] Б. Бейнбридж, *Пир* М. Спарк [2005, № 12], *Море* Дж. Бэнвилла [2006, № 10] и др.

Святослав Городецкий
[р. 1981]. Поэт, драматург, переводчик с немецкого и английского языков. Победитель Конкурса молодых переводчиков немецкоязычной поэзии [2005].

Переводил сонеты Шекспира, стихи немецкого рэп-поэта Б. Бёттхера и др. В его переводе вышли сборник рассказов *В незнакомых садах* и роман *Не сегодня-завтра* П. Штама.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Анатолий Сергеевич Егоршев
[р. 1935]. Журналист, германист, переводчик с немецкого.

В его переводе выходили произведения Р. Леттау, П. Хэртлинга, К. Хайна, Г. Руге, Ю. Амана, Р. Вальзера и др. В Германии в его переводе на немецкий опубликована повесть В. Панова *Филипп фон Цезен*. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Александра Александровна Афиногенова
Переводчик со скандинавских языков. Лауреат премии Шведской Академии, премии Шведского литературного фонда, обладатель ордена Полярной звезды I степени [2004].

В ее переводах публиковались новеллы А. Стриндберга и его пьесы *Игра снов*, *Пляска смерти*, *На пути в Дамаск*, романы *Местечко Сегельфосс* и *Дети века* К. Гамсуна, пьеса *Ночь Трибад* и роман *Библиотека капитана Немо* П. У. Энквиста. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны книги И. Бергмана *Laterna Magica* [1989, № 9—11] и *Благие намерения* [1994, № 5], роман П. У. Энквиста *Низверженный ангел* [2001, № 4], сказки Х. К. Андерсена [2005, № 7], рассказы Х. Гуннарсона и Л. Якобсона [2007, № 3].

Григорий Михайлович Кружков
[р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед. Лауреат премии *ИЛлюминатор* [2002] и Государственной премии по литературе [2003].

Автор пяти сборников стихов [последний — *Гостья*, 2004]. В его переводах вышли книги У. Б. Йейтса *Избранное* [2001], Уоллеса Стивенса *Тринадцать способов нарисовать дрозда* [2002], Джона Китса *Гиперион и другие стихотворения* [2004], Джона Донна *Алхимия любви* [2005], сборники *Книга NONсенса* [2000], *Лекарство от Фортуны* [2002], *Единорог* [2003], *Поэты английского Возрождения* [2006], *Пироскаф. Из английской поэзии XIX века* [2008] и др. В 2003 г. вышла книга избранных переводов *Англасахаб: 115 английских, ирландских и американских поэтов*. Неоднократно печатался в *ИЛ*.

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премий *Литературная мысль* [1997], *зоИЛ* [2002].

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, О. Голдсмита, У. Хэзлитта, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Т. Дж. Смоллетта и Д. Китса, дневники С. Пипса, путевые очерки Т. Дж. Смоллетта, Г. Грина и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины финского художника Хуго Симберга [1873–1917] *Раненый ангел* [1903].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести: в редакции или в киоске "Новой газеты", расположенном по адресу: Страстной бульвар, дом 4; в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино по адресу: Николоямская ул., д. 1 и книжной лавке МГУ (первый гуманитарный корпус).

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая")
Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12.00 до 17.30.
(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.2.2008
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1004.
Тираж 9700 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

Информационная поддержка

Уважаемые друзья!

У журнала "Иностранная литература"
появился свой дневник в Интернете.
Это подробные рассказы о свежих публикациях, а также
интересных материалах прошлых лет, анонсы
литературных вечеров, встреч, радио- и телепередач.
Через дневник вы можете напрямую связаться с нами,
высказать свое мнение, поделиться идеями.

Дневник находится в социальной сети
"Живой Журнал" (Livejournal).
Для чтения и комментариев регистрация не требуется.

Адрес – http://obzor-inolit.livejournal.com/

---

[6] 2008

РОМАН ГЕОРГА КЛЯЙНА "ЛИБИДИССИ" / СТИХИ ТОНЕ ПАВЧЕКА / РАССКАЗЫ ХАВЬЕРА МАРИАСА, ИСМАИЛЯ КАДАРЭ И КЕННЕТА КУКА / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "СЛАВОМИР МРОЖЕК" / СТАТЬЯ РОБЕРТА ЧАНДЛЕРА "'ОЧУЖДАТЬ ИЛИ ОСВАИВАТЬ': ПО СЛЕДАМ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО СЕМИНАРА" В РУБРИКЕ "ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА"

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература":
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2008, №5, 1-288